

Н О В Ы Й  
М И Р

Н О В Ы Й  
М И Р

1967

11



1967

# ИЗВЕСТИЯ МИРА

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLIII

№ 11

Ноябрь, 1967 г.

---

---

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
<b>С ВЕРШИНЫ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЯ</b>	
ОСНОВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА — Беседа с министром приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР К. Н. Рудневым	3
ПИМЕН ПАНЧЕНКО — Два стихотворения. Перевели с белорусского Н. Кислик, Б. Слуцкий	10
СЕРГЕЙ ОРЛОВ — В электричке. Стихотворение	12
МАКСИМ ТАНК — Листки календаря. Перевела с белорусского С. Григорьева	13
Д. НАБОКОВ — Детские годы в Супруновке. Из семейной хроники. Предисловие Ефима Дороша	68
РАСУЛ ГАМЗАТОВ — Мой Дагестан. Окончание. Перевел с аварского Вл. Солоухин	114
И. ИСАКОВ — Переводчик (Из воспоминаний о 1917 годе)	147
ТХАЙ ТУАН — Они не спят... Стихи. Перевел с вьетнамского Илья Фоянкова	160
<b>ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ</b>	
ВЛАДИМИР ПОЗНЕР — Из книги «Тысяча и один день». Перевод с французского	162
<b>ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ</b>	
ЮРИЙ СМОЛИЧ — Мои сверстники	182
<b>ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ</b>	
ИЛЬЯ ФРАДКИН — Немецкие писатели в революционной России	189
<b>ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ</b>	
И. С. КРИВЕНКО — Страница жизни	197

(См. на обороте)

---

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<b>НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ</b>	
МИХАИЛ БОТВИННИК — По шахматному Альбиону	202
<b>ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ</b>	
М. ЛАНДОР — «Монастыри» и бунтарство	209
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
<i>Полвека советской литературы</i>	216
НАША АНКЕТА: Э. Межелайтис. Новая эра человека.— Г. Бакланов. По самому строгому счету.— А. Бек. Книги жизни.— В. Семин. Ответственность памяти.— М. Карим. Чудо-праздник.— В. Быков. Быть достойными нашего читателя.— К. Паустовский. Будущее нашей литературы.— Н. Рыленков. Сокровищница духовного опыта народа	
И. КРАМОВ — Александр Малышкин (От «Падения Даира» к «Людям из захолустья»)	232
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	253
А. Турков. Сегодня и вчера.— С. Бабенышева. Растет душа человека...— Ст. Рассадин. «Идти и этот путь не выдавать за чудо».— Н. Мельников. Красное небо.— К. Рудницкий. Стремление к ясности.— Н. Снеткова. Роман о «поддельной» Испании	
<i>Политика и наука</i>	271
Людмила Зак. База культуры.— А. Володин. Диалектика истории и логика исследования.— Г. Водолазов. Выбор есть всегда.— Б. Маклярский. За фасадом «великого общества».— И. Дьяконов. Какой должна быть орфографическая реформа?	
КОРОТКО О КНИГАХ — Г. Е. Глезерман. Исторический материализм и развитие социалистического общества.— Организация управления промышленностью.— А. Китайгородский. Реникса.— Л. Н. Гумилев. Древние тюрки.— И. Рождественская. Поэзия Эдуарда Багрицкого.— Сергей Бобров. Мальчик.— С. Борщевский. «Отечественные записки». 1868—1884	283
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

---

# С ВЕРШИНЫ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЯ

## ОСНОВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

*Беседа с министром приборостроения, средств автоматизации  
и систем управления СССР К. Н. РУДНЕВЫМ*

**В**скоре после войны мне привелось прочитать в какой-то книге высказывания американских специалистов, отозвавшихся о советском приборостроении примерно так: русским долго не удастся освоить применение атомной энергии ни в военных, ни в мирных целях, потому что у них нет хороших приборов. Трудно сказать, какими данными пользовались эти прорицатели, ибо факты очень скоро доказали полную несостоятельность их прогнозов. Но, думаю, в какой-то мере выводы американцев основывались на том, что отрасли этой тогда практически у нас не существовало. Опыт же отечественного приборостроения вообще исчислялся какими-нибудь двумя десятками лет.

Чем мы располагали до Октября? Несколькими маломощными заводиками, из которых только один, кажется, принадлежал доморощенному капиталисту. Даже то небольшое количество приборов, в котором нуждались отсталая промышленность и городское хозяйство дореволюционной России, почти целиком ввозилось из-за рубежа. Ну, а вообще российский предприниматель больше полагался на глаз да сноровку своих мастеровых — благо, умельцы в народе никогда не переводились.

В эпоху пятилеток, когда страна, по выражению одного красноречивого западного журналиста, начала мыслить бетоном и сталью, дело приняло иной оборот. Производство, не вооруженное приборами, обречено на прозябание, и выпуск их стал увеличиваться очень быстро — я думаю, по темпам роста с приборостроением поспорит редкая отрасль. Не надо даже далеко заглядывать — только за последние десять лет объем его продукции вырос в пять с лишним раз!

Но одно обстоятельство все-таки тормозило это развитие — не столько в количественном, сколько в качественном отношении. Производство приборов было расплывлено по разным ведомствам. И отсутствие единой технической политики сказывалось очень неблагоприятно.

Перестройка управления промышленностью позволила объединить усилия ученых, конструкторов и работников наших предприятий, нацелить их на решение главной задачи — широкой комплексной автоматизации процессов производства и управления. А это дело — во всех отношениях — очень не простое.

Недавняя разобщенность приборостроителей оставила плохое наследство — множество «самостоятельных» конструкций приборов, каждая со своими индивидуальными особенностями и эксплуатационными характеристиками. К концу семилетки наши заводы выпускали изделия более десяти тысяч типоразмеров. Конечно, с одной стороны, такая обширная программа свидетельствовала о том, что отрасль быстро откликнулась на растущие запросы науки и промышленности. С другой же —

понятно, что чем больше разных приборов одного назначения, тем дороже их производство. А главное — сейчас приборы сравнительно редко применяются индивидуально и все чаще в системах управления. И попытки «впрямь в одну телегу коня и трепетную лань» удаются с большим трудом. Разные габариты, разные присоединительные размеры, один датчик посылает импульсы постоянного тока, другой переменного... Короче, получается и сложно, и недостаточно надежно.

Вместе с тем какой-нибудь измеритель плотности и термометр — вещи совершенно несхожие. Выход, очевидно, в том, чтобы унифицировать не сами изделия, а составляющие их элементы. В данном случае оказалось возможным разработать сравнительно небольшое число типовых «кирпичиков» — блоков и модулей, из которых и собирают разнообразные приборы. Именно в этом суть ГСП — государственной системы промышленных приборов. Сейчас работы по ее созданию в основном завершаются.

Устройства, объединяемые в различных «семействах» ее ветвей — электрической, пневматической и гидравлической, — не только намного экономичнее в производстве, но и точнее, надежнее, удобнее в эксплуатации. Помимо простоты монтажа и высокой взаимозаменяемости составных частей, для них характерна унификация, как мы говорим, входных и выходных параметров. Например, разработаны пневматические и электрические датчики ГСП разного назначения — одни реагируют на изменения температуры, другие улавливают колебания давления, плотности, расхода и т. д. Но в любом случае каждый из них посылает «вовне» стандартный сигнал — импульс давления или тока, величина которых строго ограничена. Ясно, что благодаря этому можно применять практически одинаковые вторичные приборы, шкалы которых показывают в принятых единицах измеряемую величину.

Известная, отмеченная знаком качества система «Старт» (устройства, входящие в нее, делают на московском заводе «Тизприбор») относится как раз к этому классу. Разнообразные приборы и регуляторы собирают из универсальных элементов промышленной пневмоавтоматики (УСЭППА). Ни одна фирма в мире не предложила пока ничего подобного. Лицензии на эту систему проданы в Италию и некоторые другие страны. А сами приборы покупают и японские, и французские, и шведские, и многие иные промышленники.

Есть у приборов ГСП еще одно важное достоинство, которое позволяет утверждать, что им принадлежит завтрашний день. Посылаемые ими сигналы легко расшифровывают электронные управляющие вычислительные машины — без каких-либо промежуточных устройств или преобразователей. Это позволяет создавать эффективные схемы автоматического контроля и регулирования самых разнообразных технологических процессов. Примером такого рода может служить «Сириус» — система для управления котельными агрегатами мощностью до двухсот мегаватт, созданная в Киевском институте автоматики. В ней используются приборы и устройства электрической аналоговой ветви ГСП, действующие в комплексе с вычислительной машиной «Днепр-21». О том, насколько тщательно контролирует «Сириус» работу тепловых установок, нетрудно судить хотя бы по количеству входных сигналов, одновременно принимаемых машиной, — их число может превышать пятьсот.

Надо отметить, что ГСП разрабатывалась не обособленно, а в тесном сотрудничестве со специалистами других социалистических стран — членов СЭВ. Здесь она получила второе название — международная универсальная система приборов (УРС). Такая «перешагивающая границы» унификация изделий — явление очень прогрессивное, выигрыш от нее получают все страны-участницы. Но и внутри Союза

внедрение ГСП сулит эффект, который, как полагают, составит десятки миллионов рублей.

Продукция нашей отрасли весьма многообразна. Если большая группа приборов и машин рассчитана на специальное применение и вряд ли кому из читателей «Нового мира» необходим электронный микроскоп или даже простейшая термopара, то средствами оргтехники (в которые, кстати, входят и различные пишущие устройства) пользуются миллионы.

Оргтехника в более узком смысле слова — средства механизации инженерного и управленческого труда. В широком — все, что помогает человеку собирать, обрабатывать и передавать информацию, а этим мы занимаемся всю свою жизнь. Письмо — информация, чертеж — тоже, но в графической форме; даже размышления можно рассматривать как переработку ранее полученной информации.

Но в частной жизни мы пишем письма редко и, кроме той же автоpучки да бумаги, ни в чем для этого не нуждаемся. В учреждении же далеко не безразлично, чем писать документы, как вскрывать и заклеивать конверты, как регистрировать почту. Эти и им подобные процессы отнимают массу времени. Беда в том, что они слишком обычны, привычны и незаметны. Возможно, поэтому до недавних пор над их рационализацией особо не задумывались. А когда задумались, то обнаружили весьма тревожное явление — колоссальную разницу в темпах роста производительности труда в сферах производства и управления. В первой за последнее столетие она увеличилась в пятнадцать раз, во второй — всего вдвое. И высказывалось даже предположение, что в обозримом будущем все взрослое население Земли придется усадить за конторские и чертежные столы.

По ряду обстоятельств и мы до последнего времени сравнительно мало уделяли внимания этой проблеме. Помимо прочего, трудно было решить ее без надлежащей концентрации административного, научного и технического руководства, короче — вне отрасли. Правда, выпуск средств оргтехники возрастал неуклонно — с 1958 по 1966 год примерно в три раза. Но многие необходимые аппараты и приспособления не изготавливались вообще. Качество выпускаемых нередко оставляло желать лучшего.

Сейчас в министерстве создано специальное управление, ведающее этим делом, — Главоргтехника. Оно довольно быстро наращивает темпы производства: в прошлом году, например, по сравнению с предыдущим — на 25 процентов. В учреждениях и в конторах предприятий можно все чаще видеть на столах автоматические регистраторы, устройства для обработки почты, документов. Ряд новых приборов получили конструкторы.

Шире применяется малая счетная техника. Портативные клавишные машинки в считанные секунды складывают, умножают, делят многозначные числа, избавляя работников от утомительной счетной работы.

Однако я не хотел бы, чтобы меня упрекнули в чересчур мажорном тоне по этому поводу. Спрос на все, что облегчает конторский труд, чрезвычайно велик, и сразу его не насытить. Потребуется большая и упорная работа. Наши планы предусматривают увеличить выпуск средств оргтехники в этом году на 43,6 процента по сравнению с 1965 годом. К концу же пятилетки объем их производства возрастет в 2,3 раза.

За это время намечено разработать свыше двухсот новых конструкций изделий. Большинство из них войдет в специальные комплексы, позволяющие в значительной мере механизировать и автоматизировать основные процессы труда в учреждениях и организациях страны. Например, оборудование для экспедиций крупных учреждений будет включать

регистраторы почты, нумераторы, адресовальные устройства, фальцевальные машины (они перегибают и складывают документы большого формата) и многое другое. Предусмотрено даже устройство, обеспыливающее корреспонденцию, так что понятие «архивная пыль», возможно, в недалеком будущем станет анахронизмом.

Сейчас реконструируются заводы, специализирующиеся на производстве оргтехники, в Сухуми, Благоевценовке и Грозном. Однако приходится с сожалением отметить, что средства, выделяемые плановыми органами на реконструкцию и особенно на строительство новых предприятий этого профиля, пока явно недостаточны.

Диалектика развития производства такова, что по мере количественного его роста — увеличения мощностей, усложнения и укрупнения оборудования — назревают важные качественные сдвиги. Такой сдвиг происходит в нашем народном хозяйстве сейчас — это автоматизация.

Автоматизацию не следует понимать примитивно — только как замену менее совершенных машин, которые без прямого участия человека в их работе «мертвы», более совершенными, способными действовать самостоятельно. Она обязательно должна охватывать функции контроля, регулирования и управления.

Сейчас мы знаем целый ряд технологических процессов — скажем, плавка металлов в крупных конверторах, производство аммиака и т. п., — которые без использования автоматики вообще неосуществимы. Большая группа производств — особенно в химической промышленности — взрывоопасна и должна протекать без присутствия людей: здесь также приходит на помощь автоматическое дистанционное управление. Задача ближайших лет — автоматизировать и те производства, с которыми люди «справляются», но ценой больших затрат рабочей силы и времени, применяя множество дорогостоящих вспомогательных устройств.

С этой целью в министерстве организовано специальное управление — Глававтоматика. Нашими специалистами разработана теория анализа и синтеза систем автоматического регулирования, на основе которой можно проектировать конкретные автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП). Есть и из чего их компоновать: только за последние пять лет выпуск приборов и средств автоматизации увеличился в 1,8 раза, удельный вес их в общем объеме приборостроения перевалил за 50 процентов.

Используя эти предпосылки, мы сделали в прошлом году первый шаг — внедрили в промышленность 164 такие системы. Общая экономическая эффективность их составляет около 26 миллионов рублей.

Принцип АСУТП можно пояснить на примере системы оперативного управления производством аммиака, которая действует сейчас на Ново-Московском химическом комбинате. «Мозг» ее — электронно-вычислительная машина. Сюда поступает информация от множества датчиков, установленных непосредственно на оборудовании. Таким образом, в каждый момент машина «осведомлена» о ходе процесса, который математически моделируется в вычислительном устройстве. А поскольку ей задана программа оптимизации, то она, сопоставляя полученные данные, рассчитывает наилучшее распределение нагрузки между рабочими аппаратами, заблаговременно замечает опасные отклонения и выдает рекомендации, как их устранить. Соответствующие команды поступают на механизмы, непосредственно регулирующие работу оборудования.

Системы такого рода окупают себя очень быстро — в течение одного-двух лет.

Однако создание АСУТП — лишь одна из ступеней автоматизации. На повестке дня — внедрение автоматики в такие сферы, которые еще недавно считались подвластными только человеческому разумению. Речь идет о разработке систем автоматического управления целыми предприятиями (АСУП) и даже отраслями промышленности (ОАСУ). Я хочу особо подчеркнуть, что мощным стимулом технического прогресса в этой области стала хозяйственная реформа.

Новая система планирования и экономического стимулирования требует строгой согласованности в работе всех звеньев хозяйственного аппарата — производства, снабжения, сбыта. Между ними и внутри каждого из них циркулируют все возрастающие потоки информации. Ее необходимо своевременно анализировать. А методы, которыми это делали до сих пор, крайне несовершенны. Попытки решить проблему, увеличивая число людей, занятых в управлении, совершенно несостоятельны — это все равно, что печатать газету на пишущих машинках. Помочь тут может только одно — надо переложить бремя основной работы с человеческого мозга на электронный.

Что же такое АСУ вообще? Мы понимаем под ними комплекс методов и средств, позволяющих решать задачи планирования, учета и выработать необходимые воздействия, чтобы осуществить целевые функции управления.

Так оптимальное сочетание автоматизации управления машиностроительными предприятиями с научной организацией труда позволяет, по некоторым оценкам, увеличить производительность труда на 20—30 процентов, объем выпускаемой продукции — на 25—30 процентов. Себестоимость изделий уменьшается примерно на одну десятую.

Не вдаваясь в детали этой сложной работы, состоящей из ряда этапов, я попытаюсь пояснить принцип функционирования подобных систем на примере одной из них — системы производственного планирования и оперативного контроля за ходом крупносерийного и массового производства. Она спроектирована в Центральном научно-исследовательском и проектно-технологическом институте организации и техники управления для Минского тракторного завода. Проект рекомендован как типовой для десяти аналогичных предприятий.

Начнем с того, что завод имеет месячный план выпуска продукции. На него разрабатывается конструкторская спецификация (своеобразная роспись узлов и деталей) и для каждого изделия — технологический маршрут (последовательность обработки, передачи со станка на станок и т. п.). Эти данные в закодированном виде передаются в вычислительную машину «Минск-22». Память ее хранит необходимые сведения о количестве и характере заводского оборудования, о том, какой задел остался с прошлого месяца, о его норме. Используя их, машина рассчитывает по заданной программе потребность каждого цеха в узлах и деталях, в рабочей силе, материалах, загрузку оборудования, выдает цехам месячные планы с учетом обеспеченности их всем необходимым. Если окажется, что каких-то данных для расчета недостает, автоматически печатается соответствующий запрос. Если все в порядке, то в конце концов каждый мастер получит составленный без вмешательства человека рабочий документ — сводку деталей, которые надо запустить в производство.

Цехи оснащаются так называемыми периферийными устройствами, назначение которых собирать информацию о положении дел на местах. Это самые разнообразные сведения — о выходе людей на работу, о простоях, о количестве изготовленных изделий и т. п. Методы сбора информации также различны — например, явку в цех рабочий отмечает, опу-



ская в специальный аппарат жетон с закодированными обозначениями, а работу оборудования регистрируют автоматические датчики.

Собранные данные фиксируются на перфоленте и передаются в машину. Здесь опять-таки создается математическая модель, отражающая реальное производство с его успехами и неполадками. Кто-то опоздал, кто-то перевыполнил сменное задание, какой-то станок остановился из-за поломки — все это запомнит «электронный мозг» и соответственно скорректирует очередное задание, которое выдается в конце обусловленного периода. Кроме того, вычислительное устройство регулярно составляет и печатает необходимые оперативные сводки.

Строгое соблюдение последовательности производственного процесса, всесторонний учет самых разнообразных факторов, влияющих на его ход, и равномерно повторяемая коррекция — характерные черты АСУП. Такие системы вносят в управление стройность и четкость математического мышления, освобождают квалифицированных специалистов от утомительной писанины, дают возможность принимать своевременные и обоснованные решения.

Немного об ОАСУ. Первую отраслевую автоматизированную систему управления мы разрабатываем сейчас для себя, но принцип ее построения послужит основой для создания других, аналогичных. Предполагается, что они будут состоять из ряда подсистем, каждая из которых решает какую-то группу задач. Например, подсистема перспективного планирования, развития и размещения отрасли должна обеспечить разработку планов развития строительства, ввода мощностей, а также сводного баланса капитальных вложений. Подсистема управления материально-техническим снабжением охватывает составление оптимального плана распределения материальных ресурсов, прогнозирование потребности в них отрасли, контроль за реализацией фондов, а также механизацию трудоемких расчетов.

Все подсистемы связываются между собой информационными каналами; итоговые данные, полученные в одной из них, могут оказаться исходными в другой, поскольку отрасль — единый организм.

Низовыми ячейками ОАСУ послужат заводские системы планирования и управления, объединяемые между собой с помощью информационно-вычислительного центра министерства. Электронные машины, используя нормативные данные, заложенные в запоминающих устройствах, обеспечат обработку поступающей с предприятий оперативной информации. Они будут выполнять все расчеты, необходимые для принятия решений, направленных на более полное использование производственных мощностей, увеличение выпуска продукции, улучшение экономических показателей.

Кое-что в этом направлении уже сделано — например, в текущем году четверть предприятий отрасли работают по планам, составленным с помощью вычислительной техники. Точный расчет показал, что без дополнительных затрат можно увеличить прибыль этих заводов на 10—15 миллионов рублей.

Сейчас наш вычислительный центр регулярно получает по телетайпам информацию о важнейших показателях производственной деятельности со всех предприятий отрасли, обрабатывает эти данные и направляет в соответствующие главки. Не нарушая самостоятельности заводов, мы можем вовремя оказывать им необходимую помощь. Но, повторяю, это только начало.

Создание автоматизированных систем управления — дело чрезвычайно сложное. В течение пятилетки предстоит создать 28 систем для отраслей и 309 — для предприятий! Делом этим сейчас занято в той или

иной мере свыше двухсот организаций и наших, и академических, и других министерств и ведомств.

К сожалению, многие из них работают малыми силами. Мы считаем, что решение столь важной проблемы требует лучшей координации, регулярного обмена опытом, четкой специализации разработок. При таких условиях выполнить намеченное вполне реально.

\* \* \*

Я рассказал о наших ближайших планах, и, безусловно, эти бегло очерченные направления работ отнюдь не исчерпывают всех задач нашей отрасли. Ведь мы производим не только электронные машины и автоматику, но и разнообразную испытательную и измерительную технику, приборы для научных исследований и целый ряд изделий бытового назначения: часы, сувениры и многое другое. Номенклатура нашей продукции быстро обновляется. Это понятно — приборостроение должно не просто поспевать за требованиями науки и промышленности, но и обгонять их в какой-то мере, обеспечивая перспективы технического прогресса в других отраслях. Некоторые наши заводы, например, заранее извещают проектировщиков о заканчиваемых разработках с тем, чтобы в проекты новых предприятий закладывалась самая передовая техника, выпуск которой будет освоен в ближайшие годы.

Прочную основу для дальнейшего развития собственного производства мы видим в новой системе планирования и экономического стимулирования, распространившейся ныне на все наши предприятия. Значительное повышение производительности труда, улучшение структуры основных фондов, быстрый рост выпуска продукции — таковы ее важнейшие следствия, если судить по опыту заводов, которые уже год или больше работают в условиях экономической реформы. Все это позволит наиболее полно использовать ресурсы отрасли для удовлетворения потребностей народного хозяйства. Я уверен — ближайшие годы ознаменуются ускоренным техническим прогрессом во всех областях производства. И мы знаем, что основы его закладывают сегодня приборостроители.

*Беседу записал В. Бегишев.*



---

---

ПИМЕН ПАНЧЕНКО

★

## ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

*С белорусского*

Был этот день особенный, приметный.  
Смывала даль ночную синеву,  
И купол неба, золотой и медный,  
Качался, опрокинутый в Неву.

Гудки гудели, билось эхо в арках,  
И все ж плыла такая тишина,  
Что за версту была от синих парков  
Возня птенцов пискливая слышна.

Спешили на работу ленинградцы,  
И памятники искрились росой...  
Пускай дворцы простят, что любоваться  
Сегодня буду я не их красотой,—

Я в это утро тихое с поклоном  
Пришел к тебе, бессмертный Ленинград,  
От наших нив, криниц, лесов зеленых —  
Ты первый Революции солдат.

Простор Невы, мосты, и шпиль, и Зимний,  
Стена любимая, каждый камень твой  
Звучали в сердце, как слова в том гимне,  
С которым шли отцы на смертный бой.

Я не могу пуститься в путь далекий,  
Навстречу всем ветрам чужих морей,  
Пока душой не припаду к истоку,  
Вспоившему семью богатырей.

Не будет правды мне и вдохновенья,  
Покуда не пройду по тем местам,  
Где жил, и мыслил, и творил наш Ленин,  
Чтоб в новый мир открыть дорогу нам.

Смотрю на площадь из-под крыльев арки,  
И отзвук перестрелки в сердце бьет,  
И, опалив меня дыханьем жарким,  
На приступ Революция идет.

И я уж тем вознагражден сторицей  
 И тем до смерти буду дорожить,  
 Что вышло мне в Семнадцатом родиться,  
 С минуты первой в новом мире жить.

Я хвастать этим права не имею,  
 А все ж скажу: ты, Родина, прости —  
 Себя я веткой чувствую твоею,  
 На дереве ином ей не расти.

И по каким дорогам ни пройду я,  
 И по каким морям ни проплыву,  
 Под крышею какой ни заночую —  
 Твоей судьбой, тобой одной живу.

И, может, землям дальним, непогодным,  
 Вобравши в сердце всю твою красу,  
 Из пламени Семнадцатого года  
 Хоть небольшую искру занесу.

*Перевел Н. Кислик.*

\* \* \*

Митинги великой революции —  
 Общий гнев,  
 И боль,  
 И общий стон.  
 Заседанья ради резолюции —  
 Общий шум  
 И скука.  
 Общий сон.

Слово правды,  
 Ты нас вдохновляло  
 В час беды,  
 На линии огня.  
 Слово фальши,  
 Ты нас усыпляло:  
 Равнодушных болтунов трепня.

Я хочу, чтоб для большого  
 только,  
 Только  
 для великих слов и дел,  
 Собирая дружных и усталых толпы,  
 Призывающий набат гудел.

*Перевел Б. Слуцкий.*



---

СЕРГЕЙ ОРЛОВ

★

## В ЭЛЕКТРИЧКЕ

А наши песни остаются.  
И в пригородных поездах  
Они опять всюду поются,  
Как мы их пели на фронтах.  
Есть на веревочке гитара,  
Своя компания вокруг.  
И нет на свете песни старой,  
И времени замкнулся круг.  
Поют ее, как мы певали,  
Вдруг повзрослевшие юнцы.  
Поют опять — не трали-вали,  
А то, что деды и отцы,  
Когда им было лет по двадцать,  
Когда казалось — тишь и гладь,  
А завтра надо призываться,  
А послезавтра умирать.  
Летит вагон заре вдогонку,  
Ах, как натянута струна!  
И мы стоим, грустя в сторонке,  
И родина на всех одна.



---

МАКСИМ ТАНК

★

## ЛИСТКИ КАЛЕНДАРЯ

*С белорусского \**

О Т А В Т О Р А

«Листки календаря», печатающиеся в «Новом мире», — это фрагменты моих дневников, которые я писал до 1939 года, до воссоединения Белоруссии.

Первые записи относятся к 1932—1934 годам, когда я работал в подполье и за участие в революционно-освободительном движении был арестован и отсиживал срок в известной виленской тюрьме Лукишки. Эти тетрадки, заполненные моими стихами, рассказами, очерками, народными песнями, поговорками, собранными во время бесконечных странствований от села к селу — главным образом материалами литературного характера, — затерялись в разных актах судебных следствий.

Чудом, как говорится, уцелели страницы дневников, относящиеся к 1935—1939 годам, когда я был на легальном положении и по заданию компартии Западной Белоруссии работал в белорусских и польских журналах и газетах Народного фронта: «Наша воля», «Попросту», «Белорусская летопись», «Колосья» и других. Уцелели они благодаря тому, что хранились в библиотеке Белорусского музея имени Ивана Луцкевича и у родителей в моей родной деревне Пильковщине, где полиция, несмотря на частые налеты и обыски, не удалось обнаружить наших лесных тайников, в которых мы прятали и подпольную коммунистическую литературу, и допотопное ружье моего деда — страстного охотника.

К сожалению, в дневниках, которые уцелели в рукописном фонде Академии наук Литовской ССР, кто-то похозяйничал, изъяв из них акты моих судебных обвинений, приговоры, а самое главное — тюремные «грипсы» со стихами В. Тавлая, Ф. Пестрака и других товарищей, переданные мне в 1935—1937 годах. Остались только пустые конверты с перечнем материалов, которые находились в них.

Больше всего записей сохранилось у меня на родине, в моей родной Пильковщине, которая в годы войны была партизанским районом. Туда немецко-фашистским захватчикам удалось проникнуть только два раза, во время блокады района.

Спасая мои рукописи и книги от огня войны и от курильщиков (бумаги было не достать), отец закопал их в лесу, где они и пролежали до конца войны, до моего возвращения домой.

Вот короткая история дневников, многие страницы которых я еще не смог полностью расшифровать: прошло уже тридцать лет с тех пор, когда они были написаны. Особенно трудно сейчас по инициалам и кличкам установить имена товарищей, знакомых, друзей, с которыми мне приходилось работать, встречаться в те годы. У меня у самого тогда было несколько кличек и псевдонимов. Только после воссоединения Белоруссии я узнал подлинные имена и фамилии таких руководящих работников компартии,

---

\* Полностью «Листки календаря» опубликованы в журнале «Полымя» на белорусском языке (№№ 1—4, 1967, Минск).

как Павлик — Самуил Малько (в настоящее время генерал польской армии), Гриша — С. Смоляр (участник партизанского движения в Белоруссии, редактор еврейской газеты в Варшаве), Герасим — Н. Дворников (бывший секретарь ЦК комсомола Западной Белоруссии, героически погиб в Испании в 1937 году), Кастусь — М. Криштофович (в годы Отечественной войны был одним из руководителей партизанского движения на Брестчине, заместителем председателя Брестского облисполкома, пенсионер), и других.

В дневнике часто упоминается Лю — моя жена Любовь Андреевна Скурко, с которой я познакомился еще в виленской белорусской гимназии. В 1935—1937 годах она работала в Варшаве в ЦК КПЗБ<sup>1</sup> машинисткой и переводчицей. В Вильно, в доме, где жили ее родители, всегда были подпольные явки, скрывались многие коммунисты. В 1934 году на их квартире было проведено совещание революционных писателей Западной Белоруссии. Одним из организаторов этого совещания был Валентин Тавлай.

По понятным причинам в своих дневниках я не мог записать всего, о чем тогда говорилось на подпольных встречах, какие принимались решения, какие читались и изучались партийные документы.

Наиболее тяжелыми для нас, коммунистов, были 1938—1939 годы, когда по ложному обвинению были распущены компартия Польши, КПЗУ и КПЗБ. Трудно представить себе весь трагизм тех лет и особенно трагедию товарищей, которые находились в подполье и в тюрьмах.

Мне было легче. Я был на легальном положении. И у меня оставались мои стихи.

### 1935 год.

#### 7/1.

Листки моего календаря перевортывает и треплет грозовой ветер. Некоторые из них я сам вырываю и уничтожаю. Трудно по такому календарю жить, еще трудней будет когда-нибудь воскресить минувшее.

Мне и сегодняшней день нужно было бы вырвать и уничтожить — хоть и жалко, потому что был он наполнен интересными встречами, мыслями, мечтами. Но, чтобы все это не послужило основанием для появления нового опуса пана прокурора Д. Петровского, я только запишу, что был у меня день седьмого января, когда в Закрете шел мокрый снег, когда в моем кармане было только тридцать грошей на хлеб, а в голове — начало нового «бунтарского» стихотворения. И что ко всему этому я замерз, как цуцик. Только на старой своей квартире (ул. Буковая, д. 14) немного отогрелся. Любина мама угостила меня дранниками и кружкой горячего чая.

Внимательно прочел воззвание Лиги защиты прав человека и гражданина, в котором сказано про Картуз-Березу, что это — лагерь почище царской каторги. В предновогоднем номере «Работника» напечатано требование ликвидировать Березу и привлечь к ответственности виновных в преступлениях против арестованных. Это первая брешь в стене молчания, воздвигнутой вокруг застенков концлагеря.

До полночи осталось пятнадцать минут. Интересно, сколько часов, ночей, дней, сколько еще лет — до настоящего рассвета?

#### 8/1.

По соседству с домом, в котором живет П., — четыре костела. Можно оглохнуть, когда в воскресенье все они одновременно начинают звонить. На несколько дней одолжил у П. «Левар» и «Журнал для всех» (1932), который, помню, так быстро был конфискован полицией, что я даже не успел ощутить запах типографской краски первых моих напечатанных стихотворений. Показал он мне и журнал «Ледолом», изданный группой белорусских студентов, и львовскую одноднев-

<sup>1</sup> КПЗБ — Коммунистическая партия Западной Белоруссии.

ку «Белорусская жизнь» (7.IV.32) с моим стихотворением «Забастовали фабричные трубы», которое я впервые подписал своим новым псевдонимом — Максим Танк.

9/1.

Забегал к Т. Он рассказал мне о героической смерти Андрея Малько. Когда осужденного подвели к виселице, он крикнул в лицо своим палачам: «Вешайте зыше, чтоб видно было мне, как горят ваши маёнтки...»<sup>1</sup>. Я вспомнил весеннее утро в Лукишках, стук топоров, который мы слышали в своих казематах, когда ему сколачивали виселицу, а потом — маленькие красные листочки, развешанные в Мяделе, в которых сообщалось о его смерти. Красные листочки! Как часто они появляются на наших дорогах! Нужно о них написать. Вот так и не могу никак расстаться с горькой тюремной темой.

21/1.

После долгого ожидания, ночью, Кирилл Коробейник с хлопцами принесли несколько мешков литературы. Мы сразу ее распределили: часть послали на Зворначь, часть на Нарочь. Я оставил себе почитать только сборники советской поэзии, несколько журналов и «Библию для верующих и неверующих». Все это спрятал в старом каменном завале, где когда-то дед прятал свое допотопное ружье, пока не нашел ему лучшего места на гумне.

По-видимому, на днях поеду в Вильно. Говорят, там снова начались стычки, антисемитские выступления эндеков<sup>2</sup>, битье окон, витрин на Немецкой улице.

15/II.

В старых своих бумагах нашел переписанную от руки еще в 1932 году поэму Маяковского «Облако в штанах», переведенную на польский язык Ю. Тувимом. Чернила выцвели, и текст едва разберешь. Нужно заново переписать ее или лучше выучить на память. Эх, если бы мог я где-нибудь найти эту вещь на русском языке!..

7/IV.

Закончил на польском языке небольшой рассказ о жизни безработных. Хочу послать его на конкурс в одну из левых газет. Это будет уже третий мой рассказ. Хоть бы на него, как на предыдущие, не получить грустный ответ: «Газета закрыта...»

С трудом заставил себя дочитать Хлебникова. Мне кажется, что такими экспериментами могут заниматься поэты, перед которыми никогда не стоял вопрос, быть или не быть их родному языку. Даже завидно, что есть на свете писатели, которых никогда не тревожила эта проблема.

8/V.

Тревожные вести привез К. со своей Гродненщины. Рассказывал, как у них распоясались фашистские элементы, как они готовятся к «ночи длинных ножей».

<sup>1</sup> Маёнтки (польск.) — поместья.

<sup>2</sup> Эндеки — национал-демократы.



И в Вильно эндекские пикетчики, вооруженные кастетами и палками, часто патрулируют возле еврейских лавочек и магазинов и уговаривают покупателей присоединиться к ним, не покупать у евреев, а только у поляков, у которых у всех витринах выставлены иконы с «маткой боской Остробрамской». На Погулянке видел матку боску рядом с бутылками водки и вина, а в магазине галантереи — в окружении женского белья, чулок, бюстгалтеров. Но всех переплюнул владелец аптеки на улице Мицкевича, выставивший ее рядом с рекламой противозачаточных средств.

### 9/V.

До встречи с П. еще было много времени. Чтобы не обращать на себя внимания, я присоединился к какой-то похоронной процессии, которая направлялась к кладбищу Росса. Крутой тропкой я дошел до так называемой «Белорусской горки», где похоронено много разного рода деятелей. На гранитных и мраморных плитах — «Вечная память...», «Вечная слава..», «Всегда будем помнить...». Кому нужна эта «поэтическая» ложь? И все же надмогильные памятники подсказали мне интересную тему, за которую, вернувшись домой, сразу примусь.

У нас литературе придается величайшее значение, которого у других народов она уже давно не имеет. Не находя в сегодняшней своей жизни справедливости, народ ищет в литературе ответы на все тревожащие его вопросы. У нас нет разницы между литературой и воззванием, литературой и забастовкой, литературой и демонстрацией, поэтому почти на всех политических процессах рядом с борцами за социальное и национальное освобождение на скамье подсудимых находится и наша западнобелорусская литература.

Почти с годовым опозданием Н. познакомил меня с материалами Первого съезда советских писателей БССР — с докладами Бронштейна, Климковича, Кучара. С некоторыми их оценками я не согласен. Но самое важное — какая в Советской Белоруссии растет большая, настоящая литература! Даже завидно. Ведь здесь у нас не только не у кого учиться, но даже не с кем всерьез потягаться. Сегодня Западная Белоруссия — мешок, затянутый полицейской нагайкой, ксендзовскими четками и петлей пана Матиевского<sup>1</sup>, в котором из-за отсутствия свежего воздуха гаснет всякий свет — даже лучина.

### 22/VI.

Наверно, нигде, кроме предместий Вильно, нет такого количества тихих, глухих улочек в зелени садов и огородов, прячущихся среди пригорков и сосняков. Некоторые трудно даже найти, а найдя — выбраться из них. На Полоцкой познакомился с одним заядлым голубятником, который чуть ли не полдня не отпускал меня, пока не показал всего своего хозяйства и всех своих крылатых подопечных. На Завальной встретил целый обоз подвод с бочками, ушатами, маслобойками, ведерками. Даже не удержался, спросил, откуда все это везут.

— Из Куренца, из Костеневичей, Кривичей, — ответил один из возниц.

Я долго смотрел на эти возы, нагруженные стихами, поэмами моих родных околиц.

Как часто в поисках поэзии блуждал я по бездорожьям! А она вот только что проехала мимо на скрипучих крестьянских телегах, заполнив запахом смолы всю улицу.

<sup>1</sup> Пан Матиевский — палач в Польше.

27/VII.

Против влияний разного рода бесплодных модернизмов западно-белорусская литература получила надежную прививку, сделанную нашими «опекунами» при помощи каучуковых дубинок. Поэзия наша — тяжелая, как булыжник, вырванный из мостовой в час уличных боев, неблагозвучная, как стон или крик... Другой она сегодня и не может быть. Что до меня, так я интересовался и интересуюсь разными школами и направлениями, но опасаясь, как бы не попасть на прокрустово ложе их теорий. Пока что меня спасает чувство главного направления, как старого коня — чувство дороги.

29/VII.

Целый день просидел я в библиотеке имени Врублевских в отделении советики. С. дал мне несколько переведенных на польский язык стихотворений Элюара. Это было путешествие в еще одну незнакомую мне страну поэзии. Беда только, что я с опозданием открываю давно известные другим части света.

5/VIII.

Владек Борисович привел меня на Скоповку, где в доме № 5 размещалась редакция «Попросту». Он дал мне несколько экземпляров первого номера газеты, которая сегодня отмечает день своего рождения, и одолжил мне на несколько дней поэму Чеслава Милоша «О застывшем времени». Наконец-то я купил себе за четырнадцать злотых «батовские» туфли. Как научиться ходить так, чтобы не слишком быстро снашивать обувь?

7/XI.

Во вчерашнем номере «Курьера виленского» напечатана статья о выступлениях Я. Коласа, М. Климовича и А. Александровича на съезде советских писателей в Москве. Статья злобная. Видно, писал ее кто-то из санационных или хадекских<sup>1</sup> кругов, скрывшись под латинской буквой «F», потому что сама газета до этого времени белорусскими делами почти совсем не интересовалась. И вдруг...

Поздно, опустевшими улицами возвращался на свою квартиру. Только на Колеевой под тенью старых тополей слонялись проститутки да у Острой Браны попрошайничали несколько богомольцев. Бледный свет качающихся фонарей блуждал по их согнутым плечам, по молчаливым стенам костела, по рекламным афишам кино, среди которых выделялась безобразная маска «Франкенштейна». Ночь темная. В небе — редкие звезды, словно остальные склевали журавли, отлетая в теплые края. Вчера, когда был на Антоколе, неожиданно услышал их курлыкание. И не было человека, который не остановился бы и не проводил их взглядом.

22/XI.

Приехал Кирилл Коробейник. Рассказал, что перед самыми Октябрьскими праздниками кто-то на братские могилы красноармейцев, что около нашей Красновки и в Липовском бору, возложил венки с над-

<sup>1</sup> Хадеки — христианские демократы.

писями на красных лентах: «Да здравствует революция!», «Да здравствует КПЗБ!» Полиция несколько раз устраивала засады в лесу, но так никого и не поймала.

Расправившись с селедкой и выпив по несколько стаканов чаю, мы пошли с Кириллом на Остробрамскую улицу в магазины белорусской книги. Ребята со Слободы и Мацков просили его привезти белорусские календари. Но Кирилл, кроме календарей, купил еще «Симона-музыку» и «Венок», портреты Я. Купалы и Я. Коласа. Он, наверно, последние деньги оставил бы тут, если бы я ему не пообещал некоторые книги с помощью дяди Рыгора бесплатно достать в Товариществе белорусской школы. И правда, день этот выдался урожайный. Наколядовали мы с ним целый мешок литературы: Маркс, Энгельс, Плеханов, Сталин, несколько экземпляров хрестоматии Дворчанина, песенники, несколько годовых комплектов старых журналов, сборники одноактных пьес...

Возле еврейского клуба «Макаби» встретили группу пьяных корпорантов. Слышно было, как где-то зазвенело разбитое стекло.

Проводив Кирилла к поезду, поздней ночью вернулся в свою снеговую конуру. На некоторых улицах почему-то совсем не горели фонари. Густой туман опустился на город. Только извозчицьи лошади, на память знающие все виленские закоулки, гулко цокали подковами по промерзшей мостовой.

### **1936 год.**

9/1.

В Вильно открылся большой политический процесс так называемой «Левицы академицкой». На скамье подсудимых — настоящий интернационал: поляки, белорусы, литовцы, еврей — Ендриховский, Штахельский, сестры Дэвицкие, Петрусевиц, Околович, Смаль, Шакола, Урбанович, Друта, Лифшиц. Всех их обвиняют в принадлежности к КПЗБ. Официальные круги растерянно и с сожалением сетуют на то, что пропаганда с востока начинает проникать и в среду польской интеллигенции... Надо скорей ехать в Вильно, чтобы успеть на этот процесс.

Вчера было затмение луны. Но увидеть его не удалось — небо было пасмурным. Несколько раз мы выходили с дедом во двор. Думали, распогодится.

Когда ветер утих, слышно стало, как где-то в Неверовском выли волки. До поздней ночи переписывал свои новые стихи, которые думаю отдать в «Нашу волю»...

15/1.

Дорога, дорога! Под скрипучее пенье полозьев я задремал. Проснулся только за Сватками, почувствовал, как мороз начинает хватать меня за ноги. От озера почти до самого Городища шел или бежал за розвальнями. В бору догнал возниц из Габов, которые везли доски и шпалы. Некоторые из них узнали отца, стали расспрашивать, куда едет. Плотней закутавшись в тулуп, я зарылся в солому и, чтобы снова не уснуть, начал обдумывать свои виленские дела, встречи, планы, хотя последние так часто в моей жизни менялись, что о них не стоило думать.

Даже не заметил, как мы доехали до станции Кривичи. Привязали к вокзальной ограде своего Лысого и подбросили ему кошель с сеном. Решили, что отец не будет дожидаться моего отъезда — и время позднее, и конь может, испугавшись поезда, наделать беды. Попрощались. Вскоре холодная темень ночи проглотила коня и розвальни со сторб-

ленной фигурой отца, которому я столько в жизни стоил забот и который теперь один, я знаю, обеспокоенный, встревоженный, возвращается домой.

Вскинув на плечи мешок с домашними харчами, замерзший, я полпелся к темному зданию вокзала. Только за полчаса до прихода поезда там возле кассы зажигали лампу, а на перроне — два газовых фонаря. Я всегда любил присутствовать при этой операции, а потом вместе со знакомым железнодорожником ждать со стороны полустанка далекого паровозного гудка и грохота колес пассажирского состава.

19/1.

Последнее время в Вильно и разных уездных центрах правительственные круги организуют многотысячные антилитовские митинги и демонстрации, на которых выступают генералы (Осиковский, Желиговский), старосты, войты, требующие амнистий для поляков в Литве, школ, свободы слова — всего того, что сами не дают тут ни литовцам, ни белорусам, ни евреям.

Видно, я ошибался и продолжаю ошибаться, деля стихи на агитационные и лирические. Поэзия едина. Все дело в том, как получить этот чудесный сплав. А пока что — портим темы. И какие темы! Прочитал годовой комплект «Колосьев» за 1935 год. Если бы не было перепечаток из советской белорусской прозы — Зарецкого, Лынькова, а в поэзии — наших классиков, — очень бедно выглядела бы литературная часть этого журнала. Западнобелорусская поэзия представлена пасторальками. Диву даешься: откуда они у народа, жизнь которого полна трагедий?

Сегодня потерял день в ненужных препирательствах с безнадежным графоманом — хадеком, которого кто-то прислал ко мне из «Пути молодежи». Следовало бы вставить в утреннюю молитву слова: «Сгинь навеки все, что мешает работе!»

27/1.

Наверно, нигде не дуют такие пронизывающие ветры, как на Зверинецком мосту и Лукишской площади. Единственное спасение — бежать под защиту кирпичных домов. Около ресторана «Затишье» меня остановили крики газетчиков:

— Экстренное приложение «Курьера»!

— Выстрелы в здании суда!

За пять грошей я купил газету. В мигающем свете фонаря прочел: «Дня 27/1 с. г. в окружном суде в Вильно рассматривалось дело Регины Колен и других семнадцати человек, обвиняемых в принадлежности к КПЗБ. Во время показаний Якуба Стрельчука из публики, находившейся в зале суда, к свидетелю подошел молодой человек и, схватив его левой рукой за ворот пиджака, четыре раза выстрелил в него из револьвера, потом бросился бежать к дверям, которые были в это время открыты, так как вышел служащий суда Голонб.

За покушавшимся бросилась полиция и работники секретной службы, от которой он отстреливался и одного человека ранил в ногу... Из главного вестибюля он повернул на лестницу, направляясь к выходу из суда, но был ранен полицией и упал на ступеньки. Человек этот оказался Сергеем Притыцким<sup>1</sup>...»

Такие случаи были известны и раньше, но в этом было что-то неизмеримо большее. Каким нужно быть мужественным революционером,

<sup>1</sup> Сергей Притыцкий — ныне секретарь ЦК КПБ.

чтобы отважиться привести в исполнение приговор над предателем в самом логовище врага!

Я несколько раз пробежал глазами скупую информацию ПАТ<sup>1</sup>, напечатанную большими буквами во всю страницу газетного листа. Хотелось обо всем узнать более подробно, но больше я ничего не нашел, а вторая страница газеты, к сожалению, была пуста.

Когда в эту сырую, ненастную ночь я притащился в свою конуру, хозяйка, ее дочка Оля и их гость, бывший царский офицер Rogozin, — все уже знали о событиях в суде. Вслед за мной пришел с этой вестью и Сашка Ходинский.

...Когда все разошлись, погасив свет, мы с Сашкой еще долго не могли уснуть, все говорили о подвиге Сергея Притыцкого.

### 2/II.

Только пять минут осталось до полночи. Кажется, можно считать, что день прошел без неожиданных происшествий и гостей. А может, еще рано? Помню, как-то рассказывала мама, как их задубенский сосед за праздничным столом сказал: «Вот теперь, если б я даже тяжело заболел, так до Нового года все ж дотянул бы» — и тут же, бедолага, подавился костью.

### 3/II.

Был с Путраментом в Союзе польских писателей, где он познакомил меня с Марианом Чухновским. Народу собралось столько, что трудно было найти свободное место не только в зале, но и в коридоре. Чухновский читал фрагменты из поэм «Трудная биография», «Смерть и паводок», «Женщины и лошади». Путрамент, кажется, собирается что-то писать об этом вечере и о поэзии Чухновского для газеты «Попросту». Чухновского он считает одним из самых способных и интересных современных польских поэтов. Мне же кажется, что, хоть его стихи и необычные и проникнуты революционным духом, пахнут потом и сырой землей, слишком мало в них поэзии. Может быть, я ошибаюсь, как человек, воспитанный на совсем других традициях. Нужно будет еще раз внимательно самому прочитать все эти произведения, которые произвели на всех большое впечатление.

Даже стыдно признаться, что я столько раз проходил мимо древних стен Базилянского монастыря, где разместились белорусская гимназия, интернат, музей и духовная семинария, и до этого времени не знал, что рядом — «камера Конрада», в которой когда-то сидел арестованный Адам Мицкевич. Сейчас здесь находится отделение Союза польских писателей. Эти массивные стены, тяжелые своды, мрачные коридоры и сегодня напоминают тюрьму.

В редакции «Нашей воли» познакомился с рабочими стеклозавода «Неман», где около семисот человек объявили забастовку. Они привезли для газеты интересный материал о положении рабочих на этом предприятии пана Штолле. От К. узнал, что завтра начинается процесс над одиннадцатью людьми из Глубокого, обвиненными в принадлежности к КПЗБ.

### 9/II.

На рассвете приехал Д. Снежные бураны, говорит, совсем замели мою Мядельщину. Он едва смог добраться до узкоколейки. В Лынтупах

<sup>1</sup> ПАТ — Польское телеграфное агентство.

полиция обыскала его, но ничего не нашла, отпустила. А он вез важные сведения о выступлении рыбаков в Пасынках, Черевках и Купе...

Пришло письмо из дома. Отец жалуется на зиму: все еще не замерзло болото и они не могут из Неверовского вывезти сено. Некоторым мужикам уже нечем кормить скотину. Молятся, чтоб скорей наступили морозы, а то и в лес нет доступа.

#### 5/IV.

В последние дни по всему Вильно прошла волна обысков и арестов. Еду в Варшаву. Взял с собой в дорогу интересную повесть И. Рота. Он, кажется, до конца своей жизни оставался заядлым католиком и монархистом. Сосед мой по купе — какой-то пожилой корпорант, видимо, один из тех самых вечных студентов, — увидев у меня книгу знакомого и, может, близкого ему по духу автора, начал рассказывать, как он познакомился в Австрии с родственницей Рота... Около Ново-Вилейки подсел к нам цыган — загорелый, плечистый.

Почему-то пришли на память строчки Рембо:

Юнец не любил бога, а только людей черных...

В сумерки начал сыпать снег.

Варшава встретила меня такой непогодью, что я вынужден был забежать в первую попавшуюся чайную, чтоб немного погреться. Потом долго блуждал по городу в поисках ночлега. Ко всему еще забастовали трамвайчики. Только благодаря своим выносливым, тренированным ногам мне удалось несколько раз обойти Прагу, Старе Място, Жолибож. Может, поэтому мне и не понравилась Варшава. Дождь, ветер, грязь. Да и я, незнакомый с городом, во избежание нежелательных встреч, ходил больше по закоулкам предместьев и не видел самых красивых кварталов. Вечером, когда встретился с С. на Черняховской, ноги мои ныли, как после перехода из Лукишек в Пильковщину. Жаль, что не мог встретиться с Лю, хоть несколько раз и проходил мимо ее дома. Ночевал у сапожника К. Комнатка ветхая, старая, неудобная. Еще хуже моей конуры на Снеговой улице.

#### 6/IV.

Делегация наша состоит из трех человек. От имени молодежи Гродненщины мы передали в редакцию «Работника» мемориал о зверствах полиции, о пытках, издевательствах, которым подвергались люди, добивавшиеся открытия белорусских школ. Посетили посла Дюбуа<sup>1</sup>. Он пообещал нам помочь опубликовать наши материалы в газете. Дюбуа я когда-то раньше видел на одном из первомайских митингов в Вильно, слышал его пламенное выступление в Малом городском зале. Сейчас, может быть, потому, что он сидел за своим рабочим столом, он показался мне меньше ростом, не таким богатырем, каким я его запомнил на трибуне. Ему, видимо, было приятно, когда я, прощаясь, напомнил ему о митинге в Вильно и о том, какое незабываемое впечатление на участников митинга произвело его выступление.

От Дюбуа мы направились в Лигу защиты прав человека и гражданина, к Андрею Стругу. Но Струг был болен, и мы не смогли с ним

---

<sup>1</sup> Дюбуа — один из лидеров левого крыла Польской социалистической партии, сторонник Народного фронта. Убит фашистами.

встретиться. А жаль. Струг мог серьезно помочь нам в нашей миссии. А мне, помимо всего, просто хотелось повидать его, одного из виднейших современных польских писателей, человека, всегда мужественно выступавшего против расизма и антисемитизма, против социальной несправедливости и Картуз-Березы, смело добивавшегося амнистии для политзаключенных и упразднения цензуры. Он даже свою денежную премию города Лодзи отдал на развитие рабочей прессы.

Перед поездкой я прочел его эпопею «Желтый крест». А. Струг — необыкновенно интересная и колоритная фигура на современном польском Парнасе.

Расставшись со своими друзьями, я один пошел бродить по Варшаве. Где я только сегодня не побывал! Даже возле понурых стен Павьяка<sup>1</sup>, около цитадели, у памятника Шопену...

Вечером на Черняховской в фотоателье я встретился с Д. Рассказал ему о наших сегодняшних делах. Разговорились. Он, оказывается, хорошо знал Сергея Притыцкого.

#### 7/IV.

Купил билет на поезд Варшава—Вильно. До отхода поезда уйма времени. Снова пошел знакомиться с городом. Маршалковская вывела меня к Саксонскому саду. Неожиданно очутился возле памятника Понятовскому, у которого, как писал Маяковский, в правой руке меч, направленный на восток. Обошел я вокруг него раза три. Небо было затянуто тучами, поэтому я не смог удостовериться, где тот восток, которому грозит этот наполеоновский маршал. Помню, я когда-то учил в школе, как отважно он сражался и трагически погиб, успев перед смертью, как все герои, произнести, специально для всех хрестоматий и учебников истории, крылатые слова: «Бог мне доверил честь поляков, только ему я ее и отдам!» Может, и я что-то в подобном же высоком стиле возразил бы маршалу, но дождь вынудил меня укрыться под крышей Захенты, где вперые на выставке «Черное и белое» я увидел Матейку, Хелмонского, Коссака и какую-то символическую картину «Падающая звезда». Сквозь тьму космоса летит женщина, а в ее развевающихся волосах — звезда.

В купе ехал один. Пока листал многочисленные странички праздничного номера «Иллюстрированного курьера цодзенного», настала полночь. Наверно, я немного вздремнул, потому что не услышал, когда в соседнее купе сели два полицейских и арестованный. Увидел их, только когда контролер стал проверять билеты. Пассажиры интересовались: кого везут, куда? Но вход в купе плотно загораживала широкоплечая фигура полицейского с номером 1545 на фуражке, и я, проходя мимо, смог только увидеть тяжелые крестьянские сапоги и узловатыс, в кандалах руки арестованного, что, словно два полушария земли, лежали на его коленях.

Вспомнил свое такое же «путешествие под эскортом» из Глубокого в Вильно весной 1933 года. Только ехал я туда в переполненном пассажирском вагоне, и, как полицейские ни старались меня изолировать, многие, узнав, что я «политический», предлагали мне свои папиросы и хлеб.

А ночь тянется медленно — промозглая, темная.

Поезд, видно, идет под уклон. Перестук колес все учащается, темп его сливается с ритмом сердца.

<sup>1</sup> Павьяк — тюрьма в Варшаве.

25/IV.

Отнес в «Нашу волю» перевод с польского языка на белорусский письма Романа Роллана об антисемитизме. «...О ты, Польша Мицкевича, которая сама так много терпела, ты не имеешь права причинять боль...»

Боюсь, что эту Польшу, в руках которой кастет и палка, а в мозгу бациллы фашизма, такие лирические послания не переубедят и не удержат от преступлений.

По дороге купил «Облик дня» и заглянул в главное управление Товарищества белорусской школы. Старик Павлович познакомил меня с очень интересным и культурным крестьянином из-под Клецка — Язэпом К. Односельчане послали его узнать, что нужно делать, чтобы в их деревне вместо польской начальной школы открыли белорусскую.

— За налоги реквизиционные и полиция забрали у нас все, что уцелело от войны, — говорил он, упаковывая полученные от Павловича бланки и книги. — Сейчас паны отбирают у нас родной язык, а с языком и наше будущее — наших детей.

Слова его, трагичные и правдивые, показались мне немного книжными. Я заинтересовался его биографией: участник гражданской войны, потом был в Громаде<sup>1</sup>...

— А грамоте учился там, где всех нас учили паны, — в Лукишках... — закончил он, прощаясь с нами.

Говорят, полиция каждый день вывозит политзаключенных в концлагерь Береза. Сегодня М. обещал познакомить меня с рабочими, которые работают на укреплении берегов Вилии.

2/V.

Никогда еще не приходилось мне участвовать в такой громадной боевой первомайской демонстрации, какая всколыхнула вчера весь город. Под сотнями красных знамен, с пламенными лозунгами Народного фронта прошли десятки и десятки тысяч рабочих, юношей, девушек — людей разных национальностей, партий, профсоюзов, требуя работы и хлеба, мира и амнистии политзаключенным, усиления борьбы против антисемитизма и фашизма...

Во время моего выступления на митинге в зале Снедецких ворвались эндеки. Началась драка. Но рабочие и студенты быстро их разогнали. Только остались от них в фойе и на лестнице сломанные палки да битое стекло. Мне кажется, и сегодня еще мостовая не остыла от вчерашней могучей поступи демонстраций, а кирпичные стены зданий все еще звенят от «Интернационала», который каждый из нас пел на своем родном языке.

По газетным сообщениям чувствуется, что война в Абиссинии подходит к концу. Только удовольствуется ли этим фашистская волчиха?

12/V.

Всю весну город украшали. От Острой Браны до кладбища Росса проложили новую трассу, вдоль которой покрасили заново все дома и заборы. В последние дни тут вырос целый лес мачт с флагами и полотнищами, покрашенными в цвета орденской ленты «Virtuti Military». Улицы заполнены толпами гимназистов, военных, различными делегациями, приехавшими на захоронение сердца Пилсудского.

<sup>1</sup> Громада — массовая легальная революционная организация трудящихся Западной Белоруссии.



В связи с предстоящей торжественной церемонией в городе прошла волна арестов подозрительных элементов. В газете «Слово» напечатана громадная «Литания за маршалка Пилсудского до матки боской Остробрамской» Казимиры Иллакович, в которой поэтесса говорит:

Молись за него — мы ведь здесь, на земле,  
 Молись за него — мы ведь пустые и грязные  
 И зла от добра и неправды от правды  
 Отличить не умеем...

Хотела того Казимира Иллакович или нет, но в этих своих словах она высказала горькую истину о людях своего поколения, которые «зла от добра, и неправды от правды» не умеют отличить уже давно.

Утром на вокзале непрерывно гремела музыка. Прибывали поезда с гостями, с представителями правительства, послами, сенаторами, министрами. Я вышел на улицу Великую. До самой Замковой горы тянулся бесконечный поток людей. Внезапно возле ратуши раздались голоса:

— Виват! Нех жие Рыдз-Смиглы! Виват!

Мимо пронеслись легкие машины. На одной из них я увидел Рыдз-Смиглы. Я едва смог выбраться из толпы и окольными улицами добраться до Буковой, где застал Павлика. Дома были только Любины родители, даже квартирант — очень симпатичный студент Блеттон — уехал на несколько дней к родственникам.

Мы одни засели в комнатухе Блеттона и настроили его радиоприемник на Минск. Передавался митинг у могилы дукорских партизан, замученных легионерами. Передавался в тот же час, когда тут, в Вильно, разыгрывалась какая-то отвратительная мистерия или, вернее, комедия с захоронением сердца Пилсудского. Политический смысл ее ясен каждому. При помощи мертвых реликвий своего вождя его преемники хотят крепче привязать к Бельведеру непокоренные мятежные окраины Речи Посполитой, заселенные какими-то там украинцами, белорусами, литовцами. Пытаются сделать то, что не удалось сделать даже самому Пилсудскому с помощью штыков, кандалов и молитв. Правительство в память захоронения сердца Пилсудского постановило построить на восточных «кресах»<sup>1</sup> сто школ имени маршала — сто новых гнезд полонизации... О просвещении тут говорить не приходится.

## 20/VII.

Вернувшись из Новогрудчины, узнал от дяди Рыгора, что цензура конфисковала мой сборник «На этапах».

Забегал в библиотеку белорусского музея, где взял несколько фольклорных сборников. М. показала мне тетрадь Дубяковского «Поговорки». Я, увлекшись, так и не смог оторваться от рукописи, пока не прочитал ее и не переписал в свой блокнот с полсотни его поговорок. Жаль, что у нас нет никаких средств, никакой возможности издавать такие вещи.

Встретился с Герасимом. Какой-то он сегодня был грустный и задумчивый. Я ему рассказал про наш поход по Новогрудчине, рассказал и о других наших делах. Неожиданно он спросил, что я знаю о Кастусе Калиновском.

— Поинтересуйся этим героем, — посоветовал он. — Нужно отнять его у хадеков. Калиновский не их святой, и напрасно они лезут к нему в свояки.

<sup>1</sup> Кресы (польск.) — окраины.

Когда прощались, он подарил мне свою авторучку «пеликан». Пожелал мне написать ею много хороших произведений, в том числе и о Кастусе Калиновском. Вместе с Герасимом вышел на улицу, подождал в воротах несколько минут, пока не затихли в ночи его шаги, а потом и сам потащился в свое далекое предместье Новый Свет. Интересно, почему его так называли? Скорей его можно было бы назвать «Тот Свет», потому что нигде я не видел столько кладбищ, сколько в этом предместье.

Завтра снова нужно будет пойти в музей и расспросить наших «книжников и фарисеев», где найти материалы о Кастусе Калиновском. Слышал, что в виленском архиве сохранились все судебные акты, показания свидетелей и приговор с резолюцией Муравьева: «Согласен, повесить». Нужно каким-то образом до этих материалов добраться.

Но почему всем этим заинтересовался Герасим? Он ведь не мог не читать разгромных статей о восстании 1863 года, о Калиновском, появившихся в Минске. А я был очень рад, что такие люди, как Павлик, Герасим, Гриша, начинают более вдумчиво относиться к прошлому. Прежнее нигилистическое отношение к истории народа вредно сказалось на нашей литературе, которая, как ни одна литература мира, стала неисторичной. Произведения о разных князьях и княжнах, магнатах и мужиках просто лубки, о них можно говорить разве только как о каком-то театральном реквизите.

### 26/VII.

Издатель Боготкевич под поллой принес мне несколько экземпляров моего сборника «На этапах», которые ему удалось припрятать. Перелистываю странички своей первой книги. Они еще пахнут свежей краской. Да и стихи — напечатанные — мне кажутся лучше. Цензура, говорят, конфисковала и обложку работы художника Севрука<sup>1</sup>. Итак, мои «На этапах» снова пошли по этапу.

Два экземпляра книги переслал в Минск, в адрес Академии наук. Один — Я. Купале, другой — Я. Коласу.

Вечером засел за свою поэму «Нарочь». Последние дни много пишу, перечеркиваю, переделываю написанное раньше — даже в глазах стоят стихотворные строчки. Говорят, вторая книга поэта часто хуже первой. Хорошо бы постараться доказать, что это не так.

### 31/VII.

Полночь. Кто-то долго звонит к дворничихе. Полиция. За окном — мигающий свет электрических фонариков. Вижу, два полицейских, человек в штатской одежде и дворничиха. По-видимому, идут искать мой конфискованный сборник. Кажется, ничего недозволенного ни у меня, ни у Сашки нет. Слышим, как поднимаются по лестнице на наш этаж. Хлопают двери. Всей гурьбой вваливаются в комнату. Перетрясли мои вещи, книги, бумаги. Ничего не нашли. Шпик, одетый в штатское, спросил только, когда писал протокол обыска, какие газеты Народного фронта я выписываю и как давно работаю в редакции «Нашей воли». После обыска я чувствовал себя разбитым, хотя, казалось бы, надо уж и привыкнуть к подобным визитам. Интересно, у кого еще был обыск?

Принялся за стихи об Испании. Но что я знаю об этой стране? Чтоб написать что-то серьезное, мало газетных известий. Когда-то Н. и К. обещали из Мадрида написать. Может быть, письма пропали, а может,

<sup>1</sup> Севрук — белорусский художник.

и они сами где-то погибли. Испания! Даже на улице прислушиваюсь к крикам газетчиков.

25/IX.

Письмо от Д. Пишет, что сборник мой не получила, что начальник почты и солтыс<sup>1</sup> проверяют всю корреспонденцию и кто какие выписывает газеты. Придется послать через кого-нибудь из знакомых.

Утром забежал ко мне на несколько минут Янка Потапович. Бледный, худой. Одежда пропахла сыростью острожных стен. Сказал, что нажил в Лукишках язву желудка. И все же тюрьма его не сломала. Каким был, таким и остался — бодрым, неугомонным. Готов снова приступить к работе. Вспомнили нашу первую встречу в Лукишках. Прочитал он мне по памяти несколько своих тюремных стихотворений. Стихи были значительно лучше тех, что печатались на «Литературной странице». Обещал прислать их в «Белорусскую летопись». Я его проводил на вокзал. Договорились поддерживать связь, переписываться.

Вернувшись домой, взялся — в третий раз — нансво писать пятую часть «Нарочи», с которой никак не могу справиться. Все прежние варианты скучные и банальные.

26/IX.

Отвратительное настроение. Не пишется, повторяюсь. Сажу над сборником причитаний Шейна. Столько в них тяжелого, жуткого, что читать страшно. Вспомнилась наша пильковская плакальщица Тэкля Колбун, которая не только в своей деревне, но и в соседних оплакивала покойников. Сколько от нее можно было записать причитаний — и по старым и по малым, по девочкам и хлопцам! Сколько в ее импровизациях было поэзии и трагизма, навеянного былой жизнью умершего. подсказанного обстановкой быта его осиротевшей семьи! Все она умела учесть, ничего не забыть, обо всем вспомнить. На похоронах пастыря Данилки, перечисляя его заслуги, вспомнила, как он хорошо играл на трубе, какие прекрасные плел лапти, корзины, вязал венки, мастерил жалейки, пожалела о том, что он оставил не подготовленной к зиме свою хату и бедное, батрацкое наследство, которое теперь его дети будут делить,

А кто ж, мой Данилушка,  
Натаскает полешек для печки,  
Обогреет в хате лежаночку,  
Позатыкает все дырочки  
И в сенях, и в красном углу?  
А кто же помирят деточек,  
Когда начнут они ссориться,  
Деля твою сумку пастушью,  
Твой старенький кнут-плетеночку,  
Десять пар лапоточков лыковых,  
Песню трубы-берестяночки,  
Корочку хлеба черствого,  
Долюшку незавидную?..<sup>2</sup>

Жалко, что, когда я там был, я не смог записать ее причитаний по нашему соседу Матвею Езупову, причитаний, которые длились всю ночь; или ее причитаний по моему дяде Тихону. О них и сейчас еще вспоминают пильковчане.

<sup>1</sup> Солтыс — деревенский староста.

<sup>2</sup> Здесь и далее стихи с белорусского перевел Яков Хелемский.

24/X.

Более трех часов продержали в следственном отделе на Святоянской улице. Все по поводу моего сборника и изъятого стихотворения в газете «Наша воля». Признаюсь, объяснения относительно стихотворения я давал смехотворные. Стихотворение призывало к революционной борьбе, а я объяснял, что речь там идет о борьбе за школу на родном языке, поскольку этот вопрос был одним из тех, что и так не сходил со страниц «Нашей воли».

На литературных встречах в редакции «Колосьев» начали обсуждать устав будущего Союза писателей. Боюсь только, что нам не дадут разрешения легализовать организацию, в которой 90 процентов членов — бывшие заключенные и люди, которые и сейчас за тюремными решетками или проволокой Березы. Может, нужно было бы подумать на всякий случай об организации отделения национальных меньшинств при Союзе польских писателей в Вильно. Там могли бы мы заручиться помощью многих известных польских писателей и людей, близких нам среди литовцев, евреев...

10/XI.

На минуту забежал ко мне Макар<sup>1</sup>, чтоб забрать свое пальто, которое неделю тому назад оставил у меня. Что-то он очень плохо выглядит. Может, заболел? Просил связать его с Павликом. Почему-то он интересовался судьбой Бондарчука, которого спасли рыбаки, а потом наши ребята переправили через границу. Хотел угостить его чаем, но он отказался. Ушел какой-то встревоженный, грустный. Когда я рассказал обо всем этом Павлику, тот был очень недоволен тем, что Макар днем шатается по городу и заходит на наши легальные квартиры. Я не расспрашивал, в чем дело. Но, видимо, с Макаром случилось что-то серьезное...

17/XII.

Просматриваю и перетрясаю свои старые тетради и черновики. Сколько в них — особенно в ранних — космических стихотворений! И сам не знаю, как они возникли в моей родной Пильковщине, где не было хоть какой-нибудь подозрной (разве что берестяной) трубы, чтобы следить за движением во Вселенной.

Интересную мысль встретил у Колерса: жизнь человеческая умножается на сумму сбереженного времени. Я вот только не знаю, куда мне девать время, сбереженное последними голодовками. Живем с Сашкой без денег и без хлеба. У него только химия с биологией, у меня — стихи.

26/XII.

Снова — в Варшаве. Лю дала мне адрес одной знакомой лавочницы, где я за довольно сходную цену получил ночлег. Вслед за мной на эту же квартиру притащился ночевать еще кто-то. Перед сном я принялся читать одолженный у З. (а она, кажется, взяла в библиотеке) журнал «Полымя»<sup>2</sup>. Почти весь этот номер посвящен М. Горькому.

<sup>1</sup> Макар — один из руководящих работников КПЗБ. Фамилия его до сих пор мне неизвестна.

<sup>2</sup> «Полымя» — литературно-художественный журнал, орган ССП БССР.

Среди разных материалов нашел два действительно высокохудожественных произведения: «Люба Лукьянская» Кузьмы Чорного и «Люди жаждут» А. Кулешова. Поэма Кулешова написана энергичным, прозрачным, каким-то упругим стихом, в нем много интересных находок. Что до Чорного, так я начинаю его любить все больше и больше. Многие из нас могли бы поучиться у него не только писать, но и думать по-белорусски.

В соседней комнате часы пробили полночь. Хорошо еще, что в эту зимнюю промозглость можно отдохнуть в тепле. Свет из окон соседнего кирпичного дома падает на репродукцию картины Кольвиц «Голод» и на этажерку с книгами, среди которых Горький, Барбюс, Синклер... И оттого, что эти книги рядом со мной, мое временное пристанище кажется мне более надежным и уютным.

### 27/XII.

На грязной, шумной улице Заменгофа купил в киоске «Иллюстрированы курьер подзенны» — газету, всегда полную сенсационных новостей со всего света. Собирался зайти в какую-нибудь дешевую чайную позавтракать. На Кармелитской улице неожиданно встретил Лю. За время нашей разлуки она еще больше похорошела, стала настоящей варшавянской. И хоть встреча эта в наших условиях была недозволенной, мы зашли в соседний ресторанчик, чтобы хоть немного посидеть, поговорить, поделиться новостями. Оба мы были несказанно рады этой встрече — пусть и короткой, как миг. Потому что и она должна была торопиться на свою работу, и я, с направлением доктора Кона, должен был идти на прием в еврейское противотуберкулезное товарищество «Бриус». Даже проводить ее не смог, даже не имел права договариваться о следующей встрече. Я и так не знаю, признаваться ли Павлику, что случайно виделся с Лю. Если сам не спросит, буду молчать.

Вечером, пройдя через все рентгены, анализы и консультации, получив направление в один из санаториев Отвоцка, долго слонялся по залитым светом витрин и неонов улицам Варшавы. Чтобы дать немного отдохнуть ногам, зашел в кино «Аполлон». Зря только выбросил пятьдесят грошей за билет, потому что фильм был такой скучный, что я не смог досмотреть его до конца. Перед сном попытался набросать план последних глав «Нарочи». Сегодня у хозяйки собралось еще больше ночлежников. Меня она перевела в какую-то боковушку, где не было ни стола, ни стула. Рильке, кажется, писал стоя. Конрад часто писал в ванне... Я всех классиков переплюнул — пишу лежа и почти без света.

### 1937 год.

#### 1/1.

Еще ни одного Нового года я не встретил так, как хотел бы. Каждый раз дед-мороз кладет под мою елку малоприятные подарки — повестки, акты обвинений, грустные письма от друзей. А в этом году принес мне несколько рецептов. Взял я их и поплелся по улицам Отвоцка в поисках аптеки. По дороге зашел на станцию, купил праздничный номер «Курьера», изучил расписание поездов, прочел и просмотрел с десяток рекламных плакатов «Веделя», «Сухарда», «Орбиса»... Все это для меня только рифмы. На одном из плакатов — пальмы, море, синева неба и снег. Я когда-то любил географию. А сегодня усомнился, что все это на самом деле где-то существует. Когда вернулся в санаторий, все

уже спали. Стал переводить записанную от К. песню узников концлагеря Картуз-Берега, которую они пели на мотив «Варяга». Песня длинная. У меня было только несколько ее строф:

По топям Полесья этапом идем,  
Штыки, а не звезды нам светят,  
Горят наши души бунтарским огнем,  
В слезах наши жены и дети.

Земля наша тоже в крови и в слезах,  
Исхлестана злобной расправой.  
Судьба наша — карцер, увечья и страх,  
Барак за колючкою ржавой.

Держись, мой товарищ, не падай, мой брат,  
Идущий навстречу страданиям.  
Нам пыткой и голодом снова грозят,  
Но мы на колени не встанем.

### 3/1.

Вместе со мной в комнате живет какой-то варшавский лавочник. Когда к нему приезжают компаньоны или родичи, подымается невообразимый шум. Они не обращают внимания на то, что еще кто-то есть в комнате, садятся на мою кровать, бесцеремонно перебирают на столе книги, журналы. Я какое-то время наблюдаю за ними, стараюсь понять смысл их горячих споров, которые редко когда выходят за пределы их профессии. Сегодня один из них, познакомившись со мной, пригласил посетить его чайную на Мариенштадте. Я записал адрес. Может, когда и пригодится. Захватив свой неизменный блокнот, ушел в лес. В последний свой приезд Лю рассказала мне о конгрессе в защиту мира и про расстрел крестьянских демонстраций в Острове Тулиговской и Кшесовицах, где около двадцати человек было убито и несколько сот ранено. А по газетам трудно узнать, что сейчас происходит в Польше и за ее границами. Почти ни слова нет о том, что приближается опасность новой мировой войны.

Записываю темы для стихов: крестьянские забастовки, смерть поэтов А. Германинского, Я. Мозырка, замученных в Картуз-Береге, так называемые «беда-шахты», конфискация из «Облика дня» перепечатанной из «Трибуны народов» (1849) статьи А. Мицкевича...

В блокнот записал начало народной песни. Не могу только сейчас вспомнить, от кого я ее слышал.

Очи мои черныс, черные, черные,  
Трудно мне жить с вами,  
Трудно жить.

### 7/1.

Сегодня приехала Лю. Признаться, не надеялся, что ей разрешат проведать меня. Тем больше была моя радость, когда увидел ее в раскрытых дверях своей комнаты, в которой даже посветлело от ее улыбки. Привезла приветы от Павлика, Гриши и много хороших новостей. После обеда мы пошли с ней бродить по лесистым переулкам Отвоцка, напоминающим немного виленский Антоколь, только там деревья более высокие и раскидистые, а эти какие-то хилые, словно забрели сюда лечиться, а не расти. На одной из полянок — гора мусора, битого кирпича, на другой — разный хлам. От железной дороги ветер нес охапки горьковатого дыма. На углу улицы, закутавшись от дождя, дремали осоловевший извозчик и его замученная кляча. Дождь и нас заставил вернуться в санаторий. Лю даже удалось достать отдельную комнатку.

Я живу тут уже вторую неделю, а не смог так, как она, уютно устроиться. И по сей день мне все еще мешает мой сосед, а я ему, потому что поздно ложусь спать — читаю, пишу. И так, сегодня мы с Лю едва ли не самые счастливые люди во всем Отвоцке, хоть завтра снова вернутся прежние заботы, будут мучить нас разные нерешенные вопросы... И один из них — маленький, личный: когда мы встретимся снова?

#### 4/III.

...День творческих неудач: все, что написал, пришлось забраковать. Мне кажется, время сельской идиллической поэзии безвозвратно прошло, хотя многие у нас еще ею занимаются. Даже фольклор — неповторимое явление прошлых эпох. Нужно искать и искать новые формы. Мы все забываем, что без открытия нового не может быть современной поэзии. А пока что ходим, держась за костыли старых традиций, представлений, вкусов, глухие к крику новых дней в каждой наступающей неделе, новых месяцев — в году.

В музейной библиотеке взял разные словари — от Носовича до Ластовского, — сейчас целыми днями и ночами читаю. Слова, которые до этого времени не употреблял, выписываю. Когда-нибудь пригодятся. Даже сграх взял, с каким ограниченным и бедным словарным багажом отправился я на Парнас!

#### 18/II.

Заканчиваю для «Белорусской летописи» начатую еще в Отвоцке работу над переводами стихотворений А. С. Пушкина. Я должен буду читать их на вечере, посвященном столетию со дня смерти одного из самых любимых всеми нами поэтов. Переводы не получатся такими, какими хотелось бы. Простота гениального пушкинского стиха — вершина, за которой, как за каждой вершиной, начинается бездна. И чтобы ее преодолеть, переводчик должен быть гигантом или иметь крылья орла.

Предполагается, что с докладом на этом вечере выступит профессор русской литературы и бывший мой учитель в гимназии В. Богданович. Раньше это был довольно известный деятель монархистского склада, бывший посол или даже бывший сенатор, бывший... бывший...

Некоторые из наших доморощенных мракобесов распространяют слухи, что и редакция «Белорусской летописи», и все мы, собирающиеся принять участие в юбилейном пушкинском вечере, делаем это «по приказу Москвы». Ихтиозавры эти не понимают, что одна из характернейших особенностей настоящей поэзии — преодоление ею всех языковых, географических и политических границ.

#### 16/IV.

Был на старой своей квартире. Пока не пришел Бурсевич, слушал по радио концерт из Минска. Передавали новую песню «Орленок», мне даже удалось ее записать. Рассказывают, в Вильно начались предпраздничные аресты. Дома сделал очередную генеральную чистку своих бумаг: сжег разные ненужные заметки, черновики. Среди них были и две мои юношеские поэмы. Одна появилась под влиянием восточной поэзии Лермонтова и была написана в ритме его «Трех пальм», другая — более самостоятельная — о Жанне д'Арк. Одну из них, помню, читал своему дяде Левону Баньковскому, когда тот гостил на Пильковщине. Дядя ел яичницу и слушал. Все домашние смотрели на него —

что он скажет, какой вынесет приговор. Когда я кончил, дядя отложил вилку, встал и пожал мне руку. Это было многозначительно и неожиданно. Особенно для меня. От волнения я забыл про все праздничные разносолы на столе. И сейчас, когда я уже считаюсь литератором, автором многих стихотворений и поэмы «Нарочь», и знаю, что дядя Левон в поэзии не разбирается, поступок его мне кажется необычным. Одним словом, тогда и произошло мое официальное посвящение в поэты. Точная дата: коляды, 1927 год.

#### 10/IV.

Только что вернулся из Пильковщины. За время моих странствований, оказывается, папа римский успел канонизировать иезуита Андрея Бабёля, объявив его патроном Польши (сколько их уже у Польши!) и Великим апостолом Полесья. Вся эта история с канонизацией — тема для бессмертной комедии.

А в городском зале сегодня выступает Федор Шаляпин!

Откуда взять два золотых на билет? Всего два золотых!

Единственная радость — достал последние, зачитанные до дыр номера запрещенного цензурой «Домбровщак»<sup>1</sup>.

#### 3/VII.

День сегодня выдался на редкость теплый и ясный. Вечером начался праздник «венков на Вилие» — какой-то винегрет из языческих и современных обрядов. По реке плыли лодки, плоты, байдарки, украшенные цветами, лентами, огнями. Девчата спускали на воду венки с зажженными свечками. В небе вспыхивали разноцветные ракеты. Народу было столько, что невозможно было пробиться к берегу.

С легкой руки Цата-Мацкевича<sup>2</sup> — после его статьи «Пан президент Речи Посполитой, спасай человека» — началась кампания за освобождение из тюрьмы С. Песецкого — автора книги «Любовницы Большой Медведицы». Думаю, что этого агента «двойки»<sup>3</sup>, морфиниста и бандита, освободят, тем более что Песецкий был осужден на вечную каторгу только за бандитизм, а не за политику. Тут во всех костелах скоро начнут за него молиться.

Рассказывают, что Гитлер в Мюнхене в своем очередном выступлении обрушился на футуризм, кубизм, дадаизм. Даже Маринетти и тот не выдержал, выступил в защиту своего детища, заявив, что футуризм всегда был антикоммунистическим течением.

У кого бы сегодня занять двадцать восемь грошей на килограмм хлеба?

Наверно, этими днями поеду по разным делам в Буду — там сейчас громадный престольный праздник, на который со всей Виленщины съехалось более десяти тысяч крестьян, лавочников, богомольцев, нищих, цыган...

#### 15/VII.

Отец пишет о небывалой грозе, которая прошла над нашей Мядельщиной. В Скородах и Моховичах разрушены десятки домов. В Пильковщине ущерба меньше, только лес уничтожало целыми делянками.

<sup>1</sup> «Домбровщак» — газета, издававшаяся в Испании польским батальоном, а позже бригадой Домбровского.

<sup>2</sup> Ц а т - М а ц к е в и ч — редактор реакционной газеты «Слово».

<sup>3</sup> «Двойка» — военная разведка.



## 4/VIII.

Едва разыскал в густых, нагретых солнцем сосняках Валокумпни дачу, на которой остановился Кастусь. Дачу эту ему подыскала Люба. Место — лучшего не сыщешь и для отдыха и для работы. Под конец нашей беседы я прочел ему «Сказку о белом медведе». Понравилась. Ходили на Вилию купаться. Течение реки тут такое быстрое, что просто с ног сбивает.

Возвращаясь от Кастуся, на минуту остановился на Виленской, возле витрины «Иллюстрированного курьера цодзенного», и не заметил, как подошел сзади сыщик, арестовавший меня в Глубоком в мае 1932 года.

— Что-то пан часто ездит на Валокумпню. У пана там невеста?

Это было так неожиданно, что я, наверно, сразу не нашелся бы, что ему ответить, если бы не его последние слова.

— И невеста и пляж,— сказал я и снова уставился в газету.

Только услышав, как удаляются его шаги, я потихоньку направился к стадиону Погулянки, к Любе. Пока дошел, в городе зажглись вечерние огни. Дул легкий ветер, но он не освежал. Стояла тяжелая предгрозовая духота.

## 9/VIII.

Кажется, это Гёте сказал, что писатель всегда знает, что хотел написать, но никогда не знает, что написал. Кто же тогда может знать? Были ведь случаи, когда и читатели, и целые эпохи ошибались в оценке произведений писателей, композиторов, художников.

Как зуб, начинает прорезываться начало стихотворения:

Когда-то хватало в глазах, говорят,  
Места для малого слова — милость.  
Теперь для него уже тесен плакат,  
В чашу морскую оно не вместились.

А дальше ничего не получилось. Видно, придется отложить и ждать, пока не снизойдет так называемое вдохновение. Читаю сборник М. Горецкого «Руны», изданный еще в 1914 году в знаменитой «типографии пана Мартина Кухты». Днем постучались в дверь мои земляки. Который год они уже судятся с паном Бушем за сервитут<sup>1</sup>. Денег на поезд не было, прямо из дому притащились пехтурой. Немного отдохнули у меня, перекусили, и я их повел к нашему бесплатному консультанту Ф. Стацкевичу: может, он, старый и опытный адвокат, что-нибудь им посоветует.

Земляки мои были в Вильно впервые. И они всему удивлялись, и прохожие на них оглядывались, когда они шли, громяхая по мостовой своими тяжелыми, подкованными сапогами, по-деревенски одетые, с неизменными своими торбочками за плечами, в которых был и провиант, и разные судебные бумаги, повестки, штрафы.

## 16/VIII.

Газеты и радио принесли грустную весть о том, что при перелете через Северный полюс погиб выдающийся советский полярный летчик Леваневский.

Давно уже меня беспокоит тема безработных, которые гибнут в так

<sup>1</sup> Сервитут — в капиталистическом обществе право пользования чужим имуществом в определенных пределах (например, право проезда через чужой участок земли).

называемых «беда-шахтах». Но чтобы поднять эту тему, необходимо побывать самому в этих опасных шахтах, где на каждом шагу подстерегает смерть. И несмотря на это, люди туда идут, чтобы добыть хоть немного угля и купить за него кусок хлеба.

### 27/VIII.

Веселое у нас государство. Ночью только и слышно: «Режь, лови, бей!» — а днем все преступники идут на Острую Брамку молиться. В толпе, которая стояла на камнях перед иконой матки боской, сегодня видел старого надзирателя из Лукишек — одного из самых омерзительных палачей; рассказывали, что он любил присутствовать при приведении в исполнение всех смертных приговоров.

Из магазина девоционалий<sup>1</sup>, что пристроился к святому месту, чтобы бойчей торговать, какая-то бабка вынесла целую связку четок. Зачем ей столько?

В витрине комиссионного среди разного вида оленьих рогов и допотопных часов выставлен удивительный, вытканый шелком китайский пейзаж. Цена — сто двадцать злотых! Многие останавливаются, чтобы полюбоваться залитой солнцем долиной, окруженной снежными вершинами гор. Этот мирный пейзаж, похожий на райский уголок, никак не вяжется с моими представлениями об этой далекой горемычной стране, представлениями, которые сложились из кинофильмов, газетных сообщений о непрерывных войнах, бесчинствах империалистических захватчиков, о голоде, засухах, тайфунах.

Вспомнились строки стихотворения Эми Сяо:

...Ты слышал, как умер Фу Элин,  
Как погибли Ин Фу, молодая Фын Кэн,  
Как не дрогнул из них ни один...

Стихотворение это посвящено М. Горькому и было напечатано в газете «Правда». Я его выучил на память, потому что газету вынужден был оставить у друзей в одну из памятных для меня ночей на Долгиновском тракте, когда я возвращался с очередной подпольной встречи. Тому, что я, голодный и больной, тогда не замерз и добрался домой, я обязан, говоря высоким стилем, поэзии: всю дорогу декламировал стихи своих любимых поэтов И хватило мне их до самой Пильковщины.

Что-то у меня, как у Швейка, всякая мелочь вызывает воспоминания, а они в свою очередь — ассоциации, и я незаметно удаляюсь от главной темы, забываю о событиях дня.

А день закончился довольно прозаично: получил повестку — следователь снова вызывал меня на очередной допрос.

В окна барабоят серые капли дождя.

### 31/VIII.

Этими ночами опять в городе были обыски и аресты. События с каждым днем нарастают. Крестьянские забастовки в центральной Польше переросли в революционные выступления. В стычках с полицией погибло много крестьян.

Какая страшная вещь — тишина на полевых дорогах!

...Только песню — разудалую теперь бы!  
Может, даже эту — про последний бой!

<sup>1</sup> Девоционалии (польск.) — предметы религиозного культа.

19/IX.

От редактора «Колосьев» Я. Шутовича узнал, что цензура конфисковала сборник стихотворений Михася Машары «Из-под крыш соломенных» — один из лучших его сборников. Последние действия администрации не оставляют никакой надежды на то, что в наше время будет возможность издавать что-нибудь достойное внимания.

3/X.

В Бернардинском парке открылась выставка фруктов. Жаль, что не смог быть на ее открытии и полюбоваться на воевод да министров. Может, когда-нибудь придется писать их портреты. Чего стоит один только виленский воевода пан Ботянский! А сколько там было всяких других «фруктов»!

Но вообще-то выставка довольно интересная. Насмотрелся на целые горы антоновки, ранета, папировки, графштина, титовки, пепинки литовской, монвилы, ананасов боржанецких... Если б не видел своими глазами, не поверил бы, что столько солнечных, душистых плодов родит наша земля. Среди фамилий садоводов узнал несколько уже мне знакомых: Сикора, Богданович, Олешек и какая-то Егорова — из Кривичей.

А день солнечный, погожий. Золотой листвой оделись горы, дугою огибающие парк, в котором без умолку шумит крутая и прозрачная Виленка.

10/X.

Буйницкий подарил мне два своих сборника: «Ощупью» и «На полпути». Путрамент когда-то хвалил мне его стихи. Вечером засяду за них.

На Буковой застал Михася Василька. Он приехал в Вильню на несколько дней, чтобы повидаться с Кастусём. Условились, что завтра встретимся в редакции «Белорусской летописи». Там, наверно, будут и дядя Рыгор и Павлович. В этот раз Михась был довольно-таки агрессивно настроен по отношению к некоторым нашим современным поэтам. Надоели и ему все эти творения санационных и хадекских бардов, которых неизвестно для какого читателя печатают. Потом снова нашло на него минорное настроение.

— Как, браток, думаешь: удастся нам создать что-нибудь, заслуживающее доброго слова?

Вопрос был неожиданным, и он меня насторожил. За словами «удастся ли» я почувствовал его тревогу — «дадут ли нам?», потому что тут же он рассказал о невеселых делах в его Бобровне, о том, что при последнем обыске полиция грозила ему высылкой, расправой. Забрали несколько тетрадей со стихами. Ко всему этому начала прихварывать жена, дома нет хлеба, не во что одеться.

Расстались мы с Михасем возле ратуши. Я предлагал ему переночевать у меня, но он хотел навестить какого-то родственника.

25/X.

На улице дождь, слякоть, ветер. Только и остается, что сидеть и писать ответы корреспондентам «Белорусской летописи». В такую непогоду двор наш кажется еще более неприглядным. На крыльце сторожка сидит, съездившись, собака. На веревке, протянутой от угла дома до забора, болтаются какие-то тряпки. В водостоке мокнет газета и пустая коробка от мыльного порошка «Родион», украшенная желтым

дискон солнца. Под разноцветными зонтиками стоят несколько женщин. По-видимому, делятся только что принесенными с рынка новостями. У одной краснеют в корзинке помидоры, у другой — разная зелень. Женщины так заговорились, что не обращают внимания и на дождь. Зонтики их кажутся огромными грибами, внезапно выросшими на мостовой. Дождь, дождь, и, как видно, затяжной, потому что все лужи покрыты оспой дождевых пупырышков. Вспомнились строки Стаффа:

В окна дождь стучится, дождь звонит осенний...

Думаю над стихотворением «Ночной сев». Сюжет — от моего деда, который мне когда-то рассказывал, как он в войну сеял рожь. Только получится ли? Иногда история рождения того или другого произведения бывает интересней самого произведения.

27/X.

Во имя нашего Завтра -- сождем Рафаэля,  
Разрушим музеи, растопчем искусства цветы...

В последние дни столько прочел литературных манифестов и программ, что на зубах, как от кислых яблок, оскомины. Теперь буду обходить их за десять верст.

В сборнике Путрамента «Лесная дорога» нашел и свое стихотворение «На трассе диких гусей». Это первое мое стихотворение, переведенное на польский язык. До того оно было опубликовано в «Курьере виленском», и я получил за него от своего переводчика первый в своей жизни гонорар — три злотых. Я не хотел их брать, хоть и сидел без хлеба. Признаться, раньше я никогда не задумывался над тем, что стихи имеют какую-то денежную ценность. Я знал, что за них могут посадить в тюрьму, судить, но чтобы за них платили...

28/X.

Рассказывали, что, когда у Оскара Уайльда спросили, почему он живет таким бездельником, он ответил:

- Сегодня работал весь день.
- Что вы делали?
- До обеда правил статью: вычеркнул одну запятую.
- А после обеда?
- Возвратил запятую на прежнее место...

С таким примерно результатом работал сегодня и я. Все чаще задумываюсь о границе, отделяющей поэзию от прозы. Может, ее и вовсе нет? В том понимании, в котором она существовала, ее уже никто не признает. Каждый переносит пограничный столб в глубь то одной, то другой державы.

Мы часто говорим о великом значении литературы в жизни народа. Но, сравнивая наши мизерные тиражи с тиражами книг и газет в Советской Белоруссии, убеждаешься, что круг наших читателей весьма и весьма ограничен. А если учесть еще и препятствия, стоящие между нашими книгами и читателями (а их нельзя не учитывать), мало оснований остается для оптимизма. В своей Мядельщине я могу на пальцах пересчитать людей, читающих наши газеты и книги. Правда, эти люди в какой-то мере, как говорят, делают погоду. Но все же их мало.

## 10/XI.

После дней голодных наступили дни, полные отчаянья. Что за ними? Неужели только мужицкое упорство и любознательность связывают меня с сегодняшней моей жизнью? А поэзия? И с ней в последние дни рвутся контакты, так как за каждым из нас неотступно ходит то в сером пальто, то в черном ангел-хранитель. Два вечера подряд приходил проверять, что я делаю.

Литовские товарищи познакомили меня с интересной и близкой мне по духу поэзией К. Боруты. Просил сделать для меня подстрочки. Хотелось бы перевести несколько его стихотворений.

## 22/XII.

Закончился процесс над группой Дэмбинского<sup>1</sup>. Дэмбинский и Ендриховский<sup>2</sup> получили по четыре года. Посоветовавшись с Павликом, мы с М. пошли к нашим польским товарищам, чтобы от имени белорусской общественности выразить им свое сочувствие. На квартире у Г. застали мы Путрамента, Борисевича, Урбановича и нескольких незнакомых мне студентов. Настроение у всех было подавленное: люди, которых санационные судьи бросили на долгие годы за тюремную решетку, пользовались уважением и любовью в широких кругах интеллигенции и в рабочей среде во всей Польше.

Поначалу трудно было набрести на тропу какой-то общей беседы. Каждый, по-видимому, думал над одним и тем же вопросом: что делать? Потом начали обсуждать проблемы дальнейшей работы, борьбы против коричневой опасности. Судьба всех — и осужденных, и пока не осужденных — будет зависеть только от результатов этой борьбы.

Как нам после запрещения «Попросту», «Крат», «Нашей воли» не хватает сейчас своей трибуны!

## 30/XII.

С удивлением прочел в краковском ежемесячнике «Наш выраз» настоящую оду Т. Тайпера Центральному промышленному округу (ЦОП). Что-то не верится, что нынешнему правительству при его теперешней политике удастся осуществить план индустриализации Польши. Скорей всего суждено ему остаться недоношенным ребенком, который как родился, так и закончит свой век в газетных и плакатных пеленках пропаганды.

Под снегопад начал переводить прелестное стихотворение И. Галчинского «Привет, Мадонна». Некоторые его строфы перекликаются с нашим Янкой Купалой.

Хай там другія пішуць кнігі. Нават  
Хай слава гучыць ім вежай стазоннай,  
Пісаць я не ўмею, не дбаю аб славе —  
Прывет, Мадонна!

Не для мяне полкі кніг аж да столі,  
Не для мяне вясна, рунь на загонах,  
Толькі ноч цёмная, дождж з алкаголем —  
Прывет, Мадонна!

<sup>1</sup> Г. Дэмбинский — один из виднейших деятелей молодежного коммунистического движения Польши. Был расстрелян в годы войны фашистами.

<sup>2</sup> Ст Ендриховский — один из организаторов антифашистского Народного фронта в довоенной Польше, выдающийся экономист и публицист, член Политбюро ЦК Польской объединенной рабочей партии.

Былі да мяне людзі, будуць і потым  
 Бо жыццё вечнае, не знае скону,  
 Усё як вар'ята сон мімалётны —  
 Прывет, Мадонна!

Ты ўся прыбраная масм. вясною,  
 Кветкамі, што назбіраў на загонах,  
 Бруд з рук сваіх я змываю расою —  
 Прывет, Мадонна!

Не пагарджай вянкам паэта і хулігана,  
 Знаёмага з рэдактарамі, з паліцыяй коннай,  
 Ты ж мая маці, муза, кахана —  
 Прывет, Мадонна!

Завтра еду домайі. Новыі год встречу в дороге, где-то между Молодечно и Вилейкой, под сонный перестук колес поезда. Потом, если не найду попутной подводы или знакомых возниц, буду часа три-четыре брести по заметенным колеям до дома. И все же люблю я эту дорогу, особенно те ее километры, что пролегали через Городищенский лес. Я каждый раз вспоминаю, как мы возвращались этой дорогой с беженства и я собирал со своей сестрой Верочкой грибы. А день был такой ясный от солнца и от бронзовых нагретых стволов сосен, от ягод и мухоморов и от радостного чувства возвращения на родину, хоть слово это для меня тогда было еще неразгаданной загадкой, что я, кажется, больше таких дней и не видел.

А может, если погода не наладится, отложить на несколько дней поездку домой?

Былі да мяне людзі, будуць і потым,  
 Бо жыццё вечнае, не знае скону,  
 Усё як вар'ята сон мімалётны —  
 Прывет, Мадонна!

Скоро полночь. Мороз украсил окна белесыми листьями папоротника. Сквозь них едва пробивается свет уличных фонарей.

### 1938 год.

24/1.

Возле кино «Гелиос» меня остановил К. Я его едва узнал — так он изменился за последние три года. Когда-то, идя на условленную встречу, он не мог попасть на наш хутор. Слышу кто-то поет песню, которую мы часто пели в Лукишках. Я откликнулся. Так и помогла нам песня встретиться осенней ночью. Сейчас он живет в Вильно. Зарабатывает лекциями. Дома показал мне интересные письма — от своего старшего брата, который погиб во время атаки на Каса дель Кампо. Последнее письмо заканчивалось народной испанской поговоркой: «Мертвые живым открывают глаза». Сколько горькой правды в этих словах!

В приписке он вспоминает о каких-то стихах, посланных брату, спрашивает, получил ли он их. Чьи и какие это были стихи? Видимо, перехватила их цензура. Неужели он не знал, что такие вещи нельзя посылать почтой, а если почтой, то уж во всяком случае — не из Испании, потому что одна только печать «Мадрид» на конверте способна привести в бешенство всех быков дефензивы.

Письма очень интересные. Писались они в окопах, между боями. И сегодня они кажутся горячими от крови и огня. Жаль, что сейчас нет возможности опубликовать их.

У К. Н. достал новые стихотворения А. Гаврилюка о Каргуз-Березе. Стихи необыкновенно сильные. Их нужно распространять, как воззвания, писать на стенах, их должен знать каждый.

### 2/II.

Через неделю снова меня потянут на суд за мой сборник «На этапах». Последние дни много пишу и много бракую. Начинаю ценить и неудачи, которые иногда бывают более верной мерой роста, чем иные удачи. Правда, это очень слабое для меня утешение, но другого нет.

Дочитал Библию, взятую у знакомого ксендза Д., который когда-то на чердаке Бернардинского костела перепрятал мой конфискованный сборник. Хоть Кондрат Крапива уже использовал Библию, но и я выудил из моря ее легенд и притч много не только антирелигиозных, но и лирических тем, образов, метафор, сравнений. Эту книгу следовало бы изучать в школах наравне с мифами Египта, Греции, Рима...

На улице Шопена нарвался на облаву. Кто-то разбросал прокламации. Полиция и шпики задерживали прохожих, проверяли документы, а у некоторых вытрясали карманы. При мне не было ничего, что могло бы меня скомпрометировать, но я все же, чтобы не задержали, заскочил в парикмахерскую и переждал всю эту суетню.

### 10/II.

Ветер, ветер, ветер. Шумят в Закрете вековые сосны. А над ними — причудливые облака. Вот одно из них — как с развернутыми парусами корабль, разбивающийся о черные скалы. Может, кто-то кричит там, сражаясь с волнами, а я смотрю и ничем не могу помочь. Какое холодное и неуютное небо! Может, под таким небом и умер Алесь Гурло, о смерти которого я сегодня узнал в Студенческом союзе. Завтра достану у кого-нибудь его «Созвездия» и «Межи». Стыдно признаться, что я еще не читал этих книг.

Принес Кастусю от Павловича копию мемориала о школьном вопросе в Западной Белоруссии. Первый вариант был значительно сильнее. Выпали многие факты, связанные с ликвидацией белорусских школ, библиотек, кружков, культурно-просветительных организаций, газет, журналов. Одним словом, отредактировали...

Думаю над стихотворением «Родной язык».

...Но если и мы для потомства сберечь  
Тебя не сумеем, родимая речь,  
Пусть вычеркнут нас из прижизненных списков,  
А после с могильных сотрут обелисков...

Оставляю это как запев, к которому когда-нибудь вернусь, как тему, которую нужно развить. А может быть, эту строфу сделать заключительной? А начать лучше в купаловской интонации?

Паны, вы нашу речь привыкли сапогами  
Топтать — под ляг цепей и звон уланских шпор.  
В свой срок на языке, что унижался вами,  
Народ вам прочитает приговор.

### 17/II.

До тошноты начитался авангардистов и других модернистов. Иногда кажется, что в мычании коровы больше смысла и поэзии. А наша критика от этих стихов в восторге. Пишут исследования, разборы, доказывают, кто на кого влиял, как возник в голове поэта тот или дру-

гой образ. Одна из самых страшных болезней нашей критики — «влиениология». Она выступает в двух видах: универсальном и национальном. Первый доказывает, что все наши произведения написаны под влиянием образцов мировой литературы и у нас почти ничего нет самостоятельного; другой выясняет влияние белорусского народного творчества на мировую литературу.

Который день хожу под впечатлением смерти Трофима<sup>1</sup>, который после пыток в дефензиве повесился в своей камере на Павьяке. Все осуждают его, но никто не знает, что заставило его так поступить.

В то, что самоубийством кончают только слабые люди, я не верю. Не верю и в то, что он «раскололся», потому что никто, кого он знал — а знал он многих, — не пострадал. А может, его повесили?

Сейчас я вспоминаю тот долгий зимний вечер, когда он должен был прийти на явочную квартиру на Легионной улице — и не пришел. Встревоженная хозяйка сказала: «Такой пунктуальный товарищ. Это первый случай, чтобы он условился с кем-нибудь о встрече и не сдержал слова. Наверно, что-то случилось. Может, зайдете к нам завтра?»

Но и на второй и на десятый день он не появился. У меня только осталась от него невыкуренная пачка папирос. Я отдал их Любиному отцу, который пожурил меня, что я трачусь на такие дорогие папиросы. Сам он всегда курил «ценке» — папиросы безработных, да и те чаще всего не на что было купить.

Вечереет. Пошел на вокзал, хотя и знал, что ни один из поездов не привезет мне ни крупницы радости и не заберет с собой моих тяжелых мыслей. Кажется, Гёте говорил, что творчество — это части одной большой исповеди. А наше творчество не только исповедь, но и молчание.

### 23/II.

Наступил настоящий голод. Написал домой, чтобы что-нибудь прислали. Никак не могу обойтись без помощи из дому, найти работу. Слышал, что есть должность контролера билетов на катке, но чтобы ее получить, нужно иметь протекцию в магистрате. Начал читать Гамсуна, но разболелась голова, книгу вынужден был отложить. Незаконченными лежат на столе стихи про каторгу шароварочных<sup>2</sup> дорог и о жизни «халупников» — самых забитых и бесправных рабочих Польши.

Голод. Страшнее, чем в тюрьме. Там если и бывает голодовка, так голодают все вместе. Так голодать веселей. Помню, однажды в Лукишках после очередной голодовки пришел прокурор и спрашивает у политзаключенного Лагуна: «Какие имеете просьбы?» А гот согласно постановлению тюремного комитета ответил: «Просьб не имеем, имеем постулаты». А прокурор видит, что перед ним деревенский хлопец, спрашивает: «А что такое постулаты?» — «Я вам не буду объяснять, — ответил тот, — у нас есть общий представитель политзаключенных — вы у него и спрашивайте...»

Только когда вышел прокурор, Лагун обратился к нам: «И правда, что такое постулаты?»

Беда, что со своими «постулатами» мне не к кому даже обратиться. Чтобы не расхотевать силы, до минимума сократил ходьбу по городу. За последнюю голодную декаду прочел около двадцати книг: Якимовича «Стихи», Дудара «Солнечными тропками» и «Беларусь бунтарская», Зарешкого «Стежки-дорожки», Хуржика «Первый полустанок»,

<sup>1</sup> Трофим (Бугкевич) — один из руководящих работников КПЗБ.

<sup>2</sup> Шароварочные работы — обязательная трудовая повинность на строительстве дорог.



Чорного «Серебро жизни» и «Рассказы», Бабареки «Рассказы». Да к этому еще: Веселовский «Герцен — писатель», Форель «Половой вопрос», Давидов «Ф. Шопен», М. Прево «Жорж Занд», Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея»... Вот сколько потребил духовной пищи! Может, и грех называть эту декаду голодной?

### 2/III.

В виленской газете «Слово» опубликована рецензия на мою поэму «Нарочь», в которой Ян Мацкевич напоминает, что он предостерегал польское правительство, когда писал в своей книге «Бунт ройстов»<sup>1</sup>: «...бунт над берегами озера (Нарочь) войдет в историю как факт борьбы людей за свои истинные права... И не увенчает ли его легенда рыбаков поколений лаврами эпоса...» Этот зубр помещиков был очень удивлен, что он опоздал со своим пророчеством и что поэма о событиях на Нарочи уже давно написана.

На Замковой заметил, что какой-то тип неотступно вышагивает за мною. Пришлось изменить маршрут, чтобы сбить его со следа. Зашел в студенческий интернат на Бакште, потом направился к базилянским стенам, подался на Немецкую — самый шумный проспект еврейских лавочек, где тебя на каждом шагу задерживают и тянут за рукав:

— Нужны пану штаны?..

— Я, пане, прошу только посмотреть на мой товар...

— Самые модные шляпы и рубашки!..

Спасаясь от своего ангела-хранителя и от назойливых торговцев, нырнул в какой-то тихий и грязный переулок, который неожиданно вывел меня к еврейской больнице, в которой когда-то, в 1932 году, состоялось первое редакционное совещание сотрудников «Журнала для всех». Тогда тут работал наш редактор доктор Всеволод Ширан. Мало привлекательного в этих средневековых лабиринтах. Разве только то, что не знаешь точно, куда тебя может вывести тот или другой переулочек, проходной двор или какой-нибудь лаз, известный только детям, собакам и кошкам...

Дома застал письмо от Лю. Переписал из газеты в блокнот — может, пригодятся — исторические слова пана министра просвещения Скульского: «Заверяю вас, что через десять лет в Польше даже со свечой не найдете ни одного белоруса...»

### 17/III.

Польша направила ультиматум Литве. Целый день по Legionной и Погулянке, дорогой на Каунас идут военные части — пехота, артиллерия, кавалерия. Около скульптуры святого Яцека и возле гаража «Арбон» стоят голпы гимназистов, пенсионеров, каких-то очумевших кликуш, которые, надрываясь, кричат:

— Виват!.. На Литву, на Литву, на Литву!..

Признаться, мне не верится, что тут может разгореться настоящая война. Скорее всего ограничится все демонстрацией «силы», «готовности» польской военщины.

Видел сегодня Регу<sup>2</sup>. Примерно так думает и она. Говорю «примерно», потому что очень уж сложный это человек: никому не верит, не любит открыто высказывать свои мысли, ни о ком доброго слова не ска-

<sup>1</sup> Ройсты (*польск.*) — болотные заросли.

<sup>2</sup> Рега — Б. Янковская.

жет. Не знаю, как она с таким характером может работать в наших условиях, когда самое необходимое во взаимоотношениях между людьми — вера в товарища, друга. Условились с ней, что я подъеду в Кривичи, Долгиново и в свой Мядел. В последнее время все в нашей работе как-то усложняется. Но говорить на эту тему с Регой не хотелось. Она была сдержанна в своей информации, и я старался не выходить за границы тех вопросов, которые ее интересовали.

...На столе — целая груда писем и стихов: Чорного, Подбересты, Овода, Гуля, Росы, Зорьки... Всех охватила псевдонимомания, которой и я когда-то переболел. Помню, тогда у меня псевдонимов было больше, чем стихов...

### 20/III.

От Ионаса Карососа узнал о возвращении Ёзаса Кекштоса из концлагеря Береза. С Кекштосом я в 1932 году вместе сидел в Лукишках. Он был арестован с большой группой литовских гимназистов-комсомольцев. В продолжение нескольких месяцев мы каждый день встречались на тюремной прогулке, перестукивались через стену, делились хлебом и надеждами. Потом я с ним долго не виделся, знал только, что он стал известным литовским поэтом. Много хорошего слышал я о нем от Карососа и от других моих литовских друзей. Жалко было, когда его вырвали из наших рядов. Он стоит перед моими глазами — красивый, непреклонный, с какой-то не по годам и горьковатой и умной усмешкой на губах, усмешкой человека, который видит больше, чем другие.

Снова настали для меня тяжелые дни. На последние деньги купил на базаре колбасные обрезки. Слышал, как один крестьянин говорил другому:

— Земля наша бедная, только налоги на ней и растут...

Очень хотелось бы выписать газету Народного фронта «Пшекруй тыгодня». Хотя денег нет, но на всякий случай записал адрес редакции: Варшава, площадь Железной Браны, 4, кв. 2, номер счета в ПКО (Польска Каса Ощедности) — 5006.

Прочитал произведения Карского, Вики Баум, Тувима, Фрейнета, Мережковского, а из белорусских — Крапивы и Александровича.

Сейчас не помню, у кого из писателей я нашел это волнующее описание впечатления от Мавзолея Ленина:

«Казалось ей, здание это могло быть еще более красивым, если бы оно было выше, но вдруг замерли все ее критические замечания, когда она увидела простое короткое слово, в котором они сказали все, что хотели сказать. Ленин — и ничего больше».

### 10/IV.

С опозданием прочел интересную газетную заметку Выш[емирского] о журнале «Колосья», в которой он очень дружелюбно отзываясь о моей «Нарочи», пишет о белорусской литературной жизни в Вильно, о необходимости более тесных контактов между польскими и белорусскими писателями. Заметка небольшая, но затрагивает много существенных вопросов. Надо показать ее Кастусю, обсудить ее. Мне кажется стоило бы войти в эти приоткрывшиеся двери хотя бы для обмена мыслями, хотя бы для того, чтобы вынести наши наиболее волнующие вопросы на более широкий форум, заинтересовать ими новые круги польской общественности, которая об американских индейцах знает больше, чем о нас.

За годы существования панской Польши выросло целое поколение, отравленное великодержавным шовинизмом, католическим и националистическим духом. И оно, кроме польской официальной политики, не знает ничего. Только трагические события в самой Польше, в Германии, в Испании заставили многих задуматься, переоценить все, чему их учили, и более трезво посмотреть на окружающее. Некоторые из них из политических процессов и скупых сообщений о пацификациях<sup>1</sup> впервые узнали, что под одной крышей с ними, только за закрытыми решетками окнами, живут миллионы людей других национальностей — людей, лишенных всех человеческих прав...

Я, кажется, нарушил стиль дневника и начал писать передовую статью в давно закрытую газету.

#### 7/IV.

Слежу за развитием современной польской и западной поэзии. Хотя и трудно мне судить о последней по переводам, но мне кажется, что рождается новая поэзия — поэзия без родины. Боюсь, что будущим ученым легче будет изучать культуру и жизнь народа по археологическим находкам, чем по некоторым современным сборникам стихов.

Вчера в музее от нашего художника Дроздовича узнал, где находится дом, в котором погибли виленские коммунары. Сегодня нашел и удивился: столько раз проходил мимо этого трехэтажного здания и не знал, что на его кирпичах записаны пулями славные страницы новой истории города.

А Дроздовича я нашел в праздничном настроении. Он признался: немного выпил со своими друзьями. «Сегодня, — смеялся, — получил гонорар за проданные посетителям музея кии». Я видел одну коллекцию его киев, украшенных оригинальной резьбой этого талантливого художника-самоучки. Их охотно покупают все посетители музея, особенно иностранцы. Подарил он мне свою книгу «Движение небесных тел», посвященную его родителям. Не знаю, какой из него астроном. Мне кажется, он не через телескоп, а через бутылку наблюдал за движением планет. И все же это самобытный, интересный и талантливый человек, который в наших условиях жизни разбрасывается, не найдя своего места на земле. Оригинальные его картины, написанные тушью, акварельными и масляными красками, на исторические и космические темы не только удивляют своим видением мира, но и заставляют задуматься над тем еще не разгаданным, что окружает человека. А его зарисовки народных тканей, ковров, поясов, сделанные во время его бесконечных путешествий по Западной Белоруссии и подаренные музею, — редчайшее сокровище, которому когда-нибудь и цены не будет.

#### 9/VII.

Сегодня праздник у моей  
Любимой — двадцать весен ей.  
И мастера Страны Советов  
Приносят ей свои дары.  
А музыканты и поэты  
Сегодня празднично щедры.

И вот хозяйка молодая,  
К столу торжественного дня  
Гостей радушно приглашая,  
Спросила тихо у меня:  
— Мой зарубежный гость, что гложет  
Тебя? О чем грустишь? Быть может,  
Вину недостает огня?..

. . . : : : : : r r r r r r r r r r r

<sup>1</sup> Пацификации — карательные мероприятия.

Это стихотворение я писал к двадцатилетию БССР, но оно мне не удалось, и я оставил его незаконченным. Когда-нибудь вернусь к этой теме.

### 2/VIII.

Дядя Рыгор переслал мне письмо от композитора Кошица. Пишет, что получил мой сборник «Под мачтой» и благодарит за него.

Собрались косить, но дождь с громом заставил нас вернуться домой. Тепло. Я открыл окно, чтобы не было так душно в хате. Отец под клетью начал отбивать косы. Никто у нас так не умеет направить косу, как он, да и косец он отменный, любого может загнать на покосе. А дождь шумит и шумит — по крыше, картофельной ботве, по широко раскрытым ладоням капусты. Видно, до вечера не распогодится. Может, удастся ответить на письма, которые давно ждут ответа. В сенях спорят Федя с Милкой, кому идти загонять коров, а кому отгонять от яровых Лысого. Снова этому плуту, видно, удалось вырваться с пастбища.

Постепенно нитки дождя темнеют. Вечереет. В старом разбитом зеркале скачут отблески огня, который в ожидании чугуна с картошкой так расходился в печи, что мать должна была его успокоить добрым половником воды. А дождь все шумит, всхлипывает, вздыхает, булькает, хлюпает... Диву даешься, сколько в его голосе оттенков.

### 3/XI.

Вернувшись из библиотеки Томаша Зана, застал дома письмо от Яворского. Пишет, что в «Камене» будет напечатано переведенное им мое стихотворение «Над колыской» и что он собирается переводить мою поэму о Калиновском.

Виделся с Кастусём. Не знаем, как переживем эту голодную и беспросветную зиму. Мы сейчас похожи на людей, чей корабль затонул, а их самих волны выбросили на берег. Каждый день вглядываемся вдаль. Но на небосклоне ничего не видно.

А в магазинах полно разной снеди. Только я заметил: почему-то покупателей меньше, чем зрителей. Они долго, как и я сегодня, стояли и приглядывались к ценам. Все мы делали вид, что хотим что-то купить и только не можем сразу выбрать...

Прочел в одном из советских журналов стихотворение Бехера о Ленине. Переписал в свой блокнот. Может, попробую его перевести. В «Курьере пораном» помещена интригующая заметка о «Процессе» Кафки: «Книга, не похожая на все другие». Рекламная приманка? Нужно завтра разыскать ее в библиотеке полонистов.

### 21/XII.

Если б не книги, можно было б сойти с ума. И в неволе они меня спасали, и на свободе, которая мало чем отличается от неволи. Достал Чарота «Корчму», Пуши «Утро рычит». До отъезда в Пильковщину хочу прочесть.

### 30/XII.

Видно, доживает уже свой век наша старая хата — моя колыбель. Зачем только ее перевозили из деревни на хутор? Правда, стены еще держатся, но пол — особенно возле печи, где стоит ушат с помоями. —

прогнил и проваливается. Даже крепкие, со смолистой сердцевиной подоконники так иструхлявились, что никак не вставишь вторые рамы. Из-за этого стекла зимой покрываются толстенной коркой льда, который наглухо замуровывает и без того скупые на свет окна. Когда я при помощи ножа и молотка пробую сбить эту наледь, на меня начинают кричать все домашние, чтобы я — избави боже! — не повредил стёкла. И то потом их и не вставишь.

От смолистого дыма лучины, которой за век тут пережгли бесчисленное количество пучков, балки и доски до того закоптились, засалились, почернели, словно кто-то их покрыл черным лаком. Даже когда перед праздником делается генеральная уборка, этот «куродым» не удастся ничем отскоблить. Под одной из балок торчат три пары крюков — для витяя веревок — и несколько желтых костяных спиц для плетения лаптей да еще деревянные правилы с натянутой на них сырой бараньей шкурой.

После ужина все долго сидели за столом. Пришел из Слободы Сашка Осоевич. Рассказал интересный случай, как за Глубоким, куда он возил княжнинского скупщика леса, один крестьянин выстроил хагу в хате. Дело в том, что, когда сгнила его старая хата, полиция запретила на узком его наделе ставить новую — близко были соседские дома. Тогда крестьянин, чтобы не отдаляться от своего хлева, гумна, амбара и колодца, срубил сруб немного поменьше и миром за одну ночь поставил его в старой хате. Налетела полиция — поздно. Поставленный сруб — по закону — уже никто не имеет права разобрать.

Прощаясь, Сашка признался, что у него сохранилось несколько номеров газеты «Борьба», которая в 1932 году издавалась в Берлине и рассылалась по почте. Я посоветовал ее уничтожить: газета устарела, а спрятать ее так, чтоб никакой черт ее не нашел, негде.

Газету эту я хорошо помню, так как приходилось готовить для нее некоторые материалы. Печаталась газета на такой тонкой бумаге, что легко уменшалась в обыкновенном конверте. Поэтому полиция долго не могла перехватить все каналы, по которым она распространялась, — для этого нужно было бы проверять почти всю корреспонденцию на почте.

Когда все ушли спать, я сел работать над сатирической сценкой «В монастыре».

### 31/XII.

Вместе с отцом трелевали из леса подготовленный еще с осени в Краснове сухостой и бурелом — на дровяник. У сарая свалили еловые лапы. Будет теперь на всю зиму занятие деду — рубить их на подстилку коровам.

Встречаю вечер новогодний  
Под суматошный крик ворон.  
Над полем север непогодный,  
Бурана свист и перезвон.

С кем поделиться мне тревогой?  
Никто — я знаю — из друзей  
Не сможет к моему порогу  
Свернуть с метельных тех путей.

Гори, моя лучина, в хате!  
А вдруг зря, взойти спеша,  
Твой свет, как искру, перехватит,  
И отогреется душа...

Вспомнил, что у меня лежит еще не прочитанный номер журнала «Камена», где напечатаны стихи Аполлинера, Новомесского, Незвала, Выгодского, Бжестовской, Вайнтрауба...

Грех жаловаться: с хорошими друзьями буду я сегодня встречать Новый год. В компанию можно было бы еще пригласить и Карузо. Где-то в новой хате среди старых грампластинок лежит его «Санта Лючия». Пусть бы спел под аккомпанемент наших снежных метелей, что шумят за окном.

Поздно, около печи топчется мама. Принесла из кладовки дежу. Наверно, будет ставить хлеб. Потом, слышу, рассказывает отцу свой очередной сон. А сны у нее не простые — вещие.

— Ты не спишь, Янук?.. Так вот, кружит, вижу, надо мной черный ворон, и никак я его не могу отогнать...

### **1939 год.**

*5/I.*

Все больше и больше заносит снегом наши хуторские тропки. В Вильно, говорят, свирепствует грипп. Может, через наши сугробы и не доберется эта хвороба до моей Пильковщины.

Газеты пишут, что голландское правительство передает в руки гестапо всех бежавших из фашистской Германии, о заглавной смерти спичечного короля Крейгера и даже о том, что король Ягайло и сын его Казимир говорили по-белорусски.

В последние дни удалось набросать фрагмент поэмы. Нужно переписать и один экземпляр послать Лю.

*14/II.*

Вчера пришла открытка от Лю. Пишет, что ей понравились последние мои стихи («Если хочешь...», «Вновь загорелись сосны», «Морозный белый ветер...»).

Лю пишет еще, что собирается ехать к сестре в Хожев. Надо скорей возвращаться, пока она еще в Вильно и пока меня и мои стихи не замели тут пильковские метели. Видно, завтра соберу свои манатки и поеду.

Несколько дней тому назад, писали газеты, состоялся процесс Б. Янковской -- Ирины Петровской — Сони Берман (так суд и не смог выяснить ее настоящей фамилии) и Николая Бурсевича. Б. Янковской дали десять лет, Н. Бурсевичу — шесть...

*15/II.*

Под вечер начали с отцом готовиться в дорогу. Когда наш Лысый стоял уже запряженный возле крыльца, я еще на минуту забежал в хату и набросал короткое прощальное стихотворение «Снова жалко мне родных околиц». Что-то очень грустно было мне на этот раз расставаться со своей Пильковщиной. Грустно, потому что ехал я навстречу безрадостным дням, ждущим меня в Вильно.

Мороз накрепко замуровал все окна. Видно, придется в дороге померзнуть — часа четыре будем тащиться до нашей Княгининской станции. Прощаясь, мама, как всегда, перекрестила нас. Потом, выйдя за ворота, проводила тоскливым взглядом и стояла, пока мы не скрылись в густом ельнике.

## 20/II.

Итак, я снова на знакомой улице Канарского, на квартире Шефлянских. В углу разгороженной шкафом и занавеской комнаты разместились мы трое: Сашка Ходинский, его брат Николай, гимназист, и я. В комнате — две кровати, стол, заваленный книгами, и электрическая лампа. Самое красивое в комнате — окно. Оно выходит на зеленые сосны Закрета, похожие на шишкинские, только без медведей. Можно долго любоваться этой обрамленной оконной рамой картиной, потому что она каждый день другая — в зависимости от погоды и цвета неба. Эти сосны напоминают мне лес около нашей старой поставни<sup>1</sup>, которую, к великому моему сожалению, дед продал на вал для ветряка. Говорят, лесорубы с трудом ее распилили, такой она была толстой. Более двухсот колец я насчитал на ее свежем еще пне.

## 21/II.

Пришла первая весточка от Лю из Хожева. В своей открытке — репродукции с очень своеобразной картины Мюллера Езефа «Карцер» — Лю просит навестить ее старенькую маму и написать, как она себя чувствует. О себе ничего не пишет. Видно, не очень весело ей там живется, только не хочет об этом писать.

Виделся сегодня с М. На фабрике «Дикта» на днях начнется забастовка. Рабочие требуют повышения заработной платы.

В последнее время разного рода белорусские деятели начали отмечать свои юбилеи. Нужно и мне отметить каким-нибудь сатирическим стихотворением эти «исторические» даты. До сих пор мало я пользовался смехом, который может служить и щитом, и наступательным оружием.

В библиотеке «Коло полонистов» прочел чудесное стихотворение Леонидзе, переведенное Тихоновым:

Мы прекраснейшим только то зовем,  
Что созревшей силой отмечено:  
Виноград стеной иль река весной,  
Или нив налив, или женщина...

## 13/III.

Дождался наконец письма от Лю. Только мало оно порадовало — столько в нем тревоги. Чего она так долго сидит в этом Хожеве? Скорей бы возвращалась в Вильно. Неужели она не видит, какие тучи собираются на западе?

На днях был в Институте изучения Восточной Европы, слушал доклад о международном положении и про Заользе. Какой мрак в мозгах этих дипломированных политиков! Договорились до того, что, если начнется война, Польша без чужой помощи сможет дать отпор и Востоку и Западу. Я слушал ораторов и думал: даже пан Заглоба<sup>2</sup> в нынешней ситуации был бы более реалистичным политиком! Словно бельма закрыли этим людям глаза и они потеряли способность видеть то, что неумолимо приближается.

## 16/III.

Позавчера была учебная воздушная тревога. На двадцать—тридцать минут город потонул в темени. Многие еще не понимают, какая

<sup>1</sup> Поставня — сосна, к которой крепятся пчелиные ульи.

<sup>2</sup> Пан Заглоба — комический персонаж Г. Сенкевича.

бездонная ночь опускается над Европой. Сегодня гитлеровские полчища заняли Чехию и Моравию. Что ждет нас завтра? Все сильнее дымит гданьский вулкан. Бурлит занятая венграми Закарпатская Русь, затягивается фашистская петля на шее столицы Испании...

19/III.

Едва не проспал встречу с Кастусём.

За окном кружит снег. Улицы почти пустые. В каждом отдельном случае нужно на сто процентов быть уверенным, что они безопасны. Да еще не повредит уберечься от непрошеной тени быстрой ходьбой, на случай, если она подстерегает тебя в какой-нибудь подворотне. Кастусь в условленный час почему-то не пришел. Любина мать топила печь: ветер совсем выстудил их старую, обветшавшую избу. Вчера, передала она, заходил рабочий М., хотел меня повидать. Жаль, что она не знала моего адреса и не смогла его направить ко мне. А с М. встретиться необходимо. Он знает все рабочее Вильно. Может, помог бы Кастусю найти какую-нибудь работу. Придется теперь самому разыскивать М. по всему Новому Свету. Я присел возле печи погреться и в ожидании Кастуся набросал черновик стихотворения «Нанимаясь на работу...».

Вы спрашиваете — чем я могу быть полезен,  
Если не умею стоять на голове,  
Забавлять и смешить публику,  
Ходить по канату под куполом цирка,  
Прикидываться, что не вижу преступлений и подлости?  
Простите, напрасно я вас потренировал.  
Я — человек, умеющий делать  
Только простейшие вещи —  
Из горстки земли выращивать хлеб,  
Из сердца — песни.

20/III.

Некоторые правительственные круги начинают заигрывать с национальными меньшинствами, доказывая, что польский национализм никогда не относился враждебно к литовцам и белорусам. Нужно иметь очень короткую память, чтобы в это поверить. Каждый националист расхваливает свой национализм, считая его наиболее прогрессивным и гуманным, — даже тогда, когда держит тебя за горло.

Встретившись с Кастусём, подробно анализируем с каждой минутой усложняющееся международное положение. Как долго мы еще будем немymi свидетелями неумолимо надвигающихся событий?

30/III.

Сегодня узнал, что Герасим погиб — не то в Мадриде, когда «Легион Кондор» бомбил город, не то в горах Эстремадуры, прикрывая отступление своей бригады. Необходимо более точно выяснить обстоятельства его смерти. А может, это только слухи? Может, он жив и работает где-нибудь в испанском подполье?

Я записываю грустную весть о гибели своего замечательного товарища пером, которое он мне подарил в минуты нашего расставания.

День этот перегружен тяжелыми вестями. Почтальон принес открытку от Михаса Василька. У него большое горе — умерла жена, несколько лет болевшая туберкулезом. Как и чем помочь ему в эту тяжелую минуту?



Ночами горят разноцветные витрины и окна виленских магазинов. Я их знаю на память, а они меня как клиента, наверно, не заметили. Сколько в этом городе безработных и босяков, которые целыми днями стоят и глазают на них!

На улицах идет сбор денег на противовоздушную оборону. Поздно взялись паны обеспечивать небо над Польшей! Надо расковать руки народу. Только народ своими руками мог бы заслонить Польшу от опасности.

#### 5/IV.

Жду приезда Лю. Сейчас у меня никого нет близких, с кем я мог бы поделиться своими мыслями. Даже в тюрьме, в одиночке, я знал, что за стенами — мои друзья, я могу с ними хотя бы перестукиваться. Кажется, таких беспросветных, глухих дней еще не было. Скоро пасха. Последняя голодовка основательно подкосила мое здоровье, но на праздники домой не поеду, да и не на что ехать. Буду сидеть и работать. Вчера из библиотеки от знакомых притащил целую охапку разных книг. Любои дом без книг кажется мрачным и невеселым. Что же говорить о закутках, в которых живем все мы?

#### 19/IV.

Рембо в своей «Алхимии слова» открыл цвета гласных, а я цвета своих голодных дней: понедельник белый, вторник синий, среда голубая, четверг зеленый, пятница красная, суббота черная...

Скорей бы возвращалась Лю. Три раза ходил на вокзал встречать ее, хоть и знал, что она еще не может приехать. Возвращался сегодня домой в дождь. Даже был рад, что такая промозглая погода и на улице мало прохожих. Идешь — и никто тебе не мешает думать. Только каким опустевшим показался мне город!

Пришел домой, а дождь все шумит и шумит, то громче, то тише барабанит в окна. Засел за стихи. В последнее время меня начинает раздражать «поэтичность», «красивость» многих стихов, в том числе и моих собственных. Все у нас сейчас стремятся писать под классиков, и совсем исчез эксперимент. Не знаю, сколько может длиться такое противоестественное положение — бесконечная эксплуатация открытий наших предшественников.

#### 20/IV.

По просьбе Казимира Гультрехта послал все свои сборники в Союз киносценаристов. В письме написал, что сомневаюсь, чтобы сегодняшняя цензура разрешила ему поставить фильм по моему «Нарочи». «...Я писал поэму, чтобы рассказать о тяжелой жизни и героической борьбе нарочанских рыбаков за кусок хлеба, за свои права на эту землю, на которой жили и сложили свои кости их деды и прадеды... Что до суеверий, ворожбы, которые Вас интересуют, — так их можно найти в нашем богатейшем фольклоре — в сказках, песнях, преданиях. Правда, сокровищ этих с годами становится все меньше. И на берегах Нарочи уже слышатся завезенные туристами, чиновниками чужие песни, шлягеры. Меняется внешность жителей, среди них можно увидеть стрельцов, осадников в конфедератках, говорящих на каком-то смешанном польско-белорусском жаргоне. Земля там бедная. Не удался улов — бабы несут свои домотканые ковры и пехотенца продавать на Мядельский рынок. Часто после таких голодных дней только лодка да

сетка остаются у рыбака. Глубоко под серыми сермягами и потными рубашками спрятана душа народа, а в сосновых недрах — неповторимая красота наших озер. Не знаю, удастся ли Вам все это снять на кино- пленку...»

26/IV.

Без денег и без хлеба. Отнес несколько своих сборников в книжный магазин С—а, который неожиданно расщедрился и выплатил мне за них 20 злотых: 11 злотых 75 грошей за принесенные книги, а 8 злотых 25 грошей — аванс за мою новую поэму. Я предупредил С—а, что не так скоро закончу ее. Согласился подождать. Что за черт? Ну, пусть подождет. Сегодня по крайней мере есть чем заплатить за квартиру. На радостях в молочной Гайбера, что на улице Мицкевича, выпил кружку молока. Итак, снова за работу! С. интересовался судьбой моих героев. Не уверен, что он обрадуется, когда узнает из поэмы, какой дорогой они пошли.

И все же у меня нет никаких возможностей продлить свое пребывание в Вильно. А тут еще усложнились домашние обстоятельства: вернулся из Аргентины дядя Фаддей и отцу будет трудней помогать мне. И так уж мои писания для домашних явились нежданной и непонятной катастрофой, которая неизвестно еще чем обернется.

Получил письмо от Василька. Павлович показал мне письмо, которое он тоже получил от него. Страшные письма. Может быть, раньше я и не понимал Василька, но и он не представляет себе и не понимает, в каких обстоятельствах сегодня живу я, да и все наши товарищи. Покажу его письма Кастусю. Хотя сейчас мы, бедняки, ему ничем не сможем помочь.

Приближаются первомайские праздники. Как трудно поверить, что в этот день наши знамена будут лежать свернутыми<sup>1</sup>. — знамена, которые всегда пламенели над многотысячными рядами демонстрантов цветом надежды, борьбы и победы.

28/IV.

Сегодня поэзия для меня — страна, в которую я без заграничного паспорта и разрешения полиции удираю отдохнуть от грустной действительности. Хотелось бы написать о великой любви. Боюсь только, что не смогу: и настроение не такое погожее, и обстоятельства не способствуют, и редакторы не слишком вольнодумные, и цензура не слишком романтическая, и читатели не слишком подготовленные... Неужели никогда нельзя будет писать обо всем, что хотел бы, и так, как хотел бы?

29/IV.

Задыхаемся без своего журнала. Написал стихотворение про Картуз-Березу. Отнесу в архив — все равно никто не напечатает. Возле редакции «Слова» встретил Ш. Вспомнили время нашей совместной работы. Жаль, что не сохранилась у него моя поэма «Семнадцать», написанная под влиянием Блока. Цензура наложила на нее свою лапу. Помню, после ареста следователь все допытывался: «А не означает ли название поэмы годовщину революции в России?»

Ш. потолстел, поплыл и, видно, совсем отошел от политики. Напомнил я ему нашу встречу в Лукишках, которая очень его напугала. Теперь и самому смешно.

<sup>1</sup> К этому времени Коммунистическая партия Западной Белоруссии была распущена.

## 22/V.

Через знакомого студента Лю получила на несколько недель работу на виленском складе семенных трав, а вместе с нею и я. Теперь каждый день ходим на Офярную<sup>1</sup> улицу (название какое!). Что до меня — так работа не очень тяжелая, только пыльная. Возвращаемся домой черные, как черти. За неделю можно заработать шестнадцать злотых. Для меня это целый капитал. Рассчитался с хозяйкой за квартиру и купил еще себе новые брюки.

Вечером забежал ко мне И. Поругались. Неделю тому назад я читал ему в музее фрагменты «Силаша». Он, как и подобает правонерному хадеку, не может мне простить, что молодость моего героя связана с Москвой, с революцией. Представляю себе, как завизжат мои критики с Завальной и Острой Браны, если мне удастся закончить поэму. Провожая гостя, напомнил, что в последнее время он нарушает нашу прежнюю договоренность, печатая в своем журнале разного рода антисоветские материалы.

## 25/V.

Многие наши революционные поэты стесняются признаваться в любви к своему родному углу, к своему дому, семье, чтобы не сочли их людьми ограниченными. О себе могу сказать, что край моей юности стал неотлучной тенью моей поэзии. Когда-то у меня было много любимых поэтов, а теперь мне трудно назвать даже несколько имен. Я часто нахожу интересные вещи у писателей, казалось бы, далеких мне; а у близких вижу много слабого, раньше я этого не замечал. Разница между тем, что я видел раньше и теперь, довольно значительная. Сколько я уже открывал на небосводе островков счастья, а потом убеждался, что это были земли, как и наша, полные горя и страданий. Сейчас я ищу новые формы, образы, краски, ритмы и рифмы. Рифмы? Я еще отбиваю перед ними поклоны, хоть они и начинают мне казаться ненужными костылями. Написал стихотворение «На тюремной прогулке»:

— Кто там поет?  
 — Пан стражник, это  
 Смертник поет в ожиданье рассвета,  
 Поет, пока он еще не мертвый,  
 Поет в изоляторе тридцать четвертом.  
 — Но почему он поет? Для чего?  
 — Другого оружия нет у него.

## 5/VI.

Мелянцевиц дал мне Хемингуэя «Прощай оружие!». Никуда не пойду: обещал до вечера прочитать и вернуть эту книгу. Она с первых страниц захватила меня своим ремарковским настроением, суровым реализмом и беспощадным трагизмом судьбы героев. Нигде не могу достать Мальро «Годы презрения». Жаль, что я до сих пор не прочел этой книги.

От реки, цепляясь за вершины сосен, с громом плывет туча. Есть надежда, что в дождь ко мне никто не нагрянет. Смогу спокойно и почитать и поработать. Все же перед тем, как взяться за книгу, переписываю в первой редакции свое новое стихотворение «В комиссионном магазине»:

Что вы желаете сдать?  
 Шапку? Такую дырявую не примем.  
 Пиджак? Но на нем сплошные заплаты,  
 Его и нищий у вас не взял бы.

<sup>1</sup> Офяра (польск.) — жертва.

А штаны, просиженные до дыр,  
Где их пан просидел?  
Что? В Лукишках?  
Нет, мы ничего не можем принять.

Что вы еще предлагаете? Руки?  
О, Езус-Мария!  
Ну, кто у вас купит такие руки,  
Искалеченные кандалами!

## 8/VI.

Дядя Рыгор отобрал несколько моих стихотворений для К. Галковского: он хочет написать на них музыку. Я перечитал их и попросил, чтобы Галковский не торопился, — попробую сделать их более певучими.

Возле Лукишек встретил группу арестованных. Их куда-то перегоняли под охраной полицейских. Все они были в кандалах. Видимо, политические. Вспомнил свое первое возвращение из Лукишек. Отец всю дорогу молчал, а я, чтобы отвести неприятный разговор о моей печальной доле, о погубленном будущем, говорил ему о приближающейся революции в Польше. Не знаю, убедил ли я своего старого, но сам я был рад, что он мне не возражает и слушает. Кажется, это было мое самое длинное политическое выступление: тянулось оно более трех часов, или около двадцати километров — от Мядела до Пильковщины.

## 9/VI.

Был у К. Живет он в тесной и темной конуре. Хорошо, что хоть из окна веселый вид: высокий обрывистый берег Вилейки, усеянный валунами, дальше несколько хат, за которыми — «край зубчаты бора»<sup>1</sup>. Во всех углах комнатки — книги, газеты, журналы, среди них очень красиво и богато оформленный номер «Аркад», посвященный слущким поясам. К. показал мне интересную коллекцию репродукций Марка Шагала. Он, видимо, любит этого художника, рассказал мне много интересного о нем, Кандинском, Малевиче. Показал несколько работ Блендера, Стерна, с которыми он встречался, когда жил и учился в Кракове. В шагаловских сюжетах есть много знакомого мне по детским сказкам и ярмарочным балаганам. Только все это перемешано с такой вакханалией красок, которая и во сне не приснится. Еще не так давно я был очень скор на окончательные выводы и безапелляционные приговоры. Очень мне все тогда казалось простым и понятным. Может, когда-нибудь я буду завидовать бывшему своему «всезнайству», но теперь я стараюсь быть более осторожным в оценках, потому что история литературы и искусства свидетельствует о том, что осужденные часто переживали своих судей и их трибуналы. Домой возвращался с чувством человека, который внезапно разбогател. Как-то на Антоколе встретил П. Сергеевича. Побывал и в его мастерской. На стене, рядом с другими портретами, висит одна из его лучших работ — портрет Лю. Показал он мне много репродукций с картин великих художников Возрождения, привезенных из Рима. Хотел, говорит, и последние штаны продать, чтобы больше купить этих сокровищ, да на свои старые лохмотья не нашел покупателя.

Петр Сергеевич — своеобразный, с ярко выраженным характером художник. Но в наше время, когда от каждого требуются ясные, определенные взгляды, он может показаться человеком, слабо ориентирующимся в политических направлениях, классовых отношениях. И борьбе. Ему

<sup>1</sup> Строка из знаменитого стихотворения белорусского поэта М. Богдановича (1891—1917) «Слущкие ткачихи».

все кажутся добрыми, искренними, самоотверженными, даже такие проходимцы, о которых перед сном и вспоминать не хочется, чтобы ненароком не приснились. Один из них уговаривает художника написать картину на какую-то свою псевдоисторическую тему, другой — на религиозную, третий...

— А ты, браток, как думаешь?

Я говорю, что думаю обо всех этих предложениях. Не знаю, удастся ли мне его убедить, хоть он, как очень вежливый хозяин, не оспаривает своего, может, даже и грубоватого в высказываниях гостя. Но скорей всего он сам своим мужицким инстинктом находит правильное решение. Потому что, когда я спустя какое-то время захожу к нему, я вижу на стене несколько новых портретов его брасловских земляков, на лицах которых явственно выражена их классовая принадлежность.

### 10/VI.

В воздухе все сильнее пахнет порохом. Есть слухи, что на западной границе начались фашистские провокации. А правительственные газеты отмалчиваются. Тем, кто мог бы ударить в набат, связали руки; тем, кто мог бы предупредить об опасности, заткнули рот; те, кто должен был бы возглавить борьбу против фашизма, обезоружены. *Ett äre malle!*<sup>1</sup> Но боюсь, что могут сбыться все мои наимрачнейшие предчувствия.

Снова взялся за фольклор. Я часто возвращаюсь к нему, как к роднику, чтобы освежить свои губы, смыть с лица дорожную пыль. Но долго возле этого родника стараюсь не задерживаться. Поэзия обязана открывать новое. Иначе она перестанет быть поэзией. А новое нужно искать на жизненных дорогах не только своего, но и других народов. У К—ра очень интересная библиотека поэзии. Я взял у него Рембо, Рильке, Валери, Малларме, всех наиболее выдающихся символистов.

В Игнатьевском переулке встретил группу арестованных. Впереди, со скованными руками, в крестьянской одежде, — совсем еще молодой парень. Он присматривался к прохожим, словно искал среди них какого-то знакомого.

Какие хмурые сосны смотрят сегодня в мое окно!

### 11/VI.

У Зверинецкого моста, где когда-то помешался цирк Станевских, задержался цыганский обоз. Я остановился на минуту, чтобы полюбоваться необыкновенной, яркой цветистостью женских платков. Некоторые цыганки, заметив, что я приглядываюсь, подходили и предлагали погадать. Но зачем мне гадать, если я и без карт знаю наперед, что меня ждет дорога (поеду домой), что скоро получу письмо от своей бубновой, симпатичной мне дамы (Лю), а потом послания из казенного дома (разные повестки из суда), что и сам казенный дом давно по мне тоскует (еще шесть месяцев я должен отсидеть за свой сборник «На атапах») и т. д.

Нужно завести строгий распорядок дня. А то после встречи с цыганами поплелся на вокзал, ознакомился с расписанием поездов, словно они могли привезти мне какую-нибудь радость. Так и потерял весь день, шатаюсь по городу. Прошел улицы, выложенные брусчаткой, потом булыжником, потом просто улицы, за которыми протянулась тропинка, которая привела меня к Панарским пригоркам и соснам.

<sup>1</sup> Лучше бы мне ошибиться! (Лат.)

19/VI.

Заходил полицейский проверить, на месте ли я, не сбежал ли куда. Узнав из домовой книги, что я из Мядельской волости, начал перечислять знакомые деревни, поселки, поместья, в которых он бывал, когда служил в Кривичах.

— Не повезло,— сказал он.— После налета партизан на полицейский участок в 1932 году понизили в чине и перевели в Вильно.

— Теперь у вас, наверно, меньше работы? — спросил я его.— Газеты пишут, что компартия распушена...

— Это я знаю, но коммунисты остаются коммунистами — вот беда,— ответил он и поспешил распрощаться.

Принялся за неоконченные стихи, хоть чувствую, что за плечами стоит враждебный читатель и следит за каждым моим словом. Поэтому и дневник мой похож на какой-то тайник. Надеюсь, когда-нибудь я смогу из него достать припрятанное от лихих глаз и рук.

22/VI.

Сегодня пришли более подробные сведения о смерти Трофима. Не верю, что он мог покончить самоубийством. Он как живой стоит перед моими глазами. Мне кажется, вижу его в папиросном дыму (он много курил), при тусклом свете настольной лампы на Портовой, 9, в маленькой комнатке Нины Тарас и Зины Евтуховской, у которых мы часто встречались, или на Снеговой у Лю, куда он всегда приходил под покровом ночи. Трудно найти виновного в его аресте и смерти. Могли его и выследить, но я больше склонен думать, что на его след навели те, с кем он вел переговоры по линии организации Народного фронта. Среди них были люди, враждебно к нам настроенные, и от них всего можно было ждать.

28/VI.

Наступили так называемые «дни моря». В эти дни на железной дороге продаются очень дешевые билеты в Гдыню, чем решил воспользоваться и я. Расходы по моему путешествию взялось оплатить варшавское Белорусское культурное товарищество с тем условием, что я у них останюсь на несколько дней и выступлю на литературных вечерах. Неожиданно в вагоне встретил своего старого друга Ионаса Каросаса. Нам даже удалось устроиться в одном купе. Не отрываясь от окна, я с интересом смотрел на незнакомые мне пейзажи Центральной Польши, Приморья. На рассвете, когда поезд подошел к границе «вольного города Гданьска», кондуктор, опасаясь разного рода эксцессов со стороны гитлеровцев, предупредил пассажиров, чтобы не открывали окон. Так мы и проехали по заминированной территории, по земле, на которой уже тлел бикфордов шнур войны. Никто не знает, когда прогремит тут первый взрыв. Может, завтра, а может, и сегодня. Война... Хоть никто не произнес вслух этого страшного слова, но смертельное его дыхание чувствовалось и в нашем молчании.

Поезд медленно прошел каким-то мрачным каньоном. На переброшенном через железнодорожное полотно мосту я впервые увидел двух фашистов со свастикой на рукавах. Так вот они, современные инквизиторы, которые под гул маршей «Horst Wessel» и «Deutschlandlied» сжигали бессмертные творения человеческого разума, которые превратили немецкую землю в громадный концлагерь. А там, где жгут книги, когда-то предостерегал Гейне, жгут и людей...

Все с облегчением вздохнули, когда Гданьск остался позади и мы увидели море. На рейде стояли грузовые пассажирские и военные корабли. Как только наш поезд остановился на гданьском вокзале, мы все высыпали из вагонов на перрон.

Я впервые видел такие светлые, широкие, только что застроенные новыми зданиями улицы. Гдыня, как известно, была самым молодым портовым городом Польши, выстроенным за последние десять—пятнадцать лет на месте небольшого рыбацкого поселка. И может, поэтому все эти новые дома, портовые краны и мачты кораблей мне показались декорациями к какому-то спектаклю, в котором участвуем и мы, хоть и не знаем ни своих ролей, ни того, чем он кончится.

Признаться, хоть я впервые видел море, но столько раз и мои современники, и я сам рифмовали его в своих стихах, что оно не произвело на меня ожидаемого впечатления. Может, еще и потому, что все мы часто изображали его бурным, грозным, а оно сегодня было погожим, спокойным, и волны на нем были не больше, чем на моей Нарочи.

Наш экскурсовод, очень похожий на комика Макса Линдера и такой же, как он, безмерно щедрый на шутки, начал собирать нашу туристскую группу, чтобы показать Гдыню и порт. Шум. Галдеж. Я бросил всех и один пошел бродить по городу, благо в нем нельзя заблудиться — отовсюду видно море и мачты кораблей, а улицы все широкие и прямые, а не такие путаные, как в Вильно.

### 29/VI.

Вчера поздно ночью вернулись на ночлег в свои вагоны. Вернулись, уставшие от солнца, ветров, шума Балтики. Наибольшее впечатление произвел полуостров Хэль, похожий на желтый, раскаленный на солнце нож. Кто-то по самую рукоять вбил его в грудь моря, и, может, потому оно и стонет днем и ночью. В поисках янтаря мы прошли далеко по лезвию этого ножа, то прячась в тень согнутых штормами сосен, то окунаясь в свежую кипень волн.

Почему-то совсем не хотелось спать. Разговор зашел о творчестве Уитмена, потом о национальном характере. Кстати, кажется, никто у нас этим вопросом не занимался. Сами мы себя захваливали прямо-таки до тошноты, а чужие люди часто незаслуженно и оскорбительно чернили нас. А характер каждого народа складывается не только из суммы положительных черт, но и из отрицательных. И, наверно, есть много общих черт в характере разных народов, особенно близких. Но есть у нас одна «своя собственная» отрицательная черта, которой, кажется, ни у кого из наших соседей не встретишь и которая сложилась в результате сложных исторических процессов: это безразличие, равнодушие к своему языку и к своей культуре...

Перед сном еще успел просмотреть газеты. Звонкие и пустые слова: пропаганда силы и «могучести» — великодержавности, непобедимости. На кого все это рассчитано? Правда, эта пропаганда ничем не подкрепленного оптимизма некоторых так ослепила, что они и впрямь перестали видеть горькую и тревожную действительность.

Ночью наш вагон куда-то перегнали — на новую колею. Долго с рожком стрелочника переключался маневренный паровоз. Потом все затихло; только видно было, как в ночном небе что-то искал прожектор.

### 2/VII.

Бесконечная ходьба по Варшаве. Признаться, впервые никого и ничего не остерегаясь, я хожу по этому городу. Некогда даже присесть и записать свои впечатления. На вечере в Просветительском товарище-

стве белорусов в Варшаве встретился с некоторыми старыми товарищами-студентами и рабочими. Подарили мне букет цветов и новый портфель, в котором я пообещал им к следующей встрече привезти новые произведения. На вечере среди присутствующих было много незнакомых людей; среди них, наверно, были и такие, кто пришли сюда не только для того, чтобы послушать мои стихи. Поэтому в разговорах я старался не выходить за границы дел литературных.

#### 4/VII.

В чайной на Маршалковской встретился с Урбановичем и Шидловским. Приглашали приехать к ним в Отвоцк, но я отказался — у меня еще было несколько запланированных встреч с писателями, да и не хотелось надолго задерживаться в Варшаве. Урбанович очень жалел, что я не могу познакомиться с его отвоцкими друзьями — рабочими и студентами, у которых не было возможности приехать на мой литературный вечер. Он рассказал мне, что рабочие-белорусы в Варшаве собираются издавать свою газету, и спросил, не согласился ли бы я быть ее литературным редактором. Я поинтересовался, кто будет финансировать этот орган. Урбанович ничего конкретного сказать не мог. Попытка издания газеты только на общественные средства, без поддержки какой-нибудь массовой организации, мне кажется делом не только трудным, но и безнадежным. Что до моего участия в газете, так мне хотелось еще посоветоваться с некоторыми моими варшавскими друзьями и особенно с Кастусём. Урбанович обещал даже, если я переберусь в Варшаву, подыскать для меня какую-нибудь работу, чтобы я смог тут кое-как прожить. Признаться, идея эта мне понравилась: очень уж надоело сидеть без дела и ждать неизвестно чего. Одно время я собирался было уехать в Хожев, где, как писала Лю, ее свояк Л. Блеттси может помочь мне найти работу на разборке старых фабричных труб. А потом я думал податься в Чехословакию или Литву, где постарался бы поступить в университет. Из этих стран не так трудно было снова вернуться в Западную Белоруссию. За нелегальный переход границы давали всего несколько месяцев тюрьмы. Можно было б, заранее договорившись с товарищами, попробовать осуществить этот план, но я все откладывал и откладывал: как и все мои друзья, ожидал перемен. И чем больше затягивалось это ожидание, тем с большим упрямством я оставался на своем, может, совсем никому не нужном посту: вел переписку с бывшими корреспондентами и сотрудниками «Нашей воли», «Белорусской страницы», газеты «Попросту», с поэтами, которые сгруппировались вокруг «Белорусской летописи» и «Колосьев»...

Вечером был у Вайнтрауба. Его очень симпатичная жена, пани Иоанна, угостила меня пончиками с чаем. Гостеприимные хозяева приглашали, когда я буду снова в Варшаве, заходить к ним. Прощаясь, я пообещал прислать им свои сборники, а Вайнтрауб — договориться со знакомыми редакторами, чтобы они регулярно высылали мне свои газеты и журналы.

Когда я вышел от Вайнтраубов, Маршалковская уже сияла всеми разноцветными огнями витрин и реклам. Сейчас Варшава показалась мне очень красивой, хотя и чувствовалась какая-то тревога в ее шумной жизни. На стенах домов виднелись большущие плакаты. Я думал, что это реклама нового фильма, но, приглядевшись, на одном из них увидел портрет маршала Рыдз-Смиглы и аршинными буквами написанные его слова: «Не только одежды, но и пуговицы от нее никому не отдадим». А на другом: «Маршал, веди нас вперед!..» Куда веди? Против кого? Видно, крутая заваривается каша!



5/VII.

Зашел к Насте Стефанович. В 1932 году она больше двух месяцев прятала меня от всяких легавых. Мужа ее, сапожника, дома не застал. Я все не теряю надежды при помощи друзей подыскать хоть какую-нибудь работу Кастусю. Сегодня рассказал ему про свои варшавские встречи, впечатления. А он — про свои невеселые дела. Голодает. Хорошо, что Лю позвала на обед и ее мама чем могла накормила нас. И все же, несмотря на все невзгоды, Кастусь держится, как солдат на своем посту, хоть те, кто его поставил, может, давно и забыли про этот участок фронта. И он сам это знает. Но все равно не падает духом. Я с восхищением смотрю на него и вспоминаю балладу Н. Тихонова о гвоздях.

10/VII.

Спал в сарае на сене. Первую ночь на новом месте мне почему-то всегда не спится. Проснулся рано. На берегу Сервочи нашел какую-то лодку, на которой доплыл почти до самой мельницы. Когда вернулся, Бронька ждал меня с топтухой<sup>1</sup>, которой мы и стали с ним ловить рыбу. Река еще не остыла после вчерашней жары и только принимала легким холодком, когда мы брели по лужам и заводям, поросшим густым тростником и душистым анром. И хоть плохие из нас рыбаки, но трех небольших щучек мы все же принесли домой на завтрак. И Вера и Бронька уговаривают меня погостить у них еще. Но некогда — дома рабочая пора. Вечером обещали отвезти меня в Пильковщину. А пока нужно снова пойти на речку, завалиться под какой-нибудь ракитовый куст и перечитать захваченную с собой в дорогу литературу и письма, на которые еще не отвечал. На конвертах — марки королей, маршалов... Многие собирают их, коллекционируют. А я и письма вынужден сжигать. Помню, как-то прокурор задержал было письмо от Лю, в котором она писала, что Олесь Карпович, с которым я вместе сижу в Лукишках, может научить меня танцевать. Потом на суде прокурор попытался, что следует подразумевать под словом «танцевать». А танцор из Карповича действительно был бы знатный: танцами он, когда был студентом в Праге, не один раз зарабатывал себе на хлеб.

За рекой слышен звук рожка. На него откликается стадо коров, что лениво бредет к водопою.

21/VII.

Далеко за полночь. Нужно написать еще несколько писем, чтобы утром отослать их с Виктором Глинским в Мядел. Настольная лампа с белым абажуром — невиданная роскошь в Пильковщине, привезенная тетками из беженства, — бросает свет на этажерку с книгами, которую я смастерил из неободренных березовых прутков, на коричневые кругляки стен и на потолок, где из балок всегда торчат крюки, на которых дядя Фаддей вьет веревки, поводья, вожжи, путы, супоньи, кнуты, оборы для лаптей. У стены на толстой осиновой колоде стоит граммофон. И его привезли из беженства. Видно, отцу очень хотелось удивить своих стариков этой городской выдумкой, если он с того края света притащил его в нашу болотную глушь. Сперва на нем часто играли, потом вышли иголки, поблились пластинки, и он стоит, наставив на комнату свою трубу, словно какое-то громадное ухо, и слушает, как шумит за

<sup>1</sup> Топтуха — сеть.

окнами лес. Все, что в хате, отражается в висящем на стене разбитом зеркале. Трещины зеркала кажутся мне линиями, которыми кто-то перерчеркнул и меня, и мои рукописи, и эту ночь.

22/VII.

Из Вильно пришли известия о новых арестах, высылках в Березу, разгуле цензуры. Придет ли время, когда можно будет писать всю правду? Сейчас разрешается писать только о вещах, приятных властям, но короток век таких произведений. Можно писать и о неприятных явлениях жизни, но тогда — очень короток век автора. Выбор, можно сказать, богатый.

Прочитал несколько теоретических работ из серии «Вопросы поэтики». Нудно. Все эти литературные каноны кажутся мне чем-то вроде колодок. Знать их не вредно, но пользоваться ими лучше предоставить кому-нибудь другому. Я только завидую тем, кто умсет заранее разработывать планы своих произведений. Я о том, что напишу, узнаю от самого себя в последнюю минуту. Поэтому мой «творческий процесс» похож на заклинание духов, которые не всегда мне подчиняются.

26/VII.

Разомглилось, раздождилось. В Купеле вчерашние покосы лежат затопленные в воде. Придется выгребать и витками выносить на сухое. А пока что настроил детекторный радиоприемник. Правда, аппарат капризный, часто портится. Но все же хоть буду знать, что творится на белом свете. А творится такое, о чем лучше было бы и не знать. Когда начинаешь думать, ищешь виновников неумолимо надвигающейся трагедии. И тут небольшое утешение, что ты самого себя считаешь невиноватым. Нет людей, в том числе и писателей, которые не несли бы ответственности за происходящее на земле.

Снова дождь. Видно, сегодня уже не пойдем косить. Отца, сгорбившись, отбивает косу. Из Поморачина пришли к дяде Фаддею за лекарством «от кровавки». А часы забыли завести. Стоят. И неизвестно: то ли это от туч потемнело, то ли уже вечереет. Порывы ветра раскачивают натянутую между хатой и клетью антенну. В наушниках сквозь шум, писк, треск и другие помехи едва пробивается знакомая мелодия. Пост Лариса Александровская<sup>1</sup>.

28/VII.

Лю пишет о своих домашних делах, о наших фстокарточках, которые она взяла у Зрановских. Белорусский номер «Сигналов» она еще не видела. А может, он и не поступил в продажу? Нужно будет попросить Янку Шутовича, чтобы он прислал мне хоть авторский экземпляр, потому что в Мяделе «Сигналы» и со свечой не сыщешь.

В поле теплый вечер. Можно было бы начать стихотворение:

Ветер свистел, пока я не вырвал  
Свисток у него...

Вайнтрауб прислал в письме полные тревоги стихи Броневского. Только успеет ли набатный голос поэта-трибуна разбудить бдительность народа, усыпленную великодержавными, клерикальными и профашистскими колыбельными о единстве (которого никогда не было), о полной готовности (только не к обороне, а к новым расправам с рабочими и крестьянами) и дружбе... с фашистской Германией...

<sup>1</sup> Л. Александровская — Народная артистка СССР.

## 2/VIII.

Наш сосед Захарка Колбун привез с последней ярмарки целый мешок новостей про войну, которая должна начаться на этой неделе. (У нас всегда каждому событию назначают точную дату, как-то даже конец света был назначен на спаса — за два часа до восхода солнца.)

Захарка — интересный человек. Век свой он прожил в постоянной надежде на лучшую жизнь, а ту, которая выпала на его долю — и голодную, и холодную, и бесприютную, — словно бы совсем и не считал своей жизнью, а так, чем-то только по какой-то ошибке ему доставшимся. За последний год он заметно осунулся, постарел. Быстро у нас тут стареют люди, только сосны в бору с годами поднимаются все выше и становятся все более и более могучими...

Уже второй год в западнобелорусской литературе господствует смерти подобная тишина. Ни фронтов, ни атак, просто — так. Каждый, как улитка, забрался в свою раковину и живет отдельной жизнью. Мы даже не заметили, как пролегла между людьми граница недоверия, которую теперь перейти труднее, чем ту, что огорожена колючей проволокой, обстроена сторожевыми вышками; и разрослась на несусветной лжи и демагогии вражеская пропаганда, которая почти не встречает отпора. А если и встречает, то с опозданием. А за это время нарастают пласты нового вранья. Как недостаёт нам трибуны, чтобы все поставить на свое место, чтобы, как прежде, с нами вынуждены были считаться! Хорошо еще, что никак не удается забить радиопередачи из Минска, которые слушают не только крестьяне, но и осадники, и государственные служащие, и военные. Недаром правительственные круги упорно пытаются заглушить этот голос с востока. За слушание радиопередач из Минска полиция уже многих штрафовала, судила, высылала в западные воеводства.

Под руку попали два интересных стихотворения украинского поэта Макара Кравцова. Попробовал их перевести. Получилось не совсем так... Интересно, кто этот Макар Кравцов? Есть еще и Богдан Кравцов — автор сборника стихотворений «Сонеты и строфы». Чтоб не затерялись, нужно переписать хотя бы и черновые переводы этих двух стихотворений Макара Кравцова.

После знаменитых «Окон»<sup>1</sup> до нас доходит очень мало новинок украинской литературы. Единственным источником, где еще можно кое-что раздобыть, является кружок украинских студентов в Вильно. А нам, белорусским писателям, нельзя не знать литературы братских славянских народов — русской, украинской, чешской, словацкой, болгарской...

## 19/VIII.

...Война надвигается с запада, как гроза. Гитлер готовится напасть на Советский Союз. Перед этим спешит обеспечить свои позиции в Европе. На очереди — удар по Польше. В своей статье Грот распутывает змеиный клубок фашистской политики и стратегии. Тревожная и смелая статья. Только не слишком ли поздно прозвучал этот предостерегающий голос?

Все письма, которые я получаю от своих друзей, полны тревоги и невеселых предчувствий: мы вступаем в полосу важных событий под чужими знаменами и совершенно безоружными... А в моей Пильковщине — тишина. Все заняты в поле — самый разгар сева ржи. Дни стоят погожие. В Неверовском загорелось болото, синяя полоса дыма низко стелется по земле. Некоторые побаиваются, что огонь может добраться до сараев и стогов сена.

<sup>1</sup> «Окна» — литературный журнал левого направления на украинском языке. Издавался во Львове.

*25/VIII.*

В последнее время суды выносят еще более суровые приговоры всем заподозренным в коммунизме. Так, Б. Янковской апелляционный суд к десяти годам заключения прибавил еще два.

Все газеты открыто пишут о приближении войны. На польско-немецкой границе давно уже льется кровь, происходят стычки, проводится мобилизация.

*29/VIII.*

Радуюсь тому, что вечера становятся все более длинными и у меня с каждым днем прибавляется все больше свободного времени. Читаю Толстого, Конрада, Броневского, Шемплинскую, Галендера, Гамсуна, Диккенса, Бенду.

В Варшаве, Вильно и Львове — аресты. Несколько писателей и журналистов отправлены в Картуз-Березу. Нужно быть готовым к самому плохому. Чувствую, что за каждым моим шагом следит полиция и разные ее прислужники; вся моя корреспонденция проходит через двойную-тройную цензуру, начиная от сонтыса и мядельской полиции и кончая чиновниками воеводства и следователями. Нельзя писать даже про погоду — могут заподозрить, что и это шифр.

*2/IX.*

Вчера началась война. Началась она далеко от моей Пильковщины, но никто не знает, куда докатится ее пламя. Пришли ребята из Слободы, спрашивают, как им относиться к мобилизации: идти в армию или прятаться. Что им ответить? Мне кажется, эта война должна перерасти в войну против фашизма, и не только немецкого. И, конечно, мы будем в ней участвовать. Польское радио передает, что сбито шестнадцать немецких самолетов, что на Востерплатэ все атаки фашистов отбиты. Сколько сейчас там гибнет наших! Потому что из Восточных Кресов преимущественно посылали служить на западную границу.

*3/IX.*

У нас тут, словно ничего трагического и не случилось в мире, жизнь идет, как шла, так и идет своей извечной дорогой. Утром отец бороновал рожь. Перед обедом, когда я завел коней на отаву, пробежал через Жукову и нарезал полную корзинку подосиновиков и боровиков. Боровики, правда, старые, нетоварные. Молодые снимали слобожане. Они приходят по грибы, когда еще и день не занимается. Чуть ли не ощупью их ищут.

Все уже начали копать картошку, в этом году она уродилась и на нашем подзоле.

Еще не решил, податься мне в Вильно или оставаться дома. Сватковский полицейский Желязный уже дважды проезжал на велосипеде мимо нас. Что-то вынохивает. Слышал, некоторые из пильковчан и модулян, получив призывные повестки из волости, подались в лес прятаться. Все эти дни стоит ясная и теплая погода. Даже искупался в сажалке, в которой всегда замачиваем пеньку. Сажалку прошлым летом я углубил. Сейчас она полна рыжей болотной воды, затянутой зеленой рябизной водорослей.

## 4/IX.

Пришли с картошки. Руки пахнут землей и дымом от костра. Над столом на обрывке проволоки висит закопченная лампа. Ее свет падает на лицо деда, сидящего в углу, под образами. Дед со своей седой расклядистой бородой больше похож на бога, чем засиженный мухами Саваоф. Мама застилает стол скатертью, сестра Милка раскладывает ложки. У каждого своя ложка. У деда деревянная, а у нас самодельные, отлитые еще из военного алюминиевого лома нашим соседом кузнецом. От истового и частого выскребания горшков и мисок они поистерлись, стали шербатыми, однобокими. Такими ложками надо уметь есть, чтобы не разлить еду на скатерть и чтобы что-то да попало в рот. Отец каждый раз, садясь за стол, вспоминает, что надо купить новые, но каждый раз, приехав на ярмарку, жалеет деньги на такую не слишком необходимую в хозяйстве вещь.

— Было бы что есть, и старые еще послужат,— говорил он.

Видно, уж новые ложки, если доживем, будем отливать из нового военного лома...

А по деревням плачут матери, чьи дети в армии. Стали подсчитывать, кто и где служит из пильковчан. Кажется, почти все на западной границе. На восточной редко кого из наших держат...

Засиделись за столом, пока не выгорел весь керосин в лампе.

Ночью, наладив свой своенравный детектор, прослушал сообщение о бомбардировках Варшавы, Демблина, Торуня, Кракова. Под натиском немецких войск польские части вынуждены отступать на Сленском участке фронта.

## 8/IX.

Вместе с другими пильковчанами ездил в Кобыльник сдавать овес. Давно уже не был в Кобыльнике. После пожара, когда выгорели все прилегающие к базару улицы, городок отстроился и похорошел. Домой возвращался через Купу. На этот раз налюбовался досыта и ночными и рассветными пейзажами Нарочи. В Скеме, как всегда, напоили коней. Нигде так охотно не пьют кони, как из этой болотной речушки. Какая-то в ней особенная вода. На тринадцатом кладбище, где еще перед первой мировой войной мой отец с дядей Тихоном искали клад, кого-то хоронили. Мы проезжали, когда вкапывали громадный сосновый крест. Среди старых зеленых сосен и почерневших надмогильных плит — белый, с широко расставленными руками — он напоминал какое-то нелепое чудовище, с которым еще не свыклась окружающая природа. Домой вернулся под вечер. Над Великим бором долго пламенили облака, словно подожженные далеким пожаром. Из Мохнатки доносился плач: кого-то провожали на войну.

— Кого там могут провожать? — остановившись на крыльце с ведром воды, старалась угадать мама.

Сегодня сидели за вечерним столом молча. Никто даже не поинтересовался, как я сдал овес, с кем ездил, кого видел. Видно, каждый думал о той беде, которая все ближе и ближе подступала к нашему дому. Дед, я уверен, тревожился, что снова, как и в прошлую войну, все, сбереженное, нажитое тяжелым трудом, может пойти прахом, что земля снова порастет травой и кустарником, а все мы рассеемся по неведомым фронтовым дорогам. Дядя Фаддей, наверно, жалел, что, столько лет проскитавшись по свету, в такое беспокойное время вернулся домой. Отец, который лучше всех других знал, чем пахнет война, сидел особенно хмурый и растерянный. Только к концу ужина стал советоваться с дедом, что делать завтра: копать картошку или кончать бороновать рожь в Древосеках.

— Надо было б подковать Лысого, а то совсем сбил копыта. Не будет на ком и в Мяделе поехать по соль или спички. А ты, Домка, почему не вечеряешь?

— Успею! — отвечает мама и начинает шептать свои молитвы.

Молитвы у нее бесконечные. Она молится за каждого из нас, молится за живых и за мертвых, за хату и землю, за всех людей на свете. Такой молитвы я нигде не слышал, как молитва моей мамы...

14/IX.

Нашел в черновиках свое старое стихотворение «Каждый день тут ищут мою песню», написанное еще в 1930 году. Сперва хотел сжечь его, а потом решил переписать и спрятать, как это делают археологи, наткнувшись при раскопках на какую-нибудь старую, ржавую мотыгу или каменный топор.

Снова в наши хутора наведывались полицейские. Один заехал к нам будто бы напиться воды. Я вынес к колодцу наш старый, медный, сделанный еще из гильзы снаряда ковшик.

Представитель власти поинтересовался, не собираюсь ли я куда ехать.

— А куда и чего ехать в такое время? — ответил я.

Колеса велосипеда и сапоги полицейского были в грязи. Явно шатался зачем-то по нашим пружанским тропкам, потому что только там еще не просохли колдобины.

Вечером под яблонями собрал несколько корзинок опада и высыпал в сарае на сено. С запахом травы смешался аромат мундеров, титовок, антоновок. Сквозь открытые ворота на хмельной этот запах роem летят осы. Только звон стоит на сеновале.

Снова удалось выудить из разговоров деда несколько присказок:

«Долг не ревет, а спать не дает»;

«Умирать собирайся, а жито сей»;

«Доверие босяком ходит».

Целый день, как занозу, ношу в себе начало и конец стихотворения:

Хоронят солдат в Судетах,  
Гробы тяжелы, как срубы,  
А их везут на лафетах,  
И плачут медные трубы.  
\* \* \* \* \*

Дабы мертвые не проклинали  
Вас, что их на смерть повели,  
Больше сыпьте на раны медалей,  
На уста — молчаливой земли.

Записываю начало еще одного стихотворения, навсянного встречей с Балтикой:

Море! Вот когда увиделись с тобой мы,  
Хоть мечтали о свидании не раз.  
Мне так мало выпадало дней свободных,  
А тебе далеко было плыть до нас.

Как я счастлив! Словно флагн, над тобою  
Крылья чаек, зачерпнувшие волну.  
Дай обнять мне эту линию прибоья,  
Берега твои, и ширь, и глубину!

Наверное, теперь не узнал бы ни сожженной и разрушенной фашистами Гдыни, ни живописных береговых дюн, изрытых окопами, усеянных могилами. На волне рашинской радиостанции немцы начали передавать свои сводки. Неужели Варшава пала?

*16/IX.*

Радио передает противоречивые сообщения о положении на фронте. Одно ясно — польская армия разбита и отступает. Случилось то, что давно предвидели люди, хоть сколько-нибудь знакомые с экономическим положением страны и политикой санации.

Утром над Пильковщиной низко пролетели два самолета. Звук их был не похож на тот, который приходилось слышать раньше. Но какие на них были знаки — в тумане нельзя было рассмотреть.

Целый день копали возле Красновки картошку. И хоть было тепло, я собрал старые, вывороченные плугом пеньки и разжег костер. Подошли слободские пастухи, чтобы просушить свои пропитанные болотной ржавчиной онучи и одежду. Рассказали, что на островах нашли чей-то самогонный аппарат. Коровы, налакавшись браги, целый день ходили пьяные.

Дует теплый южный ветер, шелестят подвешенные над амбаром крендели лозы. В хате пахнет большим свежим хлебом, который у нас выпекают на целый месяц; до самого вечера на лавке остывали буханки. Нужно помочь маме перенести их в кладовку.

*17/IX.*

Не знаю даже, с чего начинать записывать события этого дня. Разве что с восхода солнца, которое хотя и возшло точно по календарю, но это уже был календарь другой жизни и восход солнца был другим.

Утром приехали на велосипедах слободские хлопцы. Среди них был и Кирилл Коробейник. Они первые услышали по радио и привезли мне эту невероятную, неправдоподобную весть — Красная Армия перешла границу и идет освобождать Западную Белоруссию. Интересно, что сама идея освобождения Западной Белоруссии с помощью наших восточных братьев не была новой. Но за двадцать лет оккупации, я бы сказал, она превратилась только в литературную тему. И когда заветная мечта осуществилась, мы этому удивились не меньше, чем осуществлению сказки.

Я одолжил у Глинских велосипед, и мы все двинулись в Мядел, где, говорили, была уже Красная Армия. И действительно, в Новоселках мы увидели толпу крестьян, которая приветствовала красноармейцев и кричала «ура!» проходящим мимо машинам и танкам. Весь этот бесконечный поток людей, не виданной нами никогда техники с шумом и грохотом победоносно плыл на запад. Мы поднялись на пригорок между Новым и Старым Мяделом. Кавалерийские части останавливались накоротке возле мельницы и поили из Мястры своих лошадей, а бойцы смывали с лица дорожную пыль и усталость.

Так вот она, наша свобода! Только я ее встречаю совсем неподготовленным. Вошла в хату эта гостья, а я от волнения не знаю, где ее усадить, чем угощать, с чего начать беседу... Мне припомнился рассказ моей мамы о встрече двух солдат-односельчан, которые не виделись несколько лет. «Сидят, — говорила она, — у нас на завалинке, скребут картошку, молчат и усмеваются, поглядывая один на одного, не веря в свое счастье, что встретились на тяжких дорогах войны».

Под вечер хлопцы пошли по именням разоружать панов. Взяли под стражу сватковских полицейских. Только коменданту удалось куда-то скрыться. Полицейские Группа и Железный, часто делавшие у нас обыски и гонявшие нас по этапу в Поставы, встретившись со мной, перепугались. Видно, думали, что мы им устроим самосуд за их допросы в застенке, протоколы, штрафы... Но никто их не трогал. Передали как пленных в руки красноармейцев. А я вооружился осадничьим браунингом. Вин-

товки взяли хлопцы, которые пошли отнимать оружие у стрелцов и узлянских осадников.

29/IX.

С ужасом обнаружил, что мне исполнилось двадцать семь лет. А у меня только два сборника стихов, из которых 75 процентов слабых, 20—средних и только, наверно, 5 процентов хороших. Похвалиться нечем.

1/X.

Начал писать стихотворение — первое стихотворение на освобожденной земле, черновик которого мне уже не нужно прятать. Начало его мне не пришлось долго искать — оно было на устах народа: «Здравствуйте, товарищи!»

2/X.

Стараюсь как можно больше занести в свой блокнот. Заметки мои довольно хаотичны, но я надеюсь, что когда-нибудь мне удастся сложить из них свою таблицу жизненных элементов.

Передо мной очень серьезная проблема, проблема включения в новую тематику. Возможно, все, что я писал до этих дней, мне самому вскоре покажется посланием с того света.

Сегодня на обед коршун наделал переполох в курятнике. Пока доставили дедов дробовик, коршун уже был над баней, и мы не успели его как следует пугануть. Нужно выследить, где его пристанище.

За ночь ветер натряс антоновок. Отец взялся отбивать косы, наверно, будем вокруг гумна — уже в который раз — косить отаву. А то кони повадились ходить туда, а потом залезают и в прясло. Только и смотри за ними.

Под вечер наши часовые обстреляли группу полицейских. Теперь паны, скрываясь, тянутся к литовской границе.

7/X.

Письмо от Лю. Пишет, чтобы скорей приезжал в Вильно, куда вызывает меня начальник Временного управления И. Климов. Нужно собирать манатки да ехать...

10/X.

Утром переполненным поездом, который шел, подолгу останавливаясь на всех станциях и переездах, я приехал в Вильно. У Лю уже для меня было пригласительный билет на литературный вечер. В нем было написано: «Уважаемый товарищ! Приглашаем вас на литературный вечер с участием белорусских поэтов-орденоносцев Петруся Бровки и Петро Глебки.

Вечер состоится 10/X в 5 ч. вечера по местному времени в зале театра «Лютня».

Отдел культуры и просвещения Временного управления г. Вильно». Времени до вечера еще оставалось много, и мы с Лю пошли побродить по городу. Вышли на Легионную, Погулянку, Завальную. Улицы, как никогда, были заполнены народом. Видно, в городе было много беженцев из Центральной Польши, которые очутились в этом вилненском



мешке и сейчас не знали, куда податься. Многие старались перебраться в Литву, а из Литвы — на Запад.

Возле театра «Лютня» висел огромный плакат с именами участников литературного вечера. Среди них было и мое имя. Мимо площади Ожешко в направлении Зеленого моста со страшным грохотом шли танки, катились на своих обручах громадные цистерны, их тащили могучие тракторы. Все смотрели на эту невиданную технику. Одни с удивлением и восхищением, другие растерянно: столько лет санацистская пропаганда распространяла слухи, что Красная Армия вооружена старыми винтовками, фанерными танками и т. д.

Потом пошел бесконечный поток грузовых машин, надолго перегордивший улицу Мицкевича и остановивший на ней все движение.

Вечер, как и нужно было ожидать, затянулся — много было выступающих. Это, кажется, был первый такой большой интернациональный вечер в Вильно. Я выступал одним из последних. Читал фрагменты из «Нарочи» и новое стихотворение «Здравствуйте, товарищи!». После окончания вечера я познакомился с Брввкой, Глебкой, Кучаром, Лебедевым. Они пригласили дядю Рыгора и нас с Любой на ужин в ресторан «Жорж». Вечер оставил хорошее впечатление. Особенно понравилась мне поэма Брввки «Про горы и степь», которую он прочел с ораторским пафосом.

Возвращаясь на Буковую улицу, мы с Лю всей дороге говорили об этом необыкновенном вечере, о наших новых друзьях, о наших планах. Лю собиралась пойти работать учительницей, я — в редакцию газеты «Виленская правда», куда меня уже приглашал ее редактор Офенгейм.

Планы, планы! Завтра нам нужно быть у Климова, по вызову которого я и приехал в Вильно.

### 11/Х.

Сегодня был в редакции газеты «Виленская правда», разместившейся в громадном здании бывшего «Курьера виленского». Редактор познакомил меня с некоторыми работниками редакции. Их количество показалось мне астрономическим. До этого я работал в небольших наших газетах, где весь штат состоял из двух-трех добровольцев, которые были и творческими и административными работниками, и писали, и вычитывали, и рассылали свою газету. А в этом комбинате с несколькими десятками комнат можно было затеряться. На редакторском столе стояла целая батарея телефонов и даже был звонок, которым редактор вызывал секретаршу и давал ей невероятное количество разных поручений. Только тут я понял, что при таком размахе редактора и это количество людей может оказаться недостаточным.

Во Временном управлении нас с Лю очень сердечно встретил Иван Фролович Климов, познакомил нас со своим помощником А. Буровым. У Ивана Фроловича на столе лежали мои сборники стихов, и говорил он со мной, как с давно знакомым ему человеком. После этой встречи мы шли с Лю по Вильно — первый раз! — такие окрыленные и счастливые. Хотелось нашей радостью поделиться с друзьями, но где их сейчас найдешь! Все работают, все перебрались на другие квартиры. И все же надо попробовать отыскать Кастуся, Бурсевича, Карососа, Путраменты, Гришу (Смоляра) и других.

### 13/Х.

Снова был с Лю у Климова. От него узнали о передаче Вильно Литве. Он приказал выдать мне шестьдесят злотых на переезд в Вилейку,

куда он и сам со своими сотрудниками собирается уехать дней через семь — десять.

Целый день мы готовились с Лю в дорогу. И хоть времени у нас было совсем мало, после обеда мне еще удалось обойти Закрет, побывать даже на Замковой горе и побережье Вилии, где летом 1936 года с Павликом и Герасимом, забравшись на плоты, писали воззвание, начинавшееся словами: «Притыцкий должен жить...»

Признаться, жаль было расставаться с Вильно, городом, с которым у нас связано столько воспоминаний. Но едем мы навстречу новой жизни, которая обещает быть более счастливой, более интересной и содержательной. Заходим к Казиму Петрусевичу. Все наши польские друзья тоже собираются переезжать в Вилейку.

Вечером забегал попрощаться с дядей Рыгором. Он мне подарил свой новый сборник «Наши песни». С радостью я узнал, что и он этими днями со всей семьей уедет на восток. Из Вильно сейчас столько выезжает людей, что возле билетных касс и днем и ночью толпа. Вокзал переполнен, началось великое переселение. Все, что веками не проявляло признаков движения, стронулось со своего места.

### 15/X.

Дни, события проносятся со скоростью кинокадров. Вернулся на свою Пильковщину. Лю до переезда в Вилейку остановилась у моей сестры Веры в Сервачах. В деревне все — кому надо и не надо — строятся, пилят лес. Когда вел с Верхов лошадей, где-то за Плесами пылало зарево далекого пожара. Дед и отец стояли на крыльце и гадали, где и что могло гореть. Говорят, что в сторону Губской пуши стягиваются невыловленные полицейские и осадники, потому что у нас тут все дороги под контролем народной милиции. Видно, это паны и выгнали из пуши и графского леса стадо диких свиней, которые появились в последние дни на наших околицах и роются на картофельном поле.

### 16/X.

Выдвигают кандидатов в Народное собрание. Ребята из Мядела, Слободы хотели и меня выдвинуть, но кто-то, как мне рассказали, узнав, что я был членом КПЗБ, посоветовал им выдвинуть кого-нибудь другого, дипломатично объяснив, что я писатель и скоро уеду в Минск и тут сидеть не буду.

Да и вообще чувствуется со стороны районных руководителей настороженное отношение к бывшим членам КПЗБ. Многие из моих прежних товарищей даже уже и не признаются, что когда-то принимали активное участие в революционном движении, поскольку сейчас особенно ценят тех, кто до самого освобождения тихо сидел дома. Что до меня, так я, как и раньше, от всех неприятностей ухожу в поэзию, для которой мой партийный стаж в КПЗБ никогда не был помехой.

Переписал из старых тетрадей три своих «юношеских» стихотворения: «Как давно...», «Снежный ветер», «В день панской независимости». Последнее так было зашифровано, что я едва его восстановил.

### 28/X.

Завтра в Белостоке открывается Народное собрание. Жаль, что я, занятый переездом из Вильно в Пильковщину, из Пильковщины в Вилейку, не смог поехать каким-нибудь корреспондентом или обыкновенным

зрителем в Белосток. То, что сейчас там происходит, мне, как поэту Западной Белоруссии, нужно было бы видеть своими глазами, слышать своими ушами. Пережитое самим не заменят никакие, даже самые подробные, отчеты, корреспонденции, репортажи, рассказы друзей.

В областном отделе народного образования мне предлагают работу в отделе национальных школ, поскольку я знаю польский язык. Тут работают много вилейчан на постах инспекторов, инструкторов, методистов. Вообще куда бы ни пришел — всюду предлагают работу, работу, работу. Признаться, даже не верится, что для всех есть работа. Я помню, сколько лишних рук было в моей Пильковщине, на Мядельщине. А что уж говорить про наши Восточные Кресы!

### 29/X.

В небольшой комнате мы живем втроем: Канонюк, Миленцевич и я. На всех нас две кровати, стол, этажерка и одно кресло. Больше в этой комнате ничего не может уместиться. Сплю на столе. Такое же положение и у Любы, и у Ендриховских, и у Дэмбинских, и у Петрусевичей, и у Штахельских.

Ничего не поделаешь. Вилейка не Вильно.

Вместе со своим старым товарищем по Лукишкам Ёзосом Кекштосом, чудесным литовским поэтом и переводчиком Вл. Маяковского, целый день отбирали книги для школьных библиотек. Наверно, их свезли в пустые комнаты областного отдела народного образования со всей Вилейки. На некоторых книгах были экслибрисы, подписи их бывших владельцев, печати: адвокат, доктор, комендант полиции, майор, судья... Тут даже из отходов можно было бы подобрать и себе хорошую библиотечку. Сколько разных журналов, годовых комплектов газет, брошюр! Потом, когда понадобится, их и со свечой не отыщешь. Беда только — некуда их девать. Я взял только «Клима Самгина» на польском языке и несколько номеров журнала «Аркады».

### 3/XI.

Сессия Верховного Совета СССР приняла закон о включении Западной Белоруссии в состав СССР и о воссоединении ее с Белорусской Советской Социалистической Республикой. Это незабываемое событие уже никогда никому не вычеркнуть из нашей истории. Героическая борьба белорусского народа нашла свое окончательное и славное завершение. Не верится, что за полтора месяца в жизни произошло столько изменений! Я эту дату — дату, с которой мы начали людьми зваться, — навсегда золотыми буквами внес бы во все наши календари как самый большой праздник после Великого Октября.

Нет еще у нас произведений, которые тему воссоединения нашего народа показали бы во всем эпическом величии. Придется, видно, и мне моего «Силаша» переписывать. В центре событий ставить не героя-одиночку, а народ, проблему поисков правды и проблему границы, которая веками глубокой раной кровоточила на нашей земле. Граница! Несколько раз я ее пересекал в своей жизни. Еще и сегодня, мне кажется, я чувствую то волнение, с каким я смотрел на нее, когда учился в Радошковичах, а потом, когда сентябрьским утром 1932 года переходил ее у Пюгоста...

Цепями дождя ветер молотит по деревьям, обивая последние листья, по лужам, покрывая их оспой холодных пупырышков, по плечам прохожих, которые, торопясь, бегом возвращаются с работы домой.

21/XI.

Мои друзья Миленцевич и Канонюк собираются ехать на работу, кажется, в брасловскую больницу. Итак, я этими днями могу стать единственным хозяином нашей небольшой комнатенки. С Буровым на редакционном грузовике ездил в Мядел и Пильковщину. В дороге несколько раз портилась машина. Возле деревни Березняки простояли несколько часов в лесу. Холодно. Замерзли. Только в полночь добрались до нашей хаты. Дома все уже спали. Даже не слышали, как мы въехали во двор.

В новой хате было холодно. Пошли греться в старую. Мать растопила печь, начала готовить угощение. За столом Буров (первый) сказал, что мы с Лю собираемся пожениться. Мама, стоя у печки, сразу поинтересовалась, будем ли мы венчаться в церкви или по-новому. Отец, как более передовой, обошел юридическую сторону вопроса:

— Это, Домка, не самое важное... Ну что ж, если решили жить вместе, живите счастливо...

Я был очень благодарен своему случайному свату, который помог мне в этом деликатном деле, и постарался поскорей перевести разговор на другую тему.

Чтобы окончательно выгнать нашу дорожную простуду, мама подала нам кринку горячего молока и миску с медом. Потом, когда все ушли спать, подошла ко мне, присела на кровать и стала расспрашивать, как мы с Лю думаем жить, не голодаем ли мы, есть ли у Лю какая подушка, потому что, наверно, уезжая из Вильно, она не успела ничего с собой забрать.

— Я ей, сынок, pošлю своего тонкого льняного полотна, есть у меня для нее хорошее, и суконное, вытканное в двенадцать нитов покрывало... Что бы это мне еще ей послать?.. Ты слышишь?..

28/XI.

Получил телеграмму от Михася Лынькова. Он вызывает меня в Минск. Целый день бегал, оформлял документы (командировку, пропуск), готовился к поездке.

Все реже и реже берусь за перо, чтобы продолжить свои заметки. Может быть, потому, что, когда я теперь перелистываю их странички, все пережитое мне кажется очень, очень далеким и даже не вполне реальным. Сегодняшний день заполнил собой даже прошлое. Сентябрь пролег границей между тем, что было и что есть, и никто из нас не хочет возвращаться назад — даже если по ту сторону и осталось что-то дорогое.

У меня же остались только мои лукишские дневники, номера «Решето» и «Политзака», заполненные наивными юношескими думами-мечтами, незрелыми повестями и стихами. Может быть, и сейчас еще лежат они в вентиляционных душниках камер 10, 14, 124... Пусть лежат, пока ветер свободы, раскрывший тюремные двери, не разрушит окончательно и разбухшие от слез, горя, крови народа стены ненавистных казематов.

На стене висит недавно купленный календарь, на котором, кроме даты, длины дня, времени восхода и захода солнца, напечатано, сколько лет Великой Октябрьской революции — революции, которая победно шагает по всей земле.

*Перевела С. Григорьева.*



---

Д. НАБОКОВ

★

## ДЕТСКИЕ ГОДЫ В СУПРУНОВКЕ

*Из семейной хроники*

*Дмитрий Петрович Набоков — инженер-электрик, ему семьдесят восемь лет. Его воспоминания о детстве привлекают своей безыскусственностью, той ясностью изложения и языка, которая восходит к классическим образцам русской литературы этого рода. Многие писатели, в том числе и великие, изображали свое детство. Однако здесь речь о детстве, что называется, рядового, массового человека, крестьянина по происхождению, причем крестьянского мальчика, родившегося и выросшего в слободской Украине, с ее своеобразной историей, бытом, характерами...*

*При несомненных художественных достоинствах, произведение это вместе с тем и человеческий документ, некое свидетельское показание, вернее сказать, художественность его, поэтичность происхождения своим обязаны документальной точности, естественности.*

*Мне было интересно читать и о том, как дед-кожемяка увязывает воз с кожами, и о том, как выпекают хлеб, собирают и сушат лесные груши и яблоки, но в этих и подобных им деревенских работах, в детских походах на реку, в разговорах на бревнах, даже в приготовлении еды — словом сказать, в подробностях стародавнего крестьянского быта, помимо интереса познавательного, историко-этнографического, приобретающего особенное значение в пятидесятую годовщину Великой революции, коренным образом пережившей обстоятельства народной жизни, я ощутил еще и полное своеобразие очарование поэзии народного бытия.*

*Современному читателю представляется естественным, что инженер происходит из крестьян, слышал он и о тяжком труде и нищем существовании дореволюционной русской деревни. Однако нравственная чистота, в какой живет никогда не наедающая досыта многодетная крестьянская семья, духовное ее здоровье, я убежден, не только вызовут в читателе сердечное волнение, но и привлекут мысль к тем сторонам и особенностям народной жизни прошлых времен, какие важны и сегодня.*

*Быть может, самое дорогое в публикуемом произведении — это то, что автор, несколько не приукрашивая тот круг, в каком он рос, не идеализируя ни родных своих, ни однодеревенцев, изображает, как в подробностях повседневного существования, за едой, во время топки печи, уборки дома, уличных игр вырабатываются нормы и правила, какие входят в неписанный свод моральных установлений, в народный этикет... Назову для примера благородную сдержанность, застенчивость в проявлении чувств, не позволяющую ребенку говорить матери о своей любви к ней, или то, как старая мать, прослышав о непорядочном поведении сына, немолодого человека, приезжает издалека, отчитывает его, и тот, отец многих детей, молча, с сознанием вины почтительно слушает старуху.*

*Среди богатств, составляющих национальное достояние страны, мне думается, следует числить не только материальные ценности, но и нравственный опыт, накопленный предшествующими поколениями в труде, в сражениях с иноземными врагами, в борьбе за свободу человеческой личности, наконец в каждой семье, совокупность которых и есть народ.*

Ефим Дорош.

## 1. Больница

**К**ак недавно был этот день — яркий и солнечный. И первые крошечные листья на кустах вдоль улицы. Вспоминаю неотрывный испуганный взгляд моего провожатого, который буквально тащил меня на руках в больницу. А я успокаивал его:

— Да я свободно дойду сам, Андрей, ведь до больницы совсем близко. Возвращайтесь на работу.

Все бы хорошо, вот только сердце бьется скачками да боль внизу живота делается иногда нестерпимой.

...Пришли. Я лежу в приемном покое. Термометр.... Затем к дежурному врачу.

Потом меня осматривает новый доктор, говорит что-то настойчиво, убедительно. С трудом соображаю, что он говорит... Ну что же, раз нужна операция — я готов.

Снова мучительный осмотр в палате у нового доктора... Ночи не помню.

Утром попадаю на стол, дышу сквозь мокрую тряпочку и успеваю только сказать:

— Смотрите же хорошенько за моим сердцем, а я постараюсь...

Новая порция усыпляющего погружает меня в полное бесспамятство.

Я очнулся в большой комнате, наполненной призраками людей; они двигаются бесшумно и разговаривают беззвучно. Лежу неподвижно на спине под строгим надзором. При попытке повернуться меня сразу же останавливает строгий голос: «Нельзя, больной», — и боль внизу живота.

Долгий день — какой он по счету? — приходит к концу. Я чувствую, что все кругом стихает и погружается в сон. Не сплю я один. С тоской жду наступления моих ночных мучений.

...Моя кровать вдруг поднимается и летит по коридору низко над полом, спускается по крутой лестнице в огромный подвал с бесшумно, без людей работающими машинами. Здесь между рядами машин, по проходам, засыпанным бумажками, я летаю на кровати и целую ночь ищу таинственную «сонную» бумагу, так нужную мне для крепкого сна. Но поиски безуспешны. Без сил, измученный, я опять на рассвете — в который раз? — оказываюсь в своей палате и слышу тихий укоризненный голос:

— Ай, больной, разве можно так ворочаться в постели? Ничего, сейчас мы переменяем белье, помоемся, поедим и приготовим все для доктора.

Слова текут медленно и тихо, и няня с чудесной быстротой успевает все сделать.

Как изрезанный на части и кое-как сшитый, я лежу в постели и жалуюсь доктору на ночь без сна.

— Скажите, чтобы мне давали на ночь порошки.

Сегодняшняя ночь особенно измучила меня. Слабый, как ребенок, я дремлю в ожидании няни. Тихие шаги, крепкие добрые руки, сильное тело с таким родным запахом.

— Бабушка Наташа! — шепчу я совсем тихо. Спокойствие и радость наполняют мое сердце. Теперь есть у меня защита от ночных ужасов: со мною бабушка...

Я вернулся к добрым временам моей жизни — моему детству. Эта жизнь теперь прерывалась только разными уколами, перевязками, термометром, но ненадолго. Затем детство снова захватывало меня. Я со-

вершенно забыл о ночных ужасах. Детство стояло на страже около меня, охраняло от всего плохого и враждебного, что называлось коротким словом «болезнь».

## 2. Летний день

Августовское предрассветное утро — холодное, трава от росы — мокрая, да и дубки, сложенные перед дедовской хатой, — сырые. Но вставать пора: вся улица проснулась и гудит сквозь окна и двери хаты.

— Ну и соня ты, Митя! Машка уже поела, на луг собралась, а ты не умывался даже, — говорит мне бабушка Наташа.

— А вот и не соня! — говорю я, вскакивая на ноги. Затем вместе с бабушкой произношу «Отче», надевая на бязевую рубашку бабушкину теплую кофту, мою единственную круглогодичную одежду, и съедаю бублик. В карманах кофты уже лежат еще два бублика и бутылочка молока. Двор и улица окутаны туманом, а я осторожно спускаюсь по лестнице во двор. Мне еще нет пяти лет, а телушка Машка — мой самый большой враг: она не дает мне поспать хотя бы до восхода солнца, всегда она встает раньше меня и всегда бабушка Наташа укоряет меня этой Машкой.

Песочек во дворе и на улице сверху сырой и холодный, но глубже он теплый. Так приятно залазить пальцами босых ног под корочку и забирать ими тепло песка. Улица до самого колодца полна мычанья коров, блеянья овец и неистового крика куриного народа. Весело лают собаки. В густых клубах пыли и тумана беспокойно топчутся коровы, овцы и лошади и рвутся на скошенные дуга у реки Везёлки, текущей по северной стороне слободы.

Солнце уже взошло справа, но его не видно: мешают бугры с хатами на них и тучи на восходе солнца. Вдруг лучи солнца прорвались и осветили красным пламенем всю улицу. Коровы громко замычали и бросились, как бешеные, по улице навстречу солнцу, на луга.

На улице быстро наступила тишина, иногда нарушаемая беспокойным гомоном кур.

Улица опустела: ведь в хатах сейчас начиналась настоящая работа и даже дети были заняты.

Дубки постепенно прогрелись и высохли от ночной росы. Они прилегли к старой дедовской хате, а остались от постройки новой отцовской хаты. На дубках весь день играли дети, вечерами отдыхали взрослые, ночами гуляли парни и девушки.

Тихая чистая улица сейчас напоминала широкую просторную реку, из которой куда-то утекла вода, а дно и берега обнажились. На ее бугристых берегах стояли хаты. Бугор против колодца был как гора, с него зимою катались на санках и на ледышках. Я сидел на дубках один и перебирал свои «цацки» — игрушки. Дубки становились горячими — скоро можно будет снять бабушкину кацавейку.

Из дворов напротив вышли на улицу в одних рубашонках Степка Гречаник восьми лет с шестилетней сестрой Анюткой и шестилетний Ванька Гречаник с младшей сестрой Гапкой.

— Смотри, а Комары уже проснулись! — закричали девчонки.

Наша уличная фамилия была Комаровы, и с нами здоровались «по-уличному».

— Сосун! Сосун! — закричала Анютка.

— А вот и нет — смотри! — И я показал ей бутылку с молоком.

Накануне я, плача, упросил бабушку дать мне пробку вместо резиновой соски. И теперь мои постоянные мучительницы и приставалы растерянно смотрели на бутылочку с пробкой. Во время таких ссор я знал,

что меня не могут обидеть или побить чужие: я был маленький и находился под защитой законов улицы.

И Степка вышел на улицу вовсе не для ссоры, а чтобы поиграть на дубках. Степка строго приказал девчонкам не заводится, а сам не спеша подошел ко мне, как будто дубки вовсе его не интересовали, и сказал равнодушным голосом:

— А у меня новые цацки.

И началась увлекательная игра! Сначала мы показали друг другу свои сокровища: кусочки цветного бутылочного стекла, добытые из речного песка, мелкие ракушки с железнодорожных путей, обертки конфет, съеденных кем-то, косточки от разных фруктов, пуговицы, бабки. Затем начался обмен лишних цацек. У девочек были те же цацки и те же игры.

Сколько я себя помню, я не встречал ни у кого из деревенских детей купленных родителями игрушек. Правда, в возрасте десяти — двенадцати лет у детей заводились собственные копейки от продажи старых тряпок и костей. Тогда мальчишки покупали глиняную свистульку за одну копейку, а девочки — цветные лоскутки у тряпичника для самодельных кукол. Чаще всего эти деньги мы тратили на покупку пряничных петушков и лошадей из сладкого теста.

Обмен цацками происходил честно и без обиды. По закону улицы малыша никто чужой не должен был обижать, дразнить или отнимать у него игрушки. Если появлялся такой обидчик, то его не принимали в игры, а когда он вырастал и становился парнем, то ни одна девка не водилась с ним.

На дубках стало припекать, и захотелось есть.

— Это тебе бабушка Наташа дала бублики? — сказал Степка Гречаников, смотря в сторону.

Я почувствовал, что ему хочется есть, я отдал Гречаникам один бублик из моих двух. А какое вкусное было молоко из бутылочки с пробкой! Мы разлеглись на дубках и стали дремать.

— А ты поел, Митя? — спросила меня бабушка через открытое окно. — Тебя не обижали?

Степка даже возмутился.

— Ведь он маленький, — сказал он.

Тогда бабушка Наташа спросила, не хочу ли я еще бубличка. Она дала два бублика Степе, но сначала спросила:

— А кто тут самый большой?

Степка был на три года старше меня.

Как всегда, на дубках оказалась наша кошка с котенком и курица с поздними цыплятами: они тоже хотели есть и получили крошки. Мы быстро справились с добавком моей бабушки и снова начали дремать в тени хаты и деревьев.

Сквозь облачное небо и листву деревьев иногда прорываются пучки лучей солнца — острые, тонкие и причудливые. Старая кошка-мать лениво греется под этими лучами, а трехнедельный ее малыш в сильном возбуждении охотится за лучиками, прыгает и хватает их лапками. И какой у него растерянный вид, когда схваченный им лучик вдруг исчезает! Он притворно отворачивается от лучиков, чтобы захватить их врасплох. Игра начинается снова, пока ему не захочется есть, и он приваливается к матери.

Я смотрю свысока на глупого котенка: я уже не ловлю лучиков, только иногда в темных сенях и в комнате я люблю держать в ладонях солнечные дорожки из золотой пыли.

Глаза мои стали слипаться, как у кошки, и я заснул легким сном.

Резкий, пронзительный окрик тетки Анны Гречаниковой: «А где же



запропастились эти окаянные?» — как ветром, сдул ребят с дубков. Степка осторожно двигается к матери, чтобы не попасть сразу же в «учение». На этот раз тревога Степки была напрасной: мать собиралась на базар, когда «под конец» всякие остатки и отбросы мясные можно было купить по дешевке. Она оставляла Степку старшим по хате с Анюткой и двухлетней Лушкой.

Я остаюсь на дубках один с кошкой и котенком, играть одному уже не хочется. Скоро бабушка позовет меня обедать.

Мы едим вдвоем из одной деревянной миски. Старая бабка, мать дедушки, уже пообедала. Она не ходит из-за ревматизма и лежит круглые сутки на горячей лежанке в большой комнате и грызет всех за то, что живут не по правилам: деда, бабку и меня, малыша. Мы едим молча и не спеша, у нас не положено разговаривать за едой.

Вдруг бабушкина ложка больно бьет меня по лбу, и я слышу ее упрек:

— Что же ты делаешь, внучек, с хлебушком святым? Посмотри-ка!

С ужасом вижу на полу кусочек хлеба, нечаянно оброненный мною. Быстро нагибаюсь, осторожно подбираю хлеб, сдуваю с него пыль, крещусь на хлеб и съедаю его с крошками. Хлеб был святым, вина перед ним никому не прощалась, а наказание никогда не задерживалось. Вина моя была искуплена, и мы молча продолжали обед под ворчание бабки с лежанки:

— Потому что мало бито... Ремнем бы...

После обеда полагалось отдыхать, и мы с бабушкой тоже поспали. Все в деревне в этот час отдыхали — даже неугомонные куры и самые брехучие собаки, а соседи никуда не ходили по делам.

У меня побаливал лоб от бабушкиной ложки.

Потом бабушка встала со своей лавки и принялась за работу. С улицы я услышал голос Гречаников: пора идти на дубки, только не надо брать с собой бабушкиной кофты, дубки сейчас горячие.

На улицу вышли на игры «взрослые» — от девяти до четырнадцати лет. Играли в мяч, в распятие, в дубинки, в царя, в бабки. Все эти игры требовали умения, ловкости, выносливости. Захныкавший изгонялся из игры на две недели, на месяц, а то и больше. Он сидел вместе с малышами в стороне и смотрел, как надо играть.

Мы по целым месяцам вспоминали с восхищением замечательный удар по мячу, который взвивался выше турмана, бешеный бег с шайбой и прорыв вражеской «стенки» в игре в «дубинки» или косой удар «битки», валивший целый «кон» бабок. Игры взрослых были для нас школой развития силы, ловкости и всех доблестей настоящего мальчишки. Не было ни одного малыша, кто бы не сказал с уверенностью: «Я тоже буду так бить мяч через год» — и никто не смеялся над ним, над его мечтами.

Но мы, малыши, не только смотрим, но и играем. Мы бегаем наперегонки от дубков до Байдикового переулка и обратно — на двух ногах и на одной ноге. Мы играем в скакалочку с цацками. Каждый ставит свою цацку в ряд на землю на «кон» и должен на одной ноге от начальной метки доскакать до «кона», ухватить пальцами этой же ноги любую цацку, не тронув при этом соседних, и доскакать с цацкой до начальной метки игры. В этом случае цацка выигрывается.

Совсем не просто скакать на одной ноге с зажатой в ней стекляшкой с довольно острыми краями, по песку, в котором находятся острые стеклышки. После таких игр мы запросто бегали босыми по стерне с прочными короткими и острыми пеньками скошенной ржи.

Потом мне объяснил мой брат Санька, что собирать колоски после жатвы можно, только научившись играть хорошо в скакалку.

Показалось стадо с лугов, и играющие очистили улицу. Снова поплыли навстречу солнцу по пыльным огненным волнам — пастушонок на лошади и коровы. Постепенно дворы проглотили стадо, а мальчишки доиграли свои игры.

Перед сном во всех хатах кипит работа: вечернее доение коров, сбор кур, уроки школьников. Малыши ложатся спать. «Большие» мальчишки сговариваются в какой-либо ночной набег на чужой сад или огород, где растут такие же плоды и овощи, как и у себя дома, но опасность набега на чужое манит.

Наступает время отдыха взрослых от детей и от хозяйства.

И дубки оживают: хозяева, хозяйки и серьезные парни обсели кругом дядю Андрея и упрашивают его рассказать что-нибудь — это уже не для маленьких.

Я лежу на своей лавке на бабушкиной кацавейке, усталый за день до крайности. Вокруг меня, как река в половодье, колышется улица. На огненно-красных волнах плывут то в одну, то в другую сторону коровы, лошади и люди. Потом все тонет в крепком мертвом сне до утра, когда мой враг Машка, как и вчера, будит меня и снова начинается привычная жизнь — с дубками, Гречаниками, родной улицей.

### 3. Дом дедушки и бабушки

До шести лет я жил у дедушки Кузьмы и бабушки Наташи. Я был их крестным сыном. Нас у мамы было уже шестеро, она мучилась с нами порядочно и отдала меня бабушке с дедушкой на воспитание. Дедовская и отцовская хаты стояли рядом в дедовском дворе, шагах в десяти одна от другой. Кроме моей мамы, у дедушки и бабушки был сын, старше мамы. Но он жил на Кавказе, женился там и обзавелся семьей. С дедушкой жила его мать, совсем старенькая. Она не могла уже ходить, день и ночь лежала на печке и ворчала на всех нас: на бабушку и дедушку за то, что не умеют жить, а на меня — за то, что «балованный» и «неученый». Как сейчас, помню сумерки в декабре, светло еще и мы не зажигаем лампы. Бабушка Наташа куда-то отлучилась по делам, а бабка с лежанки все время пилит дедушку:

-- Куда же это Наталья отлучилась на ночь глядя? И куда ты смотришь, Кузьма? Взял бы ее за косу и поучил бы ремнем как следует...

Дед, ему уже шестьдесят лет, молчит: нельзя возражать матери. Открывается дверь, быстро входит бабушка Наташа с мешком чистой шерсти на пряжу, зажигает керосиновую шестилинейную лампу и молча начинает сучить пряжу нам на варежки, чулки и теплые рубашки. И я устраиваюсь поближе к лампе с псалтырью. У дедушки и бабушки я начал изучать церковнославянскую грамоту. Буквы сами влезают мне в голову и превращаются в слова, часто непонятные, но такие торжественные. И я уже пытаюсь читать псалом, набираю слова вслух. Дедушка и бабушка радовались мне, но совсем не баловали.

Да и чем они могли меня «побаловать»? Одеждой? Так у меня на все времена года была длинная бязевая рубашка, и все. Ни штанов, ни обуви, ни теплой одежды, ни фуражки. Ее не было — и не полагалось до поступления в городскую школу, а шилась она из обносков от старших братьев. Игрушками? Так у меня не было ни одной купленной и подаренной. Были цацки собственного обзаведения, как у всех детей. Едой и лакомством? В хате не было купленных лакомств, и я съел первое пирожное, когда мне было шестнадцать лет. А впрочем, всякая еда была мне лакомством: хвост простой селедки, маленькая таранка, буб-

лик бабушкиного изготовления, хлеб ржаной, картошка вареная и печенная в золе. Когда я ел яблоко или грушу, то у меня после еды оставался в руках один «хвостик». Лаской? Тоже нет. Я помню, что мать ласкала своих детей, пока кормила их. А потом эти ласки переходили на вновь родившегося ребенка. У матери не хватало ласки на прежних ребят, да и не было принято их «баловать». Я чувствовал любовь бабушки во всем: в ее взгляде, в лице, в голосе, в том, что она была и жила на свете. Какое-то спокойствие, уверенность и радость входили в меня, когда она была рядом. Даже ночью, когда все боялись нечистой силы, я не боялся ничего при бабушке Наташе.

Она была высокая, почти как дедушка, худощавая и русая, с продолговатым правильным лицом, синими глазами и густыми темными бровями. Она любила людей и страдала от своей бедности, которая мешала ей помогать людям. Ей было больно отказывать кому-либо в бублике. Она была поглощена жизнью своей хаты и дочери, моей мамы. Я не видел у нее гостей или соседок: старая бабка с лежанки действовала на них, как серная кислота. Бабушка пекла дома пшеничные белые бублики, на копейку две штуки, а продавала их на базаре в Белом Городе ее помощница — двоюродная внучка Настя, дочь дяди Андрея, печника. Почти все женщины и девушки нашей слободы работали на город кто как умел: пекли на любителей хлеб белый и ржаной, носили огородину и молочные продукты, ходили на поденную работу. Вот и бабушка Наташа тоже немножко подрабатывала, не знаю только, с прибылью или с убытком, если принять в расчет деревенских детей и цыганских, которых она подкармливала.

Дедушка Кузьма был настоящий богатырь — широкоплечий, с крепкой спиной и грудью и необычайно сильными руками работника-кожемяки: он пятнадцать лет занимался выделкой кож, и вся его «фабрика» помещалась у нас на дворе — больше десятка бочек разной величины со всевозможными растворами, до половины закопанных в землю. Шапка густых черных волос покрывала голову деда, такая же борода окаймляла лицо — широкоскулое, с упрямым ртом и недоверчивыми глазами.

Потом он начал в компании с приятелем возить на пароконной подводе сырые кожи в Ростов и по целым месяцам не бывал дома. Я никогда не пропускал тех часов, когда дедушка нагружал подводу пахучими кожами — воз был чуть не до крыши хаты — и как он потом их увязывал толстыми веревками с такой силой, что воз скрипел и делался совсем низким. Затем дедушка шел в хату, молился перед иконами, прощался перед дорогой с матерью и бабушкой Наташей, поднимал высоко в своих сильных руках меня и целовал в щеки. Ворота были открыты, дедушка выводил подводу на улицу, по веревочным узлам воза взбирался на шкуры и весело щелкал своим арапником с ремнем в пять шагов длиной, с рукояткой в локоть длиной.

Вокруг подводы молча стояли стаи мальчишек и девчонок и не отрывали глаз от деда и его воза, а взрослые на прощание желали ему счастливого пути, удачи и здоровья. Поездка тянулась целых два месяца, и домом правила бабушка; вообще дедушка более трех четвертей года отсутствовал. Впрочем, такой порядок был заведен во всех хатах слободы, кроме хат двух богачей-подрядчиков и лавочника: там правили мужчины, они копили богатство.

Каждый раз по возвращении из Ростова дедушка привозил гостинцы: соленую рыбу, кавказский сыр, брынзу, а недавно привез ситцу с цветочками мне на праздничную рубашку. Это большое событие в моей жизни, нарушившее все обычаи дома: не полагалось малышу двух рубашек.

Всей нашей жизнью верховодила с лежанки старая бабка Мария — маленькая, высохшая от старости, вся черная и с черными, без седины несмотря на свои восемьдесят лет, волосами. Неподвижное тело оживляли острые глаза. Крючковатый нос и два клычка, оставшиеся от всех зубов, делали ее похожей на бабу-ягу из сказок. Я дрожал от испуга, оставаясь с нею вдвоем, и меня немного успокаивало, что руки и ноги у бабки были «разбиты» болезнью и она не могла сама сойти с лежанки и схватить меня.

Зато язык у нее был здоровый и страшный, как кнут. Я постоянно прятался от нее то в кухне, то в сенях, отделенных от жилой комнаты внутренней стеной. Смиряло ее мое чтение псалтыри и жития святых.

Наша хата была обыкновенной пятистенкой с открытой верандой и крыльцом с нее во двор. Хата была срублена из толстых дубовых бревен, накрыта высокою соломенной крышей. В ней всегда было летом прохладно, а зимой тепло. Чердак был сухой, высокий и прохладный. С него, по словам старших братьев, была видна вся земля кругом и те места, где солнце всходит и заходит. Но я боялся даже подходить к лестнице на чердак, высокой и крутой и совершенно недоступной для такого, как я, малыша. В кухне бабушка три раза в неделю пекла белые, пшеничной муки бублики на базар. Я обязательно был на кухне, когда из печи вынимали железные подносы с поджаренными пахучими бубликами, обжигавшими руки и губы. И кошка наша со своим котенком тут же была и мяукала — просила бубликов, а я — молчал.

#### 4. Цыган Ромка

Поздней осенью, когда на выкошенных лугах над Везёлкой трава еще не вся была съедена, в Супруновку возвращались на зиму цыгане. Они останавливались на зиму в одних и тех же хатах, платили за квартиру или услугами, или один-два рубля.

Обычно с голодухи они добывали всеми способами копеечки: гаданием, обменом, музыкой с плясками и мелкой кражей. Но в нашей слободе они жили «честно»: они были как бы в гостях у нас. Ну, бабушку Наташу они, конечно, не обходили, особенно дети и подростки. Сразу же с утра, когда они гнали своих кляч на луга, то останавливались у хаты бабушки, просили бублики.

Дни становились скучными — мокрыми и холодными, — и по утрам я больше лежал на бабушкиной кацавейке.

Заснуть было трудно. Еще до рассвета меня будило какое-то гулкое уханье, тонкие звуки скрипок и дудок, оно поднимало меня скорее встать с постели, бежать куда-то, прыгать и кричать. Бодрым голосом я звал бабушку, которая уже управилась с утренними делами:

— А что это там играет, бабушка?

— Это цыгане играют, деточка.

— А зачем они играют?

— Они пляшут, внучек.

— А зачем они пляшут, бабушка?

— Они хотят есть, внучек.

Они действительно всегда хотели есть. Их жалкое ремесло — обмен, гаданье, воровство, изредка полуда и изготовление новых кастрюль — не могло их прокормить.

Бабушка Наташа знала всех цыган табора наперечет: семейных и женихов, невест, подростков и детей. Они не отходили от нее. С утра появлялись и мои друзья — Ромка и его братья. Ромка был уже шест-

надцатилетний парень и во всем походил на взрослого. Вместе со своими братьями он гонял лошадей на луга (наш скот уже стоял по сараям).

Один раз посадил меня, с разрешения бабушки Наташи, на своего смиренного конька и с клятвой и божбой обещал моей бабушке хорошенько за мной присмотреть.

Гурьбой мы отправились на луга. По дороге Ромка пересел на другую лошадь, передал мне в руки уздечку, и под его присмотром я первый раз в жизни проехал самостоятельно на луга.

Моей радости не было границ. Недавно мне исполнилось пять лет — я об этом сообщил Ромке.

— Значит, ты уже большой, тебя надо научить стишку.

Я, конечно, обрадовался.

Каждые две строчки этого стишка из четырех оканчивались невинными словами — «пила» и «тараруй». Рифмовались они тоже со словами, обычными для деревни и мне известными: их часто и походя проносили в присутствии малышей взрослые.

Меня просто распирало от гордости, и за обедом я попытался рассказать стишок бабушке и деду, но еда стояла на столе, дедушка произнес молитву перед едой, и мы молча стали есть. А мне кусок не лез в горло, я разрывался от желания прочитать стишок. Взрослые видели мои мучения.

Наконец из моего рта вырвалось: «А я знаю стишок» — и, получив молчаливое разрешение деда, я прямо выстрелил все четыре строчки с «пилой» и «тараруем».

Все были потрясены, а дед вне себя от ярости приказал мне замолчать. Но я понял, что дед не знает этого стишка, завидует мне, а потому так кричит. И я повторял в своей обиде этот стишок как заведенный. Дед схватил свой дорожный кнут и начал меня стегать. Это был тот самый длинный кнут из плетеного ремня с коротким узорным кнуташицем в локоть длиной, которым дед доставал до своей пары коней, сидя на высокой куче кож в подводе. И теперь, как я ни поворачивался к нему, он все время бил меня по одному и тому месту. Наконец я был сбит с ног и не мог подняться, но продолжал выкрикивать со слезами слова стишка. Бабка Наташа прикрыла меня своим телом и пристыдила деда.

Кнут валялся на полу. Я лежал на лавке в кухне совсем голый, а бабушка успокаивала меня и обтирала уксусом и крещенской водой. Я рассказал бабушке, как Ромка научил меня хорошему стишку, а бабушка сказала, что стишок плохой и слова плохие, и что они рассердили и огорчили бабушку и дедушку, и что у дедушки надо просить прощения. Меня поили всеми деревенскими лекарствами, дали макового отвара, и я проспал почти сутки. Я мог уже сидеть и готовился к дедушкиному прощению. Но дед сам появился в кухне, смущенный и соскучившийся по внуку. Я попросил у него прощения, а он крепко обнял меня своими железными руками кожей и поднял высоко вверх.

В следующем году на тронцу Ромка женился, и мы с бабушкой были приглашены на свадьбу женихом и невестой, их родителями и самим главой табора. Свадебный пир продолжался семь дней и окончился полным разорением молодых и всего табора, так как пир справлялся на подношение всего табора. На седьмой день был устроен парадный выезд молодых и самых почетных гостей в Белый Город на пароконных санях (летом!) в расстоянии одной версты от слободы. Полиция и исправник растерялись и после некоторого замешательства разрешили цыганам проезд на санях по улицам города.

Мы были на второй день свадьбы. Пировали у родителей невесты во дворе. Рядом с нами ели борщ из одной миски два свата — один от невесты, другой от жениха. Ели они мирно и беседовали с полным взаимным уважением. Сват от жениха произнес задумчиво и доброжелательно:

— А борщ как будто холодноват.

Мать невесты, поспевавшая всюду вместе со своими сестрами, сразу же оказалась возле сватов. Она схватила двухведерный чугунок с борщом и опрокинула его на голову недовольного свата. Тот с недоумением посмотрел на нее и ударил изо всей силы по лицу своего приятеля — свата от невесты, так как у цыган запрещено бить женщин. Тот немедленно ответил. Все пирующие сразу же бросились на помощь своим, и началась мгновенно общая драка мужчин. Били чем попало — кулаками, скамейками, мисками, кастрюлями, горшками. Кровь потекла ручьем. Бабушка в испуге потащила меня к дверям, но Ромка с женой успокаивали:

— Большая мама, не бойся. Все будет хорошо.

И действительно, драка сразу как-то прекратилась, женщины перевязали белыми тряпками двоих цыган с разбитыми головами и дали помыться остальным. Тут же мать невесты налила двум сватам-зачинщикам большую миску несомненно горячего борща, говор и песни снова заполнили свадебное помещение. И нам с бабушкой стало хорошо, мы поняли, что от драки у цыган не осталось на душе ни обиды, ни злости.

Долгие годы потом я вспоминал о цыганах, об их веселом характере, незлопамятности и умении шуткой, песнею, музыкой и добрым словом заставить забыть невзгоды жизни. Но в слободе их не считали настоящими людьми — у них не было собственных хат.

## 5. Дед Супрун

Как-то вечером бабушка уложила меня спать и ушла в гости к своей дочери, моей маме. Но мой сон не был крепким: мешали то ли полная тишина в хате, то ли шумная беседа на дубках, слышная через открытое окно. Я слез с лавки, надел бабушкину кацавейку — летние ночи были свежими — и в обход калитки через дыру в плетне вылез к дубкам с другой стороны, где концы дубков были неровные.

Как мышонок, я затаился под нависшими дубками и стал прислушиваться к беседе взрослых. Они все уговаривали дядю Андрея Рашина, каменщика, пожилого и степенного здоровяка, рассказать про деда Супруна, сказочного предка нашего, который когда-то привел своих родичей и друзей с женами в эти края, выбрал место для слободы и заселил его.

Дядя Андрей, высокий, черноволосый, как все Рашины, в бороде и усах, был лучшим рассказчиком в деревне. Правда, считался он немножко «порченным» грамотой, хотя знал ее совсем слабо и никогда ею не хвастался. Но при этом односельчане уважали его за талант рассказчика и за ту же грамоту, которая «портила» людей. И теперь после небольших уговоров — надо, чтобы ты себя ценил и люди тебя уважали, — он начал свой неторопливый и замечательный рассказ. Я помню его почти слово в слово и сейчас, спустя более полвека.

В те давние времена не было Белого Города со слободами. Кругом нас стоял сплошной лес, дремучий, текли реки и ручьи полноводные, а зверя, птицы и рыбы было — хоть бери голыми руками. А хлеб рос

на гари в рост человеческий, огородина сама лезла из земли. Но потрудиться на первых пашнях пришлось до седьмого пота.

Самому деду Супруну тогда было от роду двадцать лет с небольшим, а пришел он в наши места с четырьмя своими родичами с Оки-реки да с пятью парнями из слободы Орлик Старооскольский. Когда они проходили мимо Орлика, богатой слободы с государственными крестьянами, сбежавшими от поляков с Украины, то уговорили орликовцы хороших девок идти с собой женками. Получили от родителей своих и женок на обзаведение две парные подводы с лошадьми, сохами и боронами, получили зерно и семена на посев и двинулись на юг в земли неведомые. Пришли напрямик к устью реки, небольшой и полноводной, с ручьями глубокими, и решили стать на житье. Речка сама приносила им все: рыбу обильную — бери руками, овощи всякие и огородину — само лезет из земли, словом, настоящая река «Везёлка». Так и осел первый порядок вдоль ручья, что протекал когда-то по теперешнему Рашинскому проулку и впадал в Везёлку в шагах тридцати от наших дубков. А Везёлка тогда текла по нашей теперешней главной улице. Лет через сто (а может, и меньше) вырос крупный военный Белый Город, и большою насыпною дорогой к нему реку Везёлку оттеснили на низ — на луга.

Супрун со своими земляками заселил восточный берег ручья, и отсюда пошла сторона деревни («конец») с Рашиными, а на левом берегу ручья осели орликовцы, прозванные Ладновыми, так как у них всегда все было «ладно».

Поселенцы жили дружно между собой, кормились рекою, общими полями — позже их поделили, — огородами занимались все. Лет через пятьдесят пришли в Супруновку — так называли слободу в честь Супруна — Гугаи, Байдиковы, Гречаники, Кравчуки, Емельяновы и другие и расселились по обоим концам слободы.

Все первые Ладновы были родичи между собой, а Рашины из-за Оки тоже были близкие по крови, поэтому они не женились внутри своей фамилии. Такой порядок долго держался потом, хотя родства внутри Ладновых и Рашиных часто нельзя было установить. А вот старинная дружба и поддержка взаимная, родственная исчезли безвозвратно, вместе с рыбой из Везёлки.

Тут бы заняться как следует землей, ан нет: все лучшие земли кругом получили в дар дворяне и служилые люди за важные заслуги — на кухнях, псарнях, конюшнях и спальных государевых. Белый Город рос, как на дрожжах, и глотал лишний народ супруновский на своих работах. Остались у супруновцев тощие надельные песчаной земли да крепкие руки хороших плотников, каменщиков, штукатуров и маляров.

И «свобода» — пешком или за свои деньги по чугунке — идти в любой край света и за три рубля в месяц на хозяйских харчах работать по двенадцать часов в день.

На дубках долго молчали после рассказа дяди Андрея: трудно было расстаться с прежнею привольною жизнью прадедов.

Затем разговоры на дубках стали для меня непонятными. Через свою дырку в плетне я пробрался в хату, лег на лавку, но долго не мог заснуть: я всю ночь шел с дедом Супруном с московских просторов за широкой Окой на чудесную Везёлку.

С этого вечера я не один раз выслушивал на дубках страшные рассказы о чертях и храбром солдате, о глупых царях и счастливом Иванушке-дурачке, о змее семиглавом и богатырях русских.

Сказка о Супруне закончилась былью о моем отце. Ведь он был родом из той самой слободы Орлик Старооскольский. После военной службы в Белом Городе солдатом он остался и женился на моей ма-

тери, когда ей было шестнадцать лет. Он был настоящим примаком и вместе с приданным получил для себя и своих детей уличную фамилию матери. Так почти через двести лет после деда Супруна совершилось новое вливание орликовской крови в рашинскую.

## 6. Конец дедовской семьи

Ранней весной перед цыганской свадьбой у нас случилась большая беда: пришлось зарезать нашу корову Машку, так как теленок у нее оказался мертвым. А мы так надеялись на Машкино молоко...

Дедушка и бабушка насолили много мяса, половину отдали маме. Всех прибила беда с Машкой, все боялись новой беды. Но прошла благополучно осень, зима и новый год настал — ничего не было. В самый морозный месяц дедушка повез большой воз сырых кож в Ростов. За Лисичанском его захватила ранняя весна, на одной речке лед под возом провалился, и лошади не смогли вытащить воз. Пришлось работать по грудь в воде — сбросить кожи на берег и вытащить пустой воз. Затем дедушка наново нагрузил кожи на воз и совсем больной добрался до Ростова. У него хватило сил по мокрой дороге доехать до ворот нашего двора, но он был без памяти, никого не узнавал, сам ничего не говорил и никого не понимал. Он был горячий, как печка, и дрожал от холода. Мы все — бабушка, мама и дети — сильно испугались, но не плакали, не шумели. Отец с дядей Андреем перенесли дедушку в хату, раздели его и долго растирали скипидаром, и бабушка поила липовым цветом и малиной. Затем она побежала в город за доктором и скоро вернулась с ним на его коляске. Доктор нашел горячку, от которой у нас все время умирало много детей и взрослых.

Через несколько дней доктор сказал, что у дедушки открылась скоротечная чахотка и доктор ему совсем не нужен. Дедушка кашлял по-долгу и никак не мог остановиться. Он сплевывал в большой таз какую-то красную пену и лоскутья. Не отрываясь, я с ужасом смотрел на большой таз. Я думал, что он полон дедушкиной крови, что дедушка вот-вот умрет у нас на глазах. Дедушка и сам не надеялся на выздоровление. Он велел позвать священника, причастился и стал тихо ожидать смерти. Он сразу весь побелел и высох, как щепка, и слабый стал, как ребенок.

Бабушка была как потерянная: никого не видела, не слышала, не отходила от дедушки ни на шаг, ухаживала за ним, как за ребенком маленьким, поила теплым молоком, наваром из фруктов и ягод. Дедушка ничего не мог есть, даже своих любимых донских сельдей.

Бабка с лежанки перестала всех грызть. Она требовала от всеильного бога спасения единственного сына, предлагала взамен свою никому не нужную, постылую жизнь. Нам было страшно, когда она кричала на бога.

— Перестаньте, мамаша, — сказал тихо дедушка, — не гневите бога и дайте мне умереть спокойно.

Так дедушка решил спор своей матери с богом. В хате все стихло, только был слышен кашель большого и стук моего напуганного сердца: я все время ожидал, что страшный скелет с косою появится за плечами дедушки и скосит его, как одинокий и слабый колос.

Сегодня дедушка что-то долго шептался с бабушкой: он решил попрощаться со мною. Я стал на колени перед ним. Он перекрестил меня и сказал шепотом о том, что я уже большой теперь и скоро буду в этой хате единственным мужчиной. Потом он погладил меня по голове и шеп-



нул, чтобы я помогал бабушке. Потом меня увели в отцовскую хату. Там я сразу заболел, и смерть дедушки весной прошла мимо меня.

Затем я вернулся к бабушке. Там уже жила ее двоюродная внучка Настя, она со своей подругой приняла в свои руки бубличную бабушки и распорядилась всем делом.

Мне не пришлось заботиться о бабушке и утешать ее: она нашла себе утешителя — водку. С этого часа моя жизнь проходила в постоянном горе и страхе.

Бабушка никогда в жизни не пила, и как она начала пить водку — нам было неизвестно. Может быть, через тетку Дарью Гречаникову? Она приходилась троюродной сестрой мне, но так как она была старше меня на шестнадцать лет, то я называл ее теткой. Она была замужем и жила напротив нас с трехлетним сыном Ванькой. Ее муж, одних лет с ней, пристроился приказчиком к вдове подрядчика строительных работ в Харькове и забыл о своей семье. Тетка Дарья, красивая женщина двадцати двух лет, пекла ржаной хлеб на продажу из муки тонкого помола, высокий, замечательно выпеченный, с репаной корочкой, удивительного вкуса и запаха. И цена была этому хлебу не дешевле, чем из лучшей пшеничной муки — крупчатки. Этот хлеб был чудом пекарского ремесла, а тетка Дарья была обеспечена постоянными покупателями ее хлеба. Она умела сплясать, спеть, устроить хороводы или веселую вечеринку, обмазать и побелить новую хату, покрасить окна и двери, покрыть хату наново соломой, выпить за компанию. Жила она строго и не баловалась, и ее воротам не угрожал деготь. Она была верная жена и хорошая мать: ведь каждый день к ней мог приехать муж.

У тетки Дарьи была своя компания из мужних и брошенных жен и одного мужчины — Романа Рашина, «соцкого»<sup>1</sup> нашей слободы, вдовца, лысого, но с окладистой до пояса бородой, человека очень глупого.

Каждую субботу и воскресенье, кроме постов, веселая компания собиралась у тетки Дарьи на беседу по душам, пели, плясали, немножко выпивали и закусывали вскладчину.

Не помню, как это случилось, только в один летний день после смерти дедушки мы с бабушкой очутились во дворе у тетки Дарьи. Бабушку с почетом усадили на скамейке, остальные сидели на плетенках камышовых на земле. Я получил от тетки Дарьи пряник из сладкого теста. В честь бабушки сыграли несколько песен с припевом и хоровых. И вдруг я услышал пение бабушки — первый раз в жизни. Без перерыва она пела одну песню за другой, грустные до слез, пела чистым, сильным, низким голосом. Под конец она запела какую-то украинскую песню о никому не нужных очах карих и щеках белых одинокой сироты. Пела, и слезы катились у нее из глаз. И все плакали кругом и утешали ее. Выпили опять немного водочки, развеселились, начали плясать. Только бабушка сидела молчаливая и мрачная. Иногда она оглядывалась кругом, как будто она была среди чужих людей. Иногда она клала руки на горло и рот, как будто хотела задержать крик.

И вдруг она сорвала платок с головы, села прямо на землю и начала голосить по покойнику. Это не было пением — это был плач по своей загубленной жизни, недавно еще счастливой, плач по ушедшему дорогому человеку. Все молча слушали причитание бабушки:

Свет ты мой, солнышко ясное, Кузьма Иванович,  
 Батюшка мой родной, защита моя крепкая!  
 Где же ты скрылся, в каких краях,  
 Краях далеких и неведомых?  
 Кто же доглянет меня, сиротинушку,

<sup>1</sup> Соцкий — сотский, помощник старосты в небольшой деревне до ста дворов.

Как малое дитя, беззащитную?  
Кто поможет мне в моих горестях,  
Жизни сиротской моей одинокой?  
Было время — цвело добром в нашей хате,  
Был хозяин в ней, добрый муж Кузьма Иванович,  
Были детки хорошие, послушливые —  
Как солнышко светлое, согревал ты нас,  
А теперь мое солнышко закатилось,  
Осталась я на белом свете одинешенька.  
Уж никто не станет без тебя, Кузьма Иванович,  
На защиту бедной сироты от злой беды.

Бабушку утешали словами, поили холодной водой. А я весь дрожал и просился домой. Ночь дома была страшная и длинная.

С этого дня началась гибель бабушки. Еще утром она что-то делала по хозяйству, но освобождалась от дел быстро. Рядом на кухне Настя с подругой возились с бубликами. На лежанке уже не было старой бабки, она как-то быстро умерла вслед за дедушкой, мы остались вдвоем в большой хате. Мои братья и сестры из отцовской хаты изредка забегали за бубликами, они всегда были заняты. Мама заходила часто, но на минутку, она всегда была замучена своими делами. В полдень бабушка кормила меня, а сама собиралась к соседям.

Вот мы незаметно выходим со двора, оба босые, я в рубашонке. День осенний, то брызнет мелким дождем, то посветит горячими короткими лучами. Рашинским проулком мы заворачиваем на кладбище, которое примыкает к нашему двору, но прямой дороги с нашего двора к кладбищу мимо пруда не было.

Бабушка садится напротив могилы дедушки, не отрывая от нее глаз, — простой чистенькой могилы с желтой песчаной дорожкой кругом и новым деревянным крестом, кругом — ни души, все заняты по домам. По временам бабушка вздохнет тяжело, то слово какое скажет своему Кузьме Ивановичу. Разговора «по душам» не выходит — видно, бабушка побаивается дедушку даже в могиле.

Затем мы спускаемся к большой площади с колодцем, проходим всю Ладновскую сторону и выходим на дорогу к городу и к постоялому двору с лавочкой богача Сорокалета. Там бабушка кружит вокруг, как подбитая птица, затем приказывает мне никуда не уходить, а сама входит в лавочку. Когда она возвращается ко мне, лицо ее горит красными пятнами, глаза становятся большие, с красными жилками, дышит она часто и громко, как после трудной работы или быстрого бега. А я дрожу: бабушка пила водку — будет опять плохо...

Вот мы проходим обратно на площадь, подходим к колодцу, где всегда много народу, а бабушка стоит, смотрит и как будто не видит никого. Идет частый мелкий дождик, и грязь кругом.

И вдруг отчаянный поминальный вопль пронесится по всей площади. Бабушка уже сидит на мокрой земле, платок сброшен с головы. Она громко, с плачем разговаривает с Кузьмой Ивановичем, часто повторяя одни и те же слова. А я плачу от страха, горя и обиды за бабушку и все время кричу: «Не надо, не надо!» А люди у колодца стояли молча, крестились изредка и не двигались: не полагалось прерывать беседу жены с покойным мужем.

Я помню этот похоронный вопль, и пасмурное осеннее небо, и бабушку, сидящую на грязной земле с растрепанными непокрытыми волосами. Через несколько недель я очнулся уже в отцовской хате на лавочке в кухне после болезни и узнал, что бабушка умерла от горячки и похоронена рядом с дедушкой. Я медленно выздоравливал, меня мучила все время тоска по бабушке Наташе и воспоминания о моей жизни с ней.

Новая жизнь в отцовском доме была совсем другая, и она с каждым днем все более меня захватывала. Она была как улица — шумная, деятельная и привлекательная, все в ней как будто играли в новые, до сих пор неизвестные мне игры, но законы отца дома были строгие, их надо было знать и соблюдать.

Мое детство закончилось, и началась новая жизнь.

## 7. Прощание с детством

Когда-то в школе я разучивал на память обязательный стишок:

Играйте же, дети, растите на воле:  
На то вам и милое детство дано.

Для обитателей слободы Супруна этот стишок совсем не подходил. Воли не было — ни в хате дедовской или отцовской, ни на улице с ее суровыми играми и строгими законами. В игры можно было играть, только выполнив дома свои трудовые обязанности. Значит, детство по школьному стишку если и было, то оканчивалось в пять-шесть лет, когда дома на ребенка возлагали постоянные обязанности. Попробуй сбежать из хаты и «поиграть на воле», не выполнив своей работы: хорошо узнаешь, что такое лоза или хворостина в палец толщиной.

Детство — это постоянная строгость: «Чего крутишься под ногами? Сядь в углу! А кто это пролил? Чем ты запачкал рубашку? А чего это кричит Маруська?»

Суровость пропитывала все слова и наставления старших. И уже через несколько минут появлялась мысль о том, как бы сбежать из дому, конечно, не зимой, ты же босой.

Детство — это дубки, горячие от солнца, замечательные цапки и игры с соседскими детьми. Родная улица — крепкая защита от всех несправедливостей: ты такой же, как и большой Степка, старше тебя на три года, даже больше его, так как Степка по законам улицы должен защищать тебя.

Ты тоже станешь таким, как Степка, и будешь следить, чтобы малышей не обижали.

Детство — это постоянный голод, все время хочется есть. Но весной появляется всякая съедобная зелень: щавель, дикий чеснок, корень лопуха, стебли камыша и всякие ягоды.

Все в детстве самое вкусное: и хлеб, и лепешки ржаные, и картошка печеная, и хвост селедочный, и горох сладкий.

Детство — это школа мужества со строгим запретом хныкать, жаловаться, трусить, ябедничать, бояться, особенно боли. И в хате отцовской всеми средствами выводятся из малыша самые склонности к хныканью, а при наказании крикну и трусу добавляю лишнее.

Детство — это радость: солнцу, теплоте дождю, огороду зеленому, утренней и вечерней улице, когда гонят скот на луга, радость от быстрого бега и от сидения на дубках, радость от надежды, что непременно будешь сильным и будешь все делать хорошо, как Степка, Санька, даже как отец!

Самый храбрый в мире человек — это малыш: в детстве нет пределов замыслам и надеждам.

...В детстве мы получаем суровую закалку и научаемся переносить боль и трудности. Эта закалка входит в тело малыша и помогает ему в его последующей жизни, даже в глубокой старости. Сейчас, после операции, без сил и мужества, я опустился до своего детства, но из него я почерпнул пропавшее мужество и стойкость.

«Не хныкать, собрать все силы для выздоровления, выкарабкаться хоть на четвереньках», — сказал малыш старику, и вот...

— Посмотрите-ка на нашего «юношу», сестра, — сказал хирург на обходе, — прямо молодец: прошло четырнадцать дней, а рана наполовину срослась, температура нормальная. Наверное, ему хочется встать и гулять...

Теперь мне предстояло стать на ноги, овладеть всеми дорогами внутри больницы — к лечебной части, в столовую, — стать настоящим ходячим больным, расширить владения моего настоящего мира.

А ведь я проделал уже похожую работу в детстве после смерти бабушки и моей болезни. Помню, что в глазах моих тогда стоял туман, а ноги подгибались при ходьбе, а все же я быстро стал на ноги — по пробой почти каждый день носить из сарая солому в хату и чтобы ее не разбросать на дворе. А сестру Маруську поносить на руках, когда она родилась у мамы, небось не уронишь на пол? А взобраться на чердак? Добраться с Маруської на Везёлку и купаться в речке, как большому? Уже Харьковская гора, за которой всходило солнце, стала для меня близкой и доступной — дойду!

То, что надо сделать сейчас старику, меньше того, что сделал малыш, когда он постепенно входил в более широкий настоящий мир, когда он начал его завоевывать после утраты деда и бабушки Наташи.

Надо только вспомнить хорошенько, как шаг за шагом, день за днем малыш входил в новый мир — мир собственных открытий и дел.

## 8. Отцовская хата

Хата отца была обмазана глиною с обеих сторон. Летом в ней было жарко, а зимой холодно. Вход со двора по лестнице с перилами вел в холодные сени и кладовку, а из сеней в теплую хату через переднюю. В сенях стояли бочки с водой и чистые ведра, грязные ведра и всякая хозяйственная утварь. В кладовке стоял большой сундук с приданным матери, теперь уже пустой. В нем хранился недельный запас ржаного хлеба, который пекла мать. В кладовой стоял переплетный станок отца, прядильный станок матери и незаконченные изделия отца — столярные и плотницкие. Над кладовкой в выдвижном ящике лежал плотницкий и столярный инструмент отца. Из передней дверь направо вела в горницу, занимавшую полхаты, а налево — в кухню с большой русской печью, плитой и большим обеденным столом. Из кухни и горницы вели двери в две отдельные небольшие комнаты, совершенно одинаковые — одна была спальней родителей, а другая, рядом с кухней, служила для всего: и кладовкой теплой, и спальней для старшей сестры Тоськи, когда она стала невестой, и «лекарней» с верхней лежанкой, где выгонялась из нас всякая хвороба. Горница отапливалась отдельной печью, все остальные помещения — русской печью и плитой.

Я медленно выздоравливал после горячки и лежал целыми днями на лавке в кухне, под южным окном. Ранняя зима была сухой, солнечной, и я набирался сил от солнца. Моя болезнь всем мешала в отцовском доме, где все работали.

Начиная с шести до двенадцати лет каждый в семье получал от матери определенную ежедневную работу на два года вперед. Кроме обязательных работ, были еще «почетные» — непосредственно в помощь матери или отцу, по их поручению.

С шести до восьми лет малыш топил соломой печь в горнице и нянчил очередного грудного младенца. С восьми до десяти лет он подметал полы и выносил мусор во двор, чистил от золы плиту и приносил для

нее топливо со двора — нарубленный хворост, помогал матери готовить еду для свиней, кур и для всех детей.

С десяти до двенадцати лет мальчик снабжал хату водой из колодца водокачки, рубил хворост и пилил дрова для большой печи и растапливал ее, когда пекли хлеб или перед большими праздниками.

Из почетных работ самой главной была помощь матери при выпечке хлеба: надо было просеивать и подсушивать муку и топить большую печь. Мы не покупали хлеба и пекли его из собственной муки с собственного поля, которое обрабатывал отец. Хлеб пекли раз в неделю. Пока мальчики были меньше пятнадцати лет, отец сам вымешивал тесто в деже (квашне) и колот большим топором напильные кругляки. Уже с двенадцати лет под присмотром отца мальчики пробовали поднимать большой топор — двумя руками, потом обучались делать замахи и удар по кругляку. Надо было крепко держать топор в руках и правильно бить по кругляку. Только после строгой проверки отец разрешал заменить его.

Каждое воскресенье до рассвета самый сильный из мальчишек ходил с матерью на базар в город с корзинкой для купленных продуктов. Овощи и картофель у нас были свои, с нашего огорода.

В помощь отцу мальчики старше десяти лет выезжали с ним каждую весну на полевые работы: отец засеивал три десятины жита и сажал две десятины картофеля. Потом наступала прополка жита и окучивание картофеля. Во второй половине лета мы убирали хлеб и поздней осенью копали картофель.

Тогда же всю семью, без малышей и матери, мы выезжали в «общественный» лес на заготовку лесных плодов и ягод, а глубокой зимой со старшими мальчиками двенадцати—четырнадцати лет отец отправлялся в лес на делянку, чтобы заготовить дрова и бревна. Нам было разрешено вывезти четыре воза топлива в год.

Зимой на току в сарае мы помогали отцу молотить рожь ручными деревянными цепями: веселая и звонкая, как и песня, работа, когда все молотильщики держат порядок в работе и когда цеп им по силам.

Так вот, вокруг меня все работали, а я — уже шестилетний мальчик — лежал на лавке. Я узнал от старших, что самому большому брату, тринадцатилетнему Саньке, весной предстояли переходные экзамены в последний класс уездного училища. Поэтому его надо было разгрузить от домашних дел и передать их одиннадцатилетнему Кузьке и девятилетнему Ваньке, а мне — часть их работ.

Как-то после утренней еды мать и Санька подошли ко мне и сказали, что я скоро встану и начну работать по дому, буду печь топить соломой, а Ваня должен меня научить.

— Главное, чтобы ты не бегал горячий от печи в сени и во двор, — сказала она.

Мать ходила полная, и у ней скоро должен был родиться ребенок, которого мне придется нянчить.

Ванька был самый молчаливый и смиренный из всех детей. Настоящий отец по наружности, только маленький и без бороды и усов. Когда мы остались одни, он с неохотой посмотрел на меня и сунул мне в нос свой кулак.

— Ну, — сказал он, — увижу тебя в сенях — получишь.

Вот тебе и самый смиренный из всех!

По законам дома старший обязан был терпеливо учить своего младшего, но не обижать его, а к родителям с жалобами на него не положено было обращаться.

Через несколько дней, к моей радости, Ванька обучил меня нехитрому делу — как топить печку соломой. Я чистил печку от золы, делал

из пучков соломы домик в печке и растапливал ее от плиты в кухне, где всегда горел огонь. Солому мне приносил сначала Ванька, пока меня не пускали во двор на мороз, а потом я сам носил ее босой в своей рубашке. Печь быстро нагревалась. Я сидел в тепле, не отрывал глаз от огня. Иногда из печи вырывался дым через все дверцы: это сильный ветер «забивал» трубу. Надо было закрыть на минутку поддувало, а дверцу печную открыть, пока не протянет лишний дым через всю печь. Для более медленного горения соломы я крутил из нее перевязки, как для снопов, тогда солома горела медленнее и печь нагревалась лучше.

Я с нетерпением ожидал ребеночка. Наконец родилась девочка, которую назвали Маруськой,— маленький сморщенный красный человечек с тоненькими руками и ногами. Она спала, ела, тихонько пищала и постоянно была мокрая. Большую часть времени она проводила в люльке, подвешенной к потолку в комнате за кухней, там всегда было тепло. От люльки вниз висела веревка, и я, когда надо, качал Маруську.

Мама, Санька и Кузька с Ванькой вставали затемно, до рассвета. Мама зажигала от плиты маленький ночник — ватный фитиль в чашечке с керосином,— обмывала Маруську теплой водой и кормила, потом укладывала ее в люльку. За это время Кузька и Ванька растапливали плиту и ставили на нее один ведерный чугунок с мытой мелкой картошкой, другой с бураками и морковкой и третий с водой для запарки отрубей; чугунок были приготовлены еще с вечера. Хата уже была подметена, а грязные ведра вынесены во двор. Я и Колька вставали позже. В рубашонках, босые мы выбегали в сени, ополаскивали лицо и руки ледяной водой и в кухне наскоро проглатывали «Отче наш». Я смотрел, как спит Маруська, а затем уже мы с Колькой не отходили от плиты. Огонь гудел и сверкал. Уже по всей хате разносился запах сварившейся, как следует посоленной картошки и бурачков с морковкой. Потом мы бежали на помощь Кузьке и Ваньке: сваренный картофель надо размять ложками, крошить в него вареных бурачков и морковки и залить все распаренными в кипятке отрубями, все перемешать в большом деревянном корыте — и корм свиньям и курам готов. Мы быстро размалываем картошку, отбираем лучшую и жадно проглатываем ее с кожурой, такой солененькой и вкусной! Ведь это был наш внеочередной утренний завтрак, а нам уже до смерти хотелось есть.

Потом вставала наша портниха, шестнадцатилетняя Тоська — никакой работы по дому она не делала. Санька уже закончил рубить дрова для плиты и теперь помогал Кузьке и Ваньке вынести большое корыто с утренней едой для свиней и кур. На столе стояла уже миска с вареной картошкой и другая с кислым снятым молоком — наша утренняя еда.

Проглатывается наспех молитва «перед принятием пищи», и мы начинаем молча, нарочито медленно есть картошку с кислым молоком и хлебом. Мама сидит с нами за столом, но не ест ничего. Она внимательно все время оглядывает нас: ведь это ее единственные свободные минуты, когда она видит всех нас вместе. На столе и в мисках не остается ни одной крошки.

К семи часам утра кухня пустеет: Санька уходит в училище, Кузька и Ванька — в церковноприходскую школу, Тоська — в частную мастерскую мод, где она шестой год учится кройке и шитью и работает на хозяйку ежедневно по двенадцати часов. Ей положена там еда и одежда. По окончании шестого года она будет держать экзамены в ремесленной управе и получит свидетельство на звание портнихи-мастерицы. Мама тоже прошла когда-то такую же, но сокращенную школу.

Встает отец, обходит двор и доделывает всякие мелочи от вчераш-

него дня. Он ест ту же картошку, но с кусочком простой селедки и обязательно выпивает домашней наливки из стаканчика с надписью: «Ее пьют и монахи». На свою работу в земской литографии он уходит в восемь часов утра. Мы остаемся одни дома: мать, Маруся, Колька и я. Маруся тихоно попискивает — уже мокрая. Мама выкладывает ее на лавку вместе с матрасиком. Я не отхожу от мамы и помогаю ей: приношу железный тазик и складываю в него мокрые Маруськины тряпочки, приношу несколько кружек чистой воды из сеней и выливаю ее на тряпочки в тазике.

Маруся засыпает сразу же, а мама съедает свой завтрак — кружку молока и кусок ржаного хлеба с солью. Колька играет в цапки, а я читаю вслух псалтырь, которую я учу в нашей сельской школе, устроенной в дедовой хате. Преподает там грамоту и счет мой отец, а молитвы — священник из нашей городской церкви. Мне и маме нравятся одни и те же псалмы — стихотворения, где слабый, но смелый человек добивается своего счастья от бога то молитвами, то требованиями.

Я всегда смотрю на маму, когда она ест или держит Маруську, и каждый раз я удивляюсь: какая же она маленькая — не больше Тоськи или Саньки, а ведь они еще растут, а мама уже нет! Она смуглая и черноволосая, как все Рашины, а лицо у нее длинное и узкое, как у бабушки Наташи, только глаза темные, карие, с густыми бровями и длинными ресницами. Слабая и тонкая на вид, она каждую неделю выпекала в большой печи четыре пуда хлеба и работала больше всех в доме. Дети, все как один, были большие и крепкие, как будто их родила мать-богатырша. Вот только в поле она не работала — не выносила солнца. Она всегда успевала видеть всех нас сразу и знала, что каждый из нас делает и о чем думает.

Прошел час отдыха. Мать кладет спящую Маруську в люльку, смотрит озабоченно кругом и говорит тихо, как бы про себя:

— Посмотрим, что у нас на обед осталось?

Колька и я привычно тащим по полу из холодных сеней ведерный чугунок с рассольником от вчерашнего дня.

— Да, не хватит, надо добавить, — говорит мама.

Весь год она покупает в мясные дни на базаре бычачий ливер — сердце, легкие, печень, почки — весом с полпуда, и его хватало на целую неделю: ведь два дня в неделю были постные. Какие замечательные кушанья готовила нам мама из ливера! Прежде всего рассольник, больше из легкого и всяких хрящиков, от них мы делались сытыми, когда грызли их до усталости уже в конце обеда. Рассольник с хлебом был нашей главной пищей, мы его ели круглый год в «скоромные» дни. Второе блюдо — тушеная печенка с овощами — давали нам только во время полевых работ, когда не готовили на поле пшенной со старым салом каши, и в праздники. Лучше всего на свете были колобки из рубленой печенки с гречневой кашей, обернутой в нутряной жир, и прожаренные в духовке. А всякие постные супы, и лучше всех «кандер» пшенный с картошкой и маленькими таранками, их мы ели отдельно — на второе блюдо, а суп ели «с запахом» таранки. В детстве и юности мы всегда были голодны, и тогда все, что мы ели, было самое вкусное на свете. Мы никогда не ели «за маму» — не хватало еды «себе», мы всегда готовы были повторить еду немедленно.

Для добавка ко вчерашнему обеду я и Колька несем из передней счетом картошку, соленые огурцы, морковь и лук. Мама все чистит и готовит, а мы с Колькой моем овощи и складываем в отдельный чугунок, заливаем их водой и ставим на плиту. Плита горит вовсю, и скоро старый обед и новый добавок закипят с шумом. Мама готовит отдельно луковую заправку на кусочке старого сала и муке, и добавок не уступает

вчерашнему рассольнику. Мы пробуем вместе с мамой новый рассольник и хвалим его от чистого сердца. Мама переливает рассольник в старый — и обед готов.

Нам остается еще долгие полтора-два часа ждать прихода из школы Саньки, Кузьки и Ваньки. Они приходят домой в третьем часу. Все зверски хотят есть. Мытье рук, короткая молитва, мать режет каждому по куску хлеба. Ванька и Кузька наливают большую деревянную миску рассольника для всех. Маме тоже дают небольшую мисочку рассольника. Когда Маруся стала постарше, она начала есть с мамой жидкость рассольника и сосать ржаную корочку. Я всегда завидовал Маруськиной корочке — она держала ее во рту часами. Миска с супом опоражнивается по правилам: сначала жидкость, потом овощи и наконец мясо. Мы едим строго по порядку «от Саньки до Кольки», едим медленно. В конце обеда школьники получают отдельный добавок. Обед закончен. Стол вытерт, посуда вымыта (ложку моет каждый свою), грязные ведра вынесены во двор, и Санька со своими помощниками приносит несколько ведер воды из колодца и пополняет запас дров из хвороста.

Сегодня особый день — завтра с утра мама печет хлеб, и надо все приготовить заблаговременно: просеять и подсушить муку и ссыпать ее в чистые мешки. Это делают Кузька с Ванькой. Санька приносит из кладовой дежку с кусочком кислого старого теста и ставит ее на скамейку у стола для «расчинки» нового теста. Мать постепенно за два раза готовит к утру кислое тесто на всю печь.

Приходит отец, обедает со стаканчиком водки, забирает с собой во двор старших и начинает готовить дрова на большую печь: колет напильные Кузькой и Ванькой кругляки. Санька относит дрова в хату и складывает в большой печи по всем правилам для растопки.

С дровами покончено, и Санька с Кузькой и Ванькой убегают на улицу играть в «дубинки». Гон ведут Рашины с Санькой и его ударной пятеркой, они не подпускают противника к шайбе, прорывают его защиту перед воротами и выигрывают один за другим четыре кона. Игра отложена, и вожаки обеих партий договариваются о переводе игры на лед, на реку Везёлку. Разведчики уже узнали толщину льда от городского моста до временного моста у Байдиковского переулка: почти в ширину ладони подростка. Кое-где на льду намело снега, но можно за час очистить его двумя парами лопат. Санька и Илюшка подсчитали число игроков на коньках, уравнили их в обеих командах, так как такие игроки — главная наступательная сила команды. В слободе у мальчишек не было денег на покупку коньков, в ходу были унаследованные от старших коньки на деревянных колодках с дырочками для ремней. Вместо ремней, давно изорванных, коньки привязывались веревочками. Они постоянно рвались во время игры, и приходилось их надвязывать.

На реке, заросшей с одной стороны кустарником, а с другой укрытой высоким берегом, не было ветра, и после двух-трех конов игрокам становилось жарко. Ватники они сбрасывали с плеч. Когда хотелось до смерти пить, пробивали дубинкой затянувшиеся лунки на льду, игрок ложился на лед грудью и сосал воду, пока терпели зубы. Кашель лечили всегда одинаково: нам растирали на ночь грудь и спину козьим салом, надевали на голое тело теплую рубашку из грубой кусучей шерсти, и мы ложились на верхнюю полку — лежанку — русской печи под теплое одеяло. Мы истекали потом целую ночь, а утром просыпались здоровые, как будто кашля вовсе не было.

После отдыха на кухню приходят мать с отцом, появляются Санька, Кузька и Ванька и все вместе осматривают приготовления на завтрашний день: муку, дрова, воду, а заодно завтрак для свиней.



Мы все ложимся спать рано. Не спит только мать — она сидит за штопкой дырок на школьной одежде мальчишек. Кроме того, она следит за опарой в деже. Всю ночь тесто киснет, бродит, подымается, лопается, опускается, лопочет — разговаривает. Уже после двенадцати часов ночи мать зовет отца доделывать вторую опару. После часовой тяжелой работы отец и мать засыпают на два-три часа.

До рассвета все на ногах за работой. Мать быстро отнимает от дежи кусок кислого теста, месит три круглые большие лепешки и ставит их в тепло, чтобы они подошли. Большая печь, заложенная дубовыми поленьями еще с вечера, уже горит сильным ровным огнем. В духовке уже стоят три сковородки с лепешками, наколотыми деревянной палочкой, чтобы они хорошо пропеклись во всю толщину.

Самый замечательный на свете запах — нового, чуть поджаренного хлеба — наполняет хату, наши носы, рты, легкие, глаза и головы. У нас нет сил стоять на одном месте, ноги сами подпрыгивают у плиты. В кухне отец окончательно размешивает тесто в деже веселкой, а мать постепенно подсыпает муку. Затем мать сменяет отца и руками окончательно вымешивает тесто, пока оно перестанет прилипать к рукам. Санька с кочергой следит за огнем в печи, чтобы она прогрелась хорошо: тогда хлеб не пригорит, а поднимется ровно и высоко и пропечется хорошо, а внизу не получится закала и корочка кругом будет репаная с хрустом. Мать, наконец, вынимает верхнюю сковородку с готовой пышкой, похожей на кусок толстого ватного стеганого одеяла. Она смазывает лепешку свиным смальцем, а Кузьма делит ее на пять частей. Мама пробует пышку от Санькиной доли, а отец от Кузькиной. Всем нам приятно, что с нами едят большие. После пышки мы съедаем большую миску чуть холодного компота из сушеных лесных плодов и ягод и готовы «прикончить» вторую пышку, но она уйдет со школьниками. Санька обивает от несгоревших поленьев уголь, тушит их и выносит во двор. Затем он разравнивает жар по всей печке и почти закрывает дымоход для лучшего прогрева печи. Вот и синие огоньки над углем исчезают: горение закончилось. Отец один вываливает тесто из дежи на большой стол, присыпанный мукой. Мать на глазок делит тесто на двенадцать хлебин по двенадцать фунтов и начинает с добавкой муки вымешивать его руками окончательно. Хлебины ложатся на капустные листья на свободном месте стола и накрываются чистой дерюгой, чтобы подойти окончательно.

Санька выгребает весь уголь из печи кочергой и разравнивает его перед печью, печь он подметает метелкой. Сразу же после этого он с Кузькой и Ванькой убегают в школу.

Все готово для посадки хлебов в печь. Мать вытирает пот со лба, привычно крестится и насаживает на лопату самый дальний хлеб: последний ряд, правый угол — самый трудный для посадки в печь.

Мать с закрытыми глазами видит печь, а руки ее знают, куда сажать хлеб. Отец обычно говорил нам, что ему легче пятнадцатипудовую тачку с землей протащить на сто шагов, чем один хлеб посадить.

Тяжелая работа у нашей матери... Жар спереди мешает и палит лицо и руки. Печь с хлебом закрывается железной заслонкой из трех частей, к ней плотно пригребается уголь от поленьев. Мама первый раз за утро садится на табуретку перед печью.

Она каждые пять минут подымается и смотрит через среднюю заслонку, как подходит хлеб в печи. Наконец она успокаивается: хлеб поднялся высоко, больше нельзя. Еще обгорит от верхних кирпичей печи. Уголь спереди и с боков печи убирают совсем в специальные горшки и тушат его.

Этим углем потом разогревают паровой утюг для глажки белья и самовары для чаю.

Часа через полтора после посадки хлеб вынимают, если печь была вытоплена хорошо. Перед этим мама пробует хлеб из самого холодного места печи деревянным шильцем. Для укладки хлебов в комнате за кухней на помост кладут чистую рядюгу, на кухонном столе хлебы очищают от капустных листьев, кладут на помост далеко друг от друга и ждут, пока хлеб не остынет совсем. После этого его складывают в сундук кладовой и накрывают от холода теплой одеждой, а самый сундук замыкают от нас, вечно голодных.

Нет ничего на свете красивее печеного хлеба — правильной круглой формы, высокий и без пустот внутри, с мелкими дырочками во всю высоту и ширину, с темно-коричневой, в мелких трещинах корочкой. Какая вкусная была корочка, если натереть ее чесноком и посыпать солью! А хлеб, густо посыпанный солью, с топленным молоком! Но лучше покрошить хлеб в чашку с молоком и есть кусочки, пропитанные молоком. А если налить в блюдечко с солью немножко подсолнечного масла и чуть обмакивать душистый хлеб в душистое масло!

Но лучше всего, когда мама отпускала нас всех с Санькой на реку или в Архиерейскую рощу — без Марульки и Кольки — на целый день и давала нам половину хлеба и вареной картошки с солью.

Мы были путешественниками, и у нас были запасы еды, которой распорядились мы сами.

Мама была хозяйкой нашей хаты и семьи и главным работником ее. Она следила все время, чтобы никто из нас не вышел на люди в изорванной или испачканной одежде.

Мама была главным раздатчиком наград и наказаний. Горе, если она отказывалась от кого-нибудь и передавала его в руки отца.

Вот подходит момент — его требует отец в горницу. Короткая речь: отец не любил говорить. Затем брючный ремень переходил с пояса в правую руку отца, и виновный расплачивается за свои провинности перед матерью в настоящем и будущем. Отец очень доволен, что «преступник» вел себя, как полагается «настоящему Комару»: не хныкал, не кричал от боли, не молол глупостей.

Мы всегда говорили матери и отцу «вы». «Вы» мы говорили всем женатым и замужним дядям и тетям, родным и неродным.

Мама говорила с нами очень мало — просто у нее времени свободного не было. Между собой разговоры у нас были скупые, все больше о работе.

Летом матери было легче.

В сумерки она часто выходила и садилась на лавку перед новой хатой. Там она дышала воздухом и сидела с закрытыми глазами: у нее уходили из головы шум и гудение через глаза. Мы не беспокоили ее и держались вдали, кроме Марульки, ее признанной любимицы. Марулька стояла тихо возле матери.

Когда совсем темно, мать навещали соседки-тетки, самых разных лет, от молодок до бабок. Все они приходили жаловаться на свою тяжелую жизнь, побеседовать по душам. Собственно, это была не беседа, а исповедь, в которой мать приносила редкие слова, а соседка непрерывно говорила, кричала, бранилась, проклинала, плакала, смеялась. А конец обычно один: соседка благодарит мать за душевное обхождение.

Мы, мальчишки, не показывали и стыдились нашей любви к матери. Мы отворачивались, когда мать кормила малыша и говорила ему при этом разные «неподходящие» слова.

Хорошо помню — матери было уже под сорок и она в третий раз заболела горячкой. Отец был в поездке за работой. Старшая сестра Тоська была уже замужем, а Санька учился в агрономической школе под Суджей. И доктор и тетки, все говорили одно: «Помрет!»

За мамой смотрела тетка Дарья и замужняя уже Настя, дочь дяди Андрея Рашина, но бывали они недолго. Себе мы готовили сами — Кузька и Ванька.

Большая кровать была выставлена из маленькой спальни в горницу — для воздуха. Мать уже много дней лежала на ней без сознания. Ей надо было давать с ложечки теплое питье: сладкую воду, топленое молоко, навар из сушеных фруктов.

Мать лежала неподвижная, с красным, как кирпич, лицом и тяжело, со свистом дышала. Кашель раздирал ее грудь, а глаза, когда открывались, ничего не видели и никого не узнавали.

Мы сидели на корточках перед кроватью все: Кузька — четырнадцать лет, Ванька — двенадцати, Митька — одиннадцати, Колька — девяти, Маруся — шести, Митрошка — четырех лет, Винька — трех и Валька одного года — и неотступно смотрели в лицо матери. Проходили часы, Ванька много раз лил питье сквозь зубы матери, но в рот попадало мало. Отчаяние охватывало нас все больше и душило нас.

И вдруг мать очнулась, села сама на кровать и сказала, как вздохнула:

— Вот и пришла моя смерть...

Затем она посмотрела кругом, каждому казалось — на него, и простонала:

— Господи, на кого же я их оставляю? Нельзя мне умирать!

Мы, как один, бросились к матери с криком:

— Не умирайте, мама, не надо! — тормошили и обнимали ее, а три самых маленьких просто беспрестанно кричали.

Мать упала на кровать, как мертвая, и проспала больше суток. Тетка Дарья со своим Ванькой перешла к нам на несколько дней жить. Она с Настей сменила матери три раза за ночь рубашку. А мать спала, потела и все время пила из рук Ваньки, не просыпаясь. Под вечер из следующий день она проснулась, побледневшая, но уже с человеческими, осмысленными глазами. Мы снова увидели нашу мать. Она пыталась заговорить с нами о наших делах, но тетка Дарья не разрешила.

С помощью Кузьки и Ваньки она умыла маму, покормила ее супом с цыпленком и рассказала коротко о наших домашних делах.

Больше двух недель она ела, спала и почти не двигалась: настолько она ослабела от болезни. Потом Кузька, Ванька и Митька выводили ее в сад. Там в тени огромных ив на полотняной раскладушке мать лечилась чуть прохладным летним чистым воздухом. Маруся и Колька с тремя последними детьми показывались маме утром и в обед. За два часа до захода солнца мы провожали маму на ее кровать в горнице и укладывали на ночь.

Мы любили маму, но не выражали нашей любви открыто и свободно — просто не умели, даже стыдились.

Мы впадали в отчаяние, когда она заболела и опасность угрожала ее жизни. А в остальное время мы были заняты собой и своими делами и не помнили о матери.

Ей было около сорока пяти лет, когда она овдовела: отец замерз во время метели в дороге. На руках у нее оставались Колька, Маруся и младшие: Митрошка, Винька, Валька — остальные стали уже на собственные ноги и даже помогали ей.

Мы жили спокойно, но вдруг заметили, что с матерью прямо что-то стряслось: смотрит мимо людей и нас, задумывается над работой, не слышит и не видит никого и иногда улыбается растерянно. При этом к ней стали ходить то одна разодетая тетка, то другая, то под воскресенье, то в самое воскресенье.

Как-то в субботний вечер мама уединилась с пришедшей теткой в саду, там перед беседкой была скамейка. А я забрался в сарай, который выходил одной стеной в сад, лег у садовой стенки у нижней щели и расслышал все до последнего слова,— оказывается, это была сваха! Свахает она мать за старого и богатого городского купца, вдового после второго брака, с четырьмя детьми на руках.

Оказывается, купец видел мать в церкви, и она ему пришла по душе.

— Сам бог послал вам такое счастье за вашу жизнь трудную,— говорит сваха матери.— Будете жить, как царица.

А мать в ответ молчит и молчит, а сваха, как ржавчина, точит и точит ее все новыми словами. На прощание сваха, как репей, пристала к маме за ее решением:

— Что же передать от вас жениху?

А мать и говорит:

— С женихом рановато. Передайте почтенному Ивану Флегонтовичу мою благодарность душевную за честь великую. Недостойна я, и сил у меня уже нет взять в свои руки такой большой богатый дом... Извините, мне сейчас надо посмотреть, как дети спят, да и самой уснуть пора. До города далеко, и вам, Мария Селиверстовна, пора в путь.

Я быстренько и без шума выскочил на улицу и по нашей дороге на реку пробежал вперед. Сваха шла медленно. Дорога была крутая, темная, и перед ракой я сделал вид, будто обогнал ее. Она сначала испугалась, а потом обрадовалась попутчику. Я сказал, что оставил на берегу свой ножик. Иду с ней и удивляюсь вслух, что она не боится таких истинно дьявольских мест: вон, например, на той раке, на суку, повесился бродячий монах. Ей лучше и дорогу забыть в слободу, если она хочет остаться живой: ведь до дьявольского часа, до полночи, осталось немного и в следующий раз черти попросту ее заберут к себе через петлю...

Тут, на берегу Везёлки, мы распрощались. С тех пор мы ни ее, ни других свях не видели в нашем дворе, а мама через несколько дней стала такой, как раньше.

Мы всегда защищали свою мать от всяких бед, даже от плохого поведения отца, а вот передать ей нашу любовь хорошими словами не умели.

Отца я помню всю свою жизнь как человека, который все умел и все мог сделать. Больше двадцати пяти лет он кормил хлебом свою семью из двенадцати человек, пахал, косил, молотил, и это кроме основной своей работы. Он работал литографским рабочим в земской управе: печатал на камне отчетные материалы, предварительно перенеся подлинники на камень. Затем он взял на себя составление подлинников. У него была крепкая голова и красивый почерк, каким писали тогда служебные бумаги. Этот почерк унаследовал от него один Ванька.

Дома после обеденного отдыха он делал все: стекольные, кровельные, плотничьи и столярные работы по ремонту дома, ставил заборы и собирал сарай.

Дедовская усадьба со стороны нашей хаты наполовину лежала в яме, заполненной озером, почти в полдесятины, где жили одни лягушки. Круглый год хозяйки слободы полоскали белье в нашем озере, а летом малыши не вылезали из этой грязной лужи. Надо сказать, что усадьба слева, принадлежащая нашему дальнему родичу Семену Рашину, по прозвищу Лопух-трехгубый, имела такое же озеро, но более мелкое.

Лопухом Семена прозвали за то, что он с женой и сыном жил, как сорняк: они не вели никакого хозяйства и не работали, пока у них была хоть горсть муки или ведро картошки. Трехгубым его сделала старая

смирная кобыла. Она ударила его копытом и разрезала верхнюю губу, когда еще мальчиком он выдергивал из ее хвоста волос для изготовления музыкального инструмента — «волосянки». Это был маленький, длиною полторы кисти, смычок в виде палочки с одним натянутым волосом, которым водили по гнилому, смоченному водой кусочку дерева. Получался слабый, высокий, необычайно унылый писк. В слободе среди малышей было много любителей такой музыки.

Однажды, когда мне было семь лет, летним вечером отец в нижнем белье, с длинной палкой облазил все озеро, делая пометки на палке. Затем он палкой измерил длину и ширину озера и на листе бумаги нарисовал озеро с глубинами. Мы, мальчишки, умирали от любопытства, что это будет. К нашему удивлению, отец сказал, что он хочет осушить озеро и завести потом сад с яблонями, грушами, сливами, вишнями и всякими ягодами. Но как он это сделает? А отец спросил Саньку, Кузьку и Ваньку, будут ли они ему помогать. К негодованию старших, я влез первый в разговор, а отец успокоил, что работы с озером хватит года на четыре, а с садом — на всю нашу жизнь, а значит, и я успею кстати подрасти. Так я стал участником этой работы.

То лето было жаркое, и вода в нашем озере сильно снизилась. Отец тогда же на границе нашего озера справа и слева выкопал две канавы глубиной в аршин, обсадил их ракитовыми кольями и соединил их середины такой же канавой. Получилось вроде печатной буквы «н». В верхней и нижней половине «н» он выкопал по колодцу глубиной в два аршина, защитил их стенки от обвала длинными узкими досками, вбитыми в землю, и соединил их канавами с «н». Канавы и деревья начали сосать воду из нашего озера. Осенью дождевая вода, а весной полая дошла до половины прежней высоты. Поздней весной, после полевых работ, отец начал брать землю из деревенского оврага шагах в двухстах от озера, возить его тачкой и высыпать с берега в воду. Санька и Кузька работали на овраге и наполняли лопатами тачку для отца. Тут же крутились под ногами я и Ванька. Осенью отец почистил оба колодца и все канавы. Разлив весной второго года был совсем низкий. Отец все время возил землю на озеро и засыпал его по двум дорожкам «н». К концу лета наше озеро превратилось в неровную насыпь с небольшими ямами, наполненными водой. Ямы быстро высыхали под лучами летнего солнца. Над отцом перестали смеяться: люди стали верить в отцовский сад, а вернее, в отцово упорство.

К концу третьего года землю на «озере» разровняли, она подсохла до дна канав и была удобрена навозом.

На четвертый год отец начал сажать сад. По двадцать кустов вишен, черной смородины и крыжовника он посадил на дворовой половине сада. Вишни стали цвести уже на второй год, а крыжовник и смородина на второй год дали ягоды.

На середине сада отец посадил по десятку корней яблонь, груш и слив. Сад быстро вошел в полную силу и потребовал от мальчишек постоянной работы каждую весну и лето. Самая большая неприятность была в том, что близкая к корням вода губила крупные плодовые деревья уже на восьмой год их жизни, и приходилось постоянно подсаживать новые.

И сейчас я всяко помню отца, но больше всего с тачкой на насыпке озера. Он был на голову выше матери, светловолосый, почти белесый, с большой головой и подстриженными в кружок волосами. Лицо с высоким лбом было скуластое, волосы на бороде и на верхней губе росли как попало, правая половина бороды была гуще левой (но обе половины бороды были редкие и мягкие, как пух). Нос длинный,

глаза серо-зеленые, небольшие на крупном лице. Грудь, спина, руки и ноги — мускулистые, сильные.

Мы с гордостью говорили об отце, хвастались, что он трехжильный, хотя повторяли только деревенские, чужие слова. Ведь пахота деревянной сохой на заморенной лошадке была пахотой наполовину на человеке: лошадь не брала борозды ни с начала, ни с середины поля. А для засыпки озера под сад понадобились многие тысячи тачек земли изо дня в день, три лета подряд. Сверх постоянной работы в литографии и бесчисленных домашних работ у отца были еще судебные дела по возврату земель ограбленным сиротам. Он просто болел этими делами и не успокаивался, пока не добивался судом возврата земли пострадавшим. Дела всегда сопровождались выпивкой, водкой, и «трехжильный богатырь» постепенно терял силы, разум и свою семью: мы росли, учились и постепенно делались самостоятельными с помощью матери. Так мы потеряли отца еще при его жизни. А все же он навсегда остался для нас примером разумного, безотказного труда и мастером на все руки.

Я рос, топил печи и нянчил Маруську. Она привыкла ко мне, узнавала, пыталась сесть в люльку. Пришлось люльку поставить на пол. Затем Маруську просто положили на пол на толстую дерюгу домашнего тканья, где она лежала и играла в свои собственные игры.

Маруська была на редкость спокойная девчонка: мокрая, хоть выжимай, а она только чуть попискивает — «просит к себе». Она была смугленькая и темноволосая, как мама, с продолговатым лицом, большими карими глазами, темными широкими бровями. Она как-то быстро сделалась похожей на человека.

Пришла весна, и малыши целый день не уходили с улицы от игр, солнца и друзей. Весной кончился наш зимний плен из-за обуви и одежды.

Воздух звенит от радостных криков играющих малышей. А я мучаюсь с Маруськой, и чем дальше, тем больше. Она не дает мне жить, требует внимания и заботы: то ей неудобно от камешка под боком, то она вся мокрая, то ей просто скучно. И голос у нее стал громкий, всюду слышный.

— Митька, а Митька, что у тебя с Маруськой? Где ты пропал? — слышу я строгий голос матери.

И цацка сама выпадает у меня из пальцев ноги, и я выхожу из игры «в скакалку» на целый кон, вдобавок с проигрышем цацки.

А потом Маруська научилась сидеть и ползать и брать все, что падается, в рот. Я был в постоянном страхе, что она проглотит острый камешек или стекляшку. За косточки вишен и слив или за семечки: я не боялся: мы ведь сами проглатывали их нечаянно, лишь бы мать не узнала.

Я пытался несколько раз уговорить Кольку посмотреть за Маруськой, но он не меньше моего думал об играх и соглашался только за две конфетные обертки с двугорбыми длинноногими коровами — таких ни у кого в нашей слободе не было.

Что делать с Маруськой? Как пробраться в мир старших и побывать там, где они бывают: на Везёлке, на Донце, в Архиерейской роще, на Харьковской горе. А прежде всего надо обязательно посмотреть дорогу с чердака дедовской хаты — оттуда все видно кругом. А с Маруськой одно — ждать, пока не станет ходить, тогда конец обязанностям няньки, можно подкинуть ее маме или кому-нибудь «до кучи».

И я начал учить ее ходить. Вечером отец и мать, как маленькие, тоже забавлялись с Маруськой, сидя на стульях друг против друга шагах в трех. Отец держал ее под мышки, а мать агукала на все лады

и манила руками к себе. Так Маруся в августе уже поднималась сама на ноги и делала несколько шагов. Кончала она всегда тем, что шлепалась на землю, но без плача. Теперь Маруся иногда оставалась с мамой, а я быстро входил во все игры улицы и ее законы.

## 9. Первые шаги

Перед поездкой в лес за дикими плодами чердак в дедовской хате подметался, прибирался и проветривался. Часть лесных плодов сушили в большой печи после хлеба, часть в духовке, всегда горячей, часть на железной крыше, а груши и терн — на чердаке дедовской хаты. После уборки чердак оставался открытым проветриваться несколько дней.

После обеда отец, мать и малыши ложатся спать. Старшие братья убегают на улицу, я на дубках жду, когда все во дворе стихнет. Скорее в дедовскую хату, скорее на чердачную лестницу. Вот я сижу на первой перекладине лестницы и не знаю, как взобраться на вторую — она мне по грудь. Наконец соображаю, что надо ухватиться за нее широко раскинутыми руками, лечь грудью, подтянуть одну за другой ноги и отдохнуть, пока сердце успокоится, а руки и ноги нальются силой. Затем стать ногами на вторую перекладину, ухватиться руками за третью и делать то же, что со второй. Постепенно приходит спокойствие, появляются уверенность и силы — остальные перекладины одолеть гораздо легче! Вот и последняя, а над нею лаз, высокое четырехугольное отверстие из верхковых досок. Прижавшись к нему грудью, я переваливаюсь через него на чердак и отдыхаю, совсем без сил от нового страха: ведь я оторвался от лестницы и от земли.

Пахнет сухими травяными венниками и солнцем. Из окна в крыше через чердак протягиваются пыльные солнечные дорожки. Совсем тихо, и слышится стук сердца. Глиняная смазка покрывает весь чердак под самые стропила. Медленными шагами я подхожу к окошку. За ним мелькают облака и голубые просветы неба. Я вдруг сразу останавливаюсь, как от удара: передо мною колышется бескрайняя скатерть земли, равнина с присевшими горами, из-за которых подымалось солнце моего детства. А за ними во все стороны открываются новые, не виданные до сих пор горы: они тянутся во все стороны до самых краев огромного неба.

По насыпи железной дороги, под горою, маленький паровоз тянет связку небольших, как овечки, вагонов на игрушечных колесах. Мир деревенской улицы от площади с колодцем до Байдикова переулка исчез, передо мною раскинулся новый мир, и я нашел его сам! Налево совсем близко подымается Харьковская гора, а далеко впереди направо какие-то прутики тонкие — неужели это Архиерейская роща? Теперь я сам доберусь куда угодно, если даже старшие не возьмут меня с собой, — я пойду сам сторонкой за ними.

Сколько я пробыв на чердаке, трудно сказать: мне не хотелось уходить и было страшно спускаться. Но я мог встретить отца и братьев и получить взбучку. Я подхожу к проему, присаживаюсь на колени и смотрю вниз — страшно: лестница длинная-длинная и крутая, и я не достаю ногой до верхней ее перекладины. Я ложусь на чердак ногами к проему и начинаю ползти к нему с перекинутыми через проем ногами. Вот я держусь за рамку проема руками, грудью, подбородком, а ноги потихоньку опускаю вниз, пока не чувствую под ними лестницу. Я стою на ней, а руки не отпускаю от проема и отдыхаю, я уже не на чердаке! Теперь только опуститься и сесть на перекладину, а затем лечь на нее грудью и опустить ноги на следующую ступеньку. Я быстро

сползаю вниз, вот я уже на полу. Зашедшие в сени куры выскакивают с испуганным кудактаньем во двор. Я не тороплюсь выходить и встряхиваю свою запыхлившуюся рубашонку, вынимаю из тайника в сенях свои цацки и выхожу. И как жаль, что никому нельзя рассказать о своем открытии.

Я стал больше присматриваться к играм взрослых, к законам улицы: новый мир я открыл сам, но и завоевать его надо самому. Вместе с дружками на Харьковскую гору я попаду зимою через год, когда поступлю в городскую школу и получу полную зимнюю одежду. В Архирейскую рощу я пойду раньше, на будущее лето, если Санька и Кузька с Ванькой поверят в мою силу — «признают» меня. На Везёлку меня возьмут вместе с Маруськой будущим летом, когда она уже будет хорошо ходить; осенью в деревне никто не купался — грех после ильина дня.

Значит, самому надо много ходить, таскать тяжелое и научиться драться. По законам улицы была запрещена драка из-за места, или по злости, или как проявление драчливого характера. Разрешалась и поощрялась организованная драка между совершенно равными по силе противниками, под надзором старших и «по любви», так как дравшися до и после драки трижды целовались. Запрещено было в драке рвать одежду противника, царапать лицо и бить под ложечку. При первом же проявлении злости драка сразу прекращалась. Поощрялись драки между двумя разной силы и возраста противниками, но при этом обязательно уравнивались их силы простым способом: у более сильного подвязывалась к туловищу левая или правая рука, а ноги связывались веревкой для уменьшения шага и силы прыжка. Такая драка считалась особенно полезной для развития смелости и особо почетной, так как даже побежденный в такой драке более слабый противник долго и с гордостью говорил потом о ней на улице своим сверстникам, а те при описании замечательных событий в жизни улицы даже через год обязательно добавляли: «Степка? Да ведь он дрался с самим Кузькой Комаром! Он получил один удар, а сам ударил три раза».

И я стал проходить школу драки среди равных. Так как рубашка моя не рвалась, лицо не царапалось, то мама ничего не знала. Как бы больно ни было, мы все терпели, целовались после драки и говорили о своем противнике: «Чего там спорить — он здорово бил». В ответ «честный» противник признавал силу и твоих ударов. Школа драки работала круглый год, даже на большой перемене в приходской школе.

А признание старших братьев я получил в ту же осень, когда они застали меня на чердаке, где «доходили» незрелые лесные груши, превращаясь в мягкие коричневые. Я забрался, думая, что старшие братья ушли в школу, а они зашли на чердак взять груш на доругу.

Сначала они испугались за меня и поколотили там же как следует: и за испуг и для порядка. Затем они похвалили меня, когда узнали, что я уже пятый раз на чердаке.

— Что же, — сказал Санька, — пожалуй, можно ему показать русские буквы и цифры. Он все-таки молодец.

— А за что били? — захныкал я.

— За что? Без спросу лазил? Бить надо! Мог убиться? Бить надо! С нас бы спросили: почему недосмотрели? Бить надо! Мать бы плакала из-за тебя, щенка? Бить надо! Отец бы горевал? Бить надо! — Все это Санька выпалил одним духом и закончил: — Добавим, что ли, ему, Кузьма? — Но, видно, не по-настоящему сказал.

Я буркнул «спасибо» и быстро скатился с чердака. С того дня я начал учить грамоту и цифры у Кузьки. Стихи просто сами входили мне



в голову. Наутро я вспоминал их так отчетливо, как если бы учил их целую ночь.

Сказали ли они маме о чердаке, не знаю. Вспоминаю, как мама в конце сушки груш сказала нам, младшим:

— Хочется груш, а достать некому, надо на чердак лезть.

И она добродушно на меня посмотрела. Но я и виду не подал, что могу слазить на чердак: еще попадет мне от нее.

У нас на улице не любили воришек, просто душа к ним не лежала, и мы их избегали. За воровство по законам улицы всегда полагалась крепкая взбучка. А вот в любой игре — в бабки и в цапки, в деньги, — каждый мог открыто подойти к кону, схватить в руки или в подол рубашки выставленные бабки или цапки и с криком: «На шарап! На шарап!» — убежать к специальному месту (дерево, камень, колодец), где он получал неприкосновенность, если только по дороге его не перехватывали играющие. Такие мальчишки у нас считались самыми смелыми, «отчаянными», так как в случае перехвата их жестоко били, а захваченные бабки отнимали. Эти смельчаки обычно попадали к уличным вожакам на самые опасные вечерние набеги на чужие сады и огороды, что тоже не считалось кражей: запрещалось только топтать огородину, ломать ветки и уносить лишнее, то есть больше, чем можно съесть одному. Пойманных на таких набегах хозяева секли крапивой, но не били руками: это запрещалось по законам улицы.

Осенью я благополучно забрал «на шарап» кон цапек и полкона бабок и получил доступ в мир взрослых мальчишек с их играми: я как бы выдержал экзамен на «взрослого». Дома я начал в помощь Ваньке и Кузьке выносить во двор большие грязные ведра с мусором, приносить охапки дров из хвороста, подметать кухню и другие помещения. Теплой осенью, когда мне было около семи лет, я с помощью Ваньки впервые в жизни проплыл по Везёлке три-четыре шага, предварительно спрыгнув в нее с высокого берега, где вода была мне по грудь. Но до поступления в церковноприходскую школу мне надо было ждать еще целый год.

### 10. День на Везёлке

Последнюю предшкольную зиму я переносил довольно легко: работал вместе с Ванькой по дому и на дворе. Я ждал с нетерпением наступления этого года, когда осенью, одетый и обутый, я пойду в школу. Впервые я буду встречать весну на улице со взрослыми мальчишками.

И весна наступила неожиданно быстро. В середине марта туманы день и ночь съедали снег на крышах, во дворах и на улице. Кругом стояла серая мгла, и в ней все текло и капало: с крыш, бугров, из самого тумана. Мы просыпались и засыпали под звуки падающих капель и текущих ручейков. Временами уже горячее солнце разрезало и валило высокие стены тумана, разгоняло облака и выжигало первые черные пятна на буграх. Земля дымилась кругом. Сверху спускались редкие тонкие нитки первого дождя.

Но вот приходит день, когда частый и тонкий дождь, пронизанный жарким солнцем, густеет и заполняет дворы и улицы, сметает последние клочья снега. Колеи улицы покрываются водой — она стекает к большой площади у колодца. Надвигается первый весенний дождь.

Неожиданно вся улица наполнялась детскими криками и беготней. Задравши подола рубашонок, малыши в первый раз прыгали в лужи, брызгали ногами и визжали от радости и укусов холодной воды. Большие, засучив штаны выше колен, направлялись к площади по невидимым ледяным колеям улицы. Во дворах неистово кричали куры и пету-

хи. На водяном просторе возле колодца несколько пар уток жадно вылавливали из воды что-то съедобное. Дождь все усиливался, переходил в ливень, солнце разгоняло последние клочки тумана, и вот от Байдиковского переулка до колодца открывалась мутная и быстрая река.

У калиток хат появились матери с девочками. Они осторожно пробуют воду у самых берегов реки, смотрят за мальчишками и выговаривают им за их смелость.

Мы праздновали приход весны, пока шел первый дождь и таяли ледяные колеи. Затем мы просыхали дома и опять бежали на улицу делать плотины и озера возле своих хат. Дождик был живой: мы с ним разговаривали и пели ему песни.

Большие праздновали приход весны на ледоходе Везёлки. Река разливалась в сторону наших и пушкарских лугов и в сторону нижних приречных улиц города версты на две-три и казалась большой и страшной, особенно с главных мостов, с насыпных дорог и с бугров над лугами, усыпанных людьми и рыбаками с «ухватками» — четырехугольными сетками на четырех веревках на длинной и тонкой жерди.

По главному руслу реки полая вода несла лед целыми плотами. На повороте к лугам от них отрывались отдельные льдины и прямо попадали на луговое озеро. Большие мальчишки длинными палками с гвоздями на концах притягивали к берегу или к насыпи льдину, и в зависимости от ее величины на нее влезало несколько человек. В тихом луговом озере, без течения, мальчишки плавали на льдинах, упираясь шестью в луговое дно. Иногда «корабль» застревал на пеньках срубленных деревьев или на луговых кочках. Тогда ребята на льдине быстро раздевались, аккуратно связывали одежду каждый в свой узелок и, подняв его над головой, медленно шли к насыпи или луговому буграм, ощупывая дно шестом. На берегу они быстро одевались и бежали «до поту», после чего влезали на новую льдину. Все мальчишки деревни проходили школу плавания на льдинах с купаньем в полной воде, это было для них обязательным. Я прошел это купанье.

После ледохода наступили жаркие дни. Вода с лугов быстро сошла, но Везёлка еще была гораздо шире, чем летом.

Мальчики одиннадцати — четырнадцати лет уже купаются в ледяной воде. Мне восьмой год, но в прошлом году я научился проплыть несколько шагов. Сейчас без ведома старших братьев я снимаю рубашку, бросаюсь с высокого берега и погружаюсь сразу же с головой в ледяную воду. От неожиданности, так как прошлым летом у берега глубина реки была мне по грудь, я забыл, как надо плавать, наглотался воды и стал тонуть. Хорошо, что Санька был рядом, он схватил меня за пятку и вытащил на городской берег. Я выплюнул воду, переправился с помощью Кузьки и Ваньки на свой берег и получил от них хорошую взбучку: за беспокойство, за неумение и, главное, за срам нашей фамилии... Какой же ты Комар? Забыл, как плавать!

Но вот Везёлка входит в постоянные берега, луга покрываются травой и цветами, и земля высыхает. Жизнь всей слободы переходит на Везёлку. С утра мать выдает Саньке и Кузьке провизию на целый день: полхлеба, вареную картошку с солью — и две глиняные кружки для воды, все складывается в легкую камышовую кошелку. Маруська, а в дальнейшем и все следующие младенцы поручаются Кольке, который, к удивлению всех, со строгостью их опекает и любит смотреть за ними. Мы тропинкой спускаемся к кринице у водокачки железной дороги, идем далее вдоль глубокой канавы, поросшей раkitами. На дне канавы лишняя вода из криницы стекает в речку. Здесь начинается крутой глубокий берег для купанья. Девки купаются на низком песчаном берегу реки у ее поворота, там между кустами раkit можно скрытно раз-

даться и полежать. Дети купаются в небольшом мелком заливе, отделенном от глубокого места валом, который мы сами сделали из песка. Получилось что-то вроде природного корыта. Заливчик порос частыми кустами ракитника, дающими детям хорошую тень, особенно если ветки ракитника нагнуть к земле и прикрепить скобками.

Мы не спеша подходим к берегу Везёлки. Жаркое утро на улице сменилось прохладой от луга и реки. Мы вспоминаем, как мама только что наставляла нашего Кольку и беспокоилась: не будет ли малышам сыро на лугу? не перегреются ли они на солнце? не наглотаются ли они воды? И Колька терпеливо, как маленькой, объяснил, что вода в заливчике теплая, что на берегу от вчерашнего дня осталась охалка подсушенной травы, что наглотаться воды нельзя, так как Маруське, когда она сидит в заливчике, вода приходится ниже пояса. Кольку трудно раздражить, он упорно молчит. Вдобавок он хорошо понимает, что со взрослыми шутки плохи.

Сразу же в воде начинается сражение — нырянье и брызганье водой партия на партию, пока неудачники не захлебнутся. Вся усталость от рабочего утра выходит из тела в реку. Мальчишки вылезают на берег, и начинаются обычные игры: прыжки, метанье копья и стрельба из лука, борьба на поясах и цыганская, вольная. Предводители — Санька Рашин и Илюшка Ладнов — судят игры и объявляют победителей. Игры сменяются одна за другой до полудня. Затем мальчишки едят и отдыхают — одни в тени, другие на солнце, обмазав все тело черноватым глеем для защиты от солнца.

Малыши заняли оба берега заливчика и живут своей жизнью, забыв все на свете: вокруг них луг с цветами и высокое небо, а в воде второй луг и второе небо, которое они с криком трогают руками и разрушают. Они разговаривают с водой, травой, цветами и ветками, ловят отражения их в воде — настоящие котята с лучиками! — кричат в страшном возбуждении, поют что-то на одной ноте, но сидят на своих местах. Колька внимательно следит за Маруськой, учит ее ходить в воде и брызгаться. Заливчик сверкает на солнце голубым небом, как зеркало в золотой песчаной раме, украшенной разнообразными цветами — светлыми и черными головками детишек.

Приходят в перерыв с домашних работ взрослые парни и девки, они раздеваются на своих отдельных местах — и в воду. По законам реки не положено парням приближаться берегом к девкам, однако в воде у них было общее место для купанья и игр: то же брызганье, плаванье наперегонки и ныряние.

Санька Ладнова — восемнадцатилетняя дочь богача-подрядчика Николая Ладнова — славилась красотой, ростом и силой. Светлые волосы, брови густые золотые, глаза синие на круглом лице. За ней ухаживал маляр Алешка Рашин, но отец Саньки грозил перебить ему ноги, если он не отстанет от девки. Парни очень осторожно подходили к Саньке, особенно после недавнего случая, когда один из них, предприимчивый ныряльщик, грубо вел себя с Санькой в воде. А она ухватила его за шею одной правой рукой и прижала ко дну, пока он не потерял сознание. Потом парни его долго откачивали. От стыда он третий день не выходил на речку.

Мальчишки, конечно, понимали все на свете лучше взрослых: и что было «неправильно» сделано этим парнем, и как надо «правильно» сделать — только избежать сильных рук Саньки, тогда все будет хорошо. Горячий спор продолжался и сегодня. И дернула нечистая сила Степку Гречаника сбрехнуть:

— А вот я подплыву сейчас к Саньке и нырну к ней, как взрослый парень!

Заспорили на шесть пар бабок, и Степка поплыл к девкам. Те играли в брызгалки и не заметили, как он пробрался к ним. Но охота быстро окончилась: Санька сразу же нагнулась и вытащила левой рукой Степку, подняла его на воздух, посмотрела с удивлением и сказала:

— Я думала, настоящий парень, а это просто щенок слюнявый!

И она сняла правой рукой мокрое полотенце со своей шеи и три раза пребольно и громко «протянула» по животу Степки, затем легко швырнула его в воду и отвернулась. Вся речка умирала от смеха: Степка выиграл шесть пар бабок, но зато ему не стало жизни в слободе как новому «жениху» Саньки Ладновой. Все величали его по имени-отчеству или просто: «Жениху — мое почтение!»

Его мать вечером на дубках в его присутствии, смеясь, обсуждала с соседками все вопросы свадьбы: а кого взять в сваты и где им, Саньке и Степке, лучше жить после свадьбы? Степка уже на другой день заявил матери, что он повесится от насмешек «на проклятой раките». Санька Рашин и Илюшка Ладнов выбрали из своих партий по одному одиннадцатилетнему мальчику и предложили им драться со Степкой «по любви». Драка кончилась полной победой Степки, и насмешки над Степкой прекратились. Взрослые тоже перестали его дразнить.

А время на реке шло своим порядком.

Было около четырех дня, когда Комары собрались домой. Идем без порядка. Перед бугром у водокачки мы выстраиваемся по возрасту — впереди Маруся с Колькой за руку — и выходим на улицу против нашего дома. Иногда мама встречает нас на скамейке перед хатой, и мелюзга всегда бежит к ней с криком, как будто не видали целый год.

На столе стоит уже самый вкусный на свете рассольник или кулеш. Каждый сидит на своем месте и смотрит с досадой на Саньку — почему он не начинает есть? Наконец все заработали ложками, но без спешки. Маруся сидит рядом с Колькой и мамой и говорит-поет без перестану.

День заканчивается незаметно быстро. Ложимся вечером рано.

Приходит крепкий сон. Всю ночь мы проводим на высоком берегу Везёлки, среди лугов с прохладной травой, в чудесных играх и подвигах. Наше детство казалось нам бесконечным.

## 11. Архиерейская роща

Иногда Маруся с Колькой оставались дома, тогда мы делали большие походы, прежде всего в Архиерейскую рощу, так как Гостёнка и Донец с болотом просыхали после половодья с большим опозданием. Быстро после утренней еды мы кончали все домашние дела, получали от мамы хлеб и соль на целый день — и скорей на улицу. Нас и человека три — пять рашинских мальчишек ведет Санька. Идем мы цепочкой («гвоздиком») с Кузькой во главе. И я рядом с ним, так как мне только восьмой год и Кузька с Ванькой поручились за меня. Мы идем с луками и копьями молча, твердым шагом по Рашинскому проулку до хаты дяди Егора Гречаникова с небольшой лавкой, где вся слобода задолжала хитрому лавочнику до самой смерти. Оттуда мы идем медленнее по дороге на кирпичные заводы за железной дорогой. Поля густо-зеленые — озимые и чуть зеленые — яровые заполняют подъем до железной дороги и бугор за нею. Влево за чугушкой все небо заслонила Харьковская гора со своей дорогой, игрушечными возами и лошадьми на ней. Вправо у переезда стоит будка и двор путевого обходчика. На железной дороге тихо — не видно ни сторожа, ни его семьи. От будки рельсы идут к глубокой выемке, обсаженной с обеих сторон по верху акацией, кленами и шелковицей, а снаружи — колючим забором из кустов желтой акации,

шиповника и терна. Санька посылает в обе стороны разведчиков, нет ли прошлогодних ягод, чтобы собрать их на обратном пути, а сам ведет остальных по дороге за дальними посадками. Разведчики принесли прошлогодние ягоды. Лучше всего сохранились красные ягоды шиповника, терн «вытек» — осталась кожура, — а ягоды шелковицы высохли и стали, как бумага. Санька все попробовал сам и решил собрать шиповник на обратной дороге. Мы побежали легкой рысью к Вознесенскому логу, огромному оврагу версты полторы длиной, с широким выходом к чугунке. До середины лог был завален падалью, и мы проходили его медленно: не попадутся ли бабки? Вторая половина лога была узкая и глубокая, с крутыми глинистыми склонами в постоянных обвалах. Там всегда было прохладно и в кое-каких местах на поверхность выходила вода, чистая, холодная и вкусная. Там же было место для игры: прыгать сверху на крутой склон, отколоть его и ехать на отколоте куске вниз как придется — на спине, сидя, на ногах. Опасно было прыгнуть на прочную землю: можно было сорваться вниз головой и расшибиться. Новички учились прыгать внизу обрыва, у самого дна лога.

У меня сердце билось сильно и дух захватывало, когда Санька, Кузька и другие прыгали с самого верха глубоко вниз, иногда делая несколько прыжков со скольжением после каждого прыжка. Как мы все им завидовали!

После прыжков Санька повел нас вверх по оврагу к маленькой кринице. Мы выпили немного чистой и холодной воды, по тропинке поднялись наверх и остановились. Прямо перед нами с небольшим подъемом расстилались поля из полосок жита, ячменя и овса самых разнообразных зеленых оттенков. Направо тянулась дорога в рощу, налево — дорога к кирпичным заводам, она петляла между холмами и выработками глины. Сзади за Везёлкой расстился до самых Белых гор наш город с двадцатью церквями и двумя монастырями. Внизу лежал огромный монастырский луг с капустой богача Сорокалета и две ниточки с нанизанными на них бусами — домиками нашей слободы.

Сколько я ни бегал потом в рощу, я все равно оборачивался на этом месте, чтобы посмотреть на город. Мы дрались с городскими каждый год дважды — на Харьковской горе на троицу и у городского моста на льду в крещенские дни. Город был нашим природным врагом, и понадобилось много лет и помощь союзников — самих горожан, — чтобы завоевать его. Но это уже другая история, другой рассказ.

Межами мы выбрались на постоянную тропку в рощу и направились в лесок левее архиерейской усадьбы и поселка при ней. Архиерейская челядь не любила пришлых деревенских и гнала их. Поэтому мы играли в леске, окопанном с трех сторон глубокой канавой шириной в два шага. Этот лес был жалким остатком могучих лесов, встреченных когда-то дедом Супруном. В нем было много дубов и лип, диких груш и яблонь, терна, шиповника и орешника. Канава вокруг леска была усеяна земляникой (уже достаточно большой, с «конопатинками», кислой, незрелой), диким чесноком и щавелем. Судя по всему, земляники еще никто не рвал, и Санька разрешил нарвать по горсти самой большой, с «конопатинками». Щавель и чеснок мы рвали подряд на свою дневную еду. В леске попадались кусты боярышника, рябины, калины. Груши были острого кисло-горького вкуса, и есть их можно было только печеными и только привычному и сильно голодному человеку.

Лес делался реже. В углу канавы открылось место нашего отдыха: выгоревшая площадка от костра и выход воды от небольшой кринички.

Колька и Ванька подготовили место для костра и почистили криничку от мусора, а я не отходил от них ни на шаг и все делал по их указанию.

Санька собрал всю свою команду и строго повторил им законы чужого сада и леса:

запрещается заходить в огороженный сад или на усадьбу и брать что-либо;

запрещается в неогороженном лесу ломать ветки, лазить по деревьям и разводить огонь;

запрещается оставлять в лесу непотушенный огонь. Его надо залить водой и засыпать землей.

Наш костер, на специальной площадке и возле криницы, все равно надо было залить перед нашим уходом из леса.

Все немного отдохнули в тени и напились воды из криницы. Затем начались наши обычные игры: бег, стрельба из лука и бросание копья в цель. Самые опытные и ловкие бросали копья друг в друга с расстояния двадцать — двадцать пять шагов одновременно по команде, уклоняясь ловко от копья противника. Во время игр из осторожности мы не кричали и ставили своих караульных, чтобы уберечься от нападения рощинских сторожей.

Время в играх проходило быстро, в полдень звонил колокол в роще на обед, и мы собирались у своего костра. Санька зажигал пеньковый трут от увеличительного стекла и поджигал костер, горевший сильно и без дыма. В золу закладывали вареную картошку и зеленые груши (падалицу), и скоро обед был готов. Горькая кислота незрелых груш незаметна с хлебом и теплой посоленной картошкой. А дикий чеснок и щавель очень вкусны. И совсем хорошо вышла на закуску недозрелая земляника. После еды мы напились воды — «досхочу» и улеглись на отдых в кустах на опушке леса, в тени, совсем скрытно, а сторожа своего поставили на всякий случай. Спали не меньше двух часов. Быстро поднялись. Все упростили Саньку на обратном пути пройти через Вознесенский лог, чтобы еще раз попрыгать сверху.

Не спеша мы двинулись вниз к логу. Перед нами была зеленая долина с Белым Городом и слободами на буграх и горах. Сразу открылся лог с крутыми боками из глиняных столбов. Новички бегом спустились по тропке почти до низа, а старшие с ходу прыгнули с самого верха почти на десять шагов вниз и поехали быстро, каждый на своем столбе глины. Напрыгавшись вволю, мы прошли по логу до дальних концов посадок и сняли с кустов шиповника прошлогодние ягоды.

Мы собираемся вместе за переездом и ждем прохода встречных поездов. Поезда обычно выбрасывают на ходу мусор из вагонов, а в нем самые дорогие для нас цацки: картонные коробки с картинками, обертки от неведомых нам конфет, а иногда и несъеденная конфета.

Обходчики встречают поезда у своих будок, и все же Санька внимательно смотрит в обе стороны, чтобы они не напали внезапно на нас и не отколотили. Мы боялись и прикоснуться к рельсам, но охотно подбирали оставшиеся от ремонта старые костыли и круглые жестяные «марки» — номера для рельсов. Мы стремительно гурьбой перебегаем через пути, быстро бежим за полосу железной дороги к лавке Егора Гречаникова. Последний кусок дороги по Рашинскому проулку мы проделываем «гвоздиком» с Кузькой во главе. Санька бежит сбоку и смотрит за порядком. Мы довольны прогулкой и собою — все прошло хорошо. Мы останавливаемся у нашей хаты. Санька свистит в свой самодельный ракета́вый свисток, и мы разбегаемся по хатам.

В памяти нашей крепко запоминаются и солнечные зеленые поля вокруг, и рощи, и бело-золотой город со слободами, и безграничной высоты небо над широкой землей.

Мрачный Вознесенский лог с кучами костей издохшего скота оставляет в сердце следы страха и одновременно радости при мысли, что

скоро-скоро я буду прыгать с самого верха оврага так же хорошо, как Санька, Кузька и Степка. Я говорю это себе тихим шепотом, так как не положено по законам улицы хвастаться (звонить) задуманным и еще не сделанным. Даже если ты сделал, ты должен крепко молчать, пока о тебе не заговорят старшие мальчишки.

Мой младший брат Колька, настоящая язва, говорит мне в таких случаях:

— Прыгай, прыгай от радости! Не притворяйся, а то лопнешь!

И я «прыгал» от злости на Кольку и начинал с ним жестокую драку без соблюдения законов улицы, так как дрались родные братья. Первый раз в жизни я почувствовал себя старше и взрослее Кольки, когда его поддразнивание и насмешки оставляли меня спокойным, и я посоветовал ему не путаться в дела взрослых, а нанять своего младенца Митрошку, к стати сказать, отличавшегося необыкновенным насмешливым характером.

## 12. Ловля рыбы

Как-то вечером Саньке удалось занять бредень у двоюродного дяди нашего Сергея Рашина, жившего почти у Везёлки, в конце Байдиковского переулка. Санька задумал половить рыбу на Гостёнке, знаменитой карасями, линиями, окунями, щуками и частыми ледяными ключами. Ловили мы «из половины» — владельцу бредня причиталась половина улова.

Мама посоветовала взять самое большое ведро.

— Хуже всего — загадывать вперед, из-за этого и рыба не будет ловиться... Это все равно что говорить под руку, — сердито сказал маме наш молчун Ванька.

Та смутилась, даже чуть покраснела.

— Не надо робеть, Ванечка, рыбы там много в илу, и она всегда ловится.

И мама обняла его и чуть погладила по голове. Это было самое худшее: «Ванечка» и по голове погладить. Мы с Колькой изводили его до Везёлки, пока Санька не пообещал нас проучить. Мы сразу же увяли и как воды в рот набрали. Лучше уж помолчать: ведь Ванька все же старше нас. Да и бреднем надо было заняться: хоть он и был легким, но, неаккуратно скатанный, постоянно разматывался и бил по плечам и шее грузилами. А Санька с Ванькой шли полным ходом и не собирались проявлять к нам доброту. Вот тебе и посмеялись над Ванечкой!

К счастью, на Везёлке нас окружили купающиеся мальчишки, мы остановились, и мы с Колькой скатали бредень по всем правилам и увязали его. Санька согласился взять на ловлю Степку Гречаникова и Алешку Лопуха — за один пай. У городского моста они должны нести бредень до места ловли и помогать старшим ловцам тянуть бредень.

С насыпи открывались на обе стороны луга: высокий слободской, полный мальчишек, и низкий монастырский с капустой Сорокалега. Везёлка внизу казалась широкой зеленой лентой из огромных раки.

Показались приречные улицы города. Не доходя до городского моста, мы скользнули по тропинке на другую сторону насыпи и стали совершенно незаметными для наших врагов — городских мальчишек. Ведь мы сейчас шли городскими землями к устью Гостёнки, откуда уже начинались владения слободы Красной, населенной чистокровными украинцами и нашими союзниками в годовых боях, там нам нечего было бояться городских мальчишек. Мы идем вверх от устья Гостёнки около версты, чтобы попробовать лов по течению и против течения.

Гостёнка была не похожа ни на одну реку: ровная, шириной в четы-

ре — шесть шагов голубая лента, она была похожа на вырытую человеческими руками канаву. Бесчисленные изгибы и повороты через каждые десять — пятнадцать шагов говорили о ее природном происхождении. У каждого поворота со дна били сильные холодные подземные ключи, они указывали на те силы, которые создали такую извилистую речку, — она шла точно от ключа к ключу. Дно ее было покрыто слоем полужидкого наносного ила, в нем днем пряталась рыба. На берегах не было признаков песка, а глубина начиналась прямо с берега. Берега наполовину были лугом, наполовину зарослями кустов ракиты. Старшим мальчишкам вода была по шею, а так как тянуть бредень надо было полусогнувшись, то приходилось часто плыть с бреднем. Да, ловля рыбы на Гостёнке была делом трудным, требующим выносливости и умения, особенно при вытаскивании бредня на берег.

Все потрудились как следует: за три часа мы набрали почти полное ведро рыбы, искупались в ледяной Гостёнке и отдохнули на холодной траве под горячим солнцем. Пора было возвращаться домой.

Наша шестерка прямо распухла от гордости при разговорах со встречными, которые интересовались всем: за сколько часов наловили, сколько заходов, какой длины бредень, а какая самая крупная рыба — покажи, кто тянул бредень, кто был на подхвате у берега?

На лугу Везёлки мы быстро достали второе ведро и разделили улов на две равные части — одна владельцу бредня, ее определили жеребьевкой, а вторая нам — рыбакам. Нас было четверо по полной доле и двое по половине. Мы разделили нашу половину на пять частей и выдали по жребью одну долю Гречанику с Лопухом. Ванька и Колька взяли наш улов и понесли его прямо домой. Мы с Санькой понесли бредень и рыбу к дяде Сергею. Тот вынес во двор мокрый чистый мешок, расстелил его на траве, а Санька высыпал из ведра рыбу с водой. Свежевыловленная рыба еще подпрыгивала, билась на мешке и сверкала на солнце ярким серебром. Дядя Сергей был доволен уловом и обещал Саньке давать бредень когда угодно.

На Везёлке мы ловили рыбу только против женского монастыря, но там была городская свалка и можно было пораниться. Ниже по реке работала шерстомойка, и там рыбы на большом протяжении не водилось. На Донец нам совсем не было ходу за рыбой — чужое царство, где на рыбных местах сидели рыбаки или стояли вентери.

Мама наготовила жареной рыбы на всю семью, а Маруське изжарила мелких рыбешек, которые не входили в дележку.

Когда лето было особенно жарким, мы почти весь день отдыхали на прохладных лугах Гостёнки. И на рыбу мы брали два ведра, и ловцов было шесть — восемь человек. Ловля в ледяной воде была тяжелой работой: рыбка сама ловилась только в сказке.

### 13. Река Донец

Самая большая наша прогулка без малышей была на реку Донец: на Голевскую мельницу и на огромное болото против вокзала. Болото было известно как лучшее во всей губернии место охоты на плавающую птицу. Двадцать девятого июня по старому календарю по закону открывалась охота. На болоте величиной около четырех квадратных верст собирались многие сотни охотников и гребцов из всей губернии. Несколько сотен лодок с охотниками налезало одна на другую, а стреляли только вверх, по летящей птице, чтобы не подстрелить самих охотников. Охотники были богатые люди. И в нашей и в окрестных слободах редкие владельцы лодок «баловались» дичью, они больше сдавали лодки



на прокат или рыбачили на Донце на городской базар. Мальчишки на Донце заготавливали чижики из камыша; на городском базаре пару чижики продавали за одну копейку.

Длинная дорога на Донец, более чем наполовину песчаная и голая, без тени, была утомительна, а купанье в красивом и глубоком Донце давало прохладу лишь на несколько минут. Ничего похожего на Везёлку с ее тенистыми берегами! На Донце местные жители разводили поливные огороды, а деревья на берегу были все вырублены.

Мы шли из дому через Байдикив переулок по луговому правому берегу Везёлки, вниз по реке, мимо женского монастыря, городской свалки и вонючей шерстомойки. Здесь кончалась прохладная дорога, и через Пушкарский мост мы переходили на Старгородскую сторону из сплошных песчаных бугров, где ничего не росло. На этих буграх расположились деревня Пески домов на сто пятьдесят и Старый город домов на сто. Здесь когда-то был основан первый Белый Город. Сейчас от него почти ничего не осталось, кроме полужилых коробок хат да умирающих мелких лавок. Несколько десятков жителей жили впроголодь огородами и рыбной ловлей, а большая часть работала внаймы в дворянских имениях и больших экономиях по Донцу и Дону, в немецких колониях и на шахтах Донбасса — у нынешних хозяев земли и угодий рыбных и лесных. Здесь на бездонных песках была еще большая нищета, чем у нас в слободе. Рыбаки и огородники еле зарабатывали на голодную жизнь. Они смотрели на бродячих мальчишек как на лодырей. У них нельзя было выпросить глотка ржавой воды.

Мы останавливались на отдых за Голевской плотинной с турбинной мельницей, но держались подальше от водяных окон плотины, чтобы в них не затянуло. После купанья ели и отдыхали.

Чижики мы рвали на обратном пути, на болоте. Болота мы боялись: как бы не заблудиться в бесчисленных узких просеках в камышах без начала и конца. Гнилая вонь болота забивала дыхание. Мы отдыхали как следует на нашем тенистом и солнечном берегу Везёлки, в кругу мальчишек, кое-что рассказывали с важным видом: нельзя же показывать свою усталость даже после Донца. Считалось, что длина дороги на Донец в оба конца больше десяти верст. Собственно, путешествие на Донец было вроде какого-то обязательного экзамена для настоящего мальчишки — на дальность пути и выносливость.

#### 14. Харьковская гора

На Харьковскую гору, по которой поднималась старая дорога на Харьков, мы ходили зимою кататься с ледянками и ручными санками. Длина спуска с горы до переезда через железную дорогу была более двух верст да от переезда до Пушкарского моста более версты. Лететь более трех верст с крутой горы вниз на ледянке было редким и опасным удовольствием, которое заставляло забывать тяжесть ледянки весом почти с пуд, когда тащили ее вверх на гору. Сказочно быстрый спуск продолжался более десяти минут.

Санька и Кузька тянули ледянку на двоих, слепленную из конского навоза и мокрого снега и облитую снизу водой до зеркального блеска. С боков она была ровно обрублена топором и облита водой, чтобы скользить поверху препятствий любой стороной. Сидели на ней двое, один на другом «навкрест», валетом. Моя ледянка была сделана из куска речного льда, так как из навоза со снегом я не успел сделать. Она была встречена громкими насмешками всех катающихся. Санька и Кузька

злились на меня и делали вид, что я им чужой и даже незнакомый дурачок.

Вся дорога от низа до верха была заполнена мальчишками и взрослыми с ледянками и ручными санками; такой, как у меня, ледянки ни у кого не было. Было еще двое больших рабочих саней, и на каждом по десятку парней и девок. Одни сани тянули наверх будущие ездоки, а вторые сани со страшной быстротой неслись вниз через ухабы. Спуском управляли парни посредством жердей в руках и подкованных каблучков. С разгона по спуску ледянки и санки часть ровной дороги пролетали в воздухе и ударялись затем о землю со всего размаха. По дороге надо было точно править ледянками или санками, иначе они опрокидывались с седоками при каждом косом ударе о землю.

От моей ледянки из речного льда при первом же ударе ничего не осталось, кроме веревки для управления, которую я судорожно сжимал в руках, когда переворачивался на земле после первого удара. В тот день я прославился на всю гору, когда с веревочкой в руках спускался вниз. Дома Ванька помог мне изготовить ледянку из навоза со снегом — на двоих.

Нужна была смелость и умение для спуска с горы с большим количеством ухабов, кочек, ям и крутых откосов. Это было, по правде сказать, опасно для жизни. А катались мы с горы не чаще двух-трех раз за зиму. Особенно опасно было на переезде, когда проходил состав, а ты на ледянке летел, как птица, прямо на вагоны поезда. Оставалось одно — круто затормозить с поворотом и перевернуться на живот, не выпуская ледянки из рук. А разойтись с настигающим тебя ездоком? Дорога была насыпная вдоль середины оврага, и держаться близко к краю было опасно для жизни. По закону настигаемый уходил с дороги в сторону обочины. Настигающий обязан был тормозить сколько мог. От больших саней настигаемый вставал с ледянки и уходил с нею на обочину.

Катанье с Харьковской горы на ледянке считалось самым трудным и смелым делом для настоящего мальчишки. Это было испытанием и пробой на все его хорошие качества.

## 15. В лесу

Наши слободы с самого основания их были населены беглыми, переименованными потом в государевых крестьян. Поэтому за ними сохранились остатки «лесных прав» — заготовка лесных плодов и ягод и заготовка дров для топлива в общественном лесу. Эти права кончились естественной смертью последнего дерева местного леса, который когда-то шел до самых Брянских лесов.

Поездка в лес за плодами и ягодами приходилась ежегодно на вторую половину сентября, и в ней участвовала вся наша семья, кроме матери и малышей. Надо было ехать за десять — двенадцать верст и провести в лесу два-три дня с ночевкой. На телеге везли хлеб, пшено, картошку, таранки, сало, соль и овощи, два ведра, теплые одеяла на случай холодных ночей. Тут же были мешки для груш и мешочки для калины, рябины, шиповника, боярышника и барбариса. Обычно мы промышляли на своем месте, унаследованном еще от дедушки Кузьмы.

Выезжали из дому до рассвета, на ближней Пушкарной сворачивали на Харьковскую гору. У самого низа она казалась огромной, а наш воз с одной лошадкой — игрушечным. Мы ехали вместе с возом дяди Андрея Рашина, его женой и четырьмя их детьми — так было вернее и веселее, — а поднимались мы медленнее и дольше, чем с ледянкой в руч-

ную. Маруська сидела на телеге, а мы с Колькой шли пешком, хвастали своей силой и поминутно обгоняли нашу лошадь. Мне иногда казалось, что наша лошадь смотрит на нас, как на дурачков. На крутом подъеме под лучами солнца мы быстро угомонились и потащились шагом, как и наша лошадка: впереди было еще добрых семь верст совсем унылой проселочной дороги, без единого деревца. Где-то на краю неба темнела громада пушкарского леса, цель нашей поездки. Ванька и Санька не отходили от телеги и все время поправляли какой-нибудь груз, плохо закрепленный и мешавший Маруське. От нашего хвастовства скоро ничего не осталось, и мы двигались медленнее нашей клячи. Потом к нашим двум телегам присоединились три пушкарских. Часа через два мы въехали в лес, а потом как-то незаметно потеряли пушкарей и очутились на своем лесном участке с небольшой криничкой чистой воды.

Распоряжались всем Ванька и Санька. Они поставили телегу в тень густого дуба, сняли Маруську с воза. Похоже, что здесь в лесу когда-то была деревня. На нашей полянке росли огромные грушевые деревья с большим количеством плодов на ветвях и на земле, дикие яблони и всевозможные кусты — орешника, шиповника и калины. Лес был полон людьми, но ни шума, ни криков не было — так действовала на них тишина леса. Птицы смолкли — был близок полдень.

Маруська со своей корзиночкой в руке принялась собирать груши: зрелые в рот, а незрелые в корзиночку. Лошадь выпрягли, отвели на полянку, прогуляли ее, а потом напоили.

Приготовили корзинки и мешочки, отдохнули у кринички и съели десятка по два зрелых груш. По заведенному порядку Санька и Колька влезали на грушу — под самое небо — и начинали трясти сначала толстые, а потом тонкие ветви. Санька строго смотрел за Колькой, чтобы он не рисковал. Груши сыпались градом на землю и покрыли ее почти сплошь. Собирали их все, отдельно зрелые, которые складывали в тени толстым слоем. Незрелые сыпали в большую кучу на солнце, а перед отъездом — в большие мешки из-под картошки, отобрав созревшие груши отдельно. На нашей делянке было шесть больших грушевых деревьев и до десятка яблонь. За день мы должны были собрать груш мешков шесть, а за завтра все остальное. К вечеру на земле лежала высокая куча незрелых белых груш и грядка коричневых зрелых груш.

Огонь на специальной площадке у кринички был уже разведен, и вода в котелке закипела. Наш постоянный повар Ванька и его помощник Колька готовили любимый постный пшениный кулеш с картошкой и таранкой, который считался за два блюда: отдельно суп пшениный и на второе таранка с картошкой.

Стояли жаркие тихие дни, последние летние дни, с лесных овражков продувало все время прохладой. Отец после ужина уложил всех на телегу, а сам лег на одеяло под телегу, тут же была и лошадь, привязанная к пеньку у костра для надежности. Под теплым одеялом, сами горячие, как печки, мы засыпаем быстро глубоким сном до утренней росы.

На рассвете все быстро вставали, Ванька и Колька уже готовили утренний кулеш. Маруська подкладывала в костер веточки, ей Ванька разрешил помогать.

Сегодня Колька и Маруська должны закончить сбор ягод, а остальные начать и кончить сбор диких яблок. Их надо не только стряхнуть, но и сбить часть палкой: они крепко держатся на ветках. Яблоки, по правде, несъедобны, но они так замечательно пахнут и так красивы, что рука невольно подносит их ко рту. А дальше уже надо выдерживать характер — есть с удовольствием и не морщиться. Эти яблоки потом квасили в бочонках, сушили в печах на компот, делали из них душистое и

острое вино. Сейчас их ссыпают прямо на телегу, плотно выложенную досками.

День подходит ко второй половине.

Твердые груши в мешках уже лежат сверху яблок. Груши зрелые лежат в ведрах, корзинках, всяких коробках — сверху мешков. Малыши уже сидят на телеге. Нам надо проехать двенадцать верст вниз за три часа с грузом в сорок пудов.

Со всех сторон скрипят на дороге телеги других лесовиков. У ручья, пограничного с Пушкарной, возы приводят в порядок, малыши прыгают на землю: они вовсе не устали, и мы пешком делаем последние шаги к дому — отец, четверо сыновей и дочь.

У мамы готов обед: рассольник и маленький графинчик водки со стаканчиком — для отца. После еды, уже в темноте, у нас хватает сил выбежать на улицу к друзьям и коротко рассказать о поездке в лес. Еще несколько минут на дубках, потом сон — крепкий и глубокий, до утра, когда начинаются привычные труды наступающего дня: мусор, помои, дрова и вода, кормление свиней и кур и наш завтрак. И новая работа — надо сушить добытые в лесу фрукты. Прежде всего мы квасим на зиму груши и зрелые яблоки в особых бочонках: груши и квас были нашим лакомством до лета следующего года. Затем сушили остальные зрелые груши. Калина и рябина сушились медленно в запечье маленькими связками, а шиповник, барбарис и боярышник хранились в деревянных коробочках.

Хуже всего было с терном, его никак не могли досушить: он лопался, и мы поедали его во время сушки. Лучше всего сохранялся терн, засыпанный в большие бутылки под наливку. Сухих фруктов нам хватало до середины лета следующего года, когда наш сад давал нам в изобилии плоды и ягоды.

## 16. За дровами

По правилам нам не давали разрешения на рубку взрослых деревьев в общественном лесу. Мы могли только рубить кусты и разреживать молодняк на отведенном нам участке и вывозить в год четыре воза дров. Ездил отец с кем-нибудь из нас, чаще всего с Санькой. Участок наш был совсем недалеко от плодового участка. Нам нравился дубовый хворост тем, что на морозе он очень легко, с одного удара детского топора пере-рубывался без щепок.

Общественный лес в 1905 году был сведен слободой на корню. На оставшиеся дубовые кусты был наложен запрет, так что мальчишкам после Саньки не пришлось ездить в зимний лес на заготовку дров. Из рассказов Саньки мы хорошо понимали, какой это был большой труд нарубить четыре воза дубков и хвороста, уложить аккуратно на сани, плотно, чтобы получить воз полного веса, и всю дорогу помогать с отцом лошади.

А какой был длинный рабочий день: с трех часов ночи до шести часов дня! И так четыре воскресенья подряд на поездки в лес. А мы завидовали Саньке и сколько раз просили отца, чтобы он взял нас в лес по дрова, но безуспешно.

## 17. Старший брат

Я познакомился с ним, когда мне было шесть лет, а ему около тринадцати, после своего перехода в хату отца. Но я вырос на улице, которая была наполнена славой его подвигов как признанного вожака мальчишек рашинского конца слободы и многократного победителя ладнов-

ского конца во всех играх слободы. Я всегда робел перед ним и помалкивал о своем родстве с ним. Я начал сознавать это родство, когда стал топить соломой печь в отцовской хате. Правда, этот факт не установил никакой видимой близости между мной и Санькой: в уличной армии с ее «семью разрядами» я занимал место ниже первого, в то время как Санька был выше седьмого разряда. Я видел его всегда, а он (как я понял это года через два-три) видел меня иногда, когда мое поведение затрагивало честь рода Комаров.

Санька был справедливый парень, но законы улицы запрещали ему замечать родство со мною, это наносило ущерб его положению уличного вожака. Я, понятно, смотрел на него снизу вверх и делал это неотрывно и преданно. Санька был первым живым предметом, который я изучал серьезно.

Его острые глаза замечали и схватывали все заслуживающее внимания, поэтому прогулки с ним были интересными и памятными. Его, как и нас, родители держали строго, но в плотной ограде домашних запретов и уличных законов он всегда находил щели и выходы на волю.

Санька был вылитая мать: узкое лицо с длинным тонким носом и большими карими глазами под темными бровями, невысокий лоб и правильная голова с темно-русыми волосами. Он был выше среднего роста, с сильным телом и быстрыми ногами. Санька совершенно не боялся высоты, и мы все невольно проникались страхом, когда он по гибким веткам перебирался с одного высокого дерева на другое.

Санька мог бы за один год окончить два класса, поэтому ему скучно было сидеть целый год в одном классе уездного училища. Кое-как с трудом он на тройках учился в году. А годовые экзамены сдавал на пятерки — к большому возмущению учителей, не прощавших ему небрежного отношения к предметам. Только последний год, в третьем классе, он занимался ровно и хорошо от первого до последнего дня: он по совету и с помощью смотрителя училища собирался поступить в Суджанское среднее сельскохозяйственное училище.

Санька постоянно думал о чем-то своем и не замечал нас, пренебрегал нашим детским поклонением, что глубоко обижало нас.

Прошли многие годы, как он покинул слободскую улицу, и все же в дневных играх и на вечерних дубках мы вспоминали зарубки, оставленные им в нашей жизни. «А помните, как он ударил мяч против ладновцев? А помните, как он с Ванькой Соколом вымотал душу из большого городского парня на льду Везёлки? А как он «обнес» сад деда Сорокалета — просто чудо!»

А в жизни вышло из него не бог весть много, так себе, серединка на половинку. Собственно, рашинскую кровь прославили самые последние малыши, совсем незавидные на улице и в школе: Митрошка и Винька.

Во время вечерних бесед разных теток с матерью мы обычно держались подалеже от скамейки, где происходили эти беседы. Но когда к маме дней за десять до летнего спаса, шестого августа по-старому, пришел богач Степан Сорокалет — это было таким событием, что мы не могли его упустить. Потому втроем мы засели во дворе у забора, недалеко от скамейки: Кузька, Ванька и я.

Лет под пятьдесят дед Сорокалет был сильный, как богатырь Илья Муромец, и его все в уезде почитали за ум и богатство. Он имел усадьбу в ближней Пушкарной, но жил под городом в новой усадьбе у Харьковской дороги, где у него была лавочка, чайная с водкой и постоялым двором и большой сад с редкими сортами яблок, двумя огромными цепными собаками и оградой из высокого плетня с колючей крышей из сухого терна. В этой засаде он сидел, как паук, и не выпускал из своих рук ни

одного проезжего должника. На старой Харьковской дороге в такой же лавке с продажей водки сидела паучиха, его жена, и караулила должников другого района.

У Сорокалета было двое детей, сын и дочь, уже взрослые, умом так себе, и это было его больным местом — не из кого было ему выбирать после себя хозяина над своим огромным богатством. Сорокалет завидовал нашей матери и уважал ее за большую и хорошую семью, крепкий характер и выдержку.

Тетки-соседки разрывались от любопытства и умирали от зависти к нашей матери. Еще бы: снял картуз, уважительно поздоровался, пожал руку и сел рядом на скамью, после того как мать с поясным поклоном пригласила его сесть. Минут десять ушло на вежливые распросы о здоровье, делах и семьях, а затем сам собой начался настоящий разговор, из-за чего дед Сорокалет и пришел к маме. А впрочем, мать сразу поняла, что приход Сорокалета связан с Санькой, так как тот, несмотря на ее приказ не отходить от дома, ушел к самому колодцу.

А Сорокалет приступил к делу.

Сад у него хороший, а яблоки, слава богу, замечательные, он берег их к спасу святому. Да не уберег: летнюю титовку — два дерева — три дня тому назад начисто обнесли, осталось меньше десятка незавидных яблук. Апорт летний — с блюдце яблоко — еще висит, надо дней пять-шесть, чтобы дошел к спасу, да чувствует, что не уберезет и апорт. И подумать только — ничего не помогло: ни высокий плетень с навесом из колючего терна, ни злющие цепные собаки, ничего!

— Ваш Санька, — шепнул он матери на ухо. — А как — уму непостижимо: и собак взял руками голыми, как заворожил, и забор одолел без цапарины, ну прямо как по воздуху!

Как близок к правде был дед Сорокалет: ведь Санька перебрался на яблони с наружных ракич по веткам!

— Подумать только, свой сад иметь, а яблук к спасу нет. А святить придется купленные, — сказал он.

Но мать прервала его и обещала, что все будет цело до последнего яблочка, все по чести обойдется.

Сорокалет поблагодарил мать за беседу и сочувствие, пожелал ей здоровья, поклонился еще раз с картузом в руке, надел его и пошел по делам, будто после случайной остановки.

А мама вошла во двор, строго приказала Кузьке и Ваньке, чтобы немедленно через двор дяди Андрея они прошли к колодцу и незаметно передали Саньке, чтобы сразу после игры он шел домой в сад, где она его будет ждать.

— И чтобы вас не было ни видно, ни слышно, чтобы спали на своих местах! — сказала мать.

Какой был у матери разговор с Санькой, мы не знали. Видно, мать нашла слова, что вошли крепко в душу Саньки. Во всяком случае шестого августа все увидели, что Сорокалет святил в нашей церкви свои яблоки.

Это был последний поход нашего Саньки по чужим садам.

В следующем году, когда ему исполнилось пятнадцать лет, Санька закончил уездное училище и поступил в четырехлетнее Суджанское земледельческое училище закрытого типа, где ученики наряду с общими специальными предметами проходили полные практические занятия по общему и специальному культурам, лесоведению, дорожному строительству и общему строительству подсобных сельскохозяйственных зданий. Он окончил школу девятнадцати лет в 1901 году и стал техником-агрономом. В 1903 году его забрали в армию солдатом-сапером, он участвовал в русско-японской войне и в первой мировой войне. В 1905 году он

еле ускользнул из рук генерала Ренненкампа, разгромившего революционное движение в сибирских войсках в 1905—1906 годах. Сильный, смелый до бесстрашия парень показал себя в революции рядовым участником, а в советской жизни потом не выше среднего работника-специалиста, а ведь он был лучшим из нас, нашим героем.

### 18. Бабушка Паша из Орлика

Мать на два-три дня ложилась в свою большую кровать и замолкала. Иногда оттуда доносился редкий стон, и вдруг его сменял громкий крик нового жителя нашей хаты: его выносила к нам бабка-повитуха, мыла и клала в люльку. С утра следующего дня к матери шли одна за другой тетки-соседки.

— А кого вам бог послал, Катерина Кузьминична?

— Мальчика,— отвечала мама на этот раз слабым, измученным голосом, так как новорожденный Митрошка задал ей много хлопот своей большой головой. Пришлось два раза звать городского врача на помощь бабке-повитухе. И мать пролежала в постели целых четыре дня.

По обычаю в ближайшее воскресенье днем происходило крещение новорожденного в присутствии крестных отца и матери и немногих гостей. Мать принимала их уже на ногах, как положено хозяйке, не присаживаясь на стул весь вечер, разве что приходила очередь кормить пискуна. Митрошка был настоящий мужичок, совершенно белесый, скуластый, глаза щелочками — вылитый отец. Митрошка родился перед весной, и его нянчил Колька, а не я. Мать долго была слабая и никак не могла встать на ноги.

Много говорили о том, что к нам в гости должна прийти бабушка Паша, отцова мать. Летом она почти ежегодно ходила из Орлика на богомолье в Киев к угодникам, а чтобы попасть к нам, должна была сделать крюк от Сум верст на сто.

Мать и отец ожидали бабушку к спасу — после полевых работ. А мы уже с начала июля каждый день говорили о ней и каждый день ее ожидали — всё поглядывали на бугор у Байдикова проулка. И вот около середины июля часов в одиннадцать мы увидели, как из Байдикова проулка вышла женщина, очень похожая лицом на отца, ниже его на голову, но такая широкая в кости, что казалась шириною с наш комод, в новеньких лапотках и холстинных онучах. Потом мы поняли, что у нее за спиной был огромный тюк с разным добром, а спереди через плечи висело два мешка поменьше, в левой руке она несла полное ведро всякой мелочи. Только правая ее рука с палкой была свободна и помогала ей при ходьбе.

— Бабушка Паша! — крикнули, не сговариваясь, Митька, Колька и Маруська, хотя никогда не видели ее, и бросились к ней бегом, сразу облепили и оглушили.

А она смотрела на нас большими синими глазами. Перед тем как обнять, она говорила:

— Это кто же будет — Митя? А это Коля? А это Маша?

Маруська сразу же прицепилась к бабе Паше под правую руку — помогла ей нести палку. Подошли старшие — Ванька, Кузька и Санька — и попытались после первого знакомства освободить бабушку от вещей, но в это время к калитке подошла мать с Митрошкой на руках. Бабушка как-то быстро очутилась у калитки и молча обняла мать с ребенком.

Баба Паша долго смотрела на сытого и сонного Митрошку с его лобастой головой. Потом мы все были в горнице, бабушкины вещи лежали на полу, мать и бабушка с Митрошкой на руках сидели рядом, а

мы все уплетали гостинцы бабушки — медовые пряники из ржаной муки, необыкновенно вкусные. Отец был в городе по какому-то делу. Бабушка помылась в теплой воде, переделалась во все чистое и приготовилась отдохнуть с дороги. Перед сном она поговорила с мамой. Дети — один в одного, здоровые, крепенькие, послушные, сразу ласковые и внимательные к «чужой» бабушке — понравились бабушке, как ровные яблоньки хорошей породы. Мама с ее постоянной добротой, выдержкой и терпеливостью всегда была для нее лучше дочери родной.

Бабушка не видела маму десять лет, и перемена в ней огорчила бабушку: вместо молодой, полной силы и уверенности в себе женщины бабушка увидела уже пожилую и до смерти усталую женщину. Без слов баба Паша поняла путь матери за последние десять лет — кому и о чем говорить?

Баба Паша поспала часа два, дождалась прихода из города нашей невесты Тоськи. Она вместе с мамой и бабушкой Пашей разложила принесенное из Орлика добро. Тут было все когда-то сотканное бабушкой полотно, от целых штук до кусочков. Все для себя — на погребение и в подарок киевским святым — бабушка отложила отдельно. Подарки заняли полкомнаты, а мама с Тоськой все размеряли и прикидывали, что и кому можно сшить.

Отца мы встретили по дороге к дому, он сразу же потребовал от Ваньки два ведра холодной воды и целых полчаса потратил на свое вытрезвление. Отец вошел в горницу, поклонился бабушке Паше до земли и поздоровался. Бабушка обняла отца и поцеловалась с ним трижды. Затем они сели и стали разговаривать «по-положенному»: как в Орлике с родными братьями и сестрами, как с дядьями и тетками, как с двоюродными братьями и сестрами? Баба Паша передавала новости и поклоны от родичей. И я понял тогда в первый раз, что число моих родных в Орлике составляет многие сотни, а может, и тысячи человек. С ними одними я мог бы выйти на бой с городом и его пригородами, если бы родичи стали дружно на мою сторону.

Бедная баба Паша от беседы со своим сыном устала сильнее, чем от дороги из Орлика до Супруновки. Из ее глаз исчез молодой парень, которого она провожала когда-то на военную службу, исчез молодой отец первых детей, богатырь, способный засыпать болота и поворачивать реки. Перед нею сидел сильно тронутый старостью и водкой уже пожилой человек, в котором все было от водки: и нездоровая полнота лица, и красные жилки на лице, и минутные порывы к деятельности. А бабушка его родила, вскормила, часто держала на руках, как сейчас внука держит. Ничего близкого и родного не осталось в нем.

Бабушка помнит, что она гостя в доме сына и порядок в доме должен соблюдаться, как в церкви. Отец обедает, укладывается на свою кровать. Мы все в кухне сидим за едой, едим молча в понятной тревоге за отца.

С приездом бабушки Паши отец стал пить меньше, но горе бабушки все росло, она видела слабость и растерянность матери и пока только работала, как заведенная, с утра до ночи вместо мамы: она стирала на всех, купала и мыла малышей, готовила еду.

Санька уже выдержал вступительный экзамен в Суджанское земледельческое училище. Четыре года он будет жить при школе на всем готовом и, вместе с книжным учением, обрабатывать опытные поля школы, работать в молочном хозяйстве, зерновом, пчеловодном, садовом и лесном — сначала практикантом. Через четыре года училище сделает из деревенских парней агрономов-техников по всем отраслям сельского хозяйства, земства и помещичьих экономий. В начале сентября он получит



на руки через земство билет и проездные деньги до Суджи и на четыре года забудет Супруновку.

Бабушка говорила Сане, чтоб он не забывал мать и малышей: ведь он теперь старший в семье; говорила ему как хозяину дома.

В наших краях, на полях и в музеях, попадались каменные изображения женщин с крупными скуластыми лицами: матерей родов и племен? богинь земли? — кто знает. Бабушка Паша была такою же: прочной и крепкой, надежной и верной. Она была у нас в гостях три недели и все время работала и пеклась о нас, даже когда садилась отдыхать.

Кузька и Ванька тоже прошли через разговоры с бабушкой поздними вечерами в саду, когда малыши спали и разговорам никто не мешал.

Бабушка говорила им, что мать нуждается в отдыхе, заботе и помощи. У нее, как у малыша, нет сил на взрослую работу, она надорвалась, и когда вернется к ней сила — неизвестно. И главное: ее нельзя огорчать и беспокоить. На них и на Мите остается теперь весь дом, они должны следить, чтобы мать не бралась за тяжести и непосильную работу.

А как это можно, если Митрошка с каждым днем становился все тяжелее и даже Колька начал жаловаться на его вес.

Бабушка Паша как-то позвала к себе Кольку, уже убаюкавшего Митрошку, и спросила его ласково:

— А тебе, Коля, не тяжело носить на руках брата?

— Ну что вы, бабушка, ничуть, я могу его носить одной рукой, — сказал гордый и самолюбивый Колька.

Бабушка похвалила Колю, что он такой сильный, ведь мама совсем стала слабой, и надо смотреть за нею в оба глаза, чтобы она не носила на руках Митрошку, не нянчила его.

На еженедельное печение хлеба приглашалась теперь тетка Дарья, которая делала самые тяжелые работы вместо матери.

Все тяжелое в доме теперь ушло из рук мамы, кроме отца. Он немножко забрал себя в руки, но иногда терял разум и приходил домой совсем плохой. Бабушка Паша решила «исправить» своего сына. Она стала избегать его по вечерам, когда он приходил домой сильно навеселе. Один вечер, другой ее не было. На третий вечер за обедом отец не выдержал и спросил:

— Где же наша бабушка?

— В саду. Все думает об отъезде.

— А что думать?.. — И отец запнулся на этом слове: нужны были деньги, а он их потратил на водку.

После обеда отец отправился в сад, шел нехотя, как лентяй на тяжелую работу.

Я успел залезть в кусты смородины у густого вишенника. С первых слов я понял, что мне не следует подслушивать разговор бабки с отцом, но я уже не имел возможности выбраться из своей норы, слушал их разговор и весь дрожал от волнения.

— Добрый вечер, мама, — сказал отец тихим голосом.

— Добрый вечер, Петр Ефимович, — ответила стоя бабушка.

— Ну зачем вы так, мама? Прошу вас, сядьте — это же и вам и мне обидно.

Но бабушка продолжала стоять, они оба стояли, а разговор продолжался.

Бабушка говорила о том, что у мамы пропали силы, здоровье, молодость — все, что было десять лет тому назад. Где ее радость и почему она тоскует день и ночь?

Отец молчал. Затем бабушка Паша обошла отца и пошла в хату на свою постель, а отец долго ходил по дорожке сада.

Как мы провожали нашу бабушку Пашу, сколько раз подходили к ней после окончательного прощания! Мама и бабушка с лица были спокойны, только видно было, что перед прощанием вдоволь наплакались.

Они так и не увиделись больше. Бабушка умерла в Орлике в тот же год, семидесяти пяти лет от роду.

Отец умер одинокою смертью в поле метельном через несколько лет.

## 19. Возвращение

За эти дни обращения к миру детства я успел стать на ноги в своей больнице. Сотни раз, сначала на слабых, трясущихся ногах, я обходил все коридоры и этажи с их лечебными и нелечебными кабинетами, ванной, приемными, рентгеном и столовой. Персонал привык видеть меня на ногах, в здоровом виде. Но хирург боялся моей «самостоятельности».

— Все-таки надо остерегаться прогулок на солнце. Полезно сменить больничную обстановку на домашнее лечение, но осторожность — прежде всего! — сказал хирург при моей выписке.

Я должен каждые три дня приходить к нему на перевязку.

Меня выписывают из больницы.

И вот после овладения всем ближним миром, включая Донец, горы и леса, я с нарочито уверенным видом на слабых, неуверенных ногах делаю переходы в сто — двести шагов вокруг больницы. Конечная цель — место моей работы, около двух километров в оба конца. Для душевного подкрепления я брожу по былому школьному миру, стараюсь подвести какой-нибудь фундамент под свое теперешнее бытие: тогда я владел всем открывшимся мне в детстве миром. Как мне овладеть теперь моим рабочим миром?



---

---

РАСУЛ ГАМЗАТОВ

★

## МОЙ ДАГЕСТАН\*

### *Работа*

*Кто думает, работа наша — мед,  
Пусть в Кубачи хоть на денек придет.*

Надпись на кубачинском изделии.

*Я — негр своих стихов. Весь божий день  
Я спину гну, стирая пот устало.  
А им, моим хозяевам, все мало:  
И в час ночной меня гонять не лень.*

*Я — рикша, и оглобли с двух сторон  
Мне кожу трут, и бесконечна тряска,  
И тяжелее с каждым днем коляска,  
В которую навек я запряжен.*

Перевел Н. Гребнев.

**Э**тот случай произошел давно, но я его и сейчас помню так же отчетливо и ясно, как будто он произошел вчера. Я даже описал его в своей поэме, но не могу не вспомнить и здесь.

Никому не известным сыном дагестанского поэта Гамзата я покинул аул и уехал сначала в Махачкалу, а затем в Москву. Прошли годы. Я окончил Литературный институт, выпустил десять сборников стихотворений. За один из них получил Сталинскую премию. Сыграл свадьбу. Одним словом, стал поэтом — Расулом Гамзатовым. Тогда-то я и подумал вновь посетить свой аул.

Целыми днями я бродил по тем местам, где бегал мальчиком, смотрел на скалы, на пещеры, говорил с людьми, слушал песни ручьев. молчаливо сидел на кладбище и вновь бродил по полям.

В Америке на заводе Форда я видел испытательную горку, на которой проверяют выпущенные автомобили. Для писателя такой проверочной горкой должно быть то место, где он родился.

Женщины возвращались домой с прополки пшеницы. Усталые и запыленные, с исколотыми и изрезанными острой травой руками, они присели отдохнуть около дороги. Я подошел к ним.

То ли они заметили меня и начали говорить обо мне, то ли у них шел давний разговор, но я вдруг услышал, как женщина, вытирая пот со лба пучком травы, сказала:

— Если бы меня спросили, чего я хочу больше всего, я сказала бы: беззаботное сердце и легкую долю Расула Гамзатова.

---

\* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» №№ 9, 10 с. г.

— А что у Расула вместо сердца — кусок сыра, и оно никогда не болит? — вступилась за меня моя родственница.

— Может быть, и не кусок сыра, но все же ему не приходится полоть пшеницу. Колхозный колокол не зовет его на работу и не разрешает идти на обед. Он не знает, что такое трудовень, как его заработать и сколько на него дают. Пишет себе — трень-брень, трали-вали, деньгир-дангарчу... О чем же ему беспокоиться? О чем может болеть его сердце? Я не пожелала бы лучшей доли!

Добрая женщина! Как расскажу я ей о своей работе, о непрерывности и тяжести своего труда?

С грустными думами шел я с поля в аул. На аульском годекане грели холодные камни седовласые старейшины аула. Они мирно беседовали между собой о земле, о будущем урожае, о горах, о пастбищах, о болезнях и травах, о прошлых днях нашего аула. Я подошел к ним, поздоровался и тоже присел на холодный камень.

У одного старика оказалась свежая газета, а в ней были мои стихи. Разговор перешел на них. Всаднику нравится, когда люди хвалят его коня. Я тоже надеялся, что земляки сейчас похвалят мое стихотворение. В Москве и в Махачкале я уж стал привыкать к похвалам. Старик, держащий газету, заметил:

— Отец твой Гамзат писал стихи. И ты, сын Гамзата, тоже пишешь стихи. Когда же ты будешь работать? Или ты думаешь и век прожить, не поднимая ничего тяжелее куска хлеба?

— Стихи — это моя работа,— ответил я как можно смиреннее, несколько ошарашенный таким поворотом разговора.

— Если стихи — работа, то что же тогда безделье? Если песни — труд, то что же тогда наслаждение и отдых?

— Для тех, кто песни поет, они действительно наслаждение, но для тех, кто их сочиняет, они работа. Работа без сна и отдыха, без выходных дней и отпусков. Бумага для меня — то же, что для тебя поле. Мои буквы — это мои зерна. Мои стихи — колосья.

— А, все это красивые слова. Поле не приходит ко мне на крышу сакли. Я должен ходить в поле работать. Песни же сами находят тебя, где бы ты ни был, даже в твоей постели. Каждая твоя песня — это твой гость, который стучится в дом. Значит, каждая песня — это праздник. А наше поле — ежедневная, будничная жизнь.

Так, или примерно так, выражали свои мысли старейшины с нашего годекана.

— Но песня — это и есть моя жизнь.

— Значит, жизнь у тебя — вечный праздник. Песни ведь дело таланта. У кого он есть, тому легко написать хорошую песню. Кто не наделен им, тому, конечно, приходится трудиться. Только труд в этом случае мало помогает.

— Нет, вы не правы. Тот, у кого мало таланта, смотрит на искусство как на очень легкое дело. Он порхает с песни на песню. Он, как мы говорим, халтурит. Большой же талант приходит вместе с ответственностью за него, и человек с настоящим талантом смотрит на свои стихи как на очень важное, трудное дело. Не все то, что поется, песня, и не все то, что рассказывается, рассказ.

— Тогда расскажи, как ты работаешь и в чем трудность твоего ремесла?

Вокруг меня сидели старые пахари. Я начал им рассказывать, но вскоре понял, что мне трудно объяснить им самые простые, самые понятные для меня вещи. Я сбился, засмутился и замолчал. Старцы с годекана в тот день взяли надо мной верх. Я не мог объяснить им, почему трудно писать стихи и вообще что это за работа — писать стихи.

С того дня прошло уже много лет. Но я и сейчас, если бы меня спросили, не смог, вероятно, внятно объяснить, в чем состоит моя работа, почему она нелегка и чем она отличается от других работ.

Где мое рабочее место? За столом, конечно, за моим рабочим столом. Но оно и на горной тропе во время прогулки, когда я обдумываю свои стихотворения и слова, звуки приходят ко мне, а я их бракую и отбрасываю в сторону. Оно и в поезде, когда я еду в другую страну, ибо именно в это время может прийти ко мне замысел нового стихотворения. Оно и в самолете, и в трамвае, и на Красной площади, и на берегу ручья, и в лесу, и в приемной министра. Всюду на земле мое рабочее место, мое поле, где я пашу и жну.

Когда я работаю? В утренние или вечерние часы? Сколько времени длится мой рабочий день? Восемь или шесть, или, может быть, двенадцать или даже больше часов? Но если больше, то почему я не бастую и не веду борьбу за восьмичасовой рабочий день?

Дело в том, что я работаю всегда, пока себя помню. Во время еды и в театре; во время собраний и во время охоты; во время чаепития и на похоронах; во время езды в автомобиле и на свадьбе. Даже во сне ко мне приходят строки, образы, замыслы, а то и почти готовые стихи. Значит, даже во сне продолжается мой рабочий день. Давно бы надо было устроить забастовку!

Как я работаю? Вот на это ответить труднее всего. Иногда мне кажется, что моя работа похожа на все другие. Иногда я вижу, что она своеобразна и ее нельзя сравнивать ни с одной работой, которой заняты люди на земле.

Иногда мне кажется, что все вокруг работают, а я тунеядствую. Иногда мне кажется, что я один работаю, а все остальные бездельничают по сравнению со мной.

Птицам — что! Они всю жизнь поют одну и ту же песню, которой их научили родители. А речке — что! Тысячелетия она журчит одну и ту же мелодию. Я же должен стремиться за короткий срок моей жизни создать песни, которых хватило бы на много-много лет.

Нелегко, наверно, было тому человеку, который впервые вспахал небольшой участок земли. Нелегко было и тому человеку, который сочинил самую первую песню.

Но если тысяча людей уже вспахала землю, то тысяча первому пахать легче. Если же тысяча людей написала стихи, то тысяча первому писать гораздо труднее.

Да, землешапец, в чем-то и моя работа похожа на твою. Поэтому не смотри на меня, пожалуйста, как на бездельника, чья жизнь есть вечное наслаждение и вечный отдых. Длинными бессонными ночами я думаю о своем поле так же, как ты думаешь о своем. Ты выбираешь для сева лучшие семена, я выбираю лучшие слова из всех существующих слов. Из тысячи мне нужно выбрать одно. И у меня есть своя пашня, свои всходы, которые радуют меня, свои плоды труда. У меня есть своя культивация и своя прополка, ибо и на моем поле есть свои сорняки. Трудно отделить, хотя бы и при помощи машины, хорошее зерно от овсюга. Но еще труднее отделить сорные слова от полезных, здоровых, хороших слов.

Ты бережешь свое поле от града, от заморозков, от суховея. Мне нужно создавать такие песни, которые не боялись бы самого страшного их врага — времени, ибо мне хочется создать песни, которые жили бы сотни лет.

У меня тоже есть свои вредители — тля, саранча и грызуны. Они могут разворовать, или совсем уничтожить мой урожай, или сделать его несъедобным, так что люди будут отворачиваться от моих плодов.

Но мои грызуны покрупнее и пострашнее твоих мышей и сусликов, и бороться с ними гораздо труднее, а иной раз и вовсе бесполезно бороться.

Горит очаг, над саклей дым кривой,  
 Но в стенке дома трещина — с иголку,  
 И ветер с буйволиной головой  
 Морозит дом, влезая в эту шелку.  
 Бывает сходное в стихах моих:  
 За их тепло плачу ценой жестокой,  
 Но ветер вымораживает стих,  
 Меж слов неплотных пролезая в строки.

*Перевел Н. Гребнев.*

Мои плоды я должен потом раздать людям. И в Дагестане и в других землях должны вкусить их, узнать их сладость и горечь, их особенный вкус. А он не должен походить на вкус всех других плодов.

Помню, как в детстве отец учил меня вязать снопы. Когда я, опираясь коленом, изо всех сил тянул за поясок, отец внушал:

— Смотри, Расул, не задуши сноп!

Теперь, когда не получается стихотворение, когда строка вылезает из него, как бы я ее ни заталкивал, я прилагаю усилия, чтобы стихотворение все-таки закончить. Но часто в такие минуты я вспоминаю наставление отца: «Смотри, Расул, не задуши сноп!»

Урожай на полях в разные годы бывают разные. Один год уродится столько хлеба, что не хватает амбаров и элеваторов, а потом, бывает, три года ничего не растет. Так и у меня — работается не всегда одинаково. Кажется, удобряю, пашу, сею хорошие семена, а собственный хлеб не растет. Приходится обращаться к переводам, покупать зерно в какой-нибудь там Австралии или в Канаде. Никакая химия, ни большая, ни малая, не помогает мне, когда на время ослабевают накал поэзии и стихи не хотят переходить из души на бумагу.

Что ж поделаешь? Если бы каждый поход и каждое начинание кончались удачей, все были бы довольны и радостны. Если бы земля каждый год давала обильный урожай, все на земле были бы сыты. Если бы все написанное на бумаге становилось песней, люди давно уж не разговаривали бы на простом языке, но только пели. Но песню создать очень трудно.

Мне приходилось бывать на винных заводах Дагестана, Грузии, Армении, Болгарии, на пивоваренных заводах в Пльзене. Мне кажется, у поэтов с виноделами много общего. Есть свои тонкости, свои секреты. Стихотворение, как и вино, должно перебродить в душе, должно выдержаться. И содержится в хорошем стихотворении какой-то таинственный, радующий душу хмель. Этим вино и поэзия очень близки друг другу.

Иногда в какой-нибудь горный аул, где есть магазин, приезжает автомобиль, нагруженный бочками вина. Одну бочку в этот аул, одну бочку в другой — так развозят шоферы вино из Буйнакса по горным аулам.

Завидев такую машину, парни тотчас, на вид неторопливо и не спеша, но на самом деле с нетерпением, идут с разных концов аула к магазину. Они окружают бочку, как овцы окружают кусок соли-лизуна, положенный чабанами.

Вино разливают по кувшинам, все начинают пробовать, и наступают общее разочарование. Слышатся возгласы:

— Разве это вино! Это же вода!

— Прстая речная вода!

— Пусть продавцы сами пьют это вино.

— А я при чем, — обороняется продавец. — Вы же видели, что бочку привезли на машине. Сгружали ее при вас. Вы сами помогали ее сгружать, при чем же здесь я? Какое вино мне привезли, таким я и торгую. Не хотите — не покупайте.

Оказывается, заведующий городским складом, прежде чем отправить вино в район, отливает от бочки сколько захочет и доликает чистой воды: «Там, в районе, и такому вину будут рады!» В районном складе, прежде чем отправить вино в аулы, эту операцию повторяют в точности работники районного масштаба: «Для аулов сойдет и такое вино!» По дороге шоферы и грузчики, чтобы согреться от непогоды и чтобы скорее прошли длинные утомительные часы езды, отливают еще несколько литров, возмещая их хрустальной струей из подвернувшегося родничка или ручья, и получается в результате не то вино, испорченное водой, не то вода, испорченная вином.

Так, читая иные стихи, нельзя понять, чего в них больше — поэзии или пустословия. Такие стихи рождаются у ленивых поэтов, у которых не хватает терпения на упорный труд. Но бойкий ручей редко добежит до моря. Ленивый ходок редко достигает Мекки. Когда два всадника вынуждены ехать на одном коне, они поддерживают друг друга. Талант и работа тоже едут на одном коне.

**А Б У Т А Л И Б Г О В О Р И Л.** Талант и труд должны соединиться в стихотворении, как кинжал соединяется с ножнами.

**И З З А П И С Н О Й К Н И Ж К И.** Я тогда больше бывал на улице, чем дома. Я учился в школе, однако уже начинал писать стихи. У меня не хватало терпения и на стихи, и на чтение, и на домашние задания. Мне не сиделось за столом. Я вскоре начинал ерзать, потом вставал из-за стола, а потом при возможности выбегал на улицу. Я и теперь не очень-то усидчив и терпелив.

Однажды, усадив меня не то за уроки, не то за стихи, отец на минуту вышел из дома. Не успела закрыться за ним дверь, как я уже вскочил со стула и оказался на крыше сакли. Увидев меня, отец крикнул моей матери:

— Принеси мне веревку, ту, что висит на гвозде.

— Зачем тебе?

— Я хочу привязать Расула к стулу, иначе из него не выйдет никакого толку. — Отец спокойно, основательно прикрутил меня к стулу, тихонько стукнул по лбу и показал на бумагу: — Все, что там, перенеси сюда!

Если бы кто-нибудь нас, писателей, и теперь хотя бы время от времени привязывал около стола!

Голова-то, может быть, и работает, но если работает голова, а руки в это время ничего не делают, это похоже на мельницу, которая крутится вхолостую, вместо того чтобы молоть муку.

**П Р И Т Ч А О Ш А Н Г Р Е Е , Е Г О С Ы Н Е И П Я Т И Р У Б Л Я Х.** Некоторое время тому назад жил в Хунзахе состоятельный и уважаемый всеми человек по имени Шангрей. У него был единственный и потому избалованный, капризный сын. Отцу хотелось, чтобы его сын работал, как и все в ауле, чтобы он вырос настоящим человеком. А сыну не хотелось работать. Родные и друзья отца баловали его. Тот подарит коня, тот черкеску, тот даст денег, а тот кинжал.

Однажды Шангрей тяжело заболел. Лекарства не помогали ему. Вся родня, все друзья, все кунаки окружили больного.

— Что же нам делать, чтобы вылечить тебя?

— Я-то знаю, что меня могло бы поставить на ноги, но вы бесильны исполнить мое желание.

— В чем же оно, мы сделаем все, что можно.

— Если сын принесет мне пять рублей, заработанные своим трудом, и скажет: «Отец, возьми их, они твои»,— тогда я поправлюсь. Через два дня сын пришел и протянул отцу пять рублей:

— Отец, возьми эти деньги, я сплавлял лес по аварскому ущелью Койсу и заработал.

Отец посмотрел на деньги, на сына и бросил бумажку в огонь. Сын не шелохнулся. Он стал бледен, как будто ему дали пощечину.

На самом-то деле пять рублей дал ему дядя, слышавший, что пожелал больной Шангрей, и решивший выручить юношу.

Через несколько дней сын снова пришел и опять протянул отцу деньги:

— Я работал в Гунибе на строительстве новой дороги и заработал.

Отец поглядел на деньги, на сына, скомкал бумажку и выбросил ее в окно.

Сын не шелохнулся. Эти деньги ему, оказывается, дал кунак отца из Гоцатли.

В третий раз пришел сын к отцу, в третий раз протянул пятерку. Отец, не глядя на сына, взял бумажку и разорвал ее на две части. Сын, как ястреб, набросился на обрывки денег, схватил их и начал склеивать. Он закричал на отца:

— Я не для того чистил конюшни в Петровске и заработал эти деньги, чтобы ты их рвал, как простую бумагу. У меня на руках мозоли.

— Вот теперь я вижу, что эти деньги заработал ты сам.

Шангрей стал весел, дело пошло на поправку, и вскоре он окончательно выздоровел.

Итак, настоящую цену имеет только то, что заработано своим трудом.

Пожалуй, не так ли и стихи. Если ты сам выстрадал стихотворение, то в нем дороги каждое слово и каждая запятая. Если же ты подобрал мысль на дороге, то из нее не получится драгоценного стихотворения.

Мне случалось видеть иногда:  
Златокузницы — мои соседи —  
С помощью казаба без труда  
Отличали золото от меди.

Мой читатель — ценностей знаток!  
Мне без твоего казаба тяжело  
Распознать в хитросплетенье строк,  
Где под видом золота — медяшка.

*Перевел Н. Гребнев.*

Если хочешь, чтобы рыба была вкусна, иди к озеру и сам поймай ее. Орел парит против ветра, рыба плавает против течения. Поэт пишет, идя навстречу сильным чувствам, если даже это не радость, а страдание. Нечто похожее рассказал мне однажды и Абуталиб.

**ПРИТЧА О БАЛХАРСКИХ ГОНЧАРАХ, ОБ ИХ ГОРШКАХ И О НЕГОДНЫХ ПОКУПАТЕЛЯХ.** Балхарские гончары, уложив свои изделия в большие корзины, а корзины навьючив на ослов и мулов, отправились в город сбывать товар. По дороге им попались озорные парни из ближнего аула.

— Далеко ли отправились, горшечники?

— Продавать горшки.

— Какова цена?

— Маленькие по двугривенному, большие по пятаку.

— Почему так?

— Потому что маленькие делать труднее, чем большие.



Озорники купили у балхарцев все их горшки.

— Останетесь довольны нашим товаром,— говорили гончары, прощаясь и поворачивая мулов, чтобы ехать обратно.— Товар наш сделан на совесть. И до ваших внуков доживут наши горшки.

Поднявшись на гору, горшечники расположились отдохнуть. Они оглядывали с высоты горную дорогу и вдруг заинтересовались, чем это занимаются там вдаль парни, скупившие их звонкий и красивый товар. А парни расставили горшки по краю пропасти и, отойдя на двадцать шагов, кидают в горшки камнями. Очевидно, у них шло соревнование, кто больше разобьет. Горшки звонко лопались, а черепки сыпались в пропасть. Все это доставляло парням удовольствие.

Горшечники, как по команде, вскочили на ноги и, обнажив кинжалы, бросились к хулиганам.

— Что вы делаете, негодные люди! — закричали они.— Мы продали вам лучшие наши горшки, а вы... Где ваша совесть?

— Почему вы сердитесь,— недоуменно спросили парни,— вы продали нам свой товар, мы вам хорошо заплатили, горшки теперь наши, какое вам теперь дело, на что мы их употребили? Хотим — будем бить, хотим — повезем домой, хотим — просто оставим на дороге.

— Но эти горшки нам не чужие. Много труда мы вложили в глину, прежде чем она стала горшком. Много души мы вложили в нее, чтобы она стала красивым горшком, чтобы ею любовались люди. Мы думали, что наши изделия принесут людям радость, что они украсят чью-нибудь жизнь. Продавая их вам, мы надеялись, что вы из одного горшка будете угощать гостя бузой, а в другом будете держать родниковую воду, а в некоторых будут расти прекрасные цветы. Вы же, бесчестные люди, все превратили в черепки, весь наш труд, все наше старание, все наши мечты вы разбили камнями на краю пропасти. Вы кидали камни в наши изделия точно так же, как неразумные дети кидают камни в певчих прекрасных птиц.

Горшечники решительно отобрали у парней то, что те не успели разбить, и возвратились домой.

Обиду горшечников поймет каждый, кто сам трудился, вкладывал в свой труд душу и любовался результатами своего труда. Так закончил Абуталиб свой рассказ.

Этот рассказ Абуталиба почему-то мне вспомнился и тогда, когда я в далекой Японии смотрел на девушек — искательниц жемчуга. Молодые, сильные красавицы ныряли глубоко на дно моря и там, почти уж задыхаясь, успевали положить в сумку, висящую на бедре, несколько раковин. В одной из раковин может оказаться жемчужина. Но нужно перебрать тысячи ракушек, пока наткнешься на эту одну, счастливую, жемчугоносную. Сколько же раз нужно нырнуть, сколько же тысяч раковин нужно перебрать, чтобы получилось настоящее жемчужное ожерелье?

Но разве легче из всех слов, которые употребляют люди в простом разговоре, создать ожерелье-песню?! Все обыкновенные слова, все бытия, все чувства, весь опыт жизни — это океан, в котором щедро рассыпаны ракушки. Но велик и тяжел труд искателя жемчуга, которому непрерывно приходится нырять в затаенные глубины океана! Много нужно сноровки, терпения, здоровья и выносливости, стремления. Нужна и удача. Терпение искателей жемчуга, терпение кубачинца, рисующего чернью по серебру,— все это сродни таланту, все это есть и талант и труд одновременно.

Чтоб дальше жить могло стихотворенье,  
Учусь, друзья, то весел, то суров, —

Иметь я кубачинское терпенье,  
Взыскательность аульских мастеров.

*Перевел Я. Козловский.*

**ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ ЗНАЕТ КАЖДЫЙ ГОРЕЦ.**  
Не выдавай дочь замуж, пока она не достигла совершеннолетия!  
Не снимай чарыков с ног, пока не подойдешь к самой воде!  
Не ставь котел на огонь, чтобы варить дичь, пока дичь еще в лесу и ты ее не убил!

Не тому принадлежит черно-бурая лиса, кто ее увидел, а тому, кто ее добыл!

**ВОСПОМИНАНИЕ.** Не хотелось бы рассказывать людям одну историю, потому что похвалиться тут нечем. Но так уж и быть, если начал рассказывать все по порядку — слова не выкинешь. Не напрасно говорят в горах: «Если уж зашел в воду до пупка, то полезай весь», «если уж развязал мешок, то вытряхивай все, что в нем содержится».

Книгу, которую я теперь пишу, я давно бы закончил, если бы не это глупое происшествие, о котором я теперь решил рассказать.

Обычно, если книга уже начата, а мне нужно куда-нибудь ехать, я забираю рукопись с собой. Мои рукописи таким образом совершали со мной длинные путешествия по разным странам. Я беру их в дорогу, конечно, не просто так: всегда ведь выберется в гостинице свободное утро, когда можно посидеть над рукописью, подумать, написать страницу. Вот и эта книга тоже побывала со мной вместе за морями, за океанами, за материками.

Однажды, возвратившись из Брюсселя, я остановился в гостинице «Москва», на восьмом этаже. Раз уж зашла об этом речь, скажу, что гостиница «Москва» для меня не просто гостиница. Это как бы мой второй дом. Я провел в ней едва ли не половину своей жизни, если брать те годы, когда я стал уже писателем и часто по разным делам бывал в столице.

Все администраторы, все дежурные по этажам, все горничные хорошо знают меня, и я знаю их. Что я останавливаюсь всегда в «Москве», известно и моим московским друзьям, среди которых, правда, есть и такие, для которых слова «Расул в Москве» равнозначны счастливому случаю зайти в гости от нечего делать.

Не успеваю я умыться с дороги, как начинаются звонки, стук в дверь, и вскоре в комнате негде сесть или даже повернуться. Ну что ж, хотя номер гостиницы и не сакля, но, по древнему обычаю, мы, горцы, только на третий день спрашиваем имя гостя. А так как все-таки никто не засиживается по три дня, то многие побывавшие у меня в гостях так и остаются безмянными.

Итак, однажды, возвратясь из Брюсселя, я остановился, как всегда, в гостинице «Москва», и, как всегда, в номере у меня было людно. Одни пожаловали поздравить меня с возвращением из-за границы, другие — пожелать мне счастливого пути в Дагестан, третьи — без всякого дела. Одних я позвал сам, другие пришли без приглашения.

Шумно хвалили одних и пили по этому поводу; шумно ругали других и пили по этому поводу. Говорили и пили. Смеялись и пили. Пели песни и пили. В номере к тому же было так дымно, словно под столом или под кроватью чадил костер из сырых дров.

**А Б У Т А Л И Б Г О В О Р И Л**, что его состарили три обстоятельства.

Первое из них: когда все приглашенные собрались и ждут одного, который опаздывает.

Второе из них: когда жена уже поставила на стол обед, а сын, пошедший за водкой, не возвращается.

И, наконец, третье обстоятельство: когда все гости ушли, а один, который целый вечер молчал, вдруг останавливается у порога и начинает говорить, выговариваясь за все предыдущие часы своего молчания, и чувствуется, что речам его не будет конца.

Какая бы усталость ни была, какой бы сон ни тяжелил веки, приходится выслушивать его вздорные речи. Стараешься во всем соглашаться с ним, лишь бы он поскорее закончил и ушел. Но и согласие, оказывается, вдохновляет его на новые и новые излияния.

Один такой гость оказался у меня в номере в тот вечер, который так ужасно завершился и о котором я теперь хочу рассказать. Этот гость, оставшись, когда все ушли, пьяно вис у меня на плече, тыкал окурки во все возможные места комнаты, гасил их о штору, о спинку стула, о мой чемодан, о бумаги, разложенные у меня на столе.

Сначала он хвалил меня, и я соглашался с ним. Потом он стал хвалить себя, и я соглашался с ним. Потом он стал хвалить свою жену, и я соглашался с ним. В конце концов он начал ругать меня и молоть обо мне всякую чепуху, но я и тут соглашался с ним. «Сейчас он начнет ругать себя, потом свою жену»,— с ужасом думал я. Но, дойдя до того места, где, по логике, ему надо было начинать ругать себя, мой гость неожиданно заторопился и пошел спать к себе в номер. Правда, чтобы его уход не слишком огорчил меня, он пообещал прийти завтра.

Иногда говорят: со всех сторон гость красив, но все-таки самое красивое у гостя — спина. В этот раз я понял смысл поговорки. Спина уходящего гостя показалась мне прекрасной. «Ну,— с облегчением вздохнул я,— все беды этого вечера кончились и теперь можно спокойно выспаться». Я торопливо защелкнул дверь, воровато залез под одеяло и тотчас уснул. Спалось мне спокойно, как спится только под теплой буркой, когда на дворе шумит дождь. Мне снилось, что я и правда лежу под буркой около костра, а вокруг сидят чабаны. Они подкладывают в костер дров. Костер дымит, а дым ест мне глаза и щекочет в носу. Потом я оказался как будто в пекарне, где очень жарко и пахнет почему-то горелым. Потом сон перешел на то, что мы с друзьями выехали в воскресенье за город и жарим душистые шашлыки.

Проснулся я от нестерпимой рези в глазах. Вскочил, ничего не вижу. В комнате полно дыму, а у дверей как будто даже горит. Бросившись к огню, я увидел, что догорает мой чемодан.

Весь он у меня был в наклейках первоклассных отелей мира. Сколько стран повидали мы с ним! Сколько таможен миновали благополучно! Правда, никогда в нем не было ничего такого, но ведь и бутылка водки, которую везешь за границу друзьям в подарок, либо лишняя пачка сигарет может иногда вызвать неудовольствие таможенного чиновника. Ну, или там кофточка для жены.

И вот — ни на одной таможене не погорел мой чемодан, а в мирном номере московской гостиницы сгорел.

Я торопливо схватил горящие остатки чемодана, бросил их в ванну и пустил воду. Новые клубы дыма поднялись в воздух. Я уже успел обжечь себе руки и, кажется, лицо, но нужно было тушить теперь стул, на котором раньше стоял чемодан, а также ковер, а также и штору. Я бросился звонить дежурной по этажу.

— Я горю! — прокричал я в трубку. — Приходите меня спасать!

Но дежурная, видимо, подумала, что Расул не может гореть иначе, кроме как огнем любви, и что в данном случае я сгораю от любви к ней. Спокойно, с материнскими интонациями в голосе она ответила:

— Полноте, Расул, спите. К утру все пройдет!

О женщины! Сколько раз я говорил им в шутку, что я горю, и они верили и приходили ко мне на помощь. Но когда я единственный раз в жизни попал в настоящий огонь, никто не поверил мне.

Словно храбрый пожарник, я один на один воевал с огнем. В конце концов мне удалось, конечно, потушить и ковер, и стул, и штору, и начавший обугливаться паркет. Да, я одержал победу над огнем, но прежде чем я это сделал, огонь нанес мне немалый ущерб.

Должно быть, пьяный гость засунул в чемодан окурки, с которого все и началось. Сгорели мои рубашки, костюм, сгорели подарки, привезенные мной из Брюсселя. Администрация гостиницы составила акт на ковер, на стул, на штору, и получилась чудовищная сумма. Самому мне пришлось лечь в больницу. Я позвонил домой жене и сказал, что задерживаюсь по важным делам. Я еще не придумал по каким и обещаю позвонить еще раз. Вот что наделал один проклятый окурки.

Но скажу вам, что все это оказалось мелочью по сравнению с главным моим ущербом. На дне чемодана лежала рукопись, над которой я работал уже два года...

Говорят, что самая большая рыба та, которая сорвалась; самый богатый тур тот, по которому промахнулся; самая красивая женщина та, которая ушла от тебя.

Многие страницы моей рукописи сгорели! Теперь мне кажется, что это были лучшие страницы.

Кроме того, сорвавшаяся рыба все равно была не моя. Тур, по которому промахнулся, был не мой. И женщина, которая ушла, тоже не моя. Но сгоревшие страницы были мои. Я их сам придумал, сам пережил и выстрадал. Я провел над ними немало бессонных ночей и дней в терпеливом труде. Вот отчего я страдал, утратив свою рукопись. Вот отчего я думаю, что это была моя самая лучшая книга.

Я сразу осиротел, как поле, с которого увезли снопы, или как последний сноп, который забыли увезти с поля.

Каждая буква сгоревших страниц стала представляться мне жемчужиной. Строки сияли в моем воображении, как драгоценное ожерелье.

Я был так потрясен, что два года не мог сесть за восстановление утраченного. А когда успокоился и сел, то понял, что я могу, конечно, написать заново и примерно о том же, но восстановить те прежние страницы — невозможно.

Точно так же, если у мужа и жены умрет любимый ребенок, они со временем народают другого и будут любить его не меньше, но все же это будет другой человек, а не тот, которого они потеряли.

Говорят, стихи боятся воды. Стихи — это огонь, а творчество поэта — горение. Да, конечно, стихи не должны быть водянистыми. Но пусть их хранит аллах и от такого огня, с которым встретилась моя рукопись в гостиничном номере.

**КАК У АБУТАЛИБА ОБОКРАЛИ КВАРТИРУ.** Не знаю уж, как получилось, и кто изловчился, и как вышло, что никого не было дома, но однажды у Абуталиба обокрали квартиру. Бросились проверять: нет золотых часов дочери, нет золотого кольца, нет серег и других украшений. Нет шубы, нет платьев, нет туфель, нет денег... Жена Абуталиба едва не упала в обморок, дочь бросилась на тахту и зарыдала. Абуталиб же прошел в другую комнату, уселся на полу и стал играть на зурне.

Жена набросилась на Абуталиба:

— Как ты смеешь: такое несчастье, нужно бежать в милицию и к прокурору...

— Что за беда! Мои стихи на месте. Смотри, все мои бумаги лежат, как лежали. Воры их не тронули. С чего же мне огорчаться!

— Кому нужны твои стихи, написанные к тому же на лакском языке?

— О, ты ничего не знаешь. Есть люди, даже называющиеся поэтами, которые только и делают что воруют чужие стихи. Но мои, слава аллаху, уцелели. Целый год я трудился над ними, и если бы они пропали, для меня было бы большое горе. К тому же уцелела зурна. Так отчего ж на радостях не сыграть на ней?!

И Абуталиб, не обращая больше внимания на вопли жены и дочери, продолжал играть на зурне.

**ЭФФЕНДИ КАПИЕВ МНЕ РАССКАЗАЛ.** Однажды погожим летним днем Сулейман Стальский лежал на крыше своей сакли и смотрел в небо. Вокруг щебетали птицы, журчали ручьи. Всякий подумал бы, что Сулейман отдыхает. Именно так подумала и жена Сулеймана. Она поднялась на крышу сакли и позвала Сулеймана домой:

— Хинкалы готовы и уже стоят на столе. Пора обедать!

Сулейман не ответил и даже не повернул головы.

Через некоторое время Айна второй раз позвала мужа:

— Хинкалы остывают, скоро их нельзя будет есть!

Сулейман не пошевелился.

Тогда жена принесла обед на крышу, чтобы Сулейман, уж раз ему так хочется, пообедал там. Она подала ему обед, говоря:

— С утра ты ничего не ел. Попробуй, какие вкусные хинкалы я тебе приготовила.

Сулейман рассердился. Он вскочил с места и закричал на свою старательную жену:

— Вечно ты мне мешаешь работать!

— Но ты же лежал и ничего не делал. Я думала...

— Нет, я работаю. И больше мне не мешай.

Оказывается, и правда, в этот день Сулейман сочинил свое новое стихотворение.

Итак, поэт работает, если даже лежит и смотрит в небо.

Писал поэт стихи жене:  
«Ты свет мой, и звезда, и зорька,  
Когда ты рядом — сладко мне,  
Когда тебя не вижу — горько!»

Но вот жена — звезда и свет —  
Явилась, встала у порога.  
«Опять ты здесь, — вскричал поэт, —  
Дай мне работать, ради бога!»

*Перевел Н. Гребнев.*

**ОТЕЦ МНЕ РАССКАЗАЛ.** Великий певец любви Махмуд был в гостях у одного почтенного человека. Были и еще гости. До полуночи поэт услаждал всех собравшихся своими песнями. Потом разошлись спать. Махмуду отвели лучшую кунакскую комнату. Хозяин поставил таз и кувшин для омовения, пожелал спокойного сна и ушел.

Утром, боясь, как бы Махмуд не проспал часы утренней молитвы, хозяин робко заглянул в комнату Махмуда. Он увидел, что поэт и не думал ложиться спать. Сидя на корточках на ковре, он писал стихи, борючая их вслух:

Райский сад не стану славить,  
От него меня избавь.  
Можешь сад себе оставить,  
Мне любимую оставь.

*Перевел С. Липкин.*

- Махмуд, настал час утренней молитвы, брось стихи и молись!  
— Это и есть моя молитва,— отвечал Махмуд

Итак, поэт работает даже в часы молитвы.

**ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.** Теперь я сам расскажу об одном аварском поэте. Я не буду называть его имени. Я не хочу, чтобы вы потом указывали на него пальцем и смеялись над ним. Ибо есть над чем посмеяться.

Поэт женился. Сыграли свадьбу. Гости разошлись, оставив ново-бракных одних в комнате, специально приготовленной для брачной ночи. Невеста возлегла на брачное ложе в ожидании жениха. Однако жених, вместо того чтобы прийти к своей невесте, сел за стол и начал писать стихи. Всю ночь он писал стихи и к утру закончил длинное стихотворение о любви, о невесте, о брачной ночи.

Должны ли мы сделать вывод: «Итак, поэт работает даже в ночь любви»? Если бы я работал так же, как этот аварский поэт, у меня было бы книг в пятьдесят раз больше, чем сейчас. Но я думаю, что это были бы фальшивые книги.

Кто садится за стол, когда невеста открывает ему свои объятия, кто не откладывает в сторону перо и бумагу в присутствии красавицы, тот, по-моему, просто ханжа. Пусть он напишет в десять и в двадцать раз больше, но не будет искренности в его словах.

Да, необходимо работать! Некий мудрец лег под деревом в ожидании, когда яблоко упадет ему в рот. Яблоко не упало.

Но больше работы и даже, может быть, больше таланта поэту необходима искренность — и перед всеми людьми, и перед самим собой.

**Г О В О Р Я Т.** Храбрец или в седле, или в земле.

**Г О В О Р Я Т.**

- Что самое отвратительное и уродливое на свете?  
— Мужчина, дрожащий от страха.  
— Что еще уродливее и отвратительнее?  
— Мужчина, дрожащий от страха.

## **Правда. Мужество**

*«Мудрец великий должен быть имамом»,—  
На сходе предлагал седой наиб.  
«Храбрец великий должен быть имамом»,—  
Наибу возражал другой наиб.*

*Наверно, проще править целым светом,  
Чем быть певцом, в чьей власти только стих.  
Поскольку надо обладать поэтам,  
Помимо этих, сотней свойств других.*

*Перевел Н. Гребнев.*

**АВАРЦЫ РАССКАЗЫВАЮТ.** Из века в век правда и кривда идут рядом. Из века в век спорят они между собой, кто из них нужнее, полезней и сильнее. Ложь говорит — я, а правда говорит — я. Нет конца спору.

Однажды они решили идти по миру и спрашивать у людей. Ложь бежала впереди по узким кривым тропинкам, в каждую щель заглянет, в каждой дыре понюхает, в каждый закоулок своротит. Правда шагала с гордо поднятой головой только по прямым, широким дорогам. Ложь беспрерывно хихикала, правда же была задумчива и печальна.

Много обошли они разных дорог, городов, аулов, побывали они у королей, у поэтов, у ханов, у судей, у торговцев, у гадалок, среди простого народа. Где появлялась ложь, там люди чувствовали себя свободней и легче. Они смотрели в глаза друг другу, смеясь, хотя в эту самую минуту обманывали друг друга. И знали, что обманывают друг друга. Но все равно им было беззаботно и легко, и они не стеснялись обманывать друг друга и говорить неправду.

Когда же появлялась правда, то люди мрачнели, они отводили друг от друга взгляды, опускали глаза. Люди хватались за кинжалы (во имя правды), обиженный поднимался на обидчика, покупатель нападал на торговца, простолоудин — на хана, хан — на шаха, муж убивал жену и ее любовника. Лилась кровь.

Поэтому большинство людей говорили лжи:

— Не уходи от нас! Ты нам лучший друг. С тобой нам проще и легче жить! А ты, правда, приносишь нам одно беспокойство. Нужно думать, нужно болеть душой, нужно страдать, нужно бороться. Разве мало погибло из-за тебя молодых бойцов, поэтов, рыцарей?

— Ну что,— говорила ложь правде,— видишь, что я нужнее и полезнее. Сколько домов мы обошли, и везде приветствовали меня, а не тебя.

— Да, много мы обошли обжитых мест. Пойдем теперь на вершины! Пойдем спросим у чистых холодных родников, у цветов, растущих на высокогорных лугах, у снегов, сияющих вечной незапятнанной белизной.

На вершинах живут тысячелетия. Там живут вечные и праведные деяния героев, богатырей, поэтов, мудрецов, святых, их мысли, их песни, их заветы. На вершинах живет то, что бессмертно и не боится уже ничтожной земной суеты.

— Нет, я туда не пойду,— ответила ложь.

— Ты что же, боишься высоты? Но ведь только вороны ютятся в низинах, орлы же парят выше самых высоких гор. Неужели ты считаешь, что вороной быть достойней, чем орлом? Да я знаю, ты просто трусишь. Ты вообще трусенька! Ты споришь за свадебным столом, где льется вино, но боишься выйти во двор, где звенят не стаканы, а кинжалы.

— Нет, я не боюсь твоих высот. Но мне там нечего делать, потому что там нет людей. Мое царство внизу, где люди. Я безраздельно господствую над ними. Все они — мои подданные. Только некоторые смельчаки отваживаются противостоять мне и становятся на твой путь, на путь правды. Но таких людей — единицы.

— Да, единицы. Но зато этих людей зовут героями. И поэты слагают о них свои лучшие песни.

**ПРИТЧА О ЕДИНСТВЕННОМ ПОЭТЕ.** Эту притчу мне рассказал Абуталиб. В некоем ханстве жило очень много поэтов. Они бродили по аулам и пели свои песни. Кто из них играл на скрипке, кто на бубне, кто на чонгуре, кто на зурне. Хан любил слушать песни поэтов в свободное от своих дел или от своих жен время.

Однажды он услышал песню, в которой пелось о жестокости хана, о его несправедливости и жадности. Хан разгневался. Он приказал найти поэта, сочинившего крамольную песню, и доставить его в ханский дворец.

Сочинителя песни обнаружить не удалось. Тогда был дан приказ визирям и нукерам переловить всех поэтов. Как гонимые псы, бросились стражники хана по аулам, дорогам, горным тропинкам, глухим ущельям. Они поймали всех, кто сочинял и пел, и всех посадили в дворцовую темницу. Утром хан вышел к арестованным поэтам:

— Ну, пусть теперь каждый споет мне одну свою песню.

Все поэты по очереди стали петь песни, восхваляя хана, его светлый ум, его доброе сердце, его красивейших жен, его могущество, его величие, его славу. Они пели о том, что никогда еще на земле не бывало такого великого и справедливого хана.

Хан отпустил одного поэта за другим. Наконец в темнице осталось только три поэта, которые не спели ни одной песни. Этим трем снова заперли на замок, и все думали, что хан забыл о них.

Однако через три месяца хан пришел к узникам:

— Ну, пусть теперь каждый из вас споет мне какую-нибудь свою песню.

Один из трем тотчас запел песню, восхваляющую хана, его светлый ум, доброе сердце, его красивейших жен, его могущество, его величие, его славу. Он пел о том, что никогда еще на земле не бывало такого великого хана.

Певца отпустили на волю. Двоих же, не захотевших петь, подвели к костру, заранее приготовленному на площади.

— Сейчас вы будете преданы огню,— сказал хан.— В последний раз говорю, спойте мне какую-нибудь свою песню.

Один из двух не выдержал и запел песню, прославляющую хана, его светлый ум, его доброе сердце, его красивейших жен, его могущество, его величие, его славу. Он пел о том, что никогда еще на земле не было такого великого и справедливого хана.

Освободили и этого певца. Остался только один, последний упрямец, не захотевший петь.

— Привяжите его к столбу и разожгите огонь,— приказал хан.

Вдруг привязанный к столбу поэт запел ту самую песню о жестокости, несправедливости и жадности хана, с которой началась вся эта история.

— Развяжите его скорей, снимите с огня! — закричал хан.— Я не хочу лишаться единственного настоящего поэта в своей стране!

— Конечно, вряд ли где-нибудь есть такие умные, благородные ханы,— заключил Абуталиб свой рассказ,— как, впрочем, немного и таких поэтов.

**МОЙ ОТЕЦ РАССКАЗАЛ.** Однажды приближенные спросили у великого Шамиля:

— Имам, скажите нам, почему вы запретили сочинять стихи и распевать их?

Шамиль ответил:

— Я хотел, чтобы остались поэтами только настоящие поэты. Ведь настоящие все равно будут сочинять стихи. А лжецы, лицемеры, именующие себя поэтами, конечно, испугаются моего запрета, смалодушничают и замолчат. Тем самым они перестанут обманывать и народ и самих себя.

— Имам, скажите еще, зачем вы бросили в реку стихи Саида Араканского?

— Настоящие стихи нельзя бросить в реку, они живут в сердцах людей. Если же стихи равноценны той бумаге, на которой они написаны, то туда им и дорога. Вместо сочинения столь легковесных стихов, которые может унести течение реки, Саид Араканский должен заняться каким-нибудь полезным делом.

**РАССКАЗЫВАЮТ.** Когда погиб великий поэт Махмуд, отец поэта, убитый горем, взял чемодан с рукописями Махмуда и бросил его в огонь.

— Горите, проклятые бумаги, это из-за вас преждевременно погиб мой сын.



Все бумаги сгорели, но стихи Махмуда остались жить. Не забыто ни одно слово из песен, сочиненных им. Эти песни живут в сердцах людей, над ними не властны ни огонь, ни вода, потому что они правдивы.

#### МОЙ ОТЕЦ СМЕЯЛСЯ:

над теми, кто, боясь дурного глаза, отправлялся в дорогу ночью, тайком;

над теми, кто набивал хурджун камнями, чтобы люди думали, будто в хурджуне лежит чурек;

над охотниками, которые с охоты приносят домой вместо куропатки ворону.

**АБУТАЛИБ МНЕ РАССКАЗАЛ.** Жил на свете один бедняк, которому хотелось выглядеть богачом. Каждый день он приходил на годекан довольный, улыбающийся, а его усы блестели от жира, словно он только сейчас ел молодого, нежного барашка. Бедняк хвастался вслух:

— Ух, какого жирного ягненка я зарезал сегодня на обед! Какое у него нежное, сладкое мясо!

— Откуда он берет каждый день по ягненку? — удивлялись жители аула.— Надо проверить.

Ловкие парни забрались на крышу и через широкий дымоход заглянули в саклю. Они увидели, как бедняк вскипятил старую завалывшуюся кость, собрал сверху немного костного жира и этим жиром намазал себе усы. Потом он съел немного тмина — все, что у него было в доме съедобного.

Парни быстро спустились с крыши и зашли в саклю.

— Салям алейкум! Шли-шли и решили зайти в гости к богатому человеку.

— Немного опоздали, только сейчас пообедал жирным барашком. Собрался теперь выйти из дома.

— Ты лучше расскажи, где ты собираешь такой душистый, вкусный тмин?

Бедняк понял, что парни все знают, и повесил голову. С тех пор его усы ни разу не блестели от жира.

**ВОСПОМИНАНИЕ.** Однажды в детстве отец сильно наказал меня. Побой я давно забыл, но причину побоев до сих пор помню крепко.

Утром я вышел из дома как будто в школу, а на самом деле свернул в переулок, а потом в другой и до школы в этот день не дошел. С уличными мальчишками я до вечера играл в стукалку. Отец дал мне немного денег, чтобы купить книг, на эти-то деньги я и резался, позабыв все на свете. Деньги, конечно, вскоре кончились, я стал думать, где бы достать еще. Когда играешь в азартную игру и когда отдаешь последнюю копейку, кажется, найдись еще пяточок, и все отыграешь, все вернешь, да еще и выиграешь. Мне тоже казалось, что если я раздобуду немного мелочи, то я отыграюсь.

Я стал просить займы у мальчишек, с которыми играл. Но никто не захотел мне дать. Ведь есть примета: если во время игры дашь займы проигравшемуся игроку, проиграешь и сам.

Тогда я придумал выход. Я стал обходить все дома в ауле. Я говорил, что завтра приезжают пехлеваны и вот мне поручили собирать для них деньги.

Что зарабатывает бродячая голодная собака, бегая от ворот до ворот? Одно из двух — либо кость, либо палку. И мне тоже — одни откazyвали, другие давали. Вероятно, давали мне из уважения к имени моего отца.

Обойдя аул, я подсчитал выручку и понял, что можно продолжать игру. Но и этих несчастных денег не хватило надолго. К тому же во время игры приходилось ползать по земле на коленях. За целый день мои штаны продралась насквозь, а колени исцарапались.

Между тем дома меня хватились. Старшие братья пошли искать меня по всему аулу. Жители аула, которым я наплел насчет приезда пехлеванов, приходили один за другим к нам в дом узнать поподробней насчет их приезда. Одним словом, в то время, когда меня за ухо вели домой, о моих похождениях было известно все.

И вот я предстал перед судом отца. Больше всего на свете я боялся этого суда. Отец оглядел меня с головы до ног. Мои голые, припухшие, красные колени торчали из прорех, как торчат пуховые подушки, когда ими затыкают оконца сакли.

— Что это? — спросил отец как будто спокойно.

— Это колени,— отвечал я, стараясь загородить прорехи руками.

— Колени-то колени, но почему они на виду? Расскажи-ка, где ты порвал штаны.

Я начал разглядывать свои штаны, как будто только сейчас заметил в них изъян. Странная психология лгуна и трусишки: и понимаешь, что взрослые все знают и что бесполезно и смешно отпираться, а все-таки до последнего стараешься увиливать от прямых, правдивых ответов и сочиняешь бог знает что.

В гелосе отца стали появляться грозные нотки. Домашние, зная о характере главы семьи, спешили мне на выручку. Но отец жестом отстранил их всех и снова спросил:

— Ну, так как же ты порвал свои штаны?

— В школе... зацепил за гвоздь...

— Как, как, повтори...

— За гвоздь.

— Где?

— В школе.

— Когда?

— Сегодня.

Отец наотмашь ударил меня ладонью по щеке.

— Скажи теперь, как ты порвал свои штаны?

Я молчал. Отец ударил меня второй раз, по другой щеке.

— Скажи теперь.

Я заплакал.

— Замолчи! — приказал отец и потянулся за плетью.

Я перестал плакать. Отец замахнулся.

— Если сейчас же не расскажешь все, как было, ударю плетью.

Я знал, что такое эта плеть с окаменевшим узелком на конце. Страх перед плетью оказался сильнее страха перед правдой, и я рассказал свои злоключения по порядку, начиная с утра.

Суд окончился. Три дня я ходил сам не свой. Жизнь в сакле и в школе шла как будто бы своим чередом. Но душа моя была не на месте. Я чувствовал, что еще предстоит разговаривать с отцом. Больше того, где-то в глубине души я теперь сам желал и даже жаждал этого разговора. Самым мучительным для меня в эти дни было то, что отец не хочет со мной говорить.

На третий день мне сказали, что отец зовет. Он усадил меня рядом, погладил по голове, расспросил, что проходим сейчас в школе, какие у меня отметки. Потом неожиданно спросил:

— Ты знаешь, за что я тебя побил?

— Знаю.

— За что же, по-твоему?

— За то, что играл на деньги.

— Нет, не за это. Кто из нас не играл на деньги в детстве? И я играл, и твои старшие братья играли.

— За то, что порвал штаны.

— Нет, и не за штаны. Кто из нас не рвал в детстве своих штанов или рубашек? Хорошо, что уцелели наши головы. Ты ведь не девчонка, чтобы ходить все время по тропочке.

— За то, что не пошел в школу.

— Конечно, это большая твоя ошибка: с нее начались все твои несчастья в этот день. За это следовало бы тебя поругать, так же, как за штаны и за игру на деньги. Ну, в крайнем случае я накрутил бы тебе уши. Побил же я тебя, мой сын, за твою ложь. Ложь — это не ошибка, не случайность, это черта характера, которая может укорениться. Это страшный сорняк на поле твоей души. Если его вовремя не вырвать с корнем, он заполонит все поле так, что нигде будет прорасти доброму семени. На свете нет ничего страшнее лжи. Ее нельзя прогнать и побить. Если ты мне солжешь еще раз, я тебя убью. С этого часа ты будешь говорить только правду. Кривую подкову ты будешь называть кривой подковой, кривую ручку кувшина кривой ручкой кувшина, кривое дерево кривым деревом. Ты понял это?

— Понял.

— Тогда иди.

Я пошел, мысленно дав себе клятву никогда не лгать. Кроме того, я знал, что отец в случае чего сдержит свое слово и убьет меня, как бы он мной ни дорожил.

Много лет спустя я рассказал эту историю своему другу.

— Как? — воскликнул друг. — Ты до сих пор не забыл эту свою маленькую, эту ничтожную ложь?!

Я ответил:

— Ложь есть ложь, а правда есть правда. Они не могут быть ни большими, ни маленькими. Есть жизнь и есть смерть. Когда наступает смерть — нет жизни, и, наоборот, пока теплится жизнь, смерть еще не пришла. Они не могут сосуществовать. Одна исключает другую. Так и ложь с правдой.

Ложь — это позор, грязь, помойка. Правда — это красота, белизна, чистое небо. Ложь — трусость, правда — мужество. Есть либо то, либо это, а середины здесь быть не может.

Теперь, когда мне приходится иногда читать лживые произведения лживых писателей, я вспоминаю отцовскую плеть. Как она была бы нужна! Как был бы нужен строгий, справедливый отец, который мог бы пригрозить в нужную минуту: «Если солжешь — убью».

Да если бы только ложь оставалась безнаказанной! Разве не случилось, что наказывали за правду? Разве мало в истории примеров, когда именно за истину страдали люди, именно за истину поднималась над ними бичующая плеть?!

Мне в детстве понадобилось немало мужества, чтобы от слов лжи перейти к словам правды. Но я почувствовал облегчение.

Еще большее мужество требуется для того, чтобы не отказаться от слов истины. Ибо если откажешься от них, то почувствуешь не облегчение, но самые страшные муки — муки совести.

Мужественные не меняют своих убеждений. Они знают, что Земля вращается. Они знают, что не Солнце кружится вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца. Они знают, что на смену ночи обязательно приходит утро, а потом и день, на смену дню — опять ночь... На смену зиме идет весна, а потом и красное лето...

И получается так, что в конце концов плеть совести, плеть чести, плеть истины поражает лжецов и лицемеров и никогда в конце концов ложь не победит правды.

#### ИЗ РАЗГОВОРА НА АУЛЬСКОМ ГОДЕКАНЕ.

— Какое расстояние между правдой и ложью?

— Один вершок.

— Почему?

— Как раз один вершок от уха до глаза. То, что видел своими глазами, — правда. То, что слышал ушами, — ложь.

Так-то так. Конечно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Но писатель должен черпать правду отовсюду: из того, что увидел, из того, что услышал, из того, что прочитал, из того, что пережил сам.

Может ли писатель полагаться только на одни глаза? На жизнь он смотрит глазами, но музыку он слушает, историю своей страны он читает. Иные же писатели на первое место ставят даже не глаза и не уши, а нюх.

Писателю нужны сильные, способные ко всякой работе руки, выносливые ноги, крепкие зубы. А для того, чтобы в увиденном, услышанном или прочитанном он всегда мог отделить ложь от правды, золото от дешевых блесков, зерно от мякины, ему нужны еще ум и знания. Без ума и без знаний человек не может доверять и своим глазам.

Темные горцы из аула, которые ни разу не видели золота, но много слышали о нем, нашли тяжелый сундук. Они подумали: «Раз тяжелый, значит, золотой». Начали драться из-за добычи. Перебили друг друга. Сундук же, оказалось, был из меди.

Талант — огонь. Но огонь в руках дурака может спалить все вокруг. Ум направляет его. Ум седлает даже красоту, как опытный всадник седлает горячего коня.

У горца спросили: что выбираешь — лицо красавца или мудрость старика?

Глупый выбрал лицо красавца, но остался глупым. Невеста ушла от красивенького глупца. Умный выбрал мудрость и благодаря мудрости удержал женщину около себя. Так и в сказке: в седло морского коня посадил красавицу тот, кто выбрал мудрость. В сказках говорится также о трех братьях, о трех дорогах и трех мудрых советах. Кто послушался этих советов, тот возвратился к родному очагу, а кто не послушался, сложил голову на чужбине.

О моя золотая рыбка, дай мне талант, дай мне усердие, дай мне правдивое и горячее сердце юноши и трезвую мудрость старца! Помогите мне выбрать правильную мою дорогу!

Пусть эта дорога будет каменистой, крутой, опасной. Но не хочу извиваться на ней из стороны в сторону, как змея. «Почему змеи кривые?» — спрашивают горцы и сами же отвечают: «Потому что кривы те дырки, те щели, сквозь которые им приходится проползать». Я человек ведь, а не змея. Я люблю высоту, чистоту, я люблю прямые дороги.

Береги меня от болезни и от боязни, от тяжелой славы и от легко-весных мыслей!

Береги меня от хмеля, ибо во хмелю человек все хорошее видит во сто раз лучшим!

Береги меня и от трезвости, ибо в трезвости человек все плохое видит во сто раз худшим!

Дай мне такое чувство истины, чтобы я мог называть кривое кривым, а прямое — прямым!

— Все в мире плохо, и порядка нет! —  
Сказал поэт и белый свет покинул.

— Прекрасен мир,— сказал другой поэт  
И белый свет в расцвете лет покинул.

Расстался третий с временем лихим,  
Прослав великим, смерти не подвластным,—  
Все то, что плохо, он назвал плохим,  
А что прекрасно, он назвал прекрасным.

Некий горец подвесил корове на уши серьги, чтобы потом отличить свою корову от чужих. Некий горец навешал на шею коня бубенцов, чтобы не спутать его с конями соседей. Но плох тот джигит, который и ночью не узнает любимого коня издали.

Вот моя книга. Не хочу нацеплять на нее серьги, бубенцы, украшения. Я не спутаю ее с другими, своими или чужими книгами. Пусть и люди не путают. Пусть каждый, кто прочитает ее, если даже будет оторвана обложка, сразу скажет, что эту книгу написал Расул, сын Гамзата, того, что родом из аула Цада.

Г О В О Р Я Т. Мужество не спрашивает, высока ли скала.

## Сомнения

*Книги, книги мои — это линии  
Тех дорог, где, и робок и смел,  
То шагал, поднимаясь к вершине, я,  
То, споткнувшись, в ущелье летел.*

*Книги, книги — победы кровавые.  
Разве знаешь, высоты беря,  
Ты себя покрываешь славою  
Или кровь проливаешь зря?*

Перевел Н. Гребнев.

Многоязык, многокрасочен Дагестан! Много разных обычаев сохраняют его народы. Об одном обычае мне рассказал татский писатель Хизгил Авшалумов.

Если у горцев не рождаются дети, то муж опоясывает себя шерстяным поясом, чтобы аллах заметил его среди других жителей гор. В то же время горец молился:

— О аллах, не обижай своего бедного раба, пошли ему сына!

Такие же пояса надевали и те, у кого рождались одни только дочери, а также те, у кого рождались хилые, слепые, глухие, хромые, кривые, немые, горбатые, слабоумные дети. Нося такой пояс, горец верил, что аллах в следующий раз пошлет ему крепкого, здорового сынишку, из которого вырастет настоящий храбрый джигит.

Вот меня и берут сомнения: не надеть ли и мне чудодейственный пояс, который носят татцы, сомневаясь в полноценности будущего ребенка? Сыном ли, джигитом ли родится моя новая книга, или выйдет из нее нечто кривое, горбатое, глухонемое?

Впрочем, каждой матери свое дитя кажется прекрасным. Они и видят и в то же время не видят его недостатков. Не получилось бы так у меня с моей книгой.

Я боюсь. И дрожит перо. И сомнения одолевают меня. Не целюсь ли я в кошку, приняв ее за орла? Не седлаю ли я ишака, приняв его за иноходца? Не пытаюсь ли я вытянуть бревно в длину, как это захотели сделать однажды ахалчинцы, не сообразившие, что бревно-то нужно было положить не вдоль, а поперек кровли? Не штурмую ли я крепость в Анде, как это казалось одному хариколонцу, в то время как он сидел у своего очага?

Перед окончанием книги чувствуешь себя, как мясник, который свежует барана и дошел уже до хвоста, но сломался нож. Сумею ли дописать до точки? И что из этого выйдет? Пустую раковину несу я на поверхность из морских глубин или обнаружится в раковине полновесная матовая жемчужина?

Ураган может обломать у дерева сучья или переломить самый ствол. Но весной от корней снова пойдут молодые побеги и вырастет новое дерево. Если же в дереве заведется грибок, съедающий его изнутри, если этот грибок съест корни дерева, то ничто ему уже не поможет. Так ведь и у человека: внешняя, наружная рана, даже перелом костей залечивается быстро, в то время как болезнь, развивающаяся в глубине организма, оканчивается неизбежной смертью. Здорова ли моя книга, надежны ли, крепки ли ее корни?

Книга моя — как подросток. Пора отправлять его в люди, в дорогу, в большой мир. Как встретят его в пути: обругают или обласкают? Накормят и уложат спать или прогонят от порога? Теперь это от меня не зависит.

Поэма окончена. Соткан ковер.  
Но хвастать пока погодите:  
Расправьте углы, оглядите узор,  
Стрежьтесь торчащие нити.

Поэма дописана. Клин яровой  
Запахан, но труд свой вчерашний  
Еще огляди и пройди бороздой —  
Остались огрехи на пашне.

*Перевел Н. Гребнев.*

Книга моя — как ковер, который закончен и разостлан, чтобы увидели его впервые весь сразу. Я вижу на нем много неверных линий, сбивчивых рисунков, невнятных узоров, орнамент кое-где нечеток и крив, но исправить эти ошибки уже нельзя — ковер соткан. Чтобы исправить самую малую его деталь, нужно распускать весь ковер.

Книга моя — как возвращение в аул из далекого трудного пути. Два года не было меня дома. Два года ничего не слышали обо мне жители аула, соседи, кунаки, старики и юнцы. И вот я схожу с коня у крайней сакли и неторопливо веду коня в поводу. Огонь, который горячка поставила на окно, чтобы светил мне в пути, можно теперь убрать. Я возвращаюсь домой. Здравствуйтесь, дорогие земляки! Я возвращаюсь из двухлетнего странствия. Конь постарел за эти два года. У меня тоже прибавилось седины. Я неторопливо веду коня в поводу вдоль улочки аула и всем, кто меня встречает, говорю:

— Асалам алейкум, люди!

— Ваалейкум салам, сын Гамзата Расул! Как проходило странствие твое? Не устал ли? Какова добыча твоя? Что там топорщится в твоих хурджунах?

Мне хотелось бы сказать людям, что я привез им новую книгу. Но книга — такая вещь, что никак ее нельзя передать из рук в руки жителям аула или кому бы то ни было. Сначала она попадает в руки к издателю, и он-то будет решать ее судьбу.

ИЗДАТЕЛЬ, приняв от меня рукопись, взвесил ее на руках, повертел так и сяк, полистал, заглянул сначала на первую страницу, потом сразу на семидесятую, потом в самый конец и отложил рукопись в безопасную сторону.

— Может быть, книга твоя и хороша, но у нас уже сверстаны и утверждены планы на этот и будущий годы. Твоей книги в наших планах нет.

— У меня у самого ее не было в плане. Она пришла неожиданно. Что же мне теперь с ней делать?

— Подавай творческую заявку. Разберемся, обсудим, утвердим. Поставим в план редподготовки. Приходи или позвони в будущем году в это же время.

#### ПИСЬМО АБУТАЛИБА В ИЗДАТЕЛЬСТВО.

«Уважаемое издательство Дагестана! Я — ваш народный поэт, член Президиума Верховного Совета Дагестана. Персональный пенсионер. В этом году мне исполнится восемьдесят пять лет. Я знаю, что, если со мной случится беда и я умру, вы примете решение — выпустить в свет мой двухтомник. Я прошу вас издать одну мою книгу сейчас, пока я жив. Вместо тех двух томов, которые вы собираетесь издавать после моей смерти. С приветом. Абуталиб».

Это заявление — из мирных, из добрых. Но бывают заявления, в которых жалуются. Бывают заявления, в которых проклинают. Бывают заявления, в которых хвастаются. Бывают заявления, в которых льстят. Бывают заявления-вопли и заявления-окрики.

Самые страшные заявления не те, которые пишут издателям, а те, которые пишут на издателей. Издателя же тоже нужно понять. Если на стуле место только для одного человека, то на него нельзя сесть троем или четверым. Двоим, заняв по половинке, и то неудобно сидеть, тем более если долго. Один говорит: «Почему вы издаете Ахмета, а меня не хотите издать? Разве я хуже?» Другой кричит: «Моя книга лучше всех книг, которые вы издали за последние годы. Почему опять не поставили меня в план?»

Но я не хочу ругаться с издателями. Я готов подождать. Я знаю, что у издателей всегда не хватает бумаги. Куда девалась бумага? Ее портят писатели, и я в том числе. Зачем же я буду ругаться! Правда, иногда вместе с порчей на бумаге создается такое, что переживает потом и писателя и издателя. О, я хотел бы, чтобы на какой-нибудь клочок бумаги попали такие мои слова, от которых бы, как от живой воды, бумага снова превратилась в то зеленое, полнокровное дерево, из которого она была некогда произведена.

Нет, я не хочу ругаться с издателем. Я ему мирно говорю:

— Вы стоите между мной и моими земляками из аула, между мной и моими читателями из Москвы, между мной и моими читателями из других городов. Ведь вы — наш посредник и связующее звено. Ну, пожалуйста, я прошу вас, содействуйте тому, чтобы мы дотянулись и чтобы наши руки встретились в дружеском рукопожатии. Пожалуйста, я прошу...

Издатель уступает моим тихим просьбам, и я тотчас попадаю в руки редактора.

#### РЕДАКТОР.

«Сокращать» — написано на его дверях.

Издатель говорил: «Зайди через год». Редактор назначил срок три недели. Этому сроку я даже обрадовался: успею пока что рассказать вам три маленькие истории.

КАК РЕДАКТОРА В ОКНО ВЫБРОСИЛИ. Один аварский поэт принес в редакцию газеты стихи, чтобы опубликовать их в новогоднем номере. Стихи понравились. Газета их напечатала.

Как раз собрались у счастливого поэта друзья. Поэт торжественно развернул газету и вслух стал читать стихи. Вдруг он побледнел, схватился левой рукой за сердце, как будто в сердце попала стрела. Газета

выпала у него из рук. Друзья бросились, поддержали, дали попить. Когда поэт пришел в себя, выяснилось, что же его сразило. Оказывается, в стихотворении не хватало четырех строк. Поэт побежал в редакцию.

— Кто зарезал четырех лучших моих баранов из тех, что я выпустил пастишь на просторные луга вашей газеты? Кто сократил четыре моих строки?

Редактор газеты спокойно ответил:

— Я выбросил... Ну и что?

— Зачем ты их выбросил?

— Пришел срочный материал, не хватало места.

— Но если ты можешь без разрешения поэта выбрасывать из его стихотворения строки, то я тебя самого выброшу сейчас в окно.

У поэта была горячая горская кровь. Он схватил редактора за шиворот, за ноги и действительно выбросил в окно. Дело, правда, было на втором этаже и под окном была мягкая клумба. На суде поэт говорил:

— Кровь за кровь! Зуб за зуб! Он отредактировал меня, я отредактировал его!

«Отредактированный» редактор, говорят, по-прежнему сокращает стихи (без этого, наверное, не может быть редактора), но все же он спрашивает теперь разрешения поэтов.

**ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.** Мой отец написал две пьесы: «Сапожник» и «Свадьба Кодолава». Сначала они побывали в театре, потом в отделе культуры, а потом ушли в Управление искусств Дагестана. Отец точно знал, что они туда ушли и никуда оттуда не вышли. Но в то же время и там их не оказалось.

Как чабан, несмотря на ночную непогоду, отправляется в горы искать отставших овец, так отец пошел разыскивать свои пьесы.

В управлении сидел человек, занимавшийся только одними пьесами. Он тоже назывался редактором. Больше часа разговаривал с ним отец и вдруг почувствовал: как только заговорят о погоде, о пастбищах, об овцах, лошадях и коровах, так получается живой разговор, а как только разговор касается литературы, драматургии, так отец ничего не может понять. А между тем редактор все время пытался говорить о драматургии, давал отцу наставления, поучал его, как нужно писать хорошие пьесы. Отец не выдержал и спросил напрямик, кто этот человек, с каким образованием, кем работал до Управления искусств Дагестана.

— Образование у меня высшее,— не без гордости ответил редактор.— А по специальности я ветеринар. Назначен вот теперь на эту работу.

— Но разве мои пьесы коровы, что ты пытаешься их лечить! Почему поэт никогда не дает советов ветеринарам? А поэту дают советы все, кто захочет.

Неужели и моя книга попадет в руки редактора, который в прошлом был ветеринаром и ничего не смыслит в литературе.

**АБУТАЛИБ И РЕДАКТОР.** Рукопись Абуталиба редактор исклевал, как ворон тело воина, павшего на поле битвы. В исклеванном виде пришла к Абуталибу корректура. Абуталиб прочитал и удивился:

— Мою зеленую поляну затоптали кони. Там, где были цветы, теперь болота. Если школьник сделает несколько ошибок в диктанте, эти ошибки исправляет учитель. Кто же тот учитель, который знает, что в моей жизни было правильно, а что неправильно?



Абуталиб стал внимательно вчитываться в корректуру и вдруг воскликнул:

— А, я знаю, из какого аула мой редактор! Он хочет исправить мою книгу под диалект своего аула. Но диалектов много, а язык один, а народ один! Если каждый редактор будет тянуть в сторону своего аула, мы никогда не построим аул нашей поэзии.

Мой редактор, помни, что, кроме твоего аула, есть еще на свете земля и есть, кроме тебя, другие люди. В сущности, у нас с тобой не может быть разногласий. Я учту твои замечания, если они пойдут на пользу. Но ты должен помнить, что моя песня мне так же дорога, как дорога была кровнику жажда мщения. Это я не сейчас придумал. Так начиналось одно мое стихотворение, написанное в молодости.

В своей груди, как месть заветную,  
Я нес тепло и холод строк.  
Я песню, как любовь запретную,  
От взглядов пристальных берег.

Я, слабую, ее выхаживал,  
Ловил ее далекий крик,  
Я рифмы звонкие прилаживал,  
Как шестеренки часовщик.

Из множества одно созвучие  
Старался выбрать для строки.  
Так в кладовых для гостя лучшие  
Мы выбираем бурдюки.

Я ночью отправлялся в странствия  
И краски тасовал с утра,  
Как женщины табасаранские  
Цветную пряжу для ковра.

Могли другие петь умелее,  
Я, к сожаленью, не умел.  
Не знаю, достигал ли цели я,  
Все то сказал ли, что хотел.

Но пусть стихи плохие самые —  
Вся жизнь моя в словах моих.  
Зачем же вы, редактора мои,  
Стараетесь ухудшить их?

С моими отпрысками справиться  
Чужим отцам не по плечу.  
Скажите, что вам в них не нравится?  
Им сам я уши накручу.

*Перевел Н. Гребнев.*

В то время я написал пьесу «Горянка». Она шла в нескольких театрах Дагестана, и вот что произошло с этой пьесой.

В конце спектакля по ходу дела герой убивает героиню. Мне было жалко мсю горянку, моя рука дрожала, когда я писал сцену убийства, и сердце обливалось кровью. Но я ничего не мог изменить. Течение событий само подводило к тому, что горянка должна быть убита. Аварский театр так и поставил спектакль, и хотя зрители печалились и жалели героиню больше даже, чем я сам, все они понимали, что иначе быть не могло.

В даргинском театре пьесу подредактировали. Вместо того, чтобы девушка была убита, ей отрезали косу. Конечно, это очень позорно, когда горянке отрезают косу, может быть, даже это хуже смерти, но все-таки и не смерть.

На сцене кумыкского театра решили не убивать и не резать косы, не ослепить. Конечно, это ужасно. Может быть, это ужаснее, чем убить или отрезать косу, но все-таки горянка оставалась жива и с косой, ибо так захотели в кумыкском театре.

Чеченцы в своем театре поступили всех проще. «Зачем убивать,— решили они,— зачем отрезать косу, зачем ослеплять. Пусть героиня остается жива-здорова».

Так каждый режиссер переделал пьесу по своему образу и подобию. Никто не подсказал им, что, жалея и спасая героиню, они тем самым убивают пьесу и не жалеют зрителей, не говоря уж о драматурге.

О Т Е Ц, когда пришла в наш аул газета, в которой были опубликованы его стихи, сказал:

— Как видно, мое стихотворение побывало в руках телетлинцев. Ни одного живого места не осталось в нем.

М А Х М У Д... Махмуд ничего не сказал, потому что при жизни не было издано ни одной его книги. Но если бы он увидел, как переделал его стихи такой вот редактор, он бы умер вторично.

По горной тропинке нельзя ехать на современном автомобиле. Как же я могу сказать, чтобы редакторы не трогали меня, если они, случается, трогают даже мертвых?

Н О, М О Й Р Е Д А К Т О Р, не принимай все, что я рассказал, на свой счет. Я знаю и редакторов другого сорта, тех, что приходят к писателю как мудрые и тонкие советчики. Я знаю, что и ты такой. Работать с тобой кажется приятным отдыхом и покоем. Будь спокоен, я не оставлю без внимания ни знака восклицательного, поставленного тобой на полях моей рукописи и выражающего твой восторг, ни знака вопросительного, выражающего твое недоумение, ни «птички», выражающей твою волю исправить строку, чтобы книга сделалась лучше.

Наверно, есть в моей книге строчки, которые не укреплены как следует и качаются, подобно больному и старому зубу. Наверно, есть и повторы. Умоляю тебя, найди, заметь, подскажи. Одна голова хорошо, а полторы лучше! У нас же будет, я надеюсь, две равноценных головы, четыре руки, дело у нас пойдет на лад! Лучше драка сегодня, чем ссора завтра. Лучше один раз подраться, чем всю жизнь ссориться. А главное, бойся меня перехвалить.

Один охотник похвалил зайца за то, что тот не испугался и выскочил на открытый бугор. Охотник даже не стал стрелять. Зазнавшийся заяц выскочил на бугор и перед другим охотником. Но у другого охотника был и другой характер. Нетрудно догадаться, что из этого вышло.

Я знаю, что твой труд, в сущности, неблагодарен. Когда читатель берет в руки книгу, он смотрит, кто ее написал, кто нарисовал картинки, но никогда он не смотрит, кто был редактором книги. Так уж устроен человек!

Принято считать, что поэт говорит от имени народа. Но, оказывается, и редактор говорит иногда от его же имени. Однажды я принес в редакцию лирическое стихотворение о своей любимой. Редактор отложил это стихотворение в сторону и сказал, что напечатать его не может.

— Почему?

— Народ это читать не будет. Зачем народу стихи о твоей жене! Тотчас я сочинил восьмистишие:

В журнале о тебе стихов  
Не приняли опять,

Сказал редактор, что народ  
 Не станет их читать.  
 Но, между прочим, тех стихов  
 Не возвратили мне,  
 Сказал редактор, что возьмет  
 Их почитать жене.

*Перевели Е. Николаевская и И. Снегова.*

МОЙ ОТЕЦ ГОВОРИЛ, что писатели и поэты похожи на шоферов, которые умеют ездить и ездят вообще-то правильно, но иногда ошибаются и «нарушают». Редакторы в этом случае похожи на милиционеров. Отец задумывался и говорил:

— Как ты думаешь, трех милиционеров на одного шофера не многовато ли?

Но и совсем без милиционеров тоже нельзя. В одной компании поднимали тосты за каждого человека в отдельности. Был там и милиционер. Тамада провозгласил тост за милиционера. Вдруг председатель потребсоюза отставил рюмку и сказал:

— При коммунизме милиционеров не будет. Это — явление отживающее. Зачем же за него пить?

Милиционер ответил:

— Сохранятся ли при коммунизме милиционеры, зависит от того, сохранится ли там потребсоюз.

Но, кроме шуток, сказать ли тебе, мой редактор, какие мгновения я больше всего люблю? Когда мы сидим с тобой уже не за рабочим столом, среди бумаг, а за обыкновенным столом, который накрыт со знанием дела. Уже позади, тоже, впрочем, приятные, моменты, когда ты пишешь на моей рукописи: «В набор!» А потом — «В печать!». А потом — «В свет!». И книга по мановению твоей руки действительно идет то в набор, то в печать, то в свет. Ведь подумать только, какие слова ты пишешь: В СВЕТ! За одно это прощаются тебе все твои грехи. За одно это стоит поднять бокал. Напиши же скорей эти слова, и я подарю тебе самый первый экземпляр книжки со своим, конечно, автографом.

Конечно, я хотел бы, чтобы скорее наступило такое время, когда исчезнут в мире все тайны. Но разве поэт тот, кто не открывает людям никакой тайны, то есть того, что они до него не знали? Я, поэт, приходя в мир, приоткрываю завесу с пространства и времени точно так же, как жених откидывает покрывало с лица невесты. Один только жених имеет право сделать это на свадьбе, после чего лицо невесты видят все. Только поэт способен сделать это в жизни, и люди познают действительность, и удивляются ей, и удивляются тому, чего не видели раньше: красоте мира или красоте человеческой души, которые противостоят силам зла.

Прошу тебя, редактор, не давай болтунам выбалтывать, чего не следует, но и не закрывай того, что открою я, как поэт. Не ставь под сомнение мои узоры, орнаменты, рисунки! Если даже есть в узоре моего ковра какая-то ошибка, не делай так, чтобы ее замазали чернилами или выстригли, — получится либо клякса, либо дыра.

Кроме того, не называй какую-нибудь мысль неправильной только за то, что она не похожа на твою!

Кроме того, на весах вешают хлеб, сахар, масло, гвозди, но не любовь!

Кроме того, метром меряют ситец, высоту комнаты, ограду на могиле, но не красоту!

Кроме того, тот, кто старается быть самым умным, окажется даже глупее, чем он есть на самом деле!

Кроме того, я тоже взрослый человек, и хотя бы немного, хотя бы кое в чем доверьте мне!

Я понимаю, что у одного человека секретов больше, у другого меньше, ибо еще...

**АБУТАЛИБ СКАЗАЛ.** Если вода протухнет, то не увидишь дна, хотя бы воды было не выше колена.

**ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.** Когда я был маленьким, меня считали самым болтливым из всей семьи. То, что я услышу на улице, обязательно расскажу дома. То, что я услышу дома, обязательно расскажу на улице.

К отцу время от времени приходил один старик. Он оглядывался по сторонам и важно говорил шепотом:

— Гамзат, нельзя ли на пару слов в другую комнату?

Они уходили в другую комнату и о чем-то шептались. Так случилось несколько раз. Однажды старик пришел снова.

— Гамзат, нельзя ли в другую комнату на пару слов?

— Э, полно! — ответил отец. — То, о чем ты мне шепчешь по секрету, можно рассказывать даже при нашем Расуле. Так что говори вслух и не бойся.

Да, я с детства не любил тайн. Песни поют открыто и громко, поднимаясь на высокое место, чтобы слышало песню как можно больше людей.

Кроме того, не за каждое слово отвечаю я сам. У меня ведь есть еще переводчик.

### ПЕРЕВОДЧИК.

Я аварец, таковым родился и другим мне не быть. Первые люди, которых я увидел, открыв глаза, были аварцы. Первые слова, которые я услышал, были аварские. Первая песня, которую мне пропела над колыбелью мать, была аварская песня. Аварский язык сделался моим родным языком. Это самое драгоценное, что у меня есть, да и не только у меня, но у всего аварского народа.

Аварцев немного, всего лишь триста тысяч. Но это и не мало. В Дагестане есть поэты, пишущие стихи на языке, на котором говорят две тысячи человек.

Государственная граница разделяет людей, но еще больше разделяют их языки. Границы, бывает, меняются и даже совсем отменяются или превращаются в чистую формальность. Язык же дан народу на вечные времена, и его невозможно ни заменить, ни отменить.

Трудно представить себе то время, когда аварцы жили без Пушкина, не читали Лермонтова, ничего не слышали о Толстом, не наслаждались чтением Чехова.

**ОТЕЦ ГОВОРИЛ.** Великое счастье, что и в горах выросло дерево Пушкина, на котором, сколько его ни тряси, не кончаются сладкие, сочные плоды.

**АБУТАЛИБ ГОВОРИЛ.** Спасибо тем, кто привел ко мне, в полутемный подвал, дорогого Чехова! Спасибо и тем, кто мои песни из подвала вывел к стенам московского Кремля!

А Я ГОВОРЮ. Не склонился Кавказ перед генералом, но склонился перед стихами молодого поручика.

У меня был курьезный случай. Должна была выйти в Дагестане моя книга в переводе на русский язык. Избранные произведения — стихи и поэмы. Редактор полистал рукопись и говорит:

— А почему ты не включил сюда «Полтаву»?

— Но это же не моя поэма, ее написал Пушкин, а я лишь перевел на аварский язык. Как же я могу поэму Пушкина включать в свой сборник на русском языке!

Не будем строги к редактору. Но ведь и правда, что к многим хорошим произведениям, переведенным с другого языка, аварцы привыкли, как к родным, аварским, и уже нельзя представить себе без них нашу аварскую литературу.

Я знаю, что за глаза обо мне иногда говорят: «Ну что же — Расул, он, конечно, способный человек, но не очень. Для него много сделали московские переводчики».

А я и не буду отрицать. Действительно, если бы не переводчики, не было бы и меня.

Они, во-первых, дали мне возможность узнать Гейне, Бернса, Шекспира, Саади, Сервантеса, Гёте, Диккенса, Лонгфелло, Уитмена и всех, кого я прочитал в своей жизни и без кого я не стал бы писателем.

Они, во-вторых, открыли дорогу моим стихотворениям. Они перевели их через бурные реки, через высокие горы, через толстые стены, через пограничные посты и через самые прочные границы — через границы другого языка: через глухоту, через слепоту, через немоту.

Я спрашиваю иногда себя, что важнее — чтобы переводчик знал мой язык (но, может быть, ему чужда моя поэзия) или чтобы он знал и понимал мою поэзию своей душой, своим сердцем и считал ее как бы своей?

В 1937 году в Махачкале проводился конкурс на лучший перевод стихотворения Пушкина «Деревня». Сорок поэтов перевели это стихотворение на аварский язык. Большинство из них знало русский. Но все же первую премию получил Гамзат Цадаса, не владевший в то время русским языком.

Надо, чтобы переводчик тоже был поэтом, писателем, художником. Надо, чтобы он чувствовал себя сыном своего народа, как я чувствую себя сыном своего.

Есть русские люди, которые умеют читать по-аварски, но они, увы, не поэты. И есть русские поэты, которые, увы, не умеют читать по-аварски. Как же быть? Что делать? Приходится обращаться к подстрочнику.

Я видел, как в русских деревнях перевозят из одной деревни в другую бревенчатые дома. Избу нельзя перевезти целиком. Ее сначала разбирают по бревнышку, по планочке, а потом собирают на новом месте.

Подстрочник — это изба, разобранный для перевозки. Это — груда бревен, досок, кровельного железа, кирпича. Переводчик из этой бесформенной груды собирает новую избу. Если бревно подгнило, он его заменит, если доска потерялась в дороге, он поставит новую доску. Если обломались узоры у резного наличника, он подновит узор.

И протрут оконные стекла, и разведут в печи огонь, чтобы дымок шел из трубы, и ребятишки выбегут на крыльцо, и под застрехой заведутся ласточки.

Что такое подстрочник? Человек, у которого погасли зрачки и остановилось сердце. Но приходит врач, делает укол, переливает кровь, массирует сердечную мышцу, и в человеческое тело возвращается теплая жизнь.

Что такое подстрочник? Кумуз, у которого на время спущены струны. Очаг, в котором на время погашен огонь. Птица, у которой на время подрезаны крылья.

Что такое подстрочник? Один парикмахер подстриг, побрил меня, уложил мне волосы и сказал:

— Ну вот, пришел ты ко мне как подстрочник, а уходишь как перевод.

Если уж речь зашла о парикмахерской, расскажу еще один случай.

Это было на Кубе, в городе Сантьяго. С дороги я решил подстричься и побриться. Я зашел в парикмахерскую и знаками показал, что мне нужно.

На Кубе, когда бреют, тебя укладывают в кресло, как в кровать. Уложили и меня. Начали намыливать. И все шло хорошо, пока бритва кубинца не коснулась моей щеки. То ли бритва была очень тупа, то ли мастер был плох, но я едва не кричал от боли. Некоторое время я терпел, но потом понял, что все равно не вытерпеть до конца, и, говоря то по-русски, то по-аварски, начал показывать себе на щеки. Парикмахер испугался, убежал и вскоре возвратился, ведя человека в белом халате. Человек раскрыл свой чемодан и начал раскладывать инструменты, которыми выдирают зубы. Вместо кресла брадобрея я вдруг очутился в кресле дантиста. Вот что произошло из-за того, что мы с парикмахером не поняли друг друга. Еще бы немного, и я лишился бы своих здоровых зубов.

Переводчики частенько выдирают у стихотворения все зубы и пускают гулять его по свету с пустым, шепелявым ртом.

**ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.** Когда уезжаешь за границу, берешь какие-нибудь национальные изделия для того, чтобы подарить кому-нибудь в благодарность за гостеприимство. В Японию я взял, например, несколько красивых кувшинов, сделанных искусными руками балхарских мастеров.

В Хиросиме ко мне в гости пришли японские художники — муж и жена. Мы долго беседовали и почувствовали себя друзьями. «Кому, как не художникам, подарить художественные балхарские изделия», — подумал я. Смело я открыл свой чемодан и ужаснулся — от моих кувшинов остались одни черепки. Было похоже, что по ним колотили молотком, на такие мелкие части они рассыпались. Может быть, мой чемодан слишком небрежно швыряли грузчики на аэродроме в Москве, или на аэродроме в Индии, или на аэродроме в Токио — я не знаю. Но я готов был провалиться сквозь землю, ибо уже пообещал подарки и японцы сидели за столом в выжидательных позах и начали смотреть на меня с недоумением, потому что я как застыл над чемоданом, словно вкопанный, так и не мог ни пошевелиться, ни сказать слова.

Наконец мои японцы поняли, что стряслась какая-то беда. Они подошли. Увидели черепки. Покачали головами и начали меня утешать, похлопывая по плечу. Этот жест в другое время были бы недопустим для японцев, потому что они прекрасно воспитаны и не терпят фамильярности. Но, значит, очень уж я был огорчен и растерян.

Я собрал черепки в газету и хотел выбросить их в урну. Но художники не дали мне этого сделать. Они бережно завернули все до единого черепочка и унесли домой.

Через несколько дней я был приглашен к художникам в гости. Каково же было мое удивление, когда я увидел свои кувшинчики целыми и невредимыми, как будто они только сейчас с гончарного круга. Я до сих пор не могу понять, как можно было так ловко склеить разбитое вдребезги.

Говорят, треснутый кувшин целым не сделаешь, все равно из него будет вытекать вода. В кувшины, склеенные японцами, мы наливали и дагестанский коньяк, и японскую sake — не просочилось ни одной капли.

Глядя на японских художников, я вспоминал своих лучших переводчиков. Подстрочники моих стихов выглядели как черепки от разбитого кувшина. Потом их склеивали, и они получались как новые, и аварские узоры как ни в чем не бывало украшали их.

Конечно, переводчик не должен приделывать к кувшину ручку, которой у кувшина не было. Или вместо одного дна делать два.

Не так давно дагестанское издательство издало «Хаджи-Мурата» в новом переводе на аварский язык. Я стал читать и вижу, что «Хаджи-Мурат» стал на две главы длиннее. Я спросил у переводчика:

— Откуда взялись две главы?

— Но ведь Толстой написал эту повесть еще до Октябрьской революции. Там есть неправильные взгляды на вещи. Кроме того, нужно было рассказать читателям о дальнейшей судьбе головы Хаджи-Мурата и потомков Хаджи-Мурата.

**ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.** Одно стихотворение отца перевели на русский язык. Переводчик, как видно, попался неопытный. Отец попросил человека, знающего и по-аварски и по-русски, снова перевести это стихотворение, рассказать его содержание. Когда это было сделано, отец воскликнул:

— Вернулся мой сын из далекого путешествия, и я не узнал своего сына. Нет, пусть уж лучше мои дети сидят дома в горах, чем попадать в такую переделку.

Да, переводы стихотворений похожи на сыновей, которых родители отправляют из аула учиться или работать. Конечно, в любом случае сыновья возвращаются немного не теми, какими покинули родное гнездо.

Но вернуться сын может либо приобретшим, либо утратившим, либо с дипломом, либо с судимостью, либо крепким физкультурником, либо хилым, больным, либо со славой ученого, либо со славой ловеласа, либо с дорогими подарками всем родным, либо без последних штанов.

И я свою книгу посылаю в далекий путь по большим городам, в люди. Как она будет вести себя в чужих местах? Изменит ли она своему народу, своей папаче?

Я понимаю, что плохой человек («яман»), сидящий на горе, не превратится в хорошего («якши») оттого, что спустится в долину. Поэтому я прошу того, кто будет переводить мою книгу: если она «яман», пусть останется таковой. Если я хром и слеп, не уводите меня под руки из моего дома, оставьте меня сидеть у моего очага, на моем пороге. Не лудите моей медной посуды, не золотите моего серебра!

#### **АБУТАЛИБ РАССКАЗАЛ:**

— У меня есть дочка и сын. Дочка воспитанная, дисциплинированная, примерная. А сын — сорванец и озорник. О дочке говорят по радио, пишут в газетах, ибо она ударница. На сына же каждый день приходят жалобы то из школы, то из милиции. Про дочь говорят, что ее воспитала школа, пионерская дружина, комсомол, страна. Про сына говорят, что его так дурно воспитал народный поэт Дагестана Абуталиб.

Услышав этот рассказ, я подумал: то же бывает с переводами стихотворений. Если переводы хорошие, хвалят автора, забывая того, кто перевел. Если переводы плохие, ругают переводчика, а имя автора стараются не поминать.

Нет уж, друг-переводчик, и за хорошее и за плохое давай отвечать вместе. У нас теперь одна арба на двоих. Давай ее толкать в гору дружно, а не тянуть каждый в свою сторону. А то и арба и мы вместе с ней не сдвинемся с места.

Удивительное событие произошло как-то у нас. Большая гора вдруг стронулась и поползла вниз. Она остановилась недалеко от аула Мохоц, перегородив горную речку. Отары, чабаны, костры чабанов, шалаши чабанов мирно, без всякого вреда пропутешествовали вместе с горой. Теперь она стоит такая же, как была, но только около подножия ее образовалось озеро, а в озере развелась форель. Никто никогда не ездил на эту гору, пока она стояла на старом месте, а теперь вокруг нее всегда туристы, экспедиции, рыболовы, экскурсии школьников.

Пусть и моя книга пропутешествует в новый для нее язык без вреда. Пусть и она привлечет к себе потом людей, как гора недалеко от аула Мохоц.

А впрочем, как говорят мусульмане, что на роду написано, тому и быть. Это, наверно, соответствует русской поговорке: мы предполагаем, а бог располагает. Или еще короче: от судьбы не уйдешь.

**КРИТИК.** О нем писать труднее всего. Будешь ругать, подумают, что недоволен его критическими замечаниями и даже стараешься свести счеты. Будешь хвалить, подумают, что задабриваешь на будущее.

**ОТЕЦ ГОВОРИЛ.** Мы с критиком оба поэты. Я пишу стихи, а он пишет о моих стихах.

**АБУТАЛИБ СКАЗАЛ** одному дагестанскому критику:

— Я делаю вино из винограда, а ты мое вино пробуешь на вкус.

Я воздержусь от высказываний о критике, но несколько советов ему хотелось бы дать.

1. Плохое всегда называй плохим, хорошее называй хорошим.
2. Если похвалишь, то потом не ругай то же самое; если поругаешь, то потом не хвали.
3. Не старайся сделать из мухи слона, но еще менее тщись превратить слона в муху.
4. Говори о том, что в книге есть, а не о том, чего в ней нет.
5. Не призывай авторитеты, начиная с Белинского, чтобы утвердить и подтвердить свои мысли. Если эти мысли действительно твои, старайся утвердить их собственным разумом.
6. Ясные мысли выражай ясным и понятным языком. Неясные мысли не выражай вовсе.
7. Не будь флюгером, который колеблется вместе с ветром.
8. Не старайся внушить другим то, чего не понимаешь пока что сам.
9. Если у тебя в кармане нет ста рублей, то не притворяйся, будто ты их имеешь.

10. Если ты давно не был в родном ауле и не знаешь, как там идут дела, не утверждай, будто только что возвратился из родного аула.

Эти мои пожелания не новы. Они похожи на первую строку таблицы умножения. Однако если бы каждый критик их добросовестно исполнял, у нашей критики было бы куда больше достижений.

**ЧИТАТЕЛЬ.** Поговорил я с редактором, с издателем, с переводчиком, с критиком. Хочу сказать теперь несколько слов главному, для кого пишется всякая книга, — читателю.

Читатель, мой друг! У тебя, конечно, есть свои любимые книги. Есть они и у нас — писателей. Говорят, что самая главная книга писателя та, которую он еще не успел написать, но которую обязательно напишет. Не знаю, насколько это верно для всех других, но для меня — в самую точку.



Да, я давно мечтаю написать книгу о родной земле. Давно я вынашиваю замысел, но написать все никак не мог. Может быть — не хватает таланта, может быть — мешает ежедневная суета, может быть — не хватает терпения, может быть — не хватает смелости.

С годами увеличивается ответственность перед самим собой и перед читателем и рука не так отважно хватается за перо по каждому поводу. Книга о родной земле — самая ответственная из всех книг.

Книгу эту я еще не написал, но я много думал о ней и теперь хорошо знаю, какой она должна быть. Свои раздумья об этой книге — о главной книге моей жизни — я и решил запечатлеть на бумаге.

Это еще не черкеска, но материал для черкески. Это еще не ковер, но лишь нитки для ковра. Это еще не песня, но лишь то биение сердца, от которого песня должна родиться.

ГОВОРЯТ. Если ты даже не молился, но лишь подумал о том, что неплохо бы помолиться, то за одно это не попадешь в ад.

ГОВОРЯТ. Кунак кунаку чем богат, тем и рад. Если в сакле у кунака одна только буза, разве гость обидится, что его не угощают заморским вином, которого нет ни в сакле и нигде поблизости?

ГОВОРЯТ. Если даже ты не сделал ничего хорошего, спасибо за то, что собирался сделать.

Читатель, мой друг, каждая книга пишется для тебя. Я могу убеждать издателя, могу спорить с редактором, с критиками. Но только твой приговор — настоящий и последний. Он, как говорят судьи, обжалованию не подлежит.

Писатель живет только для встречи с тобой. Всей моей жизни сопутствуют три больших волнения. Сначала я волнуюсь перед встречей с тобой, в ожидании, в предположении, какой эта встреча будет. Потом я волнуюсь во время самой встречи, что естественно и понятно. Наконец, я волнуюсь после встречи, живя воспоминаниями о ней и стараясь себе представить, какое впечатление я произвел.

Я вижу разные лица читателей. Один наморщил лоб. Где же мне взять слова, чтобы разгладить эти морщины? У другого на лице мина, как будто в рот попало что-то неприятное, несъедобное. У третьего выражение скуки — самое страшное, самое безнадежное, что может быть.

У ГОРЦЕВ СПРОСИ ЛИ. Зачем вы строите свои аулы далеко, в труднодоступных горах? До вас почти невозможно добраться, да и опасно: эти тропинки над пропастями, эти горные осыпи и обвалы. Горцы ответили: «Хорошие друзья доберутся до нас и по плохим дорогам, пренебрегая опасностями, а плохие друзья нам не нужны».

Читатель, мой друг, мне сорок четыре года. В этом возрасте человеку можно поручать любые ответственные дела. В этом возрасте писатель должен отвечать за каждое свое слово.

Если в моей книге ты увидишь мысль, которая ночевала уже раньше в чьей-нибудь другой книге, выбрось ее из своего сознания, как когда-то в горах выбрасывали невесту после свадебной ночи, если она не сберегла до времени своей чести.

Если в моей книге ты найдешь верную мысль, подчеркни ее. Если же найдешь неверную — подчеркни дважды.

Если же ты обнаружишь хотя бы крупичу лжи, не медли, выбрось всю книгу целиком — она никуда не годится.

Расскажу на прощание еще одну притчу.

ПРИТЧА О БОГАТОМ ХАНЕ, О ЕГО СЫНЕ И О ХИНКАЛАХ ИЗ КУРДЮКА С ЧЕСНОКОМ. Некогда жил в Аваристане богатый хан. Трижды женился он в стремлении иметь сына, но ни одна жена не родила ему не только наследника, но даже дочери. Пришлось хану жениться в четвертый раз.

Скоро ли, долго ли, родился у хана сын. Радости не было конца. Били в барабаны, трубили в бубны, плясали, пели. Пировали три дня и три ночи.

Но недолго прожила радость в роскошном ханском дворце. Вскоре сын заболел, и никто не мог определить, что за болезнь. Какие бы колыбельные песни ему ни пели, он не спал. Какие бы яства ему ни давали, он не ел. И все видели, что дни его сочтены. Ни доктора из заморских стран, ни индийские талисманы, ни тибетские травы не могли излечить единственного наследника. А хан, наверно, не пережил бы его.

И вот пришел к хану простой бедняк из ближнего аула, которого никто не считал за человека. Он заявил, что знает средство и может спасти наследника. Приближенные хана хотели вытолкнуть бедняка, но хан их остановил. «Так и так сын умрет,— подумал хан,— отчего же не попробовать последнего средства».

— Что тебе нужно для того, чтобы спасти моего сына?

— Мне нужно побыть с твоей женой наедине.

— Как? Наедине?! С моей женой!! Да ты с ума сошел! Вон с моих глаз!

Бедняк повернулся и пошел, а хан подумал: «Так и так сын умрет. Какой мне будет вред, если он поговорит с моей женой с глазу на глаз».

— Эй, бедняк, воротись, мы передумали. Тебе разрешается говорить с моей женой.

Когда бедняк и ханша остались вдвоем, бедняк спросил:

— Ты хочешь, чтобы твой сын был жив и здоров?

Ханша вместо ответа упала на колени.

— Тогда скажи: кто его настоящий отец?

Глаза ханши забежали из стороны в сторону.

— Не стесняйся. Наш разговор мы унесем в могилу. А иначе сын не выживет.

— Хан очень хотел сына. Я знала, что если не рожу, то меня прогонят, как прогнали уже других. И вот я поехала в горы и спала там с простым молодым чабаном, и после этого родился наследник...

— О высокий хан,— возвестил лекарь после этой беседы.— Я знаю средство, которое спасет твоего сына. С этой минуты его колыбель должна стоять около костра, подобного тому, какой разводят чабаны в горах. Постлать ему в колыбель нужно овечью шкуру, а кормить его нужно только пищей, которую едят твои чабаны.

— Но... они едят хинкалы из жирного курдюка с чесноком. Как же может мой наследник... годовалый ребенок...

Бедняк повернулся и пошел. «Так и так сын умрет»,— подумал хан и велел принести блюдо с хинкалами.

Ханша сама взялась готовить еду. Она готовила хинкалы так, как готовила их тогда в горах молодому богатырю перед той ночью, лучшей из всех ее ночей. Она поставила деревянное блюдо перед сыном так же, как поставила тогда блюдо перед чабаном.

Хинкалы были большие и круглые, как булжники. Вареные курдюки источали жир. Отдельно в кувшине была подана родниковая горячая вода.

Как только запах чеснока и вареного жира коснулся ноздрей наследника, он открыл глаза и поднялся, воспрянул и вдруг обеими ручонками схватил самый большой хинкал. С этого мгновения сила отца начала переливаться в ребенка. Он пожирал хинкалы, как оголодавший лев. Он рос не по дням, а по часам и вскоре превратился в стройного здорового молодца. От болезни, конечно, не осталось и следа.

Может быть, и не было такого случая на самом деле, но я знаю одно: когда литература перестанет питаться пищей своих отцов, а перей-

дет на иные, изысканные заморские блюда, когда она переменит нравы и обычаи, язык и характер своего народа, когда она изменит им, она захиреет и зачахнет, и не помогут ей никакие лекарства.

На этом, пожалуй, я закончу. Начал в теплое летнее время, а теперь уж зябкая осень. Начал в горном ауле, а точку ставлю в большом многолюдном городе. Ранним утром вывел первую строку, а теперь близится полночь и даже в городе гаснут все огни.

Я возвращаюсь из далекого странствия. Я спешил на краю аула. Я провел коня в поводу по длинной изогнутой улице. Теперь лучше всего расседлать коня и похлопать его по шее, отпустить на широкую поляну.

А сам я, пожалуй, присяду у огонька. Пожалуй, достану сигарету и закурю. Говорят, что сам аллах закуривает, когда кончит рассказывать своим приближенным какую-нибудь забавную историю или выскажет очередное нравоучение. Он закурит, затянется и подумает.

Подумаем и мы тоже. Не каждая дорога оканчивается счастливо. Не каждая новая книга выходит удачной. На новом рассвете начну новую книгу, соберусь и в новый путь.

А пока что я устал в пути. Я заворачиваюсь в бурку и ложусь спать. Спокойной ночи, добрые люди! С миром начал, с миром и кончил. Васа-лам, вакалам. Аминь!

*Конец первой книги*

*Перевел с аварского* **Вл. Солоухин.**



---

---

И. ИСАКОВ

★

## ПЕРЕВОДЧИК

(Из воспоминаний о 1917 году)

Публикуемый ниже рассказ — последнее произведение, переданное редакции «Нового мира» Иваном Степановичем Исаковым. Всего лишь за неделю до смерти он прочитал корректуру, но в печати рассказа уже не увидел...

Крупный военачальник, удостоенный высшего воинского звания — адмирала флота Советского Союза, на протяжении всей полувековой истории советского флота отдававший ему все силы своей богато и разносторонне одаренной природы, военный теоретик и историк, автор ряда выдающихся научных трудов, Иван Степанович был сравнительно молодым писателем. Всего лишь восемь с половиной лет назад — в майской книжке «Нового мира» за 1959 год — появились его первые «Невыдуманные рассказы». Человек на редкость скромный, он часто говаривал: «В этом деле я всего лишь мичман». Начав писать в возрасте более чем зрелом, И. С. Исаков сразу же нашел особую жанровую форму, которой оставался верен и в дальнейшем; сразу же был отмечен и читателями и критикой как интересный, многообещающий автор со своей темой, своей манерой письма, как писатель глубоко патриотичный, умудренный большим житейским опытом, правдивый до конца.

Ему было что рассказать читателю. Надежды, вызванные его первыми литературными опытами, и оправдались и не оправдались. Они оправдались во всем, что И. С. Исаков напечатал за недолгий срок литературной деятельности, и они не оправдались в той мере, в какой он о многом рассказать так и не успел.

А замыслы у него были обширные. В письме, написанном за два месяца до смерти, он, делая своими планами, сообщал о заканчиваемой им серии рассказов в духе «Переводчика» («Конечно, о флоте, но не настолько специфично, чтобы читатель не захотел переваривать «ванты и топенанты» и бросил, не углубляясь дальше врезки от редакции...»); о целом ряде работ в жанре — как он определял — «полупублицистики»; о десяти — пятнадцати вещах из «Досугов старого адмирала» («Внешне слегка юмористичны и романтичны, однако под скупом флотского зубоскальства — серьезно хоть отбавляй...»); о сорока — пятидесяти «мелочах», объединенных им под общим названием «Брызги»; об автобиографии и многом-многом ином.

Часть перечисленного только задумана, другая, как он сообщал, готова на восемьдесят — девяносто процентов, третья уже написана целиком. Мы надеемся, что, несмотря на горестную утрату, тяжело ощущаемую всеми нами, читатели не в последний раз встречаются сегодня на страницах «Нового мира» с произведениями И. С. Исакова.

В его лице мы потеряли талантливого, своеобразного писателя, верного товарища.

Еще с вечера в субботу 8 апреля (по старому стилю) стали распространяться слухи, что в Ревель прибыли из Петрограда высокие гости: с а м Керенский и с а м а Брешко-Брешковская, или, как ее повсеместно именовали, «бабушка русской революции»; причем якобы в сопровождении делегатов от социалистических партий союзных государств.

Кое-кто из команды и офицеров строящихся кораблей ездил в город, чтобы принять участие в торжественной встрече. Что же касается автора воспоминаний, который в то время состоял мичманом на эсминце «Изяслав», то он настолько был занят получением со складов верфи

различного рода инвентаря, что мысленно послал «бабушку» подальше, а сам лег пораньше спать, рассчитывая с утра продолжить приемку, не смотря на предстоящий воскресный день.

Утром за традиционным завтраком в так называемой береговой кают-компании всезнающий трюмный механик оповестил собравшихся, что высокие гости пожалуют в бухту Копли-лахт и, в частности, к нам, на верфь Беккера и К°, видимо, намереваясь просветить тех, кто вчера не был на городском митинге. И так, если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе... Но меня даже такая предусмотрительность столичных гостей не устраивала, так как грозила сорвать приемку снабжения, а до выхода в море на ходовые испытания оставались считанные дни. Накануне мне стоило немало труда уговорить подчиненных «содержателей»<sup>1</sup> и боцмана продолжить работу по приемке, с тем чтобы рассчитаться с заводом. Как отнесутся они теперь к подобному предложению, если митинг состоится тут же рядом, на берегу Копли?

Офицеры восприняли новость по-разному. Председательствующий за столом начальник XIII дивизиона строящихся минэносцев, бросая салфетку, изрек (очевидно, в неофициальном порядке):

— После пресловутого «Приказа № 1» Временного правительства я не вправе запретить или советовать кому-либо ходить или не ходить на митинг. Это дело совести каждого из вас... Что касается меня, то я, конечно, на это собрание не пойду. Надо показать всем матросам, что я не считаю такой способ подходящим для решения кардинальных проблем вроде вопроса о продолжении войны или изъятия собственности у помещиков и фабрикантов.

Ничего нового в этой декларации не было, так как за полтора месяца, прошедших с момента февральской революции, все подчиненные не раз имели возможность ознакомиться с основами политической платформы нашего начдива. Вот почему, почтительно встав, мы молча проводили могучую спину капитана 1-го ранга Шевелёва, удалившегося в свой служебный кабинет.

Молодежь, с нескрываемым ликованием встретившая падение дома Романовых, предпочитала в подобных случаях отмалчиваться прежде всего из-за полной неграмотности в политических и социальных вопросах, от которых ее отгораживала вся система предшествующего воспитания и образования. Однако порой приходилось выслушивать махровые сентенции некоторых старших сослуживцев.

Не успела закрыться дверь за главным начальством, как всеми ненавидимый за нетерпимость к любой форме либерализма и за животную ненависть к матросам старший офицер «Изяслава» Алдайский прошипел, абсолютно не обращая внимания на присутствие вестовых:

— А я пойду на площадь! Но не сегодня, а когда наших дорогих товарищей большевичков будут вешать на фонарях. А что этот день скоро наступит, я не только верю, но и знаю. Знаю абсолютно точно.

При этом он вызывающе посмотрел на другой конец стола, где располагались упорно молчащие младшие офицеры.

Молодой инженер-механик, числившийся среди нас «политиком», так как состоял в «ревельском отделении офицерского союза» и робко проповедовал идеи эсеров, покраснел до корней волос, но не рискнул лезть в словесную перепалку. Все остальные тоже воздержались, так как твердо знали одно: что Алдайский — крайний монархист, способный на всякую подлость, и своими собственными руками готов вешать не только

---

<sup>1</sup> В старом флоте содержателями назывались: подшхипер, баталер, минный и минно-машинные и прочие кладовщики, ведавшие хранением и учетом соответствующего инвентаря, инструмента и других видов снабжения.

матросов, но и любых не согласных с ним оппонентов. Ни один из присутствующих на завтраке не поднял брошенную перчатку, все разошлись молча, с брезгливой миной на лицах.

...Когда молодой офицер получает ответственную должность на только что достроенном корабле новейшего типа, когда ему предоставляются полные — даже иногда чрезмерные — самостоятельность и доверие, а в то же время военная и политическая обстановка требует срочного ввода корабля в строй, тогда этот молодой офицер неизбежно заблеваает убеждением, что его корабль самый лучший, самый красивый в мире.

Он лезет из кожи, чтобы оправдать доверие; он старается двадцать четыре часа в сутки выполнять свои служебные обязанности с особым рвением, пытаюсь подтянуться к уровню знаний и авторитета своих старших и более опытных боевых товарищей; он способствует быстрейшему вводу в строй любимого «шипа», одновременно мечтая о том, чтобы как можно скорее потускнели его слишком новенькие звездочки на погонах. И если в этот период, на беду старательного мичмана, он не попадает в сферу непосредственного влияния такой партии, которая знает, во имя чего и в интересах кого собираются использовать этот новенький корабль, то он довольствуется общими патриотическими идеями о защите отечества и своего народа и, отдавая все силы на выполнение профессионального долга, наивно верит в то, что находится «вне политики».

Так было и со мной весной 1917 года.

После завтрака у дверей моей каюты собрались «орлы» — старшие унтер-офицеры сверхсрочной службы, воевавшие на миноносцах с лета 1914 года. Все они были артистами — каждый в своей области. Самым знающим среди них — после боцмана — был солидный, медлительный и уже пополневший подшхипер Коломийцев — он больше всех помогал моему желторотому командиру.

Всей группой двинулись к главному заводскому складу, который на матросском жаргоне именовался «Мюр и Мерилиз»<sup>1</sup>. А через полчаса продолжилась кропотливая процедура приемки бесконечной номенклатуры, во время которой надо было и самому учиться, и делать вид, будто ты руководишь своими подопечными. Кроме того, иногда приходилось смотреть сквозь пальцы на некоторые не совсем законные махинации ловких и испытанных в подобных фокусах содержателей, тем более что в итоге все шло на благо любимого корабля. Моральным оправданием такого попустительства служило то, что технике и методам приемки от заводов не обучали ни в одном из морских учебных заведений, а... ошибиться всякий может.

Поведение сторон (вторая состояла из кладовщиков и младших бухгалтеров верфи, стборных ветеранов, некогда прослуживших полжизни на том же флоте) определялось древним, как само судостроение, обычным правом: корабельные содержатели во главе с боцманом старались получить обусловленное договором и прихватить сверх того все, что плохо лежит, но может пригодиться в судовом хозяйстве. Заводские церберы старались недодать положенное или подсунуть некондиционные предметы снабжения. Вот почему временами обстановка крайне обострялась и виртуозная матерщина, казалось, грозила вот-вот перерасти в рукопашную.

В один из очень конфликтных моментов, когда абсолютно неясно было, как утихомирить старых моряков, каждый из которых годился мне в отцы, в ворота склада просунул голову салажонок с «Гавриила»,

<sup>1</sup> Самый большой универмаг старого Санкт-Петербурга.

звонко крикнул: «Бабушка приехала! Митинг в малярном цехе!» — и так же внезапно исчез. Очевидно, он был послан в качестве форзейля<sup>1</sup> для оповещения во все заводские закоулки.

Сообщение салажонка разрядило напряжение, как струя из брандспойта. Стараясь быть возможно более солидным, я подал команду: — Приостановить приемку! Все на митинг!

Повторять не пришлось, новая ситуация устраивала всех присутствующих на складе. Еще через минуту наша группа взгромоздилась на железнодорожную площадку (подобие дрезины), при помощи которой содержатели доставляли принятые вещи на корабль, стоявший у достроечной набережной. Естественный уклон к гавани позволял катиться под горку без всяких усилий или механизмов. Наоборот, при помощи вымбовки, используемой в качестве примитивного тормоза, временами приходилось стопорить, чтобы с ходу не свалиться в бухту.

Надо сказать, никакого помещения малярного цеха пока еще на верфи не существовало. Мы остановили дрезину перед воротами огромного здания в лесах, запроектированного в качестве «главного сборочного», но еще не законченного постройкой. В одном из его углов бездомные заводские маляры устроили себе временное пристанище.

Когда наша компания, запыхавшись, наконец пополнила собой многолюдное собрание и осмотрелась вокруг, то оказалось, что митинг давно начался, а общая его картина была далеко не обычной.

Ретивые организаторы торжественной встречи избрали этот форум с определенным расчетом: апрель оказался довольно прохладным, и опасение потерять многих слушателей, собрав их на свежем воздухе, было вполне основательно.

Однако помещение было все же слишком оригинальным. Земляной пол без какого-либо покрытия, высоченные кирпичные, совершенно голые стены, огромные проемы для будущих окон, прикрытые редкими досками, пропускавшими тусклый, рассеянный свет. Кое-где валялись в песке бракованные отливки для поковки, выброшенные из других, действующих цехов.

Над густо пахнувшим скипидаром малярным углом вовсе не было перекрытия, и сквозь голые стропила виднелось еще хмурое весеннее небо и веяло потоками холодного воздуха с изредка падающими снежинками.

Наиболее своеобразным являлся импровизированный помост для почетной гостьи и доморощенных ораторов.

Устроители митинга догадались использовать большое и грубо сколоченное сооружение, стоявшее вдоль одной из стен и напоминавшее верстак для холодного гнутья труб. Так вот, на него взгромоздили новенький письменный стол на точеных рояльных ножках, а сзади приладили роскошное кресло с непомерно высокой спинкой, явно заимствованное из кабинета одного из директоров.

По краям этого престола, воздвигнутого для «бабушки», оставались две небольшие площадки в виде карнизов, с которых и выступали ораторы, придерживаясь за край стола, с тем чтобы чувствовать себя более уверенно.

Суетливыми усилиями свиты «бабушку» водрузили в роскошное кресло; по обе стороны замерли со сценической торжественностью — не то в качестве пажей, не то чинов почетного караула — два матросика в совершенно новом, слишком уж выутюженном обмундировании.

---

<sup>1</sup> Форзейль — легкий, быстрый корабль любого типа, посылаемый впереди эскадры с целью разведки, дозора или связи.

В довершение всего какой-то идиот додумался надеть на голову «бабушке» матросскую ленточку<sup>1</sup> (если не ошибаюсь, с именем крейсера «Рюрик»). Но так как высокая гостя боялась простуды в неотапленном помещении с дырой в потолке, то голова ее и плечи были предусмотрительно укутаны белым пуховым платком. Черная ленточка с золотыми литерами, перекрывавшая лоб поверх платка, обрамлявшего бледное старческое лицо, выглядела не только нелепо — она очень напоминала «венчик» из похоронного обрядового убранства, придавая гостье вид покойницы. Неподвижность «бабушки» только подчеркивала это впечатление.

Но бестолково суетившиеся организаторы митинга, очевидно, были очень довольны всем происходящим и особенно собой. Они, как заправские клакёры, аплодировали после каждой фразы, удачно или неудачно изреченной «бабушкой» или ораторами, и демонстрировали неподдельный и стихийный энтузиазм масс.

Верстак имел изрядную высоту — возможно, он был специально поставлен на колодки, — во всяком случае ботинки выступавших приходились на уровне голов слушателей. Весь ковчег с «бабушкой» и декоративными моряками как бы плавал над собравшимися.

В протенке за возвышением и по бокам его — ошую Брешковской — плотно грудились фигуры в котелках с «гаврилками»<sup>2</sup>. Все как будто на одно лицо. Это администрация завода, начиная от директоров и инженеров, вплоть до младших делопроизводителей. А одесную почетной гостьи расположились офицеры со строящихся кораблей.

Для полного ансамбля не хватало только Александра Федоровича Керенского, но тот, как оказалось, еще накануне вечером умчался экстренным поездом в Петроград, сославшись на неотложные дела. Поэтому в Ревеле Керенский промелькнул, как комета (хотя успел произнести около семи речей). Может статься, сквозь медь духовых оркестров и витиеватые дифирамбы сочувствующих ему ораторов он почувствовал некоторые симптомы настроений кронштадтских и гельсингфорских моряков Балтийского флота, которых министр-социалист очень недолюбливал.

Такое предположение вполне допустимо, несмотря на то, что первое время в местном Совете преобладало влияние эсеров и меньшевиков, все же с каждым днем все большее число сознательных рабочих, матросов и солдат гарнизона переходило на платформу большевистской партии.

Однако есть еще более веский довод, вскрывающий причину ретиранды Керенского в Петроград. Дело в том, что 4 апреля В. И. Ленин выступил со своими «Апрельскими тезисами», послужившими исторической вехой для нового направления всего революционного движения. Где уж тут было до агитации за продолжение войны, когда вожьд пролетариата дал установку: «Никакой поддержки Временному правительству» — и ее с энтузиазмом подхватили широкие массы.

Впрочем, несмотря на отсутствие светила, которое должно было озарять все вокруг и воодушевлять каждого на продолжение войны, тень Керенского все-таки незримо присутствовала в цехе, потому что все делалось на редкость бестолково. А выступавшие ораторы пустой и громкой фразой старались подменить обсуждение и разъяснение самых насущных проблем.

<sup>1</sup> Накануне «бабушка» была избрана почетным председателем матросского клуба в Ревеле. Очевидно, эта ленточка должна была символизировать причастность гостьи к Балтийскому флоту.

<sup>2</sup> Так матросы называли накрахмаленный воротничок с галстуком на белоснежном пластроне.



Никакого подъема, а тем более энтузиазма среди присутствующих не чувствовалось. Почти два месяца туманных разговоров и многообещающих речей о завоеваниях революции без каких-либо практических шагов со стороны Временного правительства начали не только надоедать, но и раздражать рабочих и крестьян, в шинелях и бушлатах бесцельно гибнувших на фронтах и флотах или впроголодь и непродуительно проводивших время в оскудевших деревнях и на полуразрушенных заводах.

Путаные, а то и злонамеренные, провокационные выступления меньшевиков и эсеров, борьба этих лжесоциалистов не столько за принципы, сколько за власть создавали хаос не только в мыслях людей, но и в экономике государства, и без того обессиленного почти трехлетней войной, безответственной администрацией и бездарными правителями. В этих условиях, выгодных отечественной реакции и врагам русского народа за рубежом (считая и тех, кто числился в рядах правящих партий так называемых «союзинок»), все свелось для широких масс к двум политическим платформам. Одна: «Да здравствует Временное правительство и война до победного конца!» — и другая, противопоставленная ей большевиками: «Вся власть Советам и долой империалистическую войну!», что последовательно приводило к передаче земли хлеборобам и к экспроприации частной собственности на средства производства.

И в этот день, в общем, выступления велись вокруг двух основных позиций, однако с решительным перевесом защитников эсеровских и меньшевистских посулов.

Очередной оратор оказался третьим калачом. Не замечая скептических реплик или делая вид, что не слышит их, он продолжал свою гладкую речь так, будто перед ним были только единомышленники. Аплодисменты кучки служащих он принимал признательным наклоном головы как от представителей всех присутствующих.

Из расспросов соседей выяснилось, что мы пропустили первых ораторов — «братишку» и «окопного солдатика», явно состоявших на содержании партии эсеров. По словам соседа, оба выступления: «Сплошная липа, хорошо еще, что целы остались...»

Очевидно, после эмоционального воздействия матросика и солдатика кто-то должен был разбить в пух и прах лозунги большевиков. Но поскольку спектакль не удавался, в качестве тяжелой артиллерии предстояло выступить самой Брешко-Брешковской.

«Бабушка» оказалась перед необходимостью подменить министра-социалиста в части дирижирования хором, поющим гимны в честь продолжения войны.

После длительных стараний добрототов, силившихся навести порядок и добиться тишины, но своим шипением еще больше мешавших слушать, стало возможно в ближайшем расстоянии от верстака разобрать прерывистый, но еще довольно твердый старческий голос:

— ...Если бы мы перестали воевать — прощай наша свобода. Прощай наша земля. Прощай наше будущее... Разве для того вы страдали и делали великую всероссийскую революцию?.. Мы не одни страдаем, граждане. Демократии всех стран страдают. Страдают французы, страдают англичане и итальянцы...

...В Петроград приехали три англичанина и три француза, депутаты от рабочих. Они пришли к нам и говорят: «Русские люди, помогите. Что же вы нас оставили...»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Здесь и ниже приведены выдержки из речи Брешковской, опубликованной 9 апреля 1917 года в «Известиях Ревельского Совета рабочих и воинских депутатов» и в «Военной газете».

Несмотря на весьма почтенный возраст (ей исполнилось семьдесят три года), перенесенные в прошлом лишения и утомление от обилия митингов, «бабушка» все же была в весьма боевом настроении. Она воинственно призывала:

— Удвойте вашу энергию, готовьте больше снарядов!..

На вопросительный выкрик одного из слушателей: «А как же насчет социализма?» — она, не задумываясь, ответила:

— Социализм — это улита, которая едет, когда-то будет... а пока что надо воевать за свободу...

Это был вызов, так как сама Брешковская ни словом не обмолвилась о социализме, о будущем революции, упорно твердя только о необходимости продолжать войну и поддерживать Антанту. В то же время она отлично понимала, что заданный вопрос не являлся частным, а выражал обостренный интерес к проблеме, особенно насущной для стоящих перед ней рабочих и матросов.

Характерной для выступления «бабушки» была спекуляция на патриотизме и на извращенном толковании революционных определений и понятий:

— Граждане, мы, как народ великий, как народ могущественный, как народ смелый и как народ честный, мы от общего дела демократии отказаться не можем. И раз мы стоим за Интернационал, за то, чтобы рабочие друг другу руки протягивали, так как же мы бросим их одних (то есть союзников) там расправляться с немцами?

Закончила Брешковская эту расчетливую ложь выкриком: «За землю и за волю! Ура!» — так и не разъяснив, почему мировая демократия и Интернационал вовсе не включают в свой состав немецкий, австрийский, турецкий и другие народы, втянутые в империалистическую бойню против Антанты.

Последний ее лозунг был рассчитан на аплодисменты, и она их дождалась, но никакой связи этот старческий выкрик с ее выступлением не имел, так как она ни слова не упомянула о земле.

«Бабушка» говорила, не вставая, в меру своих сил, а для такого огромного помещения этих сил явно не хватало. Вероятно, более половины присутствующих ее не слышало. Однако и «ура» и аплодисменты были дружными. Это аплодировали ее революционному прошлому и той ее популярности, которую в те дни с особой силой всеми правдами и неправдами подогревали эсеры.

Последующие ораторы дули в ту же дуду, не получая организованного отпора, кроме критических замечаний в виде отдельных выкриков.

А между тем народу все прибывало и собралось довольно много не только с верфи Беккера, но и явившихся вместе с семьями с Русско-Балтийского, Ноблесснера и других ближайших заводов. Однако из-за обширной площади цеха особой тесноты не чувствовалось и при желании на ней можно было бы разместить вдвое большее число людей. Ясно было, что ездившие в город вчера не захотели вторично слушать столичных гостей.

Хотя «бабушка» служила как бы фокусом общего любопытства, все же по отдельным репликам и замечаниям становилось ясно, что наибольший интерес возбуждал приезд иностранных делегатов, выступление которых ожидалось с нетерпением. В Ревель, официально именуемый «Крепостью Петра Великого», зарубежные гости заглядывали очень редко, если не считать английских моряков с подводных лодок или почтенных адмиралов, приезжавших подбадривать своих союзников, пытавшихся после революции выйти из-под контроля. Теперь, когда «бабушка» объявила о приезде представителей от рабочих из-за границы, интерес к ним поднялся до самого высокого градуса. Между тем на им-

провизированную эстраду был выпущен своеобразный гибрид: лейтенант во французской форме, отрекомендованный как временно исполняющий обязанности главы военно-морского ведомства,— В. И. Лебедев.

Пожалуй, выступление этого временного министра Временного правительства было самым неудачным и даже карикатурным. И не столько потому, что он не сказал ничего нового, сколько потому, что появился на трибуну в форме лейтенанта французской службы, которой явно гордился.

Этот невзрачный, но выутюженный франко-росс, сверкающий до блеска начищенными желтыми крагами, скорее всего напоминал манекен из витрины парижского магазина военного обмундирования.

Такими же прилизанными и приглаженными оказались его мысли. Ни одной из числа волновавших народ. Набор стандартных цитат из эсеровского арсенала, густо пересыпанных местоимениями «я» и «мы». Немногие из присутствующих знали, что этот яркий социал-оборонец, будучи в эмиграции, в 1914 году вступил добровольцем во французскую армию. Однако трудно было понять, почему он, возвратившись на родину, временно вынесенный событиями на высокий пост управляющего морским ведомством, продолжал красоваться в защитном костюме хаки и в пилотке лейтенанта французской армии. Возможно, это являлось демонстрацией верности Антанте, но вероятнее всего выражалось желание хоть чем-либо выделяться из окружающей среды, так как ничем другим похвастаться он не мог.

Лебедев настолько явно рисовался и любовался самим собой, что не замечал общего недоумения, которое вызывал у слушателей. В цехе усилились бесцеремонные разговоры и ехидные выкрики. Впрочем, у оратора явно проскальзывала дополнительная забота. Стараясь подражать Керенскому и жестикулируя одной рукой с зажатой в ней кожаной перчаткой, Лебедев все время балансировал, судорожно цепляясь другой рукой за угол стола, чтобы не сорваться с узкого карниза верстака.

Спасибо на том, что он еще не забыл свой родной язык...

С того дня прошло много времени, и сейчас трудно воспроизвести все, что говорил русский министр во французском обличи. Но помню хорошо, что его выступление сводилось к штампованным фразам относительно обязательств перед союзниками; о том, что молодой республике угрожает анархия, якобы провоцируемая большевиками; что только безоговорочная верность Временному правительству спасет страну и что ее будущее определит всенародное вече, то есть Учредительное собрание. То же самое мы ежедневно читали на первых страницах ревельских или приходящих из Питера эсеровских и меньшевистских газет, все это давно навязло в зубах и категорически отвергалось сознательными судостроителями и матросами, как только разговор заходил «о политике».

Не совсем удобно признаваться в этом спустя столько лет, но мне лично оратор был противен не только из-за высказываемых им идей и подчеркнутой манеры отмежевываться от родины («Я из Парижа, где приходилось краснеть за братание русских солдат с немцами» или «Мы в неоплатном долгу перед доблестными союзниками» и т. д.), но и по чисто профессиональному мотиву: совершенно не укладывался в голове тот факт, что нашим флотом управляет армейский лейтенант, да еще французской службы.

Однако аудиторию, почти наполовину состоявшую из моряков, причем со стажем побольше моего, и из старых рабочих, эта сторона дела абсолютно не волновала.

Для них вопрос о войне и мире был главным. Точнее, они ждали прекращения войны и заключения мира.

«Котелки» аплодировали Лебедеву, следуя движению главного директора завода. Но в громадном помещении цеха эти полсотни хлопков звучали как-то бледно или, пожалуй, даже иронически, так как подчеркивали мрачное безмолвие тысячи остальных присутствующих.

Последние не устраивали обструкций, но и не оставались инертными. Русско-французскому лейтенанту приходилось периодически глотать саркастические реплики или ехидные вопросы:

— Если воевать охота, сам и воюй!

— Мы союзникам ничего не должны, а если ты должен, ты и отдавай!

— Сам-то сколько времени в окопах вшей кормил?

И уже совсем некорректно прозвучало громкое предложение одного из морячков: «Катись колбаской по Малой Спасской!» — тем более что, несмотря на возмущение «бабушки» и ее свиты, оно сопровождалось одобрительным гулом и смехом значительной части присутствующих. Так достаточно выразительно определилось настроение большинства.

Заправили митинга оказались перед необходимостью спасти положение, в результате чего, пошептавшись с Брешковской, один из них объявил, что следующим оратором будет делегат от французской социал-демократической партии.

Наконец наступила долгожданная очередь подлинного француза.

Затихли говорюны, непочтительно болтавшие во время выступления временного министра, и установилась выжидательная тишина, однако очень скоро выяснилось, что те самые распорядители, которые догадались соорудить подобие трона для «бабушки», не сообразили организовать перевод выступлений иностранных гостей.

Небольшого роста, в скромном пиджаке, открыто смотрящий прямо в лица своих слушателей, француз положил свою кепку на стол и начал очень эффектно — ведь иначе он не был бы подлинным представителем своей нации. Он громким, митинговым голосом бросил русским товарищам приветствия, донесенные с далеких берегов Сены:

— Vive la Révolution russe! — И затем: — A bas le monarchisme et le tsarisme!

Перевода этих фраз не потребовалось, их смысл сразу дошел до сознания всех присутствующих. Этим началом оратор в один миг завоевал симпатии слушателей и был вознагражден бурными аплодисментами и приветственными возгласами.

Однако в последующем, несмотря на то, что оратор говорил четко и относительно медленно, аудитория безмолвствовала. Дело было не только в отсутствии перевода. Чувствовалось, что сам выступавший говорил без видимого подъема или энтузиазма. Красивые и закругленные фразы на красивом языке воспринимались в недостроенном цехе бесстрастно, не производя впечатления на присутствующих.

(Забегая вперед, скажу о том, чего я тогда, конечно, не мог знать: содержание речи, навязанной партийным руководством, внушало самому оратору серьезные сомнения. Еще до митинга в Копли-лахт француз неоднократно замечал, что призывы к продолжению войны здесь, в обновляющейся России, не встречали сочувствия. А текст речи, изготовленный еще в Париже, заученный на память к моменту высадки в Архангельске и сейчас лежавший в кармане пиджака, прошел не только цензуру, но и соответствующие департаменты военно-пропагандистской машины союзников.)

Итак, девяносто процентов слушателей не понимало французского языка и только догадывалось, что он не случайно оказался в свите «бабушки». Директора не в счет. Не на них был рассчитан монолог гостя,

потому что кто-кто, а они не нуждались в призывах за продолжение войны.

— Подскажи, мил человек, чего это он лопочет? — обратился довольно громко к аккуратному лейтенанту российского флота с красным бантом в петлице шинели оказавшийся рядом усатый, почтенного вида рабочий, строго глядевший сквозь стекла стальных очков. Складной метр в нагрудном кармане и вся солидная повадка выдавали в нем мастера.

— Как вам сказать? — вполголоса, чтобы не мешать другим, отозвался моряк. — Вроде как бы упрекает, что русские после революции не так охотно воюют... Что боши — это, значит, немцы — отнимут все завоевания революции...

— Ну, такие песни мы слышали уже не впервой. Значит, война до последней капли крови русского солдата, так получается? — не то презрительно, не то иронически сказал мастер и сплюнул.

Флотского лейтенанта вдруг охватило беспокойство. Он судорожно сжал руку своей нарядной жены, прислонившейся к его плечу, и, видимо, решил, что лучше не ввязываться в роль переводчика. Ведь большинству матросов и рабочих вряд ли понравятся речи гостей...

Но благие намерения приходят слишком поздно. Близко стоявшие слушатели, явно беспомощные в попытке понять француза и наблюдавшие любезную подмогу офицера, потянулись к нему и кто шепотом, кто громко стали уговаривать продолжать перевод. Кольцо упрашивающих уплотнялось. И конечно, среди них не было ни котелков, ни офицерских фуражек.

Именно знание иностранных языков во все прошлые времена неизменно подчеркивало одно из преимуществ кадрового офицера, дворян и других представителей привилегированных классов. Больше того, подобная привилегия являлась как бы неотъемлемой, монопольной и пожизненной.

Можно снять погоны и вынудить сменить котелок или цилиндр на кепку; можно конфисковать и поделить имущество, движимое и недвижимое, а знание иноземного языка все равно останется при его владельце, пока у него голова на плечах.

Кто мог знать тогда, что наступит время, причем довольно скоро, и сыновья кепок и бескозырок, столпившихся вокруг лейтенанта, уже с юных лет будут довольно бегло лопотать по-английски, обучаясь ему в нахимовских, суворовских и других советских школах?!

А пока не владеющему языками приходилось идти на поклон к владеющему. Послышались реплики:

— Уважь народ, господин хороший, будь ласков... Перескажи, чего это он бухтит. Вроде как сочувствующий? А то своих говорунов мы уже наслушались — дальше некуда!

Порозовевший и немного смущенный флотский лейтенант замаялся, подыскивая уважительный предлог, чтобы уклониться от высокой чести, но неожиданно, вроде как ножом в спину, нанесла предательский удар его собственная жена.

— Ну, конечно!.. Ведь ты, Анатолий, отлично знаешь французский и свободно мог бы помочь... т о в а р и щ а м. — (Чуть было не оступилась, так как это был первый случай в ее жизни, когда «людей из толпы», «из мастеровых» или «из матросни» пришлось назвать товарищами.)

Лейтенантша явно заранее упивалась успехом мужа перед «товарищами», которые оказались совершенно беспомощными и просят — да, да, сами просят! — им помочь.

Откуда ни возьмись появились dobroхоты. Кто-то даже подхватил лейтенанта под локотки.

— Пожалуйте сюда, ваше благородие... Становись на эту поковку, не беда, что с брачком... Можно сказать, для пьедестала годится! И тебе виднее, и нам слышнее. Шпарь!

Поднятый волей судеб над толпой почти на полметра, глотая слюну, вначале волнуясь, а затем все увереннее лейтенант стал переводить вполголоса слова французского социалиста. Прислонившись к мужу, чтобы придать ему устойчивость, и незаметно пожимая руку для морального поощрения, жена офицера с гордостью оглядывала окружающих.

Забавная деталь: у лейтенантши на высокой шелковой шляпке, отороченной по нижнему краю мехом, кокетливо торчало фиолетовое перо, искусно изогнутое вверх наподобие вопросительного знака. Колыхаясь при каждом движении модницы, этот вопросительный символ двусмысленно красовался в вышине и как бы ставил под сомнение все относящееся к владелице шляпки и к ее супругу.

Если верить словам переводчика, француз пока не столько говорил о будущем, сколько осуждал проклятое прошлое и его главного виновника — афериста-царя.

— *L'affaire du Tsar est faite!*<sup>1</sup>

Буквального перевода и в данном случае не требовалось, тем более что слушатели давно знали о провале политики проклятого царизма, — они сами приложили к этому руку всеобщей забастовкой и ликвидацией сопротивлявшихся жандармов и юнкеров. В этом месте добровольный толмач запнулся, словно раздумывая, как перевести высказанную оратором мысль.

А между тем не надо было знать французский язык, чтобы почувствовать, что делегат от союзников жует надоевшую ему самому жвачку, как это было, по всей вероятности, вчера в Ревеле или позавчера в Петрограде. По поведению и взглядам пытливо следящих за ним слушателей француз все больше убеждался, что от него ждут другого. И постепенно это другое — то есть скорейшее окончание мировой войны — становилось ему понятнее и ближе, нежели то, о чем твердили его компаньоны во главе со зловещей старухой.

Эта метаморфоза происходила пока что только внутри — под влиянием всего увиденного в России и под влиянием реакции каждой новой аудитории. Однако связанный партийным поручением и все еще находясь в плену полученных наказов и официальной пропаганды, француз еще не созрел для полной ревизии тех идей и лозунгов, с которыми выехал из Парижа.

Конечно, подобное внутреннее состояние не могло не сказываться на характере и интонациях выступления, лишенного всякой убежденности. И, конечно, это не могло остаться незамеченным со стороны жадно старавшихся понять его русских товарищей.

А лейтенант тем временем все продолжал усугублять свою ошибку. Он с чрезмерной добросовестностью старался поточнее подбирать слова и обороты, чтобы как можно меньше уклоняться от оригинала. Следствием его стараний было множество запинок, всяких «э-э», «так сказать» и прочих мусорных слов, которые вынуждали переводчика отставать от оратора.

Неожиданно после очередного «э-э», выдавленного из себя лейтенантом, стоявший поодаль матрос с «Гавриила» бесцеремонно изрек: «Муть!» — и вроде как бы плюнул с досады.

<sup>1</sup> С царем покончено!

— Где тут Цыганков?.. Он же на «Учебном»<sup>1</sup> во Францию ходил, должен разбираться.

Через минуту на другой валявшейся в песке бракованной отливке вырос унтер-офицер Цыганков и без задержки включился в параллельный перевод. Однако метод гавриильца оказался совершенно иным.

Бойкий морячок предельно упрощал и укорачивал выступление гостя и, несмотря на то, что сам понимал не так уж много, ухитрялся не отставать от француза, а иногда даже опережал и дополнял его.

Уязвленный такой примитивной конкуренцией, офицер стал еще больше запинаться. А перевод французской речи матросом продолжался без задержек и выглядел приблизительно так:

— Говорит, значит, что пролетариат теперь может издавать свои манифесты!— (На самом деле француз сказал: «*La mission du prolétariat est manifeste*»<sup>2</sup>.)

В таком же духе шло продолжение:

— Амба всем фабрикантам и буржуазии!.. Факт!.. Обратно, агитирует за коммуны... потому как империализму хода нет!.. Значит, теперь Интернационал на мази, потому как все стали камрады и демократия сейчас — будь здоров!.. Опять же, говорит против милитаризма!.. Одним словом, эксплуатации тоже амба, потому буржуазии сейчас стоп, а скоро будет полный назад!..

Цыганков вдохновенно подправлял и редактировал оратора так, как подсказывало ему страстное желание обрести подлинного союзника не в войне с немцами, а в революционной борьбе с реакцией и особенно с правилами сегодняшнего митинга.

И именно благодаря этому вольному пересказу переводчик получал некоторые знаки поощрения от своих слушателей (вроде «шуруй на полный!») и число их все росло и росло за счет перебежчиков из сферы влияния педантичного офицера. А Цыганков, увлеченный успехом, импровизировал вдохновенно и довольно часто искажал смысл доносящегося с трибуны на сто восемьдесят градусов. Не улавливающая своеобразия перевода аудитория была довольна.

В конце концов смущенный лейтенант, потеряв весь свой апломб, остался почти один возле своей разъяренной супруги. Продолжать в этих условиях перевод было явно нелепо.

— Пойдем, Анатоль, здесь нас не понимают,— прошипела жена, стаскивая мужа с импровизированной трибуны, и, гордо подняв голову, стала энергично проталкиваться к выходу, оставляя поле боя.

Почти никто, однако, не обратил внимания на уходящую пару. Все целиком были поглощены выступлением француза и его бойкого толмача.

И только изогнутое вопросительным знаком перо на шляпке лейтенантши, кивая то направо, то налево и как бы плывя над головами собравшихся, показывало движение к выходу незадачливой четы.

Теперь, когда остался только один, но «свой в доску» переводчик, француза слушали еще более благожелательно и почти каждый период его речи, разъясняемый лаконичным примечанием Цыганкова, награждали аплодисментами.

Наконец представитель союзной Франции с явным облегчением добрался до благополучного конца заданного ему текста. Он замолчал как-то вдруг, будто из него вышел весь воздух. Однако истинный француз, эффектно начав речь, должен был эффектно ее и закончить.

<sup>1</sup> Так сокращенно называли «Учебный отряд Балтийского флота», до войны ежегодно ходивший в практическое плавание в Средиземном море с юнгами и гардемаринами.

<sup>2</sup> Миссия пролетариата ясна.

Крепко вцепившись в угол стола, оратор приподнялся на цыпочки и, выкинув другую руку вперед, выкрикнул:

— Vive la République! — А затем, впервые используя русские слова, закончил возгласом:— Война до победный конца!

Наступила томительная и недоуменная тишина.

Опустились тысячи рук, готовых к овациям.

Не помогли ни запоздавшие и жидкие хлопки «бабушкиной» свиты, ни солидное похлопывание директоров и офицеров. Эта зловещая тишина лучше всего продемонстрировала истинное настроение митинга. Безмолвное непринятие призыва к продолжению войны было хотя и стихийным, но абсолютно единодушным.

Смущенный француз, ожидавший общего одобрения, только в этот момент окончательно понял, что оказался на границе между двумя враждебными классами и невольно сделался рупором буржуазного меньшинства, в то время как вот эти его русские товарищи ждали от него, помимо слов, еще больших усилий, направленных для достижения всеобщего мира.

Переводить концовку оратора, конечно, не потребовалось. В наступившей тишине раздался громкий и недоуменный голос обескураженного Цыганкова:

— Скажи пожалуйста! Пока говорил по-французски, получалось вроде правильно... А как перешел на русский, обратно все напутал.

Старый мастер медленно изрек:

— Начал за здравие, а кончил за упокой!— И стал пробираться к выходу.

За ним потянулись остальные, не обращая внимания на протесты «бабушкиных» зазывал.

Несмотря на срыв митинга, на следующий день в ревельских газетах появились победные репортажи и отчеты.

Так было в десятых числах апреля 1917 года, когда на митинге в пригороде Ревеля Копли-лахт большевики еще не могли противопоставить главным силам реакции своих подготовленных агитаторов. Однако все расширяющееся революционное движение рабочих и крестьян, руководимое великим Лениным, последовательно привело к тому, что после полугода огромных усилий и немалых жертв в октябре того же года большевики завоевали власть не только в Ревеле, но и во всех опорных пунктах страны.

Цыганков и его единомышленники, участвуя в борьбе на два фронта — против немецкого империализма в боях за Рижский залив и против обманутых отдельных армейских частей, еще поддерживавших Временное правительство,— стали членами партии, шедшей в авангарде масс, борющихся за социализм.

Прошло еще немного времени, и мы узнали, что французский делегат не без пользы для себя выступал на митинге в Копли-лахт, так как оказался в рядах Коммунистической партии Франции, в то время как Лебедев, Брешковская и Керенский вместе со своими почитателями были выброшены на мусорную свалку истории.





ТХАЙ ТУАН

★

## ОНИ НЕ СПЯТ...

С вьетнамского

*ОТ ПЕРЕВОДЧИКА. Мы бродили по солнечному полуденному Ханюю, углублялись в лабиринты Старого города, и Туан, невысокий и изящный, как все вьетнамцы, рассказывал мне историю улиц, переводил их древние названия и совсем свежие, едва просохшие лозунги на стенах домов. Он с увлечением говорил о своей недавней работе — подготовке первого одноминика стихотворений Пушкина на вьетнамском языке. Несколько месяцев спустя, уже дома, в Сибири, я получил бандероль из Вьетнама. В пакете был Пушкин. Пушкин на вьетнамском языке, изданный в Ханое в 1966 году, под американскими бомбами! Тхай Туан, выпускник Московского педагогического института, выступил в этой книге в качестве одного из главных переводчиков и автора комментариев. В письме он просил прислать для его новой работы сборник стихов советских поэтов, павших на фронтах Великой Отечественной войны, а также все, что написано советскими поэтами о Вьетнаме и его борьбе..*

*Переписка продолжалась. Туан благодарил за присланное, но не спешил выполнять встречную просьбу — прислать свои собственные стихи. Зная скромность моего друга, я не удивлялся. Но продолжал настаивать. И вот, наконец, недавно Туан прислал несколько стихотворений. Думается, что знакомство с этими стихами, рожденными в огне, будет небезынтересно для советских читателей.*

**Илья Фоняков.**

\*.\*.\*

Не разбуди, не потревожь, дай ей поспать, твоей сестренке!  
Легко ль ей было на шоссе всю ночь заравнивать воронки?  
Рвались там бомбы целый день, дежурный громко бил тревогу,  
А в ночь с подругами сестра чинила заново дорогу.  
Ах, нет, не спит, не спит сестра, не спит она, поверь!  
Над полем рисовым она склоняется теперь.  
И золотится спелый рис, и шелестит волной.  
В руках сестры — тяжелый серп, винтовка — за спиной!

Не разбуди, не потревожь, пускай поспит отец усталый!  
Всю ночь без усталости в лодке — труд немалый:  
С утра стервятники кружат, слышны раскаты канонады,  
А в ночь подвозит наш отец бойцам-зенитчикам снаряды.  
Ах, нет, не спит, не спит отец, к чему такая речь!  
В лесу он строит новый склад, чтоб урожай сберечь.  
Он строит спешно, как велит суровая пора,  
И чаща слушает, дивясь, удары топора!

Не разбуди, не потревожь, дадим поспать немножко маме!  
 Легко ль всю ночь ей хлопотать, в печи поддерживая пламя?  
 Легко ль ей стряпать у огня, пока не зашебечут птицы,  
 Чтобы с утра могли бойцы горячим рисом подкрепиться?  
     Ах, нет, не спит, не спит и мать, сомнения отбрось!  
     Детей-сирот вокруг нее немало собралось.  
     Им столько, бедным малышам, пришлось перетерпеть!  
     И утешает их она, и учит песни петь!

Так мы стоим плечом к плечу, в лишениях помня друг о друге,  
 Так мы на Севере стоим, а братья славные — на Юге,  
 Одна семья, один народ, одна мечта, одна забота —  
 И нас не смогут одолеть ни страх, ни сон и ни налеты!

### ТЕБЕ

Я уснул на привале и все забыл: бомбы, ночь, себя самого.  
 Говорят, что был три раза налет, но я не слышал ничего.  
 И ты явилась ко мне во сне, падо мной склонилась, любя,—  
 Ибо даже себя самого забыв, я забыть не могу тебя.

Я проснулся — не знаю, в котором часу. В кронах пальм чуть серела  
мгла.

Я надел свой шлем — и вдруг ощутил: сон ушел, но ты — не ушла,  
 Ты со мной, ты осталась, чтобы в борьбе все невзгоды вместе пройти,  
 Стала силой моей, упорством моим в этом длинном, длинном пути!



# О Ч И Р К И    Ж А Ш С И Х    Д Н С Е Й

ВЛАДИМИР ПОЗНЕР

★

## ИЗ КНИГИ «ТЫСЯЧА И ОДИН ДЕНЬ»

*Владимир Познер — французский писатель и публицист, прогрессивный деятель. В 1965 году Владимир Познер по поручению газеты «Юманите» совершил поездку по Советскому Союзу, где прошли его детские годы.*

*После этой поездки была написана книга «Тысяча и один день», изданная во Франции к пятидесятилетию Великой Октябрьской социалистической революции.*

*Мы публикуем отрывки из этой книги — о первых послереволюционных годах в Петрограде и Москве и о современной жизни в Новосибирске, Самарканде и Бухаре.*

### ПУТЕШЕСТВИЕ В МОЕ ДЕТСТВО

**К**огда я жил в Советском Союзе и учился в школе, у меня были, конечно, друзья среди одноклассников. Друзей этих я менял не из непостоянства — просто так складывалась моя жизнь: учиться мне случилось в трех школах.

«Школа свободного воспитания», как ее тогда называли, или «опытно-показательная школа», находилась в одном из переулков в центре Москвы. Я тщательно искал теперь это здание — оно не существует.

Чтобы добраться до школы зимой, надо было преодолевать снежные сугробы и горы сколотого льда. Городской транспорт не работал, а пешком до нее было около получаса, а если налетит метель — того больше; скорее всего можно было добраться туда на лыжах.

Меня избрали старостой класса. Помню классное собрание, на котором кто-то из учителей произнес речь, требуя безусловного подчинения педагогам. Поднявшись с места, я возразил ему, что невозможно делать революцию и оставлять на троне царя. В свою правоту я твердо верил, к тому же и мои товарищи горячо мне аплодировали. На это у каждого были свои причины.

Моих друзей никак нельзя было назвать озорниками, которые обрадовались, что теперь можно безнаказанно напроказить, нет, просто двенадцати-тринадцатилетние «революционеры» считали, что разделяют политические убеждения своих родителей, среди которых были настоящие революционеры, связавшие свою судьбу с Октябрьской революцией. Некоторые из родителей работали в Кремле и жили там, иные занимали крупные посты. Мы часто ходили играть в Кремль. Однажды мы забрели в келью времен Иоанна Грозного и принялись стрелять в низкий

сводчатый потолок из учебной винтовки, проверяя, услышит ли эти выстрелы вопреки толщине стен знакомый нам часовой-латыш лет семнадцати, не старше, прибежит ли он на звук выстрелов... Он не услышал.

Помню 1920 Новый год, который я встречал у Лесли, моей приятельницы, учившейся на класс старше меня. Чтобы пройти в ее квартиру, требовался пропуск — Леля тоже жила в Кремле.

И вот прошло более сорока лет. Я снова в Москве и ищу Лелю. Найти оказалось легко: достаточно было раскрыть телефонную книгу. Она не забыла мое имя. Мы встретились и, сидя друг против друга, проговорили шесть часов. Узнав, что я хочу поехать в Ленинград, она посоветовала мне посетить квартиру, в которой жила ее семья до переезда Советского правительства в Москву.

Я словно вижу перед собой ее отца: крупный мужчина с темной бородой и усами. Он мечтательно глядел из-за очков и никогда не забывал осведомиться, не голоден ли я. Его фамилия была Бонч-Брусевич. Старый большевик и политэмигрант, Владимир Дмитриевич был тогда управляющим делами Совета Народных Комиссаров.

Я никогда не бывал в ленинградской квартире Бонч-Брусевичей — с Лелей мы познакомились в Москве. Известно, что на другой день после своего возвращения из эмиграции эту квартиру посетил Ленин: семья Ульяновых и Бонч-Брусевичей сдружилась еще в Женеве, в самом начале века. И впоследствии Ленин не раз бывал в ленинградской квартире, которая теперь превращена в музей.

Когда Ленин пришел в первый раз, Лели не оказалось дома, она была в школе.

Я спросил:

— А как было в другие разы?

Однажды Ленин должен был прийти поздно вечером. В тот день выключили электричество — его тогда вообще то и дело выключали, — и родители Лели боялись, что Ленин в темноте не отыщет двери. Когда раздался стук, Леля пошла открывать, но, умудренная опытом, не сразу опустила цепочку. На пороге стоял мужчина, разглядеть его в темноте было невозможно.

Он сказал: «Лелечка, это я». И Леля узнала его по голосу.

Я спросил:

— А ведь он приходил еще. Что ты об этом помнишь?

— Отлично все помню, — ответила она. — Мне было тринадцать лет тогда. Он пришел с женой. Их привел с собой папа.

— Среди ночи?

— Да, поздно, совсем поздно.

— А почему они ночевали у вас?

— Папа для того и позвал их к нам, чтобы они могли выспаться.

— И ты их видела, когда они пришли?

— Я давно уже спала: ведь было это глубокой ночью. Меня вывели из моей комнаты и отправили спать к маме. А на моем месте устроили Надежду Константиновну: моя комната выходила окнами во двор и считалась у нас самой спокойной.

— А Владимир Ильич?

— Он хотел лечь на диване в гостиной, чтобы никого не беспокоить, но папа заставил его расположиться в своей комнате.

Это небольшая комнатка — я ее увидел, когда поехал в Ленинград. На стене телефон, номер которого значился у Ленина в записной книжке. Рядом — узкая кровать, тумбочка, покрытая салфеткой с вышитыми по-

среди цветами, умывальник, дальше — письменный стол, покрытый красным сукном, медная лампа с зеленым абажуром.

— Но Ленин,— сказала Леля,— тайком, когда все заснули, встал, чтобы поработать.

Дом никем не охранялся. Бонч-Бруевич лег спать в столовой и рядом с собой положил револьвер — трогательный, но бесполезный в случае нападения жест...

Я спросил еще:

— А ты как, спокойно проспала эту ночь?

— Я уже не помню.

Ее разбудили голоса. Самое трудное — вспомнить, действительно ли она сквозь сон слышала тогда, как взрослые толкуют о штурме Зимнего дворца, состоявшемся всего несколько часов назад.

— Мы все сидели за завтраком,— говорит Леля.

Она все-таки помнит, что в тот день, очевидно 8 ноября 1917 года, она проснулась рано и вышла к столу. Здесь Ленин вслух читал собравшимся то, что писал ночью, стараясь не разбудить друга, дремлющего в соседней комнате, чтобы тот не заставил его снова лечь и отдохнуть.

В гостиной до сих пор стоит диван, на котором в ту ночь спал Ленин отец, там же большой стол, за которым в тот день завтракала семья, на нем самовар и чайный сервиз, рядом рояль; даже цветы в горшках точно такие же, как те, что росли в них осенью 1917 года,— Лелина мать любила цветы.

— Папа как-то рассказал мне про один из своих разговоров с Лениным. Он спросил: «Владимир Ильич, можно ли одним словом выразить, за что мы сейчас боремся?» И Ленин ответил: «Хлеб».

Я уже давно стал путать годы и города и теперь уже не помню, где это было — в Москве или в Петрограде. Знаю только, что в то время, когда молодую Советскую республику со всех сторон блокировали интервенты и белогвардейцы, мои родители подвешивали все съестные припасы в свертках к потолку, и по ночам то и дело раздавался глухой стук — ударялись об пол крысы, прыгавшие, чтобы ухватить сверток.

А вот это другое мое воспоминание наверняка относится к Петрограду. Когда во всем городе выключалось электричество, трамваи мгновенно останавливались. И вот однажды тот, что взбирался на крутой невский мост, не смог затормозить и вдруг покатился назад со все возрастающей скоростью; пассажиры выпрыгивали из вагонов на ходу и падали в снег или в грязь.

И еще другое было тоже в Петрограде. Помню, простояв четыре часа в очереди, я возвращался домой, таща мерзлую картошку в большом мешке — синем с красными заплатами, которых я стыдился. Ноша была так тяжела, что мне приходилось то и дело останавливаться; чудесным образом встретившийся мне Виктор Шкловский выхватил ее у меня и понес как ни в чем не бывало. На нем были красные рукавицы, скроенные из занавески и стянутые у запястья — чтобы не потерять — обыкновенной бечевкой.

В тот год я учился в моей последней школе, которую любил больше всех других. И теперь, по прошествии лет, она из всех трех оказалась единственной, которую мне удалось отыскать.

Лестница все та же, только теперь она показалась мне круче и теснее. Как раз в ту минуту, когда я поднимался по ней, зазвенел звонок, и я чуть было не побежал, перескакивая через ступеньки, чтобы не опоз-

дать на урок. Девчушки в коричневых платьях и белых фартуках, с аккуратно заплетенными косами, большинство с красным галстуком на шее, бежали к своим классам по длинному широкому коридору, по которому в свое время точно так же мчались мы, чтобы сесть на свое место до прихода учителя. На другом конце коридора я отыскал вторую лестницу. Однако теперь нельзя было бы съехать по перилам вниз — вдоль нее установлены горшки с цветами, которых прежде здесь не было.

Выйдя из школы, я стал отыскивать взглядом библиотеку. В этой самой библиотеке однажды — было это во время войны с германскими фашистами — стоял у окна человек в форме офицера военно-воздушных сил. Разглядывая в окно подъезд нашей бывшей школы, он думал о том, что вряд ли переживет ленинградскую блокаду и уж, верно, больше никогда не свидится со мной, своим лучшим другом. И тут, случайно опустив взгляд, он вдруг увидел в американской газете, которую держал в руке, фотографию французского солдата: на него смотрели мои глаза...

Да, он был моим другом. С пустыми желудками, в дырявых башмаках, мы, тогда еще школьники, старались поспеть всюду вдвоем. Уроки мы готовили вместе, вместе участвовали в вечерах, на которых дуэтом декламировали стихи. Всего больше нам было по душе попеременно жить друг у друга. Да, еще мы работали вместе в библиотеке, где с нами расплачивались дополнительным пайком: куском черного хлеба, приготовленного из муки с изрядной примесью измельченной соломы. Все вечера мы проводили в Доме искусств, куда, как и повсюду, в ту пору приходилось добираться пешком.

На уроках все сидели в пальто и шапках — и мы, и наши учителя. Когда в чернильницах не застывали чернила — чаще всего они превращались в лед, — мы что-то писали, не снимая перчаток. Священники в тот год на время службы надевали ризы поверх шуб. Женщины не снимали на людях перчатки, скрывавшие их распухшие, кровоточащие пальцы: раны в то время не заживали, даже царапины месяцами не затягивались, руки у всех были обморожены.

И вопреки всему мы в то время были веселы и увлекались стихами. Мы с ним — с Николаем Чуковским — еще не смели и про себя, а не то что вслух мечтать о том, чтобы когда-нибудь напечатать хотя бы четверостишие. В России не хватало бумаги и чернил, да и вообще всего, — вдоволь было только поэтов, которые читали свои стихи перед толпами рабочих, студентов, матросов, кухарок, солдат — замечательных слушателей, радушными аплодисментами встречавших и Блока и Маяковского.

Эти два поэта (с которыми Коля Чуковский и я имели честь быть знакомыми, с которыми нам позволялось здороваться за руку и которые даже просмотрели кое-что из наших детских сочинений) были литераторами, сумевшими блистательно запечатлеть поступь Октябрьской революции.

Мы простились с Николаем, когда мне было всего шестнадцать. Мне предстояло вернуться в город, в котором я родился, — в Париж. А Коля оставался в своем родном городе на берегах Невы. Обоим нам в тот день хотелось плакать: нелегко расставаться с самым близким другом. Но мы были уверены, что скоро свидимся...

Поначалу мы часто обменивались письмами, но постепенно стали писать друг другу все реже. Всякий раз согласно уговору каждый из нас добавлял одну строчку к поэме, которую мы вдвоем сочиняли.

Мне удалось встретиться с Колей в Москве в 1934 году. Мы расстались, убежденные, что скоро встретимся вновь. Затем воцарилось мол-

чание. Я ничего не знал о нем, он ничего не знал обо мне. Переписка была тогда немодным занятием.

Казалось, мировая война нас окончательно разлучила, а между тем единственный раз за многие годы ему суждено было встретиться в осажденном Ленинграде; у входа в нашу старую школу, с моей фотографией.

Еще много лет спустя мы встретились сами. Это было в Москве. В соседней комнате моя жена беседовала с его женой, которая училась с нами в школе на класс раньше. Вдвоем мы провели одиннадцать часов, толкуя о том, о сем — о жизни, и не только о своей жизни, и не только о годах войны. Ни о чем нельзя было, да и не надо было теперь умалчивать, и я засыпал его вопросами.

Кажется, к вечеру мы оба охрипли — столько было всего переговорено.

Как нужна была бы мне теперь помощь Коли!

### В Сибири

В самолете полно пассажиров. Я озираюсь вокруг. Пожилой человек в пенсне читает тонкую книгу — слов в ней немного, зато много цифр и знаков. Двое молодых людей играют в шахматы. Какой-то парнишка углубился в японскую грамматику. Некоторые читают газеты, другие спят. Если бы я мог познакомиться хотя бы только с этими людьми и узнать, что они думают о прошлом, чем заняты сейчас, на что надеются в будущем, и если бы я понял, какой смысл они вкладывают в слово «счастье», я мог бы сказать, что имею представление о Советском Союзе.

День клонится к закату. Я приник к стеклу: сплошь облака. И вдруг разрывается их завеса и передо мной открывается вся громада земли — леса, степи, заводские трубы, — и солнце отражается в широкой реке...

Отбывая в этом самом месте заключение в Омской каторжной тюрьме, этой рекой восхищался Достоевский, когда в кандалах, с наполовину обритым черепом, в полосатой одежде с желтым тузом на спине перетаскивал кирпичи с берега Иртыша к казарме через крепостной вал. «Я потому так часто говорю об этом берегу, что единственно только с него и был виден мир божий, чистая, ясная даль, незаселенные, вольные степи...»

В ту пору, когда ссылку отбывал Ленин, сибирская железная дорога существовала уже, но нужно было тогда сперва добраться до деревни, из которой летом на лодке, зимой на санях переправлялись на другой берег одной из крупнейших рек мира — Оби, чтобы там уже сесть в поезд на станции, вокруг которой лепилось двадцать шесть изб, затерянных в густом лесу. После того как был построен железнодорожный мост, две деревеньки, которые он соединял, превратились в небольшой городок Новониколаевск. «В отдаленных краях Сибири, — писал Достоевский, — среди степей, гор или непроходимых лесов, попадаются изредка маленькие города, с одной, много с двумя тысячами жителей, деревянные, невзрачные, с двумя церквями — одной в городе, другой на кладбище...» Однако к началу XX века это был уже город — одноэтажный, с деревянными домами, но все же многотысячный город. В двадцатые годы нашего века он получил имя Новосибирск и стал быстро расти. Сотнями, тысячами появлялись все новые деревянные домишки. Выстроены были каменные административные здания. За быстроту застройки Новосибирск был прозван «Сибчикаго» — сибирским Чикаго. Жилье строили, начиная с печи, — если у тебя была печь и выведена труба, никто не мог тебя по

закону выселить. Потом ты мог возводить стены. Некоторые из этих домишек — их становилось все больше вдоль притоков Оби — сохранились и по сей день, даже в самом центре города с населением больше миллиона человек. А рядом высятся громадные здания, иные из них предвоенные или первых послевоенных лет (украшенные неожиданной для Сибири колоннадой в условно-греческом стиле), — школы, учреждения, больницы, кинотеатры, театры, большие магазины.

Зеленые и красные огни светофоров загораются на перекрестках широких проспектов, проложенных на месте прежней степи, которая сохранилась только в песнях. Тридцать лет назад здесь охотились на уток, в камышах на болотах свистел ветер, избы стояли на островках посреди трясины.

С крыши одного из домов портреты Карла Маркса и Ленина смотрят на город, выросший в центре Сибири, куда один из них был сослан, а другой, без всякого сомнения, был бы сослан, живи он в России. Что же они видят?

Магазин букинистической книги, битком набитый покупателями, которые роются в книгах, перелистывая разрозненные тома, увы, распроданных собраний сочинений Льва Толстого и Анатоля Франса, Марка Твена и Генриха Манна. Старую фабричную работницу, которая покупает электрическую бритву для мужа, для сына, а может, для внука. Сквер, где рядом покоятся те, кто пал на этом месте во время гражданской войны, и человек, сражавшийся на баррикадах в Бельвилле; надпись гласит: «Адриен Лежен, ветеран Парижской коммуны, во время Великой Отечественной войны жил в Новосибирске». Местные аэродромы, где старые крестьянки, которые за все первые сорок лет своей жизни не ездили по железной дороге и боялись поезда, ждут самолета, который доставит их в родную деревню. Центральный почтамт, освещенный и открытый всю ночь (где в случае холодной погоды можно назначить свидание), и на его фасаде надпись огромными буквами: «Да здравствует международный рабочий класс! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Чехов, побывавший в этих местах в 1890 году, записал слова человека, встреченного им на берегу Иртыша: «Народ здесь, в Сибири, темный, бесталанный. Из России везут ему сюда и полушубки, и ситец, и посуду, и гвозди, а сам он ничего не умеет». На заводе, производящем турбины, турбокомпрессоры и турбогенераторы, сборочный цех имеет тридцать четыре метра в высоту и триста пятьдесят метров в длину. Первые машины были выпущены в 1958 году. Это было нелегко: зимой температура в этой местности падает до сорока градусов ниже нуля, а в ту пору не хватало топлива и отапливали только те помещения, в которых непосредственно шла работа. Инженерно-технический персонал сплошь состоял из молодежи: средний возраст был двадцать пять — двадцать шесть лет. Теперь технические кадры «постарели»: средний возраст — двадцать восемь лет.

Главному инженеру тридцать семь лет. Говоря со мной, он формулирует свои мысли предельно точно, полагая, что меня больше всего интересуют цифры, — его самого они приводят в экстаз. Он сообщает, что завод поставляет свою продукцию в тридцать четыре страны, и в течение ближайшей пятилетки экспорт утроится. То, что по плану электрификации России, принятому в 1920 году VIII съездом Советов, должно было осуществиться за пятнадцать лет, составляет полугодовую программу завода, где мы находимся.

Я перенесся мыслью в студеный декабрь двадцатого года. Кржижановский, который за четверть века до этого был вместе с Лениным аре-



стования и сослан в Сибирь, только что кончил доклад об электрификации страны. Повесили огромную карту России; в тех местах, где намечено построить электростанции, ввернуты лампочки. Москва так бедна электроэнергией, что для того, чтобы их все зажечь, приходится выключить свет в некоторых районах столицы. Сидя в темноте, основатели Советского государства смотрели на освещенную карту, смотрели в будущее.

Со мной говорят рабочие. Один заявляет:

— Сибирь становится центром всего промышленного производства.

Другой смеется:

— А вы, может быть, думали, что увидите здесь медведей?

Третий говорит:

— Я прошел всю войну, до самого Берлина. И я видел французов, ваших борцов Сопротивления.

Мне хотелось знать, как они проводят свободное время. Мне отвечают человек десять.

— Кто как. Кому что нравится.

— Большинство учится.

— На нашем заводе больше пятисот человек занимаются в вечерней школе.

— Некоторые танцуют, поют.

— А некоторые даже пишут.

— Зима здесь долгая. Ходят на лыжах.

— Или охотятся. У нас на заводе четыреста охотников, членов Общества охотников и рыболовов.

— Да, много любителей подледной рыбной ловли.

— Смотрят телевизор. Я, например, люблю смотреть балет.

Город растет, люди растут, растет культура.

— С ноября нынешнего года, — рассказывает директор новосибирского драматического театра «Красный факел», — в нашем распоряжении специальные электрические поезда по десять вагонов на сто пассажиров каждый. Мы договариваемся с колхозом или совхозом, и поезд идет от ближайшей к ним станции без остановок, доставляя зрителей на спектакль. Живут они порой километрами за двести и едут часа два с лишним. Мы долго думали, что лучше показывать — классику или современные пьесы? Потом узнали, что наш зритель любит всякое хорошее искусство. За полгода колхозники посмотрели тридцать шесть спектаклей.

Услышав это, я решил, что мы должны побывать в деревне. И вот мы поехали по большой железнодорожной магистрали, идущей из Москвы, и попали в Барлак.

«Звеня кандалами, идут по дороге 30—40 арестантов, по сторонам их солдаты с ружьями, а позади — две подводы... Арестанты и солдаты выбились из сил: дорога плоха, нет мочи идти... До деревни, где они будут ночевать, осталось еще десять верст». Это писал Чехов.

И не все ли равно, находилась ли упомянутая им деревня в десяти или в тысяче километрах от Барлака? Это была такая же деревушка, преобразившаяся теперь в совхоз, у которого двадцать тысяч гектаров земли, своя больница, своя школа, где проводят городское центральное отопление.

В школе группа учеников смотрит документальный фильм «Домик Чехова в Ялте». Деревенские ребяташки из Сибири молча, затаив дыхание смотрят на Чехова и Толстого, Чехова и Горького, — и вдруг раздается голос Шалапина...

По окончании сельской школы три четверти учеников будут продолжать свое образование в вечерних техникумах, институтах.

Школьники спрашивают меня:

— А у вас есть музеи? А молодежные организации? А русские книги у вас переводят?

Вечером мы идем в Оперный театр. На сцене Жермон весь в черном и Виолетта в голубом бархатном платье, и водная гладь на заднике декорации не похожа на холодные воды Оби.

Именно в Новосибирске мне удалось познакомиться с писателем Сергеем Залыгиным, о котором я знал из прессы; к сожалению, ни одна его книга до сих пор не переведена на французский язык.

Мы идем по центру города — толпа пешеходов, троллейбусы, машины, красные и зеленые огни светофоров, рекламные щиты и светящиеся лозунги.

— На этой площади, — говорит Залыгин, — вплоть до тридцатого года можно было встретить караваны: казахи являлись в город со своими верблюдами. В трехстах километрах отсюда и доныне можно встретить юрту.

Я спрашиваю его, много ли он путешествовал.

— Я не так давно стал писателем, — говорит он, — и по своей профессии жил более или менее оседло. Был мелиоратором. В течение пятнадцати лет заведовал кафедрой мелиорации в сельскохозяйственном институте. Вначале работал в верховьях Енисея, там, где живет небольшой народ монгольского происхождения — хакасы; у них есть ирригационные сооружения, построенные две тысячи лет назад. Хакасов около пятидесяти тысяч, все они знают русский, но между собой говорят на родном языке, на котором у них есть свои школы, свои газеты, свои издательства. Хакассия — горный район, очень красивый. Есть там и степи.

— А чем там занимаются люди? — спрашиваю я у Залыгина.

— Скотоводством. Земледелием. Среди них много и золотоискателей. Коммунаров.

— Коммунаров? — удивился я.

— Это слово существовало еще в пору моего детства. Кто не слышал о Парижской коммуне? Слово «коммунар» было в почете. Им называли крестьян, рабочих, молодых интеллигентов, стремившихся к организации коммунистического общежития, построенного на совместном труде и трудовой коммунистической морали.

Тогда я спрашиваю его, был ли коммунаром его отец, и если да, то в каком смысле.

Залыгин рассказал, что его отец был из семьи сельскохозяйственных рабочих, жившей в деревне Тамбовской губернии. Мать была дочерью бухгалтера в маленьком провинциальном банке. В ее семье тоже было много арестованных и ссыльных.

— В месте ссылки она и познакомилась с вашим отцом? — спрашиваю я.

— Нет, она его знала раньше и, когда его сослали, поехала за ним, — говорит Залыгин, а я вспоминаю о старой высокой традиции русских женщин от начала прошлого века и до тех лет, когда так странно и печально сложилась судьба одного моего школьного товарища и его жены.

Залыгин предпочитает рассказывать о своей семье, а не о себе. Но я настаиваю.

— Во время войны, — говорит он наконец, — я занимался наблюдением над льдами. С весны, как только начиналось таяние, мы должны

были наблюдать за движением льдов и давать сведения судам. Я жил среди ненцев и осенью уезжал с последним пароходом, покидавшим Арктику. Они называют настоящим человеком того, кто понимает природу и умеет поступать как человек по отношению к природе. Случается, что при пятидесятиградусном морозе люди спят в снегу, завернувшись в оленьи шкуры. Последний, кто должен устроиться в таком укрытии, засыпает снегом остальных. Ему самому приходится труднее всех. В тех краях плотность населения была один человек на сто квадратных километров. Однажды я потерял в чуме перочинный ножик. Люди знали, что это ножик мой, и спустя четыре года не забыли мне его вернуть. Каждый человек здесь — личность, его не спутаешь ни с кем другим.

— Это и есть главная особенность сибиряков? — спрашиваю я.

— Она в чувстве пространства, — отвечает он. — Пространства, отраженного в человеке. — Он думает вслух: — Без чувства времени мы существовать не можем. А пространство мы ощущаем редко. Да и что для горожанина расстояние от почты до гостиницы? Я ощутил пространство по-настоящему, когда узнал тундру. Один и тот же бесконечный пейзаж, и ни одного человека. Вот тут-то и ощущаешь совсем по-новому землю и твое на ней существование. Все, кто провел какое-то время за Полярным кругом, в Арктике, не могут забыть пережитое здесь никогда.

Я спросил Залыгина, не поможет ли он мне найти одного или двух таких людей, через которых, как через окно, я мог бы заглянуть в прошлое, настоящее и будущее его страны.

Мы пересекли мост через Обь, и теперь наша машина идет по лесу среди берез, елей, кленов. Лесу не видно конца. И вдруг — домики, скворечники на деревьях, радио- и телевизионные антенны на крышах домов, которые становятся все выше. Книжный магазин под названием «Гренада», клуб «Вавилон», где изучают иностранные языки, клуб «Элита», где танцуют, киноклуб «Сигма», научный клуб «Под интегралом»: на первом этаже «Знаменатель», на втором «Числитель». Широкие проспекты, автобусы. Кондукторы объявляют остановки: «Ядерная физика», «Гидродинамика», «Экономика». Толпа молодежи — может быть, студенты, может быть, профессора, но, так или иначе, ученые. Первого мая они несли плакат, на котором была написана формула Эйнштейна: энергия равна массе, помноженной на квадрат скорости света.

— Я предпочитаю Академгородок городу, — говорит Залыгин и звонит у какой-то двери.

Открывает человек среднего роста, крепкий, плечистый, кряжистый и смешливый. Зовут его Геннадий Пospelов.

— Его отец был партизаном, — рассказывает Залыгин. — Когда ездил верхом, он возил сына в кожаном мешке, притороченном к седлу.

— Сперва отец был матросом, — говорит Пospelов. — После войны девятьсот пятого года он стал золотоискателем. Я родился на Енисее. Потом отец работал на заводах, подвергался преследованиям. Он был замечательный слесарь и в начале революции, при белых, тайком делал оружие. Он часто переезжал с места на место, открывал новую лавочку под своей фамилией, но каждый раз под другими инициалами, для конспирации. В конце концов он все-таки навлек на себя подозрение и перешел на нелегальное положение. Однажды он едва не попался: солдаты Колчака пришли его арестовать. Он стал их так бранить, что они растерялись и отправились наводить справки, кто это, а тем временем мы оба спаслись бегством. Мы прятались в болотах. Нас искали, в нас даже стреляли из пулемета — мы бросились в воду, в камыши.

Я спрашиваю, долго ли он путешествовал с отцом в такой опасной обстановке. Он говорит, что все, в общем-то, шло хорошо, пока отца однажды не отправили «ликвидировать беляков». Он оставил сына соседям, а те выгнали его из дому. Ему было около восьми лет. Так он стал беспризорником — частое в ту пору явление. Дело кончилось тем, что мальчик явился в какую-то столовую и объявил: «Мой отец ушел умирать за революцию». С тех пор его стали здесь кормить. Однажды он набрал камней и пошел бить стекла людям, которые выгнали его из дому. У дверей стоял человек в кожаной куртке. Это вернулся отец. Когда сын рассказал отцу, почему он запасся камнями, тот вытащил свой парабеллум. Соседям повезло — они успели удрать.

— А как вы стали ученым?

— Это тоже целая история, — говорит он, улыбаясь. — В двадцать девятом году, когда я поступал в Томский университет, был конкурс, двенадцать человек на место. Меня приняли. Я полюбил геологию. Потом меня отправили на золотой прииск, где была потеряна рудная жила, и я ее нашел. Так я стал исследователем.

— А что вы делали во время войны?

— Я хотел быть солдатом, а меня отправили искать свинец. Пришлось спуститься в копи семнадцатого века. Дело было рискованное, но мои товарищи на фронте рисковали гораздо больше. Я занимался поисками до конца войны, одновременно читая лекцию очередному студенту, который нес караул в копях. Он записывал лекцию, а его товарищи в это время изготавливали бомбы для фронта. По окончании рабочего дня они занимались по записям своего товарища — караульного. Был голод. В Томске один профессор умер от голода у себя дома. В копях работали женщины. Женщины строили железные дороги. Женщины, впрягаясь в плуг, пахали землю.

— И вы всю жизнь провели в Сибири? — спрашиваю я.

— Сибирь интересна тем, что здесь существуют все типы структур, — говорит он таким тоном, будто рассуждает о каком-то социальном явлении.

— Да, и образцы всех человеческих пород?

— В процессе поисков руд и минералов обнаруживаешь следы тех цивилизаций, которые насчитывают тысячи лет или восходят к каменному веку. — Он скользит взглядом по письменному столу, по грудам книг, чертежей и тетрадей. — В июне пятьдесят седьмого было решено построить у нас академический город, в октябре приступили к строительству. Приехали академики с семьями. Сотрудничество требует тесного контакта между людьми. И притом самого разного. Не только делового. Вкусы у людей разные. На масленицу мы устроили такую игру: к машинам привязали конские хвосты и бубенцы и катались, как на тройках. Но если говорить серьезно — так сегодня у нас здесь единственный центр, где бок о бок существуют биология, философия, социология, математика, физика, химия, экономика. Можно работать и в любой другой пограничной области науки. Наши лаборатории располагают самым современным оборудованием, отечественным и вывезенным из разных стран мира. Иногда мы за полгода решаем проблему, на которую в других условиях ушло бы пять-шесть лет. С пятьдесят седьмого года выяснилось, что Сибирь располагает двумя третями мировых запасов угля. В пятьдесят девятом году в первый раз обнаружили залежи нефти, которые можно отнести к крупнейшим в мире. Геологи обнаружили сто миллиардов тонн железной руды на юге района, в котором ее запасы, вероятно, в три раза больше. Это моя специальность — обнаруживать скрытые месторождения ископаемых.

— И это функция вашей лаборатории?

Поспелов опять улыбается.

— Наша лаборатория возникла забавным путем. В сорок пятом году одно из министерств обратилось к нам: «Товарищи, выручайте! Где металл? Мы его не можем найти. Может, он есть, а может, его нет». Я начал искать. Дело было в тайге, в горах. Маленькие рудники — на десять, двадцать или тридцать миллионов тонн. Этого слишком мало: шесть лет — и запас исчерпан. Мы доказали, что залежи гораздо богаче. Одно из таких месторождений, в котором предполагали тридцать миллионов тонн, мы оценили в триста миллионов и не ошиблись. А теперь в Сибири и триста миллионов считают мелочью. Нужны новые методы научных исследований. Не кустарные поиски залежей, а выводы науки о наличии или отсутствии ископаемых в той или иной местности. — Он все больше увлекается. — Мы знаем, что происходит на земле, в воздухе, и не знаем самого важного: что происходит внутри земного шара. Например, землетрясения. Мы должны знать их причину и заранее с ними считаться. Мы должны знать, по чему мы ходим, на чем живут люди. Мы начинаем изучать космос, но мы не знаем геологии. Ее надо основывать на физике, на математике. Мне пришлось изучить молекулярную физику. Мои ребята в лаборатории умеют работать совместно с физиками и математиками. Мы изучаем их работы, они наши.

— Ваша лаборатория большая?

— Я противник больших лабораторий.

— Она в одной комнате?

— В пяти.

Мне хочется знать, что в них делают.

— Представьте себе в недрах земли пласт металла, — говорит он, повысив голос, точно наяву увидел новое месторождение и объявляет мне о своем открытии. — Как он возник? Почему? Лет пять тому назад мы проделали в лаборатории эксперимент. Мы сняли замедленной съемкой фильм об образовании рудного пласта. Сенсационный фильм. — Он снова смеется, смеется от удовольствия. — Чтобы проверить гипотезу, пришлось поехать на Камчатку и изучать вулканы, которые подтвердили нашу правоту. Теперь новая теория получила права гражданства. В ее создании принимали участие молодая женщина физико-химик, молодой математик и другие.

— Всего пять человек?

— Всего двадцать человек.

— Кто они?

— Большинство сибиряки. Один парень из Киргизии. Одна девушка с Украины. Ученики и ученые съезжаются сюда отовсюду: с Кавказа, из Центральной Азии. У нас тут есть крупный физик, по национальности башкир, группы видных математиков, атомщиков, съехавшихся из разных уголков страны. Устанавливаются новые контакты, новые отношения.

— Движение, похожее на то, которое приводит к образованию пластов?

— Вот именно. — Он уточняет: — Средний возраст населения в городе, включая академиков, тридцать два года.

Мы вновь едем по людным проспектам города, построенного среди леса: слева — математика, справа — геология и геофизика, впереди — ядерная физика. Науки со всех сторон — каждая в своем институте.

Я вспоминаю, как Ленин предсказывал начало самой счастливой эры, когда людей, занимающихся политикой, будет становиться все меньше, говорить о ней будут все реже и короче, зато громче заговорят инженеры и агрономы.

Залыгин бросает взгляд на пейзаж и говорит:

— Сибирская береза блее европейской.

Я озираюсь вокруг — он прав. Я говорю ему:

— Спасибо, товарищ писатель. Спасибо, товарищ ученый. Мне многое становится понятней.

— Я рад, что вы смотрите на меня глазами друга,— отвечает он,— но не теряйте самостоятельности оценок.

### Самарканд

Наш самолет — над Узбекистаном.

Должна ширится, на ней уже видна река, появилась нить железной дороги, шоссе с бегущими по нему автобусами и грузовиками. И вот перед нами большой город. Мы выше завоевателей — с неба смотрим на Самарканд.

Глинобитные дома и ограды, большие и малые памятники сравнительно недалекого прошлого и седой старины; все оттенки синевы и голубизны — индиго, ляпис-лазурь, синий с черным отливом, бирюза; и вот купол, который я бесчисленное число раз видел на картинах и фотографиях, купол, под которым в 1405 году был погребен Тамерлан.

Юная студентка, старательно строя французские фразы и находя точные слова, говорит мне о шестнадцатой сатрапии Дария, об Александре, о скифах, живших севернее, о Бактрии, которая была на юге, о завоевателях, нагрянувших на Самарканд почти полторы тысячи лет назад,— а мимо нас проходят два мальчика, слушая современные мелодии, которые тихо напеваает им транзистор. У недавно возведенного здания оперного театра белобородый старец в белом тюрбане пасет крохотного осленка.

— В семьсот двенадцатом году Самаркандом завладели арабы,— говорит моя проводница.

За вековыми платанами прячется мечеть. Неподалеку стела, под которой поконится Ходжа Акром, учитель Тимура, и раскинулось кладбище. Длиннобородые старики проходят у минарета, с которого пять раз в день мулла возвещает час молитвы. На площадь выбегают с сумками и портфелями школьницы в темно-коричневых платьицах и белых фартучках, таких же, как в Нарьян-Маре и Ясной Поляне, но в узких штанах, как в Центральной Азии; они не удостаивают взглядом киноафишу. Но я читаю на ней: «Потомок Чингисхана».

— Утверждают, будто здесь похоронен родственник самого Магомета,— поясняет мне студентка.

В сумраке тесного зала стайка школьников. Они шепчутся, потом переходят на громкий говор, пересмеиваются; учитель останавливает их.

— Чингисхан разрушил Самарканд, а жителей повелел убивать или уводить в плен. Две большие и две малые башни сложены были из черепов...

Город полон преданий и легенд.

Женщины здесь чернят черные брови, соединяя их так, что они сливаются в одну линию над черными глазами. Причудливы бороды у мужчин: вот борода, в которой каждый волос, прямой и длинный, лежит отдельно; вот борода сплошная и упорядоченная; вот буйная, а вот и жиденькая борода; многие бороды тянутся куда-то в одну сторону и похожи на склоненные ветром разнообразнейшие древесные кроны.

Усы большей частью длинные и негустые, свисают по обеим сторонам рта.

Огромная стена наполовину скрывает от взоров гробницу Тимура — десятки рабочих трудятся на постройке гостиницы. В подземелье гробницы узкий и длинный камень показывает, где лежит Тимур. Этот камень окружен другими различного размера — здесь его семья, а там, под наиболее далеким от Тимура камнем, — неизвестный. Во дворе стоит каменный трон.

— Тимур был эмиром небольшого княжества, совсем рядом с Самаркандом, пока не явился в наш город, — говорит студентка и прибавляет: — Это было в тысяча триста шестидесятом году.

(В Дагестане писатель Ахмедхан Абу-Бакар рассказал мне, что свое прозвище «лан» — Тамерлан, — что значит «хромой», Тимур получил на Кавказе.)

Мы вышли за город, на равнину, которая некогда была, говорят, раем — одной из четырех областей рая. На вершине холма стоял старинный памятник; есть предание, будто там погребен святой, некий пастих, который ударом кнута рассек землю и разделил Зеравшан на Черную и Белую реки. Не знаю, так ли это было, но знаю наверное, что здесь находится трансляционная станция ташкентского телевидения: вечером в фойе гостиницы узбеки и таджики, крича и аплодируя, смотрели футбольный матч на голубом экране.

Следующий день я начал прогулкой по бульварам рука об руку с Шахразадой.

Птицы тучей кружились, крича, над руинами мечети Биби-ханым, любимой жены Тимура, о которой так много рассказано в древних легендах. Под одной из арок, наполовину разрушенной временем и землетрясениями, дети увлеченно играли в футбол. Толпа женщин, нагруженных корзинками, которые большей частью носят на голове, молодые люди в тубетейках и нейлоновых рубашках — все шли на рынок у подножия мечети Биби-ханым. Над входом в него написано по-узбекски: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Высятся горы фруктов и риса, который покупатели растирают в пальцах и пробуют на вкус; безрукий нищий призывает милость аллаха на всякого дающего; и опять на улицах — неподвижные, как изваяния, ослы, запряженные в тележки, и ряды грузовиков на склоне холма, а еще выше над ними — развалины древней мечети и рядом с ними гигантский плакат: «Да здравствуют мир и дружба между народами!»

К нам подходит худощавый мужчина и спрашивает:

— Откуда вы приехали?

— Из Франции.

Он говорит: «Позвольте мне», берет мою руку и долго ее пожимает.

— Привет Франции, — говорит он. — А из какого вы города?

— Из Парижа.

— Передайте поклон Парижу, — говорит он.

В свою очередь спрашиваю его:

— Чем вы занимаетесь?

Он отвечает с гордостью:

— Я вожу трактор. Я механизатор.

Он опять берет мою руку и несколько раз ее пожимает и говорит, как будто заканчивая речь перед большой аудиторией:

— Наш привет народу Франции!

Он вежливо поклонился и затерялся в толпе.

Вечером нас посетили две студентки, изучающие французский язык. Миниатюрная Шукурджан и высокая, гибкая Норсул — обе родом из Хорезма; их самаркандская подруга Риския просила нас прийти в гости к ней, в дом ее родителей. Мы пошли по старому городу, по переулочку между двух белых стен, в которых кое-где темнели двери. Норсул открыла одну из них, и мы очутились во внутреннем дворе вроде патио. Двери были открыты, и через них мы видели людей, сидящих в комнатах на коврах, расстеленных по полу, — мужчины отдельно, женщины отдельно.

Два старика и несколько мальчиков вышли поздороваться с нами и пригласили в комнату. Это была комната Рискии.

Кровать, шкаф, деревянный сундук, обитый расписанной жестью, ковры на полу и на стенах, несколько фотографий, на этажерке словари, учебники грамматики, истории, французские классики. Стол был накрыт. На нем были сласти, колбаса, брынза, редис, плоский хлеб, который ломают и кладут по куску перед каждым гостем.

В этом доме, где, конечно, лет пятьдесят тому назад две-три женщины были заперты в гареме, теперь живет семья, в которой один сын изучает английский язык, а два его брата — агрономические науки.

Мать Рискии принесла нам два больших блюда плова и ушла, видимо, не желая мешать детям вести интересную для них беседу. Мы разговаривали, пользуясь некой франко-русско-английской смесью, в которую иногда врывались таджикские или узбекские слова.

Я спросил, могут ли девушки продолжать свои учебные занятия, если выйдут замуж.

— Конечно, — отвечает Риския, — в моей группе одна студентка уже замужем.

Шукурджан и Норсул посещали школу в колхозе на южном берегу Арала. В их классе было двадцать учеников. Многие, окончив, поехали в Ташкент, они вдвоем уехали в Самарканд; есть и такие, что работают, а учатся по вечерам. Но учатся все, также и те две ученицы, которые вышли замуж и стали колхозницами.

— Какие у вас желания? — спросил я.

Они задумались, не осмеливаясь произнести слово «счастье», и я сам перевел разговор на более легкую тему — о женских прическах. Сколько времени нужно, чтобы заплести тридцать косичек, которые мне случилось видеть в их городе на рынке?

— Их теперь девушки не носят! — ответила Риския. — Уже лет пять или шесть модницы стали отпускать две толстые косы до пояса, бывало и подлиннее. Но теперь и косы вышли из моды. Теперь короткая стрижка. А маленькие косички встречаются только в деревне.

Девушки оживились. Они сами, без расспросов стали рассказывать не только обо всем новом, что они знают, но и о том, что им рассказывали старшие. Много я уже знал, но слушал их с таким же увлечением, с каким они вели свой искренний рассказ. Однако когда я попытался вновь перевести разговор на их личные желания и планы, они опять стали сдержанными и немногословными. Хорошо окончить курс наук и найти интересную работу — вот и все, чего они хотят...

Назавтра мы с женой пошли на улицу, где продают тюбетейки, вышитые полосы, которыми женщины обшивают низ своих шаровар, деревянные груши для нюхательного табака; на этой же улице сидят ремесленники, выделывающие колыбели из размалеванного дерева и седла для езды верхом на осле, глиняные кувшины, в которых могли бы спрятаться сорок разбойников, и бутылки, в которых можно было бы запе-



чатывать джинов, металлические горшки, которые мастер выковывает мелкими и точными ударами по медным пластинам, в то время как его помощник раздувает огонь ручным мехом, а старики, сидящие во круг горна, развлекают работающих беседой. В конце улицы женщины, мужчины, дети, сидя на корточках, торгуют тем, что они сами вышили, сшили, вырезали, раскрасили, а также множеством каких-то старых и большей частью никому не нужных вещей — рваной одеждой, разбитой тарелкой, порванной велосипедной цепью...

— Этим, что ли, нужна война?

Пройдя еще с десяток шагов, мы остановились, чтобы купить кустарный нож в кожаных ножнах. Продавец, который сам все это изготовил, узнав, что я гость в его стране и ее друг, молча прижал руку к сердцу, возвратил мне деньги и дал свой нож в подарок.

Стоящие поблизости люди, видевшие эту сцену, заинтересовались, откуда мы, и слово «Франция» мгновенно облетело эту группу узбеков. Кто-то посоветовал мне сфотографировать ремесленника, другие одобрили эту мысль.

Мой новый знакомый охотно встал и выпрямился, готовясь позировать. Но вдруг я услышал чей-то спокойный голос:

— Не надо его снимать. Он плохо одет. Пусть французы не думают, что мы плохо одеваемся.

Это сказала молодая женщина в национальном костюме — в пестром платье поверх шаровар, по типу лица и одежде скорее всего таджичка. Так же, как она, одеты были стоящие рядом с нею две женщины — скорее всего ее мать и старшая сестра.

Я ей ответил, что одежда не много значит в портрете, важнее лицо человека, выражение лица, общий облик человека. Затем я спросил, можно ли снять ее. Первым я снял ремесленника и сказал девушке, что теперь ее очередь. Закончив фотосъемку, мы с женой пошли дальше вместе с этим семейством, ибо им хотелось расспросить нас о Франции и Париже, а я обрадовался случаю поговорить об Узбекистане.

Я сказал им, что сегодня мы встретили крестьянку в парандже, правда первую и единственную за те дни, что я здесь. Много ли их еще осталось? И нет ли женщин в парандже среди их близких?

— Нет! — решительно воскликнула мать.

— Это невозможно! — подхватила старшая дочь.

— Да, это невозможно, — спокойно подтвердила младшая, — ведь мы идем к коммунизму. Моя бабушка первой в своей деревне сняла паранджу.

Она произнесла это со свойственной ей вообще — в этом я убедился еще при встрече — спокойной уверенностью.

— Нельзя ведь идти к коммунизму, закрыв лицо, глядя на людей как бы украдкой!

И я почувствовал, что эта девушка — один из тех камней, из которых сложится прочное здание.

## Бухара

Бухара была Римом ислама, центром цивилизации, как Севилья, Кордова, Гренада. Легенда свидетельствует: возносясь на небо, Магомет видел, что свет повсюду ниспадает на землю с вышины, но над Бухарой он восходит снизу, струясь из города. В караван-сараях Бухары встречались купцы, во всех направлениях водившие свои караваны по землям Средней Азии. Тысячи верблюдов проходили через двенадцать ворот в стенах, окружавших город.

Бухара была разрушена Чингисханом за месяц до захвата им Самарканда. Но в городе много памятников того времени, а узкие улицы все еще такие же, какими были в XV или XVI веках. Широких улиц сравнительно мало, и проложены они всего лет десять—двенадцать тому назад.

Я начинаю знакомство с городом с одного из старинных ремесел. О нем мне рассказывала одна русская женщина, которой в начале советского строительства выпала удача быть ученицей и сотрудницей Крупской. Приехав сюда, она в поддержку женщинам, борющимся за свое равноправие, начала организацию артелей вышивальщиц. И я решил посетить вышивальщиц, работающих золотой и серебряной нитью, тех художниц иглы, которые украшают тюбетейки, туфли, подушки, как это делали их прабабки и прапрабабки. (Девушка, выходящая замуж, и теперь надевает маленькую квадратную шапочку с тем же орнаментом, что и за тысячу лет до нас.)

— Здесь делают радугу. Все сияет!

Это сказал Мухамедов, белобородый маленький старичок: директора нет, и он все покажет нам сам. Я спросил, умеет ли он сам делать радугу небесную?

— Да. Умею. И мой отец и мать умели. — Он подумал и добавил: — И дедушка.

Он умолк, удовлетворив мое любопытство. Но я хотел еще знать, давно ли существует фабрика.

— С пятьдесят девятого года.

— А раньше что было?

— С пятьдесят шестого года нечто вроде кооператива.

— А до пятьдесят шестого года?

— Работали на дому. Так работали все. И больше на заказ, потому что товар дорогой, тогда покупали его мало.

— А теперь где ваша семья?

— Жена работает здесь, — ответил он, несколько удивленный тем, что я сам об этом не догадываюсь.

— А дети есть у вас?

— Есть дочь.

— Тоже работает здесь?

— Работала. Теперь второй год учится в педагогическом институте. Будет обучать математике и физике.

Теперь пришла моя очередь удивиться.

— Видите ли, — заметив это, продолжал он, — здесь работают, например, муж с женой, у них три дочери, и все они работали у нас. Теперь они учатся, как моя. Одна изучает математику и физику, но не собирается быть учительницей. Вторая изучает право и законы, а третья будет врачом. Мы, родители, видим своих детей на каникулах: все студентки, которые раньше вышивали, съезжаются сюда на лето подработать денег, а осенью уезжают. Одна такая студентка, Хабиба Бакаева, стала арабисткой и написала историю вышивального искусства. Она сейчас работает в Академии наук Узбекской республики.

Я не ошибся — древнее ремесло ввело меня в сердце современности...

На минаретах неподвижно стоят ансты. Вокруг них вьются, прорезывая вечернее небо, тысячи ласточек. На больших перекрестках зажглись, сменяясь, зеленые и красные огни. Под огромными платанами, так же отличающимися от платанов европейских, — как все здесь, в

Средней Азии, даже голуби не похожи на тех, что можно увидеть у нас: пятипалый лист бухарского платана имеет веретенообразную форму,— под этими платанами сидят люди и пьют чай...

— Убивали лошадь,— рассказывает мне директор фабрики каракуля Амон Бакаев,— обдирали ее и очищали кожу. В нее клали сто двадцать шкурок каракулевых ягнят, наливали сто двадцать литров воды, бросали туда соль, подмешивали муку. В течение пятнадцати дней подбавляли муку. Смотрели, что получается, два раза на день. Химии не было — проверяли на нюх, на вкус, своим собственным носом и языком. Потом хозяин с подмастерьем вытаскивали шкурки в пять часов утра и сушили их на солнце до вечера.

Мне бы хотелось знать решительно все и поподробнее, но ему недосуг было рассказывать, да и мне, пожалуй, не хватило бы времени все, что он знает, записать.

— В тележке, связывая по сто штук, их везли к Зеравшану. Войдя по пояс в воду, их мыли, потом сушили на песчаном берегу, сбивали рукой песчинки, везли обратно и три дня держали под спудом. Товар был после этого готов. Можно было сдать его хозяину. Он проверял каждую шкурку в отдельности и платил.

Амон молча ожидает, следя глазами за движениями моей руки. Он хочет рассказать хотя бы все основное — ведь это его детство, его жизнь, жизнь его отца и братьев.

— Затем,— продолжал он тотчас, как только я остановился,— начиналась сортировка. Хозяин передавал свой каракуль специалисту. Тот усаживался на столе, ему приносили очередную сотню шкурок, он их проверял и раскладывал в стопки, разделяя на двадцать одну категорию,— эти категории существуют и теперь. Каждый сорт откладывался отдельно, и другой сортировщик разбирал шкурки по густоте и откладывал их по четыре, совершенно одинаковые. Их еще раз чистили, связывали каждую четверку за ножки, за шею и хвост, упаковывали, надписывали по-английски их сорт, фамилию хозяина и отсылали в Петербург; там были покупатели из всех стран, они покупали товар с публичных торгов...

Каждая семья работала отдельно. Амон Бакаев начал помогать отцу с восьми лет. Когда в 1928 году организовалась фабрика, отец стал на ней помощником мастера, работал до самой смерти, а Амон был рабочим, потом тоже помощником мастера. Во время войны против гитлеризма погибли оба его брата — и старший и младший.

По всему пространству большого двора на солнцепеке лежали тесно одна к другой каракулевые шкурки — белые, черные, коричневые. В цехах, где работали мужчины и женщины, вертелись колеса машин; фабрику оснащают автоматикой. Машины позволили привлечь женщин к этой отрасли производства, которая была раньше мужской.

Проходим в следующий двор. В нем — гранатовые и другие фруктовые деревья, виноградник.

— В молодости,— говорит Амон Бакаев,— я мечтал о том, чтобы на фабрике был уголок, где можно отдохнуть. Наши рабочие отдыхают здесь в тени во время обеденного перерыва и едят фрукты.

Хожу по Бухаре, по городу и современному и древнему.

Вот высокая башня, с которой сбрасывали приговоренных к смерти. Последний раз это случилось в 1882 году. Перед смертью человек сказал: «Мое имя не умрет». Старик помнит его имя: его звали Фази.

Я понял, что в Бухаре не надо людей спрашивать,— ставя такие силки, здесь можно поймать лишь самую мелкую и простенькую птичку. Лучше слушать, что говорят, и запоминать.

В общежитии Бухарского педагогического института я разговорился с сестрой-хозяйкой. Хадиша Рахимова низка ростом и кажется уже старой, губы ее сжаты, скрывая беззубость, лицо покрыто морщинами, но глаза у нее большие и черные. Одета она в красивое синее платье в белую горошину, ее голова покрыта белой шалью, концы которой ниспадают на спину и плечи, закрывают шею под подбородком. Живет она в Бухаре, но родилась и провела детство в деревне. Она сказала, что плохо говорит по-русски, и мне пришлось прибегнуть к методу, который я признал наихудшим,— задавать ей много вопросов, получая лишь самые тощие ответы.

— Когда вы были ребенком, жизнь была очень нелегка?

— Разумеется.

— Всей семье жилось трудно?

— У меня не было родителей.

— Не было никого родных?

— Все умерли. Без родителей прожить трудно. Плохо было.

— Была в вашей деревне школа?

Она несколько оживилась.

— Да, дети богачей учились, для богатых были учителя. Бедные не учились. Когда я пошла в школу, на меня и не поглядели: ведь у меня не было ни родных, ни денег. Всему училась сама.— Она опустила глаза.— Я ничего не знаю. Плохо говорю, не знаю грамматики.

В смущении она приподымает шаль, мы видим ее еще черные волосы и высокий красивый лоб, пересеченный глубокими складками.

— Вы носили паранджу?

— Нет.

— Разве женщины не носили тогда паранджу?

— Носили. Но не я. Тогда уже был комсомол. С двадцатого года. А с двадцать шестого года я была комсомолкой. От мужа скрывала.

— Вы были уже замужем тогда?

— Да, у меня был муж. Он умер,— говорит она тихо и печально и молчит, ожидая вопросов.

— Что думали о вас односельчане? Они знали ваши взгляды?

— Конечно. Я вела агитацию.

— И другие вступали в комсомол?

— Да,— отвечает она смущенно.

— Потому что вы их убедили?

— Да,— отвечает она почти шепотом, застеснявшись совсем.

В Бухаре мне сказали, что она была первой женщиной-узбечкой, вступившей в комсомол.

— Следовало бы все, что вы помните, записать.

— Да что я помню?

Быстро выговорив эти слова, она как-то понурилась.

Видно было, что она жалеет уже, зачем пришла сюда и согласилась отвечать на мои вопросы. Но ей казалось, что и уйти неловко, и она начала рассказывать сама, все так же скупно и неохотно. Оказывается, она изучала законы, заседала в трибунале, редактировала ежедневную газету.

— Не были ли вы в ту пору единственной женщиной в Узбекистане, которая занималась такими вещами? — спросил я.

Она покраснела, как будто я ловлю ее на бахвальстве.

— Не знаю,— сказала она,— не помню. Может, были в партии еще и другие.

Но когда я спросил, есть ли у нее дети, к ней возвратился дар речи. Да, у нее трое детей. Старший работает в Ташкенте, он инженер, вто-

рой учится последний год в Московском медицинском институте, будет хирургом, специализируется в операциях на сердце.

Теперь она говорит живо, входя в детали.

— А третий сын?

— Третий? — Она улыбается. — Третья! Третья — дочь. Она на медицинском в Самарканде.

— Лучше теперь живется людям?

— Они счастливые, они будут много знать, — вздохнула она, глядя поверх моей головы куда-то вдаль, наверно, туда, где учатся и работают ее дети. А может быть, она глядит и еще дальше и видит прошлое, свое собственное прошлое, те годы, когда она, малограмотная, вынуждена была занимать ответственные должности, потому что была единственной женщиной-коммунисткой, должна была самоотверженно нести эту почти непосильную для нее ношу, и освободилась лишь тогда, когда подросло ей на смену новое, более образованное поколение.

На узкой улице, которой, наверно, шестьсот лет, меня останавливает мальчик, которому около шести лет. Он останавливает меня вопросом:

— Ты откуда приехал?

— Я издалека, ты и не слышал про такую страну.

— А как она называется?

— Франция.

— А вот и знаю.

Вот и конец дня. Мы идем вдоль узких улиц, полных людьми, под звуки вальса Шопена, льющегося из радиоприемников через окна, невидимые за оградами, под звуки транзисторов, которые носят с собой прохожие, под звуки человеческих голосов, таких же многочисленных и живых, как голоса ласточек часом раньше; пала ночь, но еще можно на фоне синего неба, освещаемого звездами, различить антов, стоящих на страже среди множества антенн.

— Все сейчас сидят у телевизоров, — говорит шофер. Он остановил нас на улице, чтобы пригласить к себе, и мы приняли это приглашение.

Он был огорчен тем, что мы не хотели поужинать у него. Его сестра принесла чаю; в их семье, объяснил он нам, есть шоферы, инженеры, врачи, его дети еще малы, но, когда вырастут, они тоже будут учиться.

Он провожает нас до гостиницы.

Я спрашиваю, не принял ли он нас за своих знакомых, когда остановил на улице. Он отрицательно покачал головой.

— В Бухаре любят кого-либо к себе пригласить, — пояснил он.

Он рассказывает, что его, сироту, воспитали в детском доме. Они с младшей сестрой друг друга потеряли и вновь нашли лишь через двадцать лет — как это случилось, в этом уверен, здесь, в Бухаре, еще во времена Шахразады.

— Сегодня мы были у нее, — говорит он, — и я вас встретил, возвращаясь домой.

Он прибегает к стилю, где смешивается язык «Тысячи и одной ночи» и политических докладов, чтобы сказать:

— Когда вы вернетесь к себе, передайте привет французским рабочим. Приветствуйте их от лица Бухары.

Он удаляется, скоро начинает удаляться и Бухара.

Накануне отъезда я зашел в книжный магазин № 1 неподалеку от базара, чтобы приобрести какую-нибудь книгу о Бухаре, но не нашел

ничего, кроме путеводителей. Случайно мои глаза остановились на трех томиках; в этих книжках, напечатанных по-узбекски, я понял имена персонажей.

— Это «Тысяча и одна ночь»?

— Да.

— В переводе на узбекский?

— Да. Но у нас только три тома.

Я вспоминаю историю первой узбекской комсомолки. Вспомнил и об ученице Крупской — о русской девушке, которая помогала узбекским женщинам впервые понять свои права; они ведь знали друг друга... Как все изменилось с тех пор!

Но не прямо, не гладко, не просто совершаются в действительности такие счастливые перемены. Сколько труда, лишений, страданий, крови стоит за великим прогрессом!

И я знаю, что лишь немного приподнял завесу своего незнания, что лишь немного заглянул в эту прекрасную и нелегкую жизнь.

*Перевод с французского.*



---

---

# ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ЮРИЙ СМОЛИЧ

★

## МОИ СВЕРСТНИКИ

**Э**ше поколение.

Как часто приходится слышать, что мы — счастливое поколение. И это верно. Ведь, родившись в начале века, начав свое сознательное существование еще в старые времена, до революции, мы прошли со страной весь ее полувековой путь.

Да, нашему поколению действительно посчастливилось.

Мы сверстники двадцатого века, и наша сознательная жизнь измеряется полустолетием, миновавшим от Великого Октября, который мы встречали на пороге зрелости. То есть речь идет о людях октябрьского призыва.

Мое поколение хорошо помнит дореволюционные годы. «При царе Николае» прошло наше детство. Нерадостное это было время, хотя взрослые люди обыкновенно почитают детство лучшей порой жизни. До революции проходила и наша юность, — известно, что именно в пору юности наиболее активно формируется характер человека и закладывается основа его мировоззрения. Период возмужания моего поколения — когда мироощущение претворялось в миропонимание — совпал для нас с годами первой мировой войны и войны гражданской. Так что мое поколение — это поколение перелома.

Конечно, я хочу говорить о моем поколении с позиций доброжелательства, — кто же о своем поколении отзовется плохо? Но жизнь наша была не проста и не легка, а скорее сложна и трудна: и радость и горе мы пили полной чашей.

Начнем сначала.

В массе своей мое поколение входило в жизнь темным. Те семьдесят шесть процентов неграмотных, которые свидетельствовали о «культурном уровне» Российской империи, захватили полностью и наш возраст: более семидесяти процентов моих сверстников не умели ни читать, ни писать. Для значительной части остальных людей образование исчерпывалось одноклассной или двухклассной церковноприходской школой. Это не было даже низшим образованием, а просвещенностью — ниже низшей. Практически в области грамотности это ограничивалось знанием тридцати шести букв русского алфавита — для чтения по складам (именно тридцати шести, а не тридцати двух, потому что тогда существовали еще — кроме «ъ» на конце слова — четыре ныне мифические буквы — ъ, ѿ, ѣ, і, упраздненные в первый же год революции).

В области математической выпускники церковноприходских школ получали некоторое представление о четырех правилах арифметики — для применения исключительно в границах покупательной способности,

кстати сказать, весьма ограниченной. Вершиной же образованности полагалось знание молитв «Отче наш», «Верую» и «Спаси, господи, люди твоя»...

Нижнее образование — в пределах четырех классов высших начальных училищ — получали лишь немногие городские жители. И лишь счастливчики из материально обеспеченных или социально привилегированных слоев имели возможность получить образование среднее в границах гимназического курса, некоторых специальных — реальных, технических и коммерческих — училищ или духовной семинарии. Высшее образование доставалось лишь единицам из грамотных тысяч.

Таков был образовательный ценз моего поколения в массе.

Если же вдобавок иметь в виду отсутствие информации или же информацию, фальсифицирующую действительность в интересах церкви, класса имущих и касты плутократии и бюрократии, то можно себе представить, с каким умственным кругозором и духовным багажом входил в жизнь молодой человек моего поколения. Нелегко пришлось ему, когда налетел вихрь революционных событий, когда необходимо было быстро осмотреться, разобраться и принять правильное решение.

Конечно, ни одно поколение в целом не бывает однородным. На моем — борьба классов провела особенно глубокую борозду. Я могу назвать десятки имен моих сверстников, занесенные на скрижали революции: они были в числе ее руководителей, вожаков, полководцев и ушли от нас, не прожив и половины положенной человеку жизни. Но я позволю себе не называть имена, чтобы не преуменьшить этим героизма сотен тысяч безымянных моих сверстников, которые сложили свои головы на полях сражений, не достигнув еще призывного возраста — в те времена двадцати одного года. Я мог бы назвать и имена сотен замечательных людей нашей современности — выдающихся деятелей науки, техники, культуры, плодотворно творящих и сегодня. Но я не назову и эти всем известные имена, чтобы не преуменьшить сделанного миллионами их ровесников, чей труд и творчество дали возможность достичь совершенства нашим выдающимся современникам.

Семнадцати-двадцатилетние парни — вот кто во множестве прошел все фронты гражданской войны в те четыре великих года, когда вспреведливой борьбе молодая армия рабочих и крестьян противостояла четырнадцати мировым державам на юге, севере, западе и востоке нашей огромной страны. Семнадцати-двадцатилетние парни составляли основу и тех многочисленных рабоче-крестьянских отрядов, которые лицом к лицу сражались с внутренней контрреволюцией — против Деникина, Врангеля, Петлюры, Юденича, Колчака и прочая и прочая. Семнадцати-двадцатилетние парни и девушки были и бойцами оперативных групп и подразделений ЧОН, ликвидировавших бесчисленные кулацкие и националистические банды на Украине, на Кавказе, в Средней Азии и в центральных губерниях России.

Деды нынешнего молодого поколения советских людей ушли из жизни в том возрасте, в котором сегодняшняя молодежь только вступает на жизненный путь. Сотни тысяч моих ровесников свою молодую, начинающуюся в преддверии светлого будущего жизнь отдали за революцию, за осуществление идей свободы, равенства и братства, за перестройку общества на основах демократии и социализма. Они ушли из жизни бойцами.

А когда отгремели бои гражданской войны и началась борьба со страшной разрухой, они, мои ровесники, принялись за восстановление парализованного хозяйства страны — транспорта, фабрик, заводов, шахт. А затем мои сверстники стали зачинателями социалистических



преобразований в нашей стране на стройках первых пятилеток. Им довелось теперь уже на хозяйственном фронте вести смертный бой со старым миром, строя новую жизнь. Экскаваторов тогда еще не было, башенных электрокранов еще не изобрели, лебедку крутили руками, землю рыли лопатой, ломом, киркой, а уголь в шахте добывали обушком. Голыми, неопытными руками возводились первые гиганты социалистической индустрии.

Это они, мои сверстники, сидели за рулем первых тракторов, перепаливали межи лоскутных крестьянских наделов, готовясь к первому севу на неоглядных колхозных полях. Бывало, их убивали из-за угла или же провоцировали агенты явной и скрытой контрреволюции. Как и в детстве, им приходилось голодать и холодать, но, голодая и холодая, они успевали закончить рабочие факультеты и из чернорабочих на стройках становились специалистами на производствах, а на стройки вели за собой сотни тысяч людей нового, следовавшего за ними поколения, которое знало о битвах гражданской войны лишь по детским воспоминаниям или же по рассказам отцов и старших братьев.

Малые войны на восточных, западных и северных границах Советской страны, молодой, едва вставшей на ноги, то и дело отрывали их от созидательного труда, и тогда они снова и снова привинчивали штык к винтовке — боевой автомат еще не был тогда изобретен — и вставали стеной на защиту молодого дела своих рук. Потом грянула большая, страшная война, и они встали уже на командные посты — младшими, средними и старшими командирами, солдатами и генералами народной Советской Армии, армии-защитницы и армии-освободительницы. Вместе со своими сыновьями и дочерьми сражались они в партизанских отрядах, с непостижимой быстротой в нечеловечески трудных условиях возводили в глубоком тылу на Востоке фабрики и заводы, обеспечивая тысячеклометровые фронты снарядами и военной техникой.

Проклятая война снова принесла стране разруху; построенное ценой многих лишений и самоотверженного труда — заводы, фабрики, города и селения — враг уничтожил. И снова пришлось, голодая и холодая, стиснув зубы, теперь уже всем поколениям — и тем, кто делал и защищал революцию, и тем, кто родился после нее, — засучить рукава истлевших в боях гимнастеров...

Да, мир был удивлен и потрясен не только храбростью народа-воина, не только силой народа-труженика, но и упорством его в достижении своей цели. Храбростью, силой и упорством, рожденными любовью к Родине и воспитанными партией коммунистов. И во всех этих великих деяниях советских людей неотступно принимало участие и мое поколение.

И ныне, в послевоенные годы, когда трудом нашего народа страна сделала гигантский бросок вперед, поколение ровесников века, поколение октябрьского призыва еще не ушло на заслуженный отдых, оно еще у дел. Оно гордится всем тем, что успело свершить за свою, в общем-то, совсем короткую жизнь.

Жизнь эта прекрасна, хоть была она сложна и подчас трудна.

В пятидесятилетие великой победы мы отдаем должное тем людям моего поколения, которые сумели сразу встать на сторону революции и прийти к нынешнему торжеству прямой дорогой. Но чтобы полнее понять их подвиг, я хочу здесь вспомнить и о заблудших — о тех, кто мог и должен был пойти вместе с нами, но оказался по другую сторону баррикад.

В рядах контрреволюционных армий шли в винтовками в руках и парни моего поколения — против лозунгов, декретов, идей Октября. Ведь и мои одноклассники металась по полям Украины, над Донсом, под

Уралом, в калмыцких степях, среди песков Средней Азии с черными ордами атаманов, неся народу анархию, разруху, кровь и смерть.

Борьба классов, непреложный закон социального прогресса, глубокими бороздами перепахала мое поколение. Сверстники мои разошлись по разные стороны октябрьских баррикад.

Но — только ли аристократы и отпрыски буржуазии пополняли ряды армий Колчака, Деникина, Врангеля и Петлюры? Только ли богатеи поднимали кулацкие восстания, разжигали националистический шабаш, стреляли из-за угла в молодых советских работников и пополняли контрреволюционное подполье? Разве мало молодых людей из немущих классов поглотило белое движение? Разве мало их погибло на полях гражданской войны за «единую, неделимую»?

Я вспоминаю мой класс в гимназии, которую я окончил. То была демократическая по тем временам, провинциальная гимназия в рабочем городке, и учился в ней дети чиновников, мелких служащих, квалифицированных рабочих, крестьян-середняков. В нашем классе не было детей потомственных аристократов: только сын захудалого помещика и сын чиновника, дослужившегося до статского советника. И тем не менее некоторые мои одноклассники стали белыми офицерами, петлюровскими «юнаками» и старшинами или в армиях Галлера и Пилсудского принимали участие в белопольской оккупации своего же родного города. А один — не помещичий и не банкирский сын, забросив тригонометрию и латинские исключения, даже стал «знаменитым» батькой-атаманом, обзавелся кривой «запорожской» саблей, красным «шлыкком» гайдамака и средневековым «оселедцем» — чубом на макушке.

Только ли законы классовой борьбы увели эту молодежь в стан врагов их собственного народа? Были ли тут решающими только самосознание, политические убеждения или партийные программы?

Вряд ли. Все мы были тогда еще сосунками — невеждами в социальных вопросах: так воспитала нас гимназия царских времен.

Ведь как оно было?

Эти мои сверстники — гимназисты, студенты, прапорщики военного времени — стали под знамена белых отнюдь не для того, чтобы отстаивать для помещиков землю, для банкиров их капиталы. Они верили — я говорю о тех, у которых была искренняя вера, а не пустота в душе, — верили в необходимость торжества справедливости и порядка. Только они не ведали, что творили: не знали, ни что такое справедливость, ни каков должен быть этот юрядок.

Мой старший брат был студентом политехникума. Его мобилизовали, когда разгорелась мировая война, отправили в военную школу и сделали прапорщиком. Тем самым прапорщиком, продолжительность жизни которого на фронте досужие математики тех времен исчисляли всего в сорок восемь окопных часов. Брат не успел отвоювать положенные ему сорок восемь часов — Октябрьская революция сняла с него погону. Одно время мы работали вместе с ним в Красном Кресте: мы не были медиками, но мы были студентами и нас назначили в лазарет. Когда в начале девятнадцатого года наши красные части сдерживали наступление не то дроздовских, не то май-маевских полков, брат был послан с санитарной «летучкой» в очередной рейс на позиции. Из персонала возвратился только один лекарский помощник, все остальные — сестры, фельдшера, санитары — погибли... Но спустя некоторое время стало известно, что мой брат — снова офицер и ушел с белыми за границу. И канул в неизвестность. Да, его мог подобрать раненым противник, и он затем автоматически стал солдатом белой армии: так подбিরали и мы раненых «беляков», и из команды выздоравливающих они

совсем другими людьми отправлялись в Красную Армию. Так могло быть. Но могло быть и иначе: брат мог и перебежать. Потому что к тому были психологические предпосылки. Ведь и он мог подумать, что «гибнет Россия», что нужно спасти родину, но так и не сумел разобраться в том, кто спасает родину и кто ее губит. Наследие прошлого, инерция воспитания в гимназии и в школе прапорщиков в дни первой мировой войны, инерция, так сказать, машинального патриотизма, тоже могла сработать.

И таких было немало. Печальна их судьба. И этого тоже не вычеркнешь из истории моего поколения.

Мне ближе, знакомее всего пути украинской молодежи: всерьез в ее рядах я начинал свою сознательную жизнь.

Пути украинской молодежи в революции особенно сложны. Как, впрочем, и пути моих молодых современников других национальностей на «окраинах» бывшей Российской империи. Здесь гнет был двойным. Над моим украинским поколением, когда оно входило в жизнь, тяготело не только политическое, психологическое, бытовое наследие прошлого царской России. Украинской молодежи времен гражданской войны надлежало еще разобраться и в том, с чем, скажем, молодежи русской так непосредственно сталкиваться не приходилось. Я имею в виду национальный вопрос.

Для нас книга на родном языке была крамолой. И прошлое своего народа — все хорошее в нем и плохое, все радости его и все горести, всю героику его истории — украинская молодежь узнавала не из книг — они были под запретом, — а только из песен, дум, сказаний, услышанных из уст отцов и дедов. Но прошлое это — потому что оно прошлое ее народа — тоже почиталось крамолой. И именно поэтому, пожалуй, оно было ей еще во сто крат милее: воспоминание о нем согревает душу и разжигает воображение пламенем романтики...

Так вот, когда вихрь революционных событий налетел на мое поколение украинской молодежи, обрушил на нее штормы и выбросил на гребни гигантских волн, — разве просто было разобраться, разве легко было принять всегда и сразу правильное решение?

Бывали и растерянность, и неверные шаги, и роковые ошибки.

Много горя хлебнуло мое поколение украинской молодежи — как, впрочем, и молодежь других национальностей на «окраинах» бывшей Российской империи, — только ступив на свой жизненный путь.

Разве в петлюровщине — украинском националистическом движении, принесшем столько горя украинскому народу, — принимали участие только классовые враги? Нет, идеологи украинского национализма в те годы распространяли свое влияние на куда более широкие круги украинской молодежи и увлекали ее на путь контрреволюции. Ведь безземельного крестьянского парня вовлекала в борьбу жажда владения землей, земелькой, землицей, а интеллигентских ребят — романтика национального возрождения и национальной независимости. Недостаток жизненного опыта делал их незащищенными перед политическим суесловием националистов; они принимали декламацию за убежденность, политиканство не умели отличить от идейности, под маской не различали лица. А многие очутились под вражескими знаменами просто потому, что были мобилизованы насильно. Разве можно сбросить со счетов ущемленное национальное чувство? Лидеры национализма — фанатики национальной нетерпимости, политиканы-авантюристы, собственники и эксплуататоры — использовали эти чувства молодежи и повели ее на позорную смерть.

Я припоминаю первую в дни революции спровоцированную ими

трагедию молодежи моего поколения. В начале восемнадцатого года, когда в Киеве захватила власть националистическая буржуазная Центральная рада, украинский народ восстал и украинская Красная Армия, предводительствуемая двадцатилетним большевиком Юрием Коцюбинским — сыном классика украинской литературы Михаила Коцюбинского, — двинулась на столицу. Ей на помощь спешили посланные Лениным питерские рабочие и балтийские матросы. Власть националистов была обречена. И тогда черный дьявол украинской контрреволюции Симон Петлюра, именем которого украинский народ окрестил враждебных ему националистов, спекулируя на чувстве любви к веками угнетаемой родине и на юношеском романтизме молодежи, — бросил на последний рубеж под столицей, на станцию Круты, полтысячи гимназистов киевских гимназий. И все они полегли там, под пулями своих же украинских сверстников. Так националистическая провокация погубила полтысячи ни в чем не повинных юношей, обрекла их на позорную смерть, смерть, хуже которой быть не может, — смерть изменников своего народа.

Быть может, трагедия под Крутами вызвала перелом в сознании многих и многих тысяч молодых украинцев, стала той каплей серебра, что, падая в мутную болотную воду, мгновенно делает ее прозрачной и пригодной для питья. Отдали свою жизнь по вине провокаторов пять сотен, но тысячи и тысячи молодых украинцев прозрели и отрезвели от националистического чада.

Можно вспомнить еще одну спровоцированную трагедию тех времен — «украинских сечевых стрельцов». Это было военное формирование, начатое еще в первую мировую войну националистическим «Союзом освобождения Украины» (СВУ) при поддержке правительств Германии и Австро-Венгрии с целью отторжения Украины от России. Они воевали против русской армии в первую мировую войну, сыграли предательскую роль в дни существования националистической буржуазной Центральной рады — и погибли в ходе дальнейших событий гражданской войны. Лишь малая часть «сечевых стрельцов» нашла свое настоящее место — в рядах бойцов Красной Армии, в 44-й и 45-й дивизиях. А большая часть? Большая часть оказалась в стане врагов до конца — под знаменами Петлюры, денкинцев и белополяков. Их тоже спровоцировали, сманили громкими словами о национальном освобождении.

В одной статье, написанной бывшим участником «белого движения» и помещенной в одной из газет, издающейся на русском языке, — совсем недавно, в шестьдесят шестом году — я прочитал такие строки: «Эпоха гражданской войны давно отошла в область истории. Былое раздвоение русских на «красных» и «белых» теперь звучит уже анахронизмом и утратило всякий реальный смысл. «Красных» и «белых», павших на полях междоусобных браней, объединила братская могила. Живых русских — наших современников — должно объединить братское единство, духовная и культурная связь, забота о родине, о защите ее чести, ее достоинства, ее неприкосновенности и благополучия».

Время многое изменяет, о многом заставляет забыть. Наши бывшие враги становятся благоразумнее, они готовы согласиться с тем, против чего когда-то боролись, и начинают призывать к единству. Но...

Но — в одну ли могилу легли останки гайдамаков Тютюника и червонных казаков Примакова? Братская ли могила у врангелевских «добровольцев» и красноармейцев?

Нет! Не в одной братской могиле лежат красные и белые. Не в борьбе за единство потеряли они свою жизнь, а в непримиримой борьбе классов, сознательно или случайно, добровольно или по принуждению став по сю или по ту сторону баррикад!

Да, та часть людей моего поколения, которые стали по эту сторону октябрьских баррикад и пошли с революционным народом, с честью прошли эти полвека. Им подавало руку поколение старшее, поколение бойцов, подготовивших и свершивших революцию, а ныне они идут плечом к плечу с поколениями последующими, пришедшими и идущими к ним на укрепление и на смену. Было им не легко и не просто, узнали они и радости и горести, немало потеряли, но несравненно больше приобрели, вышли здоровыми, крепкими.

Я рад и горд, что принадлежу к этому поколению, к поколению октябрьского призыва.



---

---

# ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ИЛЬЯ ФРАДКИН

★

## НЕМЕЦКИЕ ПИСАТЕЛИ В РЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ

**В**весной 1920 года Коммунистическая рабочая партия Германии — КРПГ — решила направить в Москву для переговоров с Коминтерном делегацию — писателя Франца Юнга и рабочего Яна Апделя. Легальная поездка была невозможна. В поисках обходного пути Юнг познакомился в Гамбурге с неким Кнюфгеном, матросом с рыболовецкого траулера «Сенатор Шрёдер». Траулер в ближайшие дни должен был выйти на промысел в Баренцево море; в районе Мурманска можно было бы переправить Юнга и Апделя на советский берег. С помощью своего тестя, служившего боцманом на том же судне, Кнюфген привел обоих делегатов ночью на борт «Сенатора Шрёдера» и запер в вещевых шкафах в магросском кубрике. Здесь они провели мучительных двое суток. Когда траулер был уже в открытом море, Юнга и Апделя освободили, вывели их отдышаться на палубу, и тайные пассажиры предстали перед командой.

Тем временем выяснилось, что судно идет вовсе не в Баренцево море, а к берегам Исландии. С матросами Юнг легко договорился, а затем с помощью команды отстранил капитана, отказавшегося изменить курс и следовать в Мурманск, взял его и его помощников под арест и поднял красный флаг.

Моряки «Сенатора Шрёдера» оказались в трудном положении: курс на Мурманск лежал через минные поля, карт и лоций этого района на корабле не было, без специалистов было трудно ориентироваться и пользоваться навигационными приборами — траулер плыл вслепую, следуя вдоль норвежского побережья. Тем временем по ра-

дио разнеслась весть о мятеже на немецком судне и о направлении его движения; советский катер отправился на розыски блуждающего в тумане «Сенатора Шрёдера». 1 мая 1920 года траулер с советским лоцманом на борту ошвартовался у мурманского причала. Судно команда передала Советскому правительству (вскоре оно было возвращено Германии), судовое начальство было отправлено на родину, а Юнг, Апдель и присоединившийся к делегации Кнюфген сошли на берег, приняли участие в первомайских торжествах мурманских трудящихся, а затем, уже поездом, продолжили свой путь в Москву.

С первых же дней Октября — с того момента, когда радио послало в эфир слова исторических обращений: «Всем! Всем!», — красный Петроград и красная Москва стали центрами паломничества для революционеров со всех концов земного шара. Сюда пробирались — подчас столь же трудными и опасными путями, как Юнг, — и те иностранные писатели и журналисты, которые хотели знать правду о великом перевороте.

Благодаря этому уже в течение первых трех лет после Октябрьской революции во многих странах появилась литература о Советской России, преимущественно репортажно-документального характера, принадлежащая перу писателей, бывших свидетелей, а иногда и участниками русской революции, — американцев, англичан, французов, немцев, чехов, румын, китайцев, японцев. Общественный и литературный облик этих писателей был неодинаков, некоторые из них в дальнейшем отошли от политической жизни или свернули на лож-

ный политический путь. Однако это не может ни изменить, ни отменить историческое значение, которое в свое время книги этих писателей имели для мирового общественного мнения.

В начале двадцатых годов роль этой литературы была очень большой. Характерно, что книги Паке, Гольдшмидга, Голичера, Герцога, по желанию В. И. Ленина, были отобраны для его личной библиотеки в Кремле. Между тем эта литература всегда была у нас известна немногим. Большая часть книг зарубежных свидетелей революции даже не переводилась. О немецких же писателях в этом плане вообще не написано почти ничего.

## 1

Первым немецким писателем, приехавшим в Советскую Россию, был Альфонс Паке — поэт, прозаик, драматург, публицист. Он бывал в России и до войны 1914 года, объездил всю Сибирь, жил в Москве, внимательно изучал экономические отношения и дальневосточную политику, выпустил о России несколько книг репортажного и научно-публицистического характера. В конце июня 1918 года он приехал в Россию в качестве корреспондента «Франкфуртер цейтунг».

В последующие годы Паке стал в Германии одним из самых страстных пропагандистов русской революции. Это трудно было предвидеть. Характеризуя свое недавнее прошлое, он писал в апреле 1919 года: «Пока не наступила мировая война, мне не приходило в голову, что мои представления о будущем я буду производить от тех идей, которые ныне начертаны на знаменах революционного пролетариата. Я верил, что мы, немцы, осуществляем в созданной Бисмарком империи социальный идеал, который явит миру пример великого государственного строя, преуспевающего не только в деле материального обогащения, но и в области справедливого законодательства... Я могу сказать, что и во время войны я еще некоторое время верил в просвещенный империализм... и в величие его плодов»<sup>1</sup>.

Паке приехал в Советскую Россию, еще находясь во власти своих предрассудков, и они не могли не повлиять на характер его корреспонденций. Он провел в России пять

месяцев — с конца июня по ноябрь 1918 года. За это время он был свидетелем таких событий, как мятеж левых эсеров, убийство иммигранта графа Мирбаха, покушение на Ленина, ответный красный террор. На книгу Паке «В коммунистической России»<sup>1</sup>, состоящую из собранных воедино и изданных позднее корреспонденций во «Франкфуртер цейтунг», наложил свой отпечаток испуг respectable буржуа, привыкшего к стабильной жизни. В книге много места занимает описание бед гражданской войны, террора, разрухи.

Паке (в отличие, например, от Джона Рида) редко случалось быть в гуще народных масс, в центре совершающихся революционных событий, и его непосредственное знакомство с руководящими деятелями революции и ее органами было лишь эпизодическим. И все же русская революционная действительность раскрывалась перед Паке все шире, в поле его зрения начинали входить такие факты и факторы, которые заставляли его задуматься над смыслом столь непривычных для его бюргерского восприятия событий. Характерный пример: в ряде корреспонденций Паке сообщал о приближающейся гибели советской власти и т. п. Но по прошествии нескольких недель он сам констатировал несостоятельность своего, казалось бы, столь трезвого прогноза. И это волей-неволей привело Паке к мысли, что русская революция пробудила такие силы, которые не поддаются измерению старой системой мер.

Постепенно смещались акценты, от описания Паке переходил к стремлению осмыслить факты в исторической перспективе.

Это особенно ясно сказалось в заключительных главах книги, в которых описывается торжественное празднование первой годовщины Октября. Сколько раз революция, казалось, была на краю гибели, писал Паке, но силой энтузиазма и самоотверженности масс она преодолела опасности, и вот сегодня гремят оркестры, звучат революционные песни, Василий Кандицкий и его ученики украсили улицы ликующей Москвы яркими, праздничными панно, трудящиеся со всех концов города под красными знаменами стекаются на Красную площадь. И Паке, проходя в толпе, вглядываясь в лица

<sup>1</sup> Alfons Paquet. Der Geist der russischen Revolution. München. 1920, S. VI.

<sup>1</sup> Alfons Paquet. Im kommunistischen Rußland. Briefe aus Moskau. Jena. 1919.

голодных, но полных воодушевления людей, пытался разгадать, какая воля, какая могучая сила движет ими и что они несут Европе и всему миру.

Постепенно пробуждающееся в Паке сознание исторического величия русской революции и высокого благородства ее идей приводит писателя к кульминационному пункту книги, к главе под названием «Вопрос совести». Эту главу постигла особая судьба: напечатанная в виде корреспонденции во «Франкфуртер цейтунг» 8 сентября 1918 года, она была жестоко искалечена цензурой. По меньшей мере половина ее была вымарана — по целым абзацам или отдельным фразам. Издавая книгу, Паке восстановил эту корреспонденцию в первоначальном виде, выделив курсивом все ранее снятые цензурой места. «Вопрос совести», о котором писал автор, мог быть сформулирован так: чиста ли у нас, немцев, совесть по отношению к русской революции? Вчерашние союзники России, страны Антанты перешли к прямым враждебным действиям против Советской республики. А как Германия? Выполняет ли она хотя бы условия Брестского мира? Ведет ли она себя по отношению к России честно и лояльно? На эти вопросы Паке с горечью дает отрицательные ответы.

Глава «Вопрос совести» заканчивается словами: «Предсказание Ленина, что лишь гражданская война положит конец империалистической войне, исполнится, если правительства, от которых это зависит, не поспешат отказаться от своей ставки на полный разгром противника и от своей веры в грубое насилие».

С того момента, когда в ряде стран империалистическая война стала превращаться в гражданскую, когда произошли революционные события в Болгарии, Австрии, Венгрии, а главное, в Германии, русская революция обрела в глазах Паке значение начала новой эры в истории человечества.

Речи Паке о Советской России объединены в книге «Дух русской революции»<sup>1</sup>, появившейся почти одновременно с его книгой «В коммунистической России». Бывший поклонник Бисмарка и умеренный либерал, окрыленный величием Октября, возвещает смерть одного мира и рождение другого, возвещает гибель европейского и всемирно-

го «маммонизма» — капиталистического строя — и торжество «советской идеи», то есть принципов социалистического общежития, коллективизма, мира и дружбы между народами. Характеризуя всемирно-историческое значение того дня, когда была провозглашена Советская Конституция, Паке говорит: «С того дня, когда телеграф передал народам мира этот призыв... на позолоченную статуэтку империализма и капитализма легли первые тени заката».

Свою речь «Дух русской революции» Паке закончил словами: «С железной твердостью провозглашенная безоговорочная борьба против капитализма и форм частного и государственного своекорыстия — таков непреходящий приоритет русской революции. Такова заслуга подвергаемого хуле большевизма, таков полет его деяний. Его дух во всем его интернациональном значении должен воодушевить носителей германской революции, если мы не хотим, чтобы все, что сейчас у нас происходит, погрязло в болоте. Развал Европы завершится еще на наших глазах, но уже заложены основы ее возрождения. Да проникнемся мы глубоко идеей революции и почерпнем из нее надежды на будущее!»

В двадцатые годы общественная и творческая деятельность Паке и его надежды на будущее продолжали быть тесно связанными с идеями русской революции и с идеей Советов как государственной формы, объединяющей народы Европы на основе мира, дружбы и сотрудничества. Он мечтал о политической реорганизации Западной Европы и о Союзе Советских Республик, расположенных по обе стороны Рейна. Положения, высказанные Паке в книге «Дух русской революции», были им продолжены и развиты в эссе «Русский призрак» и «Рим или Москва»<sup>1</sup>. Утопический роман Паке «Пророчества» (1923), исполненный веры в рождение нового человечества, имел в своей основе незабываемые впечатления социалистической революции в России. Две его знаменитые пьесы, особенно прославившиеся в сценическом воплощении Эрвина Пискатора, — «Знамена» (1922) и «Бурный прибой» (1925) — также были обязаны своим происхождением идеям, к которым Паке привела русская революция.

<sup>1</sup> Alfons Paquet. Der Geist der russischen Revolution. München. 1920.

<sup>1</sup> Alfons Paquet. Das russische Gesicht. 1920. Alfons Paquet. Rom oder Moskau? 1923.



Коммунистом Паке не был, марксистское мировоззрение не было им понято; симпатии идеям социализма определялись у него религиозно-нравственными мотивами и остро тревожащим его чувством «большой социальной вины имущих перед неимущими».

Нацизму Паке был всегда резко враждебен. В 1933 году он отказался подписать заявление о солидарности писателей с «новым режимом» и демонстративно покинул Прусскую академию искусств. Фашистская цензура препятствовала изданию его произведений, многие из них остались неопубликованными. В 1935 году он был подвергнут аресту.

Скончался Паке во Франкфурте-на-Майне в феврале 1944 года.

## 2

Франц Юнг приехал в Россию, как мы помним, способом, весьма отличным от того официального пути, который привел в Москву корреспондента «Франкфуртер цейтунг» Паке.

Юнг был беспокойной, неукротимо активной и сложной, противоречивой личностью — писателем-«авангардистом», революционером-подпольщиком, дельцом-коммерсантом — и в итоге человеком, не реализовавшим своих возможностей ни в одном из многочисленных амплуа, которые он менял иногда под напором жизненных обстоятельств, а чаще под влиянием своего темперамента. Еще до первой мировой войны в Мюнхене он познакомился с Ландауэром и Мюзамом и из протеста против буржуазного уклада жизни примкнул к их анархическому союзу «Действие». В начале войны он дезертировал, был помещен в психиатрическую больницу; после безуспешных попыток привить ему там прусско-солдатские добродетели он был освобожден и возвращен в гражданское состояние. В это время происходит активизация и радикализация политических взглядов Юнга: он завязывает в Берлине нелегальные связи с союзом «Снартак», затем активно участвует в 1918—1920 годах в революционных событиях. Правда, при этом проявляются «левые» анархо-экстремистские склонности Юнга, его непонимание роли теории, роли партийной организации.

С 1912 года Юнг сотрудничал в экспрессионистских журналах, подписывал литературные манифесты и участвовал в выступлениях этернистов и дадаистов. В течение

восьми лет он опубликовал семь книг — романы, рассказы, драмы, которые являлись собой пример экспрессионистского мироощущения и стиля: в романах «София. Крестьянский путь смирения» (1915), «Жертвоприношение» (1916), «Прыжок из мира» (1918) протест против власти сильных над слабыми, против оков лживой морали, семейного гнета, эгоистической разъединенности и одиночества людей, против всяческих форм угнетения личности в жестоком и лицемерном обществе — этот протест звучал здесь на самой высокой, близкой к истерии ноте.

Болезненное переживание разобщенности человечества, одиночества человека, стремление к единению и братству (темы экспрессионистских произведений Юнга) были тем стимулом, который привел писателя в ряды рабочего движения: в массовости, в коллективизме труда и революционной борьбе он искал освобождения от проклятия индивидуалистической неприкаянности. Все его повести революционных лет, которые он писал преимущественно в тюрьмах веймарской Германии, неизменно имели своим средоточием проблему отношений между личностью и коллективом. Юнг то впадал в своеобразный анархический индивидуализм, то в покающую готовность принести личность в жертву коллективу. Но при всей его идеологической неустойчивости, Юнг искренне был уверен, что решение всех вопросов принесет пролетарская революция. Празднование 1 Мая и коммунистический субботник в Мурманске навсегда сохранились в памяти Юнга как манифестация свободного, раскрепощенного труда и счастливой гармонии личности и коллектива. «Это стало величайшим переживанием моей жизни, — писал он на склоне лет. — Это было то, чего я искал, за чем я отправился в путь с детства: родина, родина людей...»<sup>1</sup>.

В 1920 году Юнг провел в России около четырех месяцев. Делегация, членом которой он был, вел переговоры с руководством Коминтерна. КРПГ была подвергнута критике за левосектантские ошибки, но все же принята в Коминтерн. Аппель и Юнг посетили Ленина, который подробно расспрашивал их об экономическом положении и о политических настроениях в немецком рабочем классе. В том же году написанная

<sup>1</sup> Franz Jung. Der Weg nach unten, Neuwied am Rhein — Berlin — Spandau. 1961 S. 156.

Юнгом по возвращении рукопись под названием «Поездка в Россию»<sup>1</sup> была издана в Берлине.

Все, что Юнг наблюдал в России, он воспринимал и оценивал в этой работе в сопоставлении с полуторагодовым опытом германской революции. Уже с первых страниц он так определяет задачу своей книги: «Там (в России.— *И. Ф.*) я понял, насколько немецкий пролетариат, немецкий народ отстали в смысле самовоспитания для пролетарской революции и перехода к новой человечности. Растворить немецкому народу на русском примере идею самодисциплины, общности, братства и взаимной помощи — такова цель этого наспех набросанного очерка». Юнг с раздражением пишет о тех «репортерах, салонных социалистах, литераторах», которые высокомерно и снисходительно, с высоты своего германского превосходства рассуждают о русской медлительности, безалаберности. Он не видит для этого никаких оснований. Напротив, пролетарская революция пробудила в русском народе огромные созидательные силы и организационную энергию, между тем как немецкому рабочему классу, с точки зрения Юнга, кичиться нечем. Одна из глав книги так и называется: «Глава против немецкого рабочего».

Для таких сопоставлений и выводов были основания. Но характер похвал и порицаний у Юнга настораживает: в своем осуждении немецкого рабочего класса он заходит очень далеко. Хотя он приехал в Советскую Россию как неопытный в страну своих заветных мечтаний, приехал — по собственному признанию, — «чтобы суметь правильно оценить значение русской революции для изменения мира», но мнения его слишком абстрактны, субъективны. Чувствуется, что увиденное в России он использует как аргументы для продолжения своей тяжбы, возникшей еще в Германии. Резкость оценок Юнга, его склонность к ультрареволюционной фразе проистекают из присущей Юнгу «детской болезни левизны».

Несмотря на эти моменты в идеологической позиции Юнга, на непонимание им некоторых важнейших сторон социалистической революции в России, все же через посредство его книги многие тысячи немецких читателей получили немало живой и прав-

дивой информации. Юнг сумел рассказать, какую огромную энергию высвободила революция в народе и какую активную организующую роль играет большевистская партия в процессе государственного, хозяйственного и культурного строительства в масштабе всей страны. В Мурманске, например, англо-американская оккупация оставила после себя хаос, жизнь была дезорганизована, на железнодорожных путях громоздились искаленные вагоны; электростанция, водоснабжение, значительная часть жилых домов были разрушены.

И вот Юнг описывает, как из Питера или из Москвы прибывает уполномоченный в особом вагоне, который становится его штабным помещением: «В обстановке, в которой немецкий административный начальник, американский менеджер от отчаяния рвали бы на себе волосы, русский коммунист совершенно невозмутим»: он привез с собой нескольких товарищей, которые становятся ядром политического и хозяйственного аппарата. Созываются митинги, опытные агитаторы мобилизуют активность и инициативу трудящихся. Начинает действовать местный Совет, круглые сутки стрекочет телеграф, поддерживая связь с центром. В первую очередь открываются детские сады и ясли, рабочие клубы, читальни, и постепенно из хаоса возникает твердь организованного быта, новой, на советских основах построенной жизни. Этот процесс «сотворения мира» Юнг описывает с искренним воодушевлением.

«Проблема вождей» в книге Юнга посвящена особой главе. Автор подчеркивает (с известным элементом назидательности по отношению к немецкому рабочему движению), что «русская революция выдвинула истинный тип пролетарского вождя, который воплощает в себе дисциплину, личный пример. ясность цели и безошибочность действий». Юнг видит основу того полного доверия, которое питают в России трудящиеся массы к своим большевистским вождям, в их простоте, в человечности и демократизме, в том, что любые деятели, какое бы высокое положение они ни занимали, подлежат критике снизу, что на них распространяется точно та же дисциплина, что и на любого рядового работника, что их деятельность протекает гласно и открыта всеобщему обозрению, что за свои действия они несут всю тяжесть личной ответственности и что, наконец, они не избирают

<sup>1</sup> Franz Jung. Reise in Rußland Verlag der K A P D. Berlin, o. J.

из себя непогрешимых всезнаек, а, напротив, в связи с небывалой исторической новизной стоящих перед Советским государством задач ищут правильных решений, признавая и исправляя допущенные ошибки, не переоценивая лично себя, а обращаясь за помощью к коллективному разуму и опыту масс.

По возвращении Юнга в Германию из первой поездки в Россию его ждал арест и суд «за похищение корабля». Между тем в левой печати возникла кампания за освобождение писателя. Через несколько месяцев он был выпущен на поруки и почти сразу отправился в Саксонию, где принимал участие в революционных боях в марте 1921 года. После подавления восстания он вынужден был бежать в Голландию, был там интернирован и осенью 1921 года выслан в Советский Союз.

На этот раз Юнг ехал с сознанием, что дорога в Германию для него надолго отрезана. Он ехал с намерением практически включиться в социалистическое строительство в Советском Союзе. Здесь провел он два с половиной года, вступил в РКП(б).

Свою деятельность на новом поприще Юнг начал в качестве управляющего делами Московского бюро международных организаций помощи голодающим Поволжья. В связи с этим он совершил поездку в Поволжье, в районы голода. Вскоре после этого Юнг получил новое назначение: он возглавил под Екатеринбургом показательное хозяйство, технической базой которого была тракторная колонна, присланная в коммерчески-рекламных целях американской фирмой. Вслед за тем Юнг занялся восстановлением производства и был директором спичечной фабрики в Новгородской губернии. Наконец, переехав в Петроград, Юнг возглавил восстановление завода металлических изделий «Рессора».

Несмотря на напряженную организационно-хозяйственную деятельность в трудных условиях, Юнг находил время и для литературной работы. В годы его пребывания в Советском Союзе и непосредственно после его возвращения на родину появилось пять книг, связанных с разными сторонами его деятельности и его наблюдениями над советской жизнью. Одна описывала поездку в голодающее Поволжье, другая представляла собой историю работы Юнга по восстановлению спичечной фабрики и т. д. Наряду с документально-очерковыми книгами

Юнг выпустил также и некоторые работы с попытками анализа и обобщения государственного опыта Советского Союза. К таким работам относилась, в частности, его книга «Интеллектуальная Россия сегодня»<sup>1</sup>. Отдавая должное достоинствам этой книги, «Роте фане» указывала, однако, на идеологические ошибки, которые «сильно напоминают об интеллигентски-синдикалистском прошлом автора»<sup>2</sup>.

После возвращения из Советского Союза в Германию начинается постепенный отход Юнга от политической деятельности, совершенно явственный во второй половине двадцатых годов. Одновременно начинает глотнуть и зарастать его след и в литературе. За три года перед приходом Гитлера к власти он издал роман, не имевший успеха. Писатель поставил две его новые пьесы, которые также не смогли вернуть внимание общественности к его имени. Затем оно надолго совсем исчезает из немецкой литературы. И лишь на пороге смерти, в начале шестидесятых годов, Юнг напоминает о себе из США книгой мемуаров «Путь вниз».

Эти мемуары проникнуты духом разочарования. Подводя безрадостный итог своей жизни, Юнг объявляет несостоятельными не только свои литературные произведения, но и все мечты, увлечения и надежды своей молодости.

Суровый приговор, который вынес себе Юнг, справедлив лишь отчасти. Он действительно не был ни особенно крупным писателем, ни значительным политическим мыслителем. Но был у него период, когда он своей жизнью и своим творчеством вошел в тесное соприкосновение с великими событиями века, и именно всемирно-историческое значение этих событий, которые автор, пусть не всегда с достаточным пониманием, но во всяком случае с искренним желанием быть правдивым, отразил в своих книгах, дает Юнгу право на место в истории литературы XX века.

### 3

В 1920 году в Советскую Россию приехали еще несколько немецких писателей. Среди них — Артур Голичер.

Ко времени первой поездки в Россию ему

<sup>1</sup> Franz Jung. Das geistige Rußland von heute. Berlin. 1924.

<sup>2</sup> „Rote Fahne“, № 163, 1924.

было уже за пятьдесят лет, и он был автором нескольких десятков романов, повестей, пьес, а также книг репортажного характера. Он всегда испытывал вражду к буржуазному обществу, но это настроение длительное время не было связано со сколько-нибудь осознанной и активной политической деятельностью.

С весны 1918 года, после открытия в Берлине советского посольства, Голичер становится его частым гостем, здесь он слушает доклады русских товарищей о Советской России, здесь он 22 октября 1918 года празднует в кругу немецких и русских революционеров освобождение из тюрьмы Карла Либкнехта — вечер, происходивший за несколько дней до свержения Вильгельма II и начала германской революции.

С надеждой следил Голичер за взлетом германской революции и с болью переживал ее падение.

Осенью 1919 года организовалась комиссия из представителей различных профессий и общественно-политических кругов для поездки в Россию и изучения положения дел на месте. Голичер был приглашен участвовать в этой комиссии и написать книгу о результатах ее работы. Возникли, однако, трудности полицейского свойства, и лишь спустя год писатель смог выехать в Россию, на этот раз в качестве корреспондента американского агентства «Юнайтед телеграф». Он провел в России три месяца — сентябрь, октябрь и ноябрь 1920 года, был в Москве и Петрограде, вместе с Кларой Цеткин посетил Иваново-Вознесенск, встречался с Чичериным, Луначарским, Бела Куном, Коллонтай и, вернувшись, опубликовал книгу «Три месяца в Советской России»<sup>1</sup>, которая в коммунистической печати получила высокую оценку.

В ожидании поездки, которая все откладывалась, Голичер уже в 1919 году, по его словам, «все меньше надеялся увидеть большевизм в его первоизданной и, как мне казалось, наиболее сильной и определенной форме»; некоторые мероприятия Советского правительства (введение премиального поощрения, трудовой повинности и т. д.) представлялись ему извращением «идеальной сущности» коммунизма. Обнаружив в Петрограде жалкую частную лавчонку, торгующую компасами, мундштуками и зажигал-

ками, Голичер сокрушался по поводу «этого нарушения одной из фундаментальных заповедей социалистического хозяйства». Не только административные, но и материальные стимулы он отвергал со всем пылом парящего над реальной действительностью нравственного максималиста. Он говорил о «мистическом празаконе коммунизма», о «колоколах Нагорной проповеди», которые ему звучали в первых декретах советской власти. Он ссылаясь на Льва Толстого и Петра Кропоткина и с пророческим пафосом возвещал, что «время материализма, как движущей силы исторического развития, миновало... Из политики большевизма должна родиться религия коммунизма», но этого не будет «до тех пор, пока большевизм вынужден биться над экономическими проблемами и основами...».

Эти утопические и идеалистические представления мешали Голичеру трезво, с пониманием дела разобраться в реальной сложности задач и путей русской революции. Но социально-освободительный пафос, величие и благородство идей Октября были ему близки. Голичер утверждал, что русская революция «произвела непреходящий духовный переворот во всем мире». Он преклонялся перед бескорыстием и самоотверженностью большевистских вождей, перед их «презрением к собственной выгоде, к роскоши и внешнему комфорту существования — даже к своей жизни и смерти». С глубоким волнением описывал он социальные завоевания революции в области массовой культурно-просветительной работы, ликвидации неграмотности, заботы о детях.

Важное место в книге Голичера занимали горькие и самокритичные размышления над поставленными еще Альфонсом Паке «вопросами совести». Голичер многократно подчеркивает, что главным источником всех бедствий, переживаемых русским народом, главной причиной голода и разрухи является блокада, интервенция четырнадцати держав и поощряемая ими внутренняя контрреволюция. Он возбуждает обвинение, «страшное обвинение против народов капиталистических и империалистических стран, которые препятствуют неслыханным и беспримерным в истории человечества усилиям горстки энтузиастов, проникнутых высоким чувством долга по отношению к культуре, и мешают им творить их дело». Голичер призывал к всемирной действенной солидарности с Советской Россией.

<sup>1</sup> Arthur Holitscher. Drei Monate in Sowjet-Rußland. Berlin. 1921.

Дописывая последнюю страницу своей книги, Голичер рассказывал о мыслях, с которыми он возвращался в Германию:

«Русский человек идет дорогой человечества и ведет по ней человечество вперед... Что берет перевес в душе возвращающегося из России к бездне, прикрытой западной цивилизацией? Воодушевление или отчаяние? И куда он возвращается? На родину? А может быть, его родина там, где страдают и борются, там, среди голодающего, мерзнувшего, борющегося народа?

Да, там, где борются за то, чтоб воспрянул род людской, там — истинная родина! Оттуда звучат нам призывы».

Он приехал снова в 1921 году. Голичер в составе Международной комиссии помощи голодающим Поволжья проехал по Волге от Казани до Астрахани; в следующем году он был приглашен на конгресс Коминтерна, работал с Н. К. Крупской в комиссии по народному образованию, слушал выступления Ленина.

Результатом этих поездок были книги «Вниз по голодающей Волге» и «Театр революционной России».

В 1927 году Голичер участвовал в первой международной конференции революционных писателей в Москве.

«Поездка в Россию, — писал впоследствии Голичер, — неслыханное счастье, выпавшее мне на долю, может быть, единственное, что заслуживает названия «счастье» в целой моей жизни».

«Я уловил чувством, что с этой поездкой жизнь моя вступила в новую фазу», — писал Голичер, вспоминая осенний день 1920 года, когда он на пароходе отплывал из Штеттина в Россию. Предчувствие сбылось. Октябрьская революция действительно оказа-

лась переломной вехой в жизни и творчестве Голичера. Подводя итог пройденному пути, он писал о себе: «Живое общение с небывалой действительностью Советской России дало моей жизни то направление, ту социальную волю, которую не могли во мне пробудить никакие отвлеченные размышления, никакие усвоения близких мне по духу социалистических теорий... Соприкосновение с доктриной коммунизма, облеченной в живую жизнь, дало мне понять, что первый решительный, могучий шаг к осуществлению конечной цели развития человеческого общества предпринят в России».

\* \* \*

Как ни различны Альфонс Паке, Франц Юнг, Артур Голичер, их роднит то, что книги их, написанные в первые годы после Октября, свидетельствовали о силе того социально-нравственного воззвания, с которым пролетарская революция в России обратилась к человечеству. Именно эта сторона русской революции прежде всего вызвала сочувственный отклик среди рабочих и передовой интеллигенции Германии. В борьбе за социальную справедливость передовые люди Запада видели великую всемирно-историческую миссию русской революции. «Проблемы, которые в настоящее время подымает Россия, важнее, чем действия всех западных государств вместе взятых»<sup>1</sup>, — так писал А. Паке в очерке, посвященном книгам, рассказывавшим о том, что в России началась новая глава всемирной истории.

<sup>1</sup> „Die neue Rundschau“, № 9, 1921, S. 982.



# ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

## СТРАНИЦА ЖИЗНИ

*В №№ 11 и 12 журнала «Новый мир» за 1966 год напечатаны записки Е. Марьенкова «Огонь на Севере». Автор этой книги давно утратил связь с боевыми друзьями своей молодости, но сохранил в своей памяти образы и героические дела этих борцов за советскую власть. Он был единственным, кто мог рассказать об этих людях новым поколениям наших граждан, и выполнил свой писательский долг. Опасаясь, что за годы, прошедшие с тех пор, он мог забыть подробности, относящиеся к тому или иному лицу, Е. Марьенков изменил фамилию своего главного героя.*

*Письмо, полученное редакцией, радует нас вдвойне: мы узнали, что Иван Степанович Кривенко, один из беззаветных бойцов за Октябрь, встречает его пятидесятилетие, и мы получили подтверждение, что книга Е. Марьенкова «Огонь на Севере» интересна не только своей художественной достоверностью, но является также правдивой летописью революционных событий.*

*Печатаем письмо И. С. Кривенко.*

Уважаемый товариш Твардовский!

Только что мне прочитали (лично я ни читать, ни писать не могу ввиду ослабшего моего зрения) записки краскома «Огонь на Севере», написанные Ефремом Марьенковым, напечатанные в журнале «Новый мир» №№ 11, 12, 1966 год. Я тот самый Кривенко — комполка, который упоминается в рассказе под фамилией «Кирвенко».

Глубоко тронут, взволнован этим произведением, в котором, за исключением отдельных мелочей, исторические факты описаны все правильно.

Я пережил все снова этот тяжелый период моей жизни...

Мне 76 лет, и здоровье мое уже слабое. Но всегда стараюсь быть в курсе текущей нашей жизни.

Настоящее письмо пишет под мою диктовку моя жена Королева Е. Г.

Убедительная к Вам моя просьба распорядиться о присылке мне адреса Марьенкова Ефрема Михайловича, который, очевидно, имеется в Вашей редакции. Я не видел его с 1920 года. Очень желаю установить с ним хотя бы письменную связь.

С уважением к Вам

Кривенко.

*Вслед за этим письмом редакция получила от Ивана Степановича Кривенко печатаемую ниже рукопись.*

### ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА СЕВЕРЕ, БЫВШЕГО КОМАНДИРА ВАШКО-МЕЗЕНСКОГО ПОЛКА, ЧЛЕНА КПСС С АПРЕЛЯ 1917 ГОДА, НЫНЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО ПЕНСИОНЕРА, ПОДПОЛКОВНИКА В ОТСТАВКЕ И. С. КРИВЕНКО

**В** 1918—1919 годах защищать оружием завоевания Великого Октября от посягательств его врагов на Севере, далеко и от крупных пролетарских центров, и от

территории, где действовала регулярная Красная Армия, было особенно трудно.

Мне пришлось тогда воевать с белогвардейцами на Севере. Командовал я партизан-

ским отрядом в Вельском уезде, потом в Яренском и далее на Северной Двине (Архангельская область). Наши действия были успешными. Но 2 августа 1918 года в Архангельске высадились войска англичан, американцев и французов и вместе с белогвардейцами стали растекаться по Северной Двине.

В конце 1918 года я сформировал из партизанских отрядов, пополненных мобилизациями, Вашко-Мезенский полк.

Мы нанесли не один сильный удар белогвардейщине на реках Мезенке и Вашке. Уроженьцы Коми края — помкомвзвода 6-й роты Ефим Степанович Игнатов и ординарец 5-й роты Григорий Ефремович Конаков были награждены Реввоенсоветом Республики орденами Красного Знамени (орден Красного Знамени в те годы был высшей боевой наградой). Столь же высокой награды в сентябре 1919 года были удостоены и я.

Но боевой путь война тернист. Не всегда на нем ждут успехи.

Наш Вашко-Мезенский полк, переименованный потом в 479-й, по распоряжению штаба 6-й армии Северного фронта в июне 1919 года был переброшен из Коми края на Северную Двину. И вот 10 августа там случилась беда — штаб и некоторые подразделения нашего полка были окружены противником, взяты в плен и разоружены. Принес эту беду в наши ряды мой же подчиненный командир роты Евдокимов, бывший подпоручик царской армии, воевавший на стороне красных. Под деревней Городок на Северной Двине интервенты выбросили десант в наш тыл. Подразделения полка были растянуты километров на пять. Евдокимову поручена была охрана штаба. Он пропустил десант интервентов и белогвардейцев без единого выстрела, и наши попытки к сопротивлению были быстро парализованы.

Что я пережил! Как мне смотреть в глаза бойцам? Я хотел застрелиться, но комендант штаба Щепетев выбил у меня револьвер из руки:

— Не валяй дурака! Если жизнь наша на этом не кончится, мы еще поборемся!

Штаб полка находился в лесу... Если уж не удалось застрелиться, может быть, мне удастся бежать? Но я не мог спастись, бросив бойцов.

Пленных согнали в сарай. Пришли два английских офицера и с ними белогвардейский поручик Киселев. Построили нас.

— Командиры, коммунисты, добровольцы — два шага вперед!

Все молчали. Не вышел никто.

Поручик повторил приказ и добавил:

— Если коммунисты и командиры не выйдут сами, приказываю солдатам указать их. Иначе расстреляем всех!

Я шагнул вперед. За мной вышли 12 человек комсостава.

— Мы вас расстреляем! — посулил офицер.

— Расстреливайте! — ответил я за всех. — Против вас встанут тысячи!

Красноармейцев погрузили в баржу, командный состав — на отдельный буксир. Повезли в сторону Архангельска.

На буксирном катере был и предатель Евдокимов.

Не стану описывать, в каком состоянии были наши подавленные пленом люди.

Всех нас — человек двести — привезли в Архангельскую тюрьму. Через неделю переправили в концлагерь на Кег-острове.

Предатель Евдокимов уже в Архангельской тюрьме стал получать разные поблажки, а через несколько дней вовсе исчез. Позже, говорят, его видели одетого в английскую форму.

Меня в лагере Кег-острова белогвардейцы без конца допрашивали. Взяли отпечатки пальцев. Добивались, чтобы я выдал коммунистов, а когда я не пошел на это, устроили мне военно-полевой суд. Судили комендант лагеря, два офицера и еще какой-то военный. Этим так называемым судом «за измену отечеству» я был приговорен к расстрелу.

Каждый день над пленными издевались. Расстреливали тут же, на Кег-острове. Изуродован и расстрелян был политрук штаба нашего полка Князев.

Сидя в камере смертников, подводил итог прожитой жизни. Мало прожито, мало и сделано. У коммуниста особенно много не сделанных дел.

Через неделю вызвали меня к начальству и объявили:

— Будете в качестве заложников увезены в Англию. Вы и еще сорок шесть человек из вашего полка.

Стало быть, смерти отсрочка? Почему?

А ответ оказался прост: англичане ударили восояси и решили прихватить с собой заложников, чтобы обменять потом на своих офицеров, попавших в советский плен.

В начале сентября 1919 года нас, 47 человек, отобранных из комсостава, политработников и красноармейцев, погрузили в трюм

английского военного судна и повезли в Англию.

Привезли нас в тюрьму Эдинбургской военной крепости. Неделю спустя поместили в концлагерь Уитли-бай, близ Ньюкасла.

Следующим транспортом из Архангельска привезли в этот же лагерь помощника командира Ижма-Печорского полка Акулова, комиссара Зырянова и других, всего 53 человека.

Оказывается, некоторые подразделения и штаб Ижма-Печорского (478-го стрелкового) полка, расположенные по левому берегу Северной Двины, тоже были окружены и захвачены. Командир полка А. А. Маегов в то время был в штабе бригады и избежал плена.

В лагере Уитли-бай за тройным проволочным ограждением нас оказалось ровно 100 человек. Около половины их были уроженцы Коми края.

До нас в этом лагере содержались немцы. На нас надели их лагерные куртки с красными кругами на спине.

Охрана первое время принимала нас за вновь привезенных немцев и люто ненавидела всех. Разъяснить это недоразумение помог наш товарищ Серебряный, немного владевший английским языком.

Узнав, что мы из России, охрана лагеря резко изменила свое отношение к нам. Часовые нет-нет да потихоньку от начальства и подбрасывали нам сигареты (курева нам не давали совсем), и хотя полученная таким образом сигарета приходилась одна на пятерых, по одной затяжке, но и этим мы были довольны. Кормили нас впроголодь, но так, чтобы мы все-таки остались живы: ведь мы имели ценность как заложники.

В своей среде мы самоорганизовались. «Командантом» пленные выбрали меня. Ввели дежурства ответственных за чистоту помещения, постельных принадлежностей, белья и одежды, дежурство на кухне и пр.

Над лагерем «шефствовали» представители международного общества Красного Креста. Представители эти почти каждый месяц заходили к нам и спрашивали, нет ли больных. Этим они и ограничивали свою заботу.

Командантов-англичан в лагере Уитли-бай за время нашего там нахождения переменялось несколько. Один из них, высокого роста и с бульдожьим красным лицом, молча ходил по баракам с неизменным стеклом в руке, окидывал нас взглядом, презрительно фыр-

кал и уходил. В один из обходов этот комендант был особенно злой, то и дело молча тыкал стеклом туда, то сюда, показывая, что ему не нравится. Зашел он и на кухню. На столе лежали вымытые металлические миски, опрокинутые вверх доньшками. Увидев, что некоторые доньшки вычищены недостаточно, комендант вскипел и, указывая стеклом на миски, закричал:

— А донья? Донья-то?

Я и дежурный по кухне Панюков Андрей Логинович, шедшие за ним следом, опешили: только человек, хорошо владеющий русским языком, мог употребить слово «донья». Значит, этот прохвост не англичанин, а русский!.. Комендант спохватился, что выдал себя, покраснел еще больше и выбежал вон. Позже мы выяснили, что он действительно был русский, предатель.

Ни на какие работы нас не посылали, хотя мы и просились. Дни тянулись медленно и нудно. Я обдумывал, чем занять без дела слоняющихся по баракам людей?

Один из ста заложников, Марьенков Ефрем Михайлович, родом из Смоленска, написал пьесу в трех картинах «На рубеже» — из сельской жизни в начале революции.

Мы поставили спектакль. Шили своими руками костюмы, соорудили декорации, какие могли в тех условиях. Заучивание ролей, репетиции и другие работы заняли наше время.

В сумерки мы, бывало, пели. Любителей пения было много: Епов, Бак, Русанов... Песни большей частью были грустные. Заводилами в группе коми были Исаков Модест и Семяшкин Киндей; пели они свои национальные песни.

Нужно сказать, что внутри лагеря мы были относительно свободны, даже могли иметь свою парторганизацию. Я был выбран секретарем. Проводили собрания, принимали в партию новых членов. Главной заботой коммунистов здесь было поддержание сплоченности и морального духа, чтобы каждый из нас, вернувшись на родину, с гордостью мог сказать себе и людям, что не уронил чести и достоинства советского человека и война-красноармейца.

В октябрьские дни 1919 года во дворе лагеря мы устроили даже свой парад. Англичан мы предупредили об этом, и они не возражали.

Пленные выстроились в четыре ряда. Владимир Иванович Акулов скомандовал:

— Смирно! Равнение направо!..



Я, принимавший парад, вышел из дверей барака. Акулов доложил:

— Советская колония заложников в честь праздника Октябрьской революции построена!..

Я обошел ряды, поздравил всех с праздником Октябрьской революции, призвал товарищей не терять бодрости духа и мысленно быть сердцем и душой с нашей родиной.

— Верьте, нас не забудут!

Продержали нас что-то около восьми месяцев. За все это время только один раз нам всем выдали по одной открытке и разрешили написать домой. Я написал отцу с матерью, что нахожусь в Англии, в плену, что жив и здоров.

Газет нам не давали никаких. Мы ничего не знали о своей стране, о нашей советской власти и тяжело переносили эту оторванность.

Обсудив наше положение, мы решили объявить голодовку, если нам не будут давать газеты и не улучшат питание. Голодали день, два, три и четыре. Лежали, не вставая. Начальство на уступки не шло.

На четвертый день пришел в барак сержант из охраны, немного говоривший порусски.

— Вас, господин Кривенко, вызывает комендант лагеря по срочному делу.

Помог мне встать и выйти из барака.

— Ну что, голодать перестанете? — спросил меня комендант.

— Дайте газеты. Улучшите питание.

— Вам всем сегодня выдадут паек, причитающийся за все дни голодовки, но присмотрите, чтобы ваши люди не объелись. Завтра утром вы поедете в Россию. Происходит обмен заложниками.

При такой вести у меня откуда и силы взялись! Побежал в барак и объявил товарищам:

— Товарищи! Друзья! Скоро домой!

Радости не было предела, кричали без конца:

— Ура! Домой! Нас не забыли! Домой! Домой!

Собрали партбюро. Партийцев обязали следить, чтобы после голодания ослабевшие не ели сразу помногу, чтобы не заболели.

Через два дня мы шагали в Ньюкасл. Оттуда по железной дороге нас вывезли в Портсмут.

Был март 1920 года. В английских газетах «Таймс» и «Дейли мейл» за 11 и 12 марта были помещены фотографии отправки на ро-

дину заложников. Эти снимки мы видели, когда ждали корабль в Портсмуте.

В Портсмуте нас погрузили в трюм парохода и повезли в Данию. По прибытии в Копенгаген пароход стал на рейд. Нам всем очень хотелось посмотреть хотя бы издали на город, но из трюма ничего не было видно, а выход из него был строго воспрещен. Двое наших товарищей, все же осмелившихся подняться на палубу, были за это посажены в карцер.

На рейде Копенгагена простояли несколько часов. Потом меня вызвали наверх, в салон-каюту.

За столом сидели двое: один — плотный, лет сорока с небольшим, с простым рабочим лицом, другой — несколько старше, сухощавый, начинающий сидеть.

Первый мужчина встал, поздоровался со мной и отрекомендовался:

— Литвинов.

Другой кивнул головой. Это был англичанин О'Греди.

Максим Максимович Литвинов (позже народный комиссар иностранных дел СССР) предложил мне сесть и спросил:

— Как вас содержали?

Я ответил коротко. Жаловаться не стал.

— Будет обмен заложниками, — сообщил Максим Максимович. — Мы уже договорились по всем вопросам с мистером О'Греди.

Меня пригласили к столу. На тарелках лежали бананы. Я, признаться, не знал тогда, что это такое и как их едят. Чтобы не попасть в неудобное положение, я поблагодарил и отказался, сославшись на то, что только позавтракал.

Всем заложникам разрешили выйти на палубу. Перед нами выступил с речью Литвинов. Он сказал, что Советская Россия жива, крепнет и ждет своих сынов. Выступил с ответом я. Поблагодарил советскую власть за заботу о нас. После этого М. М. Литвинов уехал, оставив нам по моей просьбе пять долларов на сигареты.

Почему переговоры Литвинова с мистером О'Греди велись в Дании, а не в Англии?

Оказывается, М. М. Литвинова, когда он был первым советским полпредом в Англии, арестовали в 1918 году вместе с персоналом полпредства в ответ на арест советскими властями Локкарта, бывшего британского дипломата в царской России, затем главы английской миссии при Советском правительстве, организовавшего в 1918 году заговор послов для свержения советской власти.

В те времена в Англии существовал закон, по которому иностранец, подвергшийся аресту на английской земле, вторично в Англию не допускался. Поэтому-то переговоры и пришлось вести в Дании.

Пароход с заложниками из Копенгагена отправился в Либаву (ныне Лиепая). Из Либавы мы проследовали поездом в Ригу, а оттуда в Себеж. Обмен заложниками должен был состояться в этом, тогда пограничном, городе.

В Себеж явились наши военные представители из пограничных войск. Нас построили, пересчитали и разрешили переходить границу. Издали мы видели построенных англичан, подлежащих обмену.

Комендант станции Себеж сказал мне по секрету, что обменяли меня на какого-то английского полковника и двух летчиков...

В Петроградском военкомате мы получили документы, и всех нас распустили по домам.

Я поехал в деревню Кононово, Витебской губернии, где крестьянствовали мои отец и мать.

После того как я попал в плен, мои родители получили официальное сообщение, что

их сын Кривенко И. С. расстрелян интервентами. Дома меня оплакали, отслужили панихиду и оплатили вперед полугодовое церковное поминовение.

После известия о моей смерти отец и мать сникли, сразу одряхлели. И вдруг — моя открытка из Англии! Радость была настолько внезапна, что отец, уже давно начавший сесть, сразу стал белый, как лунь. Но теперь появились у них силы, чтобы ждать своего сына.

Целый день все жители деревни приходили смотреть на «живого покойника».

После небольшого отпуска, отказавшись от предложенной работы в Петрограде, я остался уездвоенкомом в гор. Витебске. В это же время я узнал, что награжден был орденом Красного Знамени за боевые отличия в 1919 году. Один из моих знакомых, поехавший в Москву в командировку, по моей просьбе и доверенности получил и привез мне грамоту и орден.

Такова одна из страниц моей долгой и легкой жизни.

*Запись и обработка*  
**З. С. Поповой.**



# НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

МИХАИЛ БОТВИННИК

\*

## ПО ШАХМАТНОМУ АЛЬБИОНУ

**Г**астингс хорошо известен шахматному миру — это был уже 42-й традиционный рождественский конгресс.

Из Москвы выехали впятером. Миша Штейнберг — в декабре 1966 года ему было лишь четырнадцать — с сопровождающим А. Лутиковым направлялся в Гронинген (Голландия) в качестве советского чемпиона (пока среди юношей) состязаться с другими европейскими чемпионами, а вместе со мною в Гастингс ехали два семнадцатилетних паренька — Балашов и Тимошенко. Все шло по расписанию: в Олдензаале видели Эйве.

— Когда обратно? — спросил он, уходя из вагона.

— Тридцатого января, — помахал я ему.

После Амерсфоорта мы уже остались втроем и добрались до места назначения в самый разгар рождества.

Собственно, не в «разгар», а скорее в самую тишину. На рождество Англия живет без газет, без почты, без самолетов, почти без поездов и пароходов... Страна как бы замирает, все празднуют и отдыхают. Но 28 декабря Гастингс ожил — турнир начался.

Играли в новом помещении, на горе. Раньше играли в кафе под набережной, у самого пляжа, всегда свежий морской воздух, но в мороз весьма прохладно, ибо кафе плохо отапливалось. Теперь помещение отапливалось на совесть, но вентиляции никакой — духота!

— Ничего, ничего, — успокаивал участников симпатичный директор турнира Франк Роден, — в будущем году вентиляция заработает.

Но зарабатывает ли? Из газет мы узнали, что дирекция турниров переживает финансовый кризис. Гена Тимошенко нашел в турнирном зале обращение к шахматистам: собрать триста фунтов. Собрано было лишь сто. Правда, в этом году парфюмерный фабрикант Казонс пожертвовал Большого золотого коня стоимостью восемьсот гиней, на котором гравится фамилия победителя; кроме того, победитель получает копию трофея — маленького элтого коня на память. Но ведь клубная касса от этого не пополнилась<sup>1</sup>.

Это был самый юный турнир из всех сорока двух турниров в Гастингсе: шесть участников из десяти были в возрасте от четырнадцати до двадцати лет. Самым молодым был Энрико Мекинг, чемпион Бразилии; уже после Гастингса он завоевал право участия в межзональном турнире ФИДЕ. Грешным делом, сначала я отнесся к нему с предубеждением: «Мерседес» с бразильским номером, что возил его из отеля в турнирное помещение и обратно, хотя пешком было всего десять минут ходу, внимание фото- и кинорепортеров — все это невольно раздражало. Но следует признать, что этот скромный, невысокий и худенький мальчик очень неплохо считает варианты (позицию, правда, понимает слабовато) и страстно любит шахматы. В межзональном тур-

<sup>1</sup> Как недавно стало известно, финансовый кризис рождественских шахматных турниров в Гастингсе был разрешен при содействии газеты «Таймс», которая взяла на себя часть расходов по организации турниров.

нире он не должен был стать легкой добычей своих опытных противников, что и подтвердилось.

Юношеский чемпион мира югослав Курайца вряд ли сильнее наших молодых мастеров, и в частности Балашова. Это хороший боец-практик, оптимист по натуре, но ему явно не хватает глубины. Молодой Базман — единственный в своем роде среди британских мастеров за последние десятилетия. Он вполне обладает «советским стилем» игры, сочетающим глубину с самобытным, не стандартным пониманием позиции.

Другой молодой англичанин, студент-математик Хартстон, по свидетельству крупного теоретика Бардена, знает все, что опубликовано по теории начал. Барден признал превосходство Хартстона — и с горя продал свою библиотеку!

Юра Балашов — второй раз в Гастингсе. В прошлом году он победил в турнире соискателей и завоевал право участия в главном турнире. В сложной и острой борьбе он весьма опасен, но в простых позициях играет еще неуверенно. С англичанами оч расправился жестоко, выиграв все четыре партии. Он серьезно изучает шахматы, и у него хорошие перспективы.

Что касается третьего участника нашей шахматной делегации, Гены Тимошенко (кстати, англичане, не разбираясь в тонкостях русского языка, величали его маршалом Тимошенко), то он героически и без поражений сражался в турнире соискателей; выиграл семь партий и две свел вничью, но оказался лишь вторым: опытный югославский мастер Остоич сделал лишь одну ничью. В простых позициях Тимошенко чувствует себя весьма уверенно: в эндшпиле со Стивенсоном Гена победил, пожертвовав слона, и был награжден аплодисментами зрителей.

Остальные «фигуры» турнирной партии — Ульман (ГДР), Пенроуз (Англия) и Черняк (Израиль) — хорошо известны. Можно лишь сказать, что главный мой конкурент гроссмейстер Ульман был далеко не в блестящей форме. Увы! — автор этих строк также был не на высоте, и еще в последнем туре ситуация оставалась критической.

После тяжелой партии предыдущего тура, которую я играл с Базманом и которая доигрывалась еще утром, я был не в настроении и попал в дебюте в безнадежное положение. Естественно, я сразу полюбопытствовал: а что же делается в партии Ульман — Хартстон, ведь Ульман отставал от меня лишь на пол-очка...

Хартстон оказался достойным рекомендации Бардена: случайно Ульман не знал одного дебютного анализа Чеховера в принятом ферзевом гамбите, а Хартстон знает все! В этот момент ничья Хартстону была уже гарантирована.

Но меня, кроме Ульмана, мог догнать еще мой партнер: британский чемпион Пенроуз отставал лишь на очко. Это обстоятельство и оказалось мне на пользу. Англичанин так волновался, что в острой ситуации сыграл недостаточно энергично, злым ошибочно пожертвовал фигуру — на этом борьба за золотого коня и закончилась.

Итак, турнир закончен, вручены призы, последний ленч в Куинз-отеле, последний раз веселый официант-испанец следит за усиленным питанием моих юных коллег. Приходится расставаться с Геной и Юрой — они едут в Лондон, а затем на родину. Я же вместе со своим старым другом Б. Вудом отправляюсь в турне. Ф. Роден отбирает у меня маленького золотого коня, чтобы сделать необходимую гравировку — конь будет отправлен в Лондон. Последние рукопожатия, прощание с организаторами, участниками, друзьями: Вуд торопит. Прощай, Гастингс, — вперед по Англии и Шотландии на новеньком «Остине-1800»!

Дому Вудов в Соттон Колдфилде пошел уже четвертый десяток. Это стандартное жилище британских интеллигентов: гараж, кухня, столовая, гостиная, кабинет, наверху — ванная и спальни. Для семьи, в которой четверо детей — сейчас им от двадцати девяти лет до двадцати одного года, — дом не столь уж велик. Книги находятся и в гараже, а «Остин» живет на свежем воздухе. Центрального отопления нет, стирального и посудомоечного автоматов тоже. Вуды говорят, что им это не по карману. За тридцать лет выплачено девяносто процентов стоимости дома, десять процентов еще надо погасить.

Семья Вудов поистине шахматная: Б. Вуд — неоднократный участник чемпионатов Англии; Пегги, его дочь, — сильнейшая шахматистка страны; Кристофер — участник национальной сборной студентов; Франк и Филип также имеют первый разряд. Пегги вышла замуж за Питера Кларка — второго шахматиста Англии (между прочим, о

свадьбе они договорились во время моего сеанса в Бирмингеме в 1962 году). Теперь Пегги и Питер в свою очередь купили домик в рассрочку.

Вуд по образованию инженер-химик, — когда мы с ним были на металлургическом заводе, он без шпаргалки объяснял мне все химические реакции, — но посвятил он свою жизнь шахматам. Тридцать два года назад он основал журнал «Чесс», сначала перебивался, как говорится, с хлеба на квас, выплачивал за пять типографских машин, купленных также в рассрочку. Но эти пять машин обеспечивали весь производственный цикл. Несколько лет Вуд один работал на этих станках. Сейчас Вуд — маленький шахматный капиталист, у него семнадцать рабочих и служащих. Однако и сейчас всю творческую и организационную работу выполняет сам.

Однажды в воскресенье в его «фирме» мы комментировали партии Гастингса для журнала. (Кстати, его издательство расположено в здании вокзала: в связи с обилием автомашин железные дороги сократили свою деятельность.) Наборщик был вызван, когда листик с примечаниями только еще заполнялся, а минут через десять — пятнадцать уже были готовы графки.

— Читатели моего журнала, — объяснил мне Вуд, — предпочитают иметь одну партию с вашими примечаниями сегодня, нежели пять партий два месяца спустя...

Читатели нашего журнала «Шахматы в СССР» вряд ли возразили бы против подобной системы.

А вдруг и в Центральном шахматном клубе в Москве, что на Гоголевском бульваре, д. 14, появится маленькая типография и многомиллионная масса советских шахматистов будет без помех снабжаться как периодическими изданиями, так и книгами?

Итак, фирма «Чесс» стала на ноги, и было решено известить вторым директором — им стала... супруга Вуда миссис Марджори. Но когда она бывает занята «посторонними» обязанностями, первый директор работает за двоих.

Вуд весело и в то же время искусно сидит за рулем. На мотоуеях (автострадах) он всегда держал допускаемые британскими правилами предельные семьдесят миль в час. Мотоуи строят лишь в последние годы, их еще немного, но они исключительного качества. Правда, закругления и подъемы мне показались большими, нежели в Европе, но одностороннее движение в три полосы (четвертая — для остановки) гарантирует отсутствие задержек.

Все шоссе заполнено малолитражками. Лишь когда приезжаешь в Лондон, убеждаешься, что в Англии есть и большие машины, в других городах можно всегда увидеть большой автомобиль лишь у входа в муниципалитет — лорд-мэр имеет служебный «фоллс-ройс». Где оставить машину в городе — проблема номер один. На магистралях вдоль тротуара — желтая полоса: стоять нельзя. Боковые улицы имеют стоянки со счетчиками-автоматами, но найти свободную стоянку днем нелегко. А если вам и повезло, то вы сразу должны решить, сколько будете стоять, и опустить соответствующее количество шиллингов (полшиллинга — пятнадцать минут) — добавлять потом запрещено. Сотрудники специальной службы проверяют, нет ли просрочки времени, и нещадно штрафуют нарушителей.

Вуд изучает русский язык: ему это нужно для работы. Успехи неплохие — шахматные комментарии он переводит почти без словаря. Однажды он даже попал под подозрение. В одном городе у меня попросил интервью местный журналист, оказавшийся крупным специалистом в области шахмат: Вуд трижды по буквам диктовал ему фамилию К а п а б л а н к а. Заметив, что иногда мы беседуем по-русски, журналист подозрительно посмотрел на моего товарища:

— Позвольте, а кто вы такой? Почему вы знаете русский язык?!

Вуд по-дружески называл меня Михаи́л. Наконец мне это надоело, и я открыл секрет, что меня зовут Михаи́л. Он очень удивился, призадумался и сказал:

— Ладно, Миша, завтра вы увидите Скотланд!

От Сандерленда, что на восточном побережье Англии, мы должны были добраться до Глазго, то есть почти до западного побережья Шотландии. Сначала ехали вдоль границы Шотландии, а затем повернули на север — разительная перемена! Поселений меньше, дорога пустынна, дома как-то строже и, пожалуй, темнее. Местность холмистая,

безлесная, дорога петляет. Все это напоминает предгорья Кавказа или Урала. После английской тесноты я почувствовал облегчение.

Шотландия — падчерница на британских островах. Земли бедные, промышленность небольшая. Шотландцы печатают в Глазго свои банковые билеты, хотя в Англии они не действуют. 25 января Шотландия празднует день рождения Роберта Бернса, и все едят особую шотландскую колбасу. Боннер, организатор моего вечера в Глазго, изумился, что я читал Бернса, — каким образом? Я сказал о переводах Маршака. Это замечательно, пошутил Вуд, теперь осталось перевести Маршака, и англичане сумеют читать Бернса...

Оказывается, язык Бернса малодоступен современному англичанину.

Из Глазго мы отправились в университетские центры. Когда я вновь попал в Ноттингем, то испытывал особое чувство: более тридцати лет назад здесь был турнир с участием Ласкера, Капабланки, Алехина и Эйве. Посетили старое здание университета, где играли в 1936 году. Думал, что найду турнирный зал, но не тут-то было. Все перестроено, перегороджено, перекрашено... Остро почувствовалось, что турнир 1936 года — далекое-далекое прошлое. Из организаторов никого не осталось, да и из участников менее половины. Сэр Джордж Томас жив, но, говорят, и он сдает, ему идет восемьдесят шестой год... Здесь был особый по трудности сеанс: я проиграл три партии, в то время как в остальных пятнадцати сеансах потерпел лишь двенадцать поражений.

Была суббота, и в клубе университетского общежития веселье. Вуд обращает мое внимание на объявления и о сеансе и о митингах, в том числе коммунистическом. Выпили пива (надо было заглушить горечь поражения) и поехали в Соттон Колдфилд смотреть по телевизору футбольный матч.

Кембридж стоит на реке Кем; через реку — мост, отсюда и название города. Осмотрели знаменитую церковь в королевском колледже, Вуд показал и Эммануэль-колледж, где учился его Кристофер. Прошли мимо дома, где жил П. Л. Капица, когда работал у Резерфорда... Осматривали новый лабораторный корпус. Отличное здание. Лифты бесшумные, масса света, паркет, и ни одного студента. Где же они? Оказывается, учебный день кончился, было 5 часов вечера. В Советском Союзе студенческие лаборатории используются более интенсивно. Лабораторное оборудование смешанное: главный мотор-генератор снят с немецкой подводной лодки, потопленной еще в первую мировую войну!

Поднимаемся выше, в исследовательский отдел: что такое — как будто знакомая работа?

— Машина двойного питания?

— Да.

— В цепи ротора преобразователь?

— Да.

— Шестифазный, на тиристорах?

— Да.

— Регулируете скорость?

— Да.

Я не ошибся — та же научная тема, что в нашей лаборатории ВНИИ электроэнергетики. Но форма тока ротора очень плохая, устойчивость машины слабая. Жалко парней, которые этим занимаются.

Сеанс в Кембридже был связан с организационными трудностями. В колледжах строгая дисциплина: обед в 7 часов вечера и не позднее 12 часов ночи все студенты должны быть в общежитии. Поэтому сеанс мог продолжаться с 19.45 до 23.30. Одну партию пришлось передать на присуждение — эндшпиль, где у меня было два коня и пешка против слона и пешки. Я заявил, что выиграно, но кто-то из зрителей энергично протестует. Ба, да это сам Хартстон. Он студент-математик первого курса и также торопился вернуться в общежитие, — но такой интересный эндшпиль!

Тонкость заключалась в том, что два коня против пешки (по А. Троицкому) матают, а два коня при отсутствии неприятельской пешки не матают. Общая тишина, спустя минуту демонстрирую план выигрыша, и Хартстон явно смущен.

— Теорию начал вы уже изучили в совершенстве,— говорю я ему,— теперь дело за теорией эндшпиля!

На следующий день едем в Оксфорд. Раньше я по наивности думал, что Кембридж и Оксфорд — университеты в нашем обычном представлении. Ничего подобного! Вот в Ноттингеме единый университет с факультетами, а в этих двух старинных городах нет университетов как таковых — это просто множество колледжей самого разного типа. Будущие педагоги учатся всего три года, а медики — семь лет. В Оксфорде, например, двадцать девять мужских колледжей и шесть женских.

В Оксфорде президентом шахматного клуба является доктор Шенк, когда-то он был чешским шахматистом. Так же как и Флор, он вынужден был покинуть свою родину, спасаясь от гитлеровцев. Теперь в Оксфорде преподает историю фашизма.

Ко мне приставлен молоденький студент-математик. Договариваемся, что завтра в 6.15 утра вместе со студентом-филологом русского факультета он меня проводит до вокзала. Сеанс затягивается: в Оксфорде нет такой жесткой дисциплины, как в Кембридже. К сожалению, выясняется, что оба моих провожающих проиграли... Филолог медленно, но чисто говорит по-русски, он из Эдинбурга; математик же из какой-то деревушки.

Наутро ливень отмененный, но мои приятели не опоздали, усадили меня в вагон, и через полтора часа — Лондон.

В четверг, 26 января, на русской «Волге» (с правым управлением!) вместе с капитаном шахматной команды советского посольства Н. А. Берденниковым едем в парламент: приглашены шахматистами палаты общин. И здесь трудно найти место для стоянки; тогда мой спутник принимает смелое решение и вклинивается в ряды автомашин, что принадлежат членам палаты лордов. Сразу же в нашу сторону направляется двухметровый и грузный бобби. Краткое объяснение, и следует милостивый кивок головой...

Г-н Силвермен, пригласивший нас в палату,— старый знакомый, он шахматист первого разряда. Впервые мы встретились двадцать лет назад в Москве. Когда мы приехали в парламент, г-н Силвермен был еще занят, и нас встретил другой шахматист — член палаты общин от Шотландии, что можно было сразу заметить по твердости произношения звука «р».

Осматриваем церковь при палате общин. Первоначально она была католической, поэтому Кромвель держал там лошадей. Теперь она используется для венчания членов палаты общин и для крестин их детишек.

Почтительно останавливаемся перед дверью, на которой надпись: «Посторонним вход воспрещен». Г-н Силвермен (он уже пришел) и его коллега смеются — оказывается, нам можно. Заходим в просторную гостиную, где двенадцать—пятнадцать старинных шахматных столиков.

— Даже я здесь впервые,— сознается капитан советской шахматной команды.

Раньше в шахматы играли консерваторы, а лейбористы — в шашки. Теперь сильнейшие шахматисты — лейбористы. Нам рассказали, что лишь один шахматист — лорд N — жульничал в этой комнате. Когда член палаты общин колокольчиком вызывали на голосование, лорд пользовался случаем и изменял расположение фигур в свою пользу.

— Так же он пытался действовать и в политике,— добавил Силвермен,— но погорел...

Шахматная команда нашего посольства часто играет с командой парламента, и не без успеха. (Кстати, еще более удивительно, что волейбольная команда посольства играет с национальной сборной Англии и выигрывает: среди сотрудников посольства два мастера спорта по волейболу.)

Направляемся в палату общин У входа знакомимся с вахтером. Это феномен: он знает в лицо и по имени всех членов палаты. Удостоверения излишни.

Зал напоминает двоянную университетскую аудиторию и состоит из двух амфиатров. С одной стороны сидит правительственное большинство, с другой — оппозиция. Члены кабинета сидят на первой скамье внизу, напротив — члены теневого кабинета,

их разделяет стол, где с краю лежат постановления палаты последних лет. На одном конце зала сидит спикер, перед ним три клерка — все в париках.

Мест на всех членов палаты не хватает, но редко, когда все собираются. В спинки скамей вмонтированы динамики, всюду свешиваются микрофоны. Члены палаты говорят со своих мест. Специальный техник включает микрофон, ближайший к оратору. Поэтому выступающего все слышат хорошо, а разговор остальных не усиливается.

Комично, что перед первой скамьей (как со стороны большинства, так и оппозиции) сантиметрах в сорока нанесена красная черта. Если члены кабинета (также и теневого кабинета), когда выступают, подходят к столу, то там, где стола нет, переступить красную линию запрещено. Правило это было введено еще тогда, когда члены палаты приходили на заседание при шпагах — чтобы предотвратить кровопролитие.

— Позвольте,— спросил автор этих строк,— а если у члена палаты очень большая нога и он вынужден переступить красную линию?

— Это исключено,— не задумываясь, отпарировал шотландец,— кандидаты перед выборами проходят специальную проверку...

Голосуют члены палаты... ногами! Кто за — проходят налево (если я не путаю), кто против — направо. Голосующие обходят зал палаты с двух сторон через фойе и возвращаются в палату с другой стороны. При входе в палату одни клерки их записывают поименно, затем другие считают по головам. Одним словом, при голосовании не спрячешься, все точно. Да и неплохо — что-то вроде производственной гимнастики.

Пришло время ленча, а для каждого британца распорядок еды — святое дело. В ресторане за столом разместились восемь шахматистов — членов палаты, и два советских шахматиста. Среди британцев даже один министр — член кабинета.

— Я вас видел в Гастингсе,— говорит он.

— Пять лет назад?

— Нет, три недели назад.

Удивительное дело! Министр играл в одном из турниров рождественского конгресса, и никто об этом даже не знал.

Завязывается оживленная беседа о всякой всячине: о британских шахматистах, о шахматной программе для электронной машины, о международных событиях.

Особенно активен джентльмен, выделяющийся аристократическими манерами.

— Как вы оцениваете международную обстановку?

— Пессимистически. Мир навечно разделен на два непримиримых лагеря. Шахматистов и нешахматистов.

Близится заседание палаты, и г-н Силвермен повел нас наверх на места для публики; сидим прямо против спикера. Когда выступление заканчивается, спикер истощным голосом выкрикивает фамилию следующего оратора — вероятно, эта традиция осталась с тех времен, когда не было возможности усиливать человеческую речь.

В этот день министр внутренних дел Дженкинс устно отвечал на вопросы. Вся программа заседания с кратким содержанием вопросов отпечатана и роздана присутствующим. Членов палаты беспокоит увеличивающееся число побегов уголовных преступников. Один оратор предложил окружить тюрьмы проволокой и подать высокое напряжение. Министр возражает: он считает это аморальным.

Появляется премьер-министр Вильсон. Это вызывает лишь одну реакцию — палата быстро заполняется. Вскоре появляется и лидер консервативной оппозиции Хит. Спикер объявляет, что теперь будет отвечать на вопросы Вильсон (он только что вернулся после переговоров с де Голлем). Снова следуют вопли спикера, за ними вопросы членов палаты, ответы Вильсона и т. д.

Громкий хохот на скамьях лейбористов. В чем дело? Оказывается, один консерватор благодарил Вильсона за его речь в Страсбурге, — вот лейбористы и смеются. Вильсон попал в неловкое положение...

Должен признаться, что раньше я имел ошибочное представление о палате общин. Мне казалось, что традиции столь сильны и торжественны, что они как бы затрудняют работу парламента. В действительности правила работы строгие, но все происходит далеко не торжественно, а весьма буднично и обстановка деловая.



И вот снова электричка Лондон — Харидж. Кондуктор прокальвает билет и с серьезной миной требует, чтобы я заплатил за весь вагон — других пассажиров нет. Да, железные дороги в Англии под угрозой.

Но и голландский теплоход «Принцесс Беатрис» в конце января почти пуст. Проводник увидел фамилию на моей сумке.

— Это ваше имя? Так вы знакомы с Эйве? Он, конечно, будет вас встречать в Хуке?

Чтобы не огорчать моего собеседника, говорю, что надеюсь увидеть профессора на вокзале, и поражаю моряка в самое сердце, сообщив ему точный амстердамский адрес экс-чемпиона. Тогда я вынужден познакомиться со всеми подробностями рейса... Погода отличная, солнышко, море спокойное. Почти все время провожу на палубе: имею же я право на отдых после того, как за три недели «сделал» примерно 15 тысяч ходов!

Теплоход прибывает в порт. Советский вагон и наши проводники на месте. Выхожу на перрон — и вдруг резкий окрик. Строевым шагом наступают два рослых голландца: Эйве и его друг мастер Мюринг. Да, старый моряк оказался прав.

Выпита традиционная чашечка кофе, поезд трогается, и через сорок два часа — Москва.



---

---

# ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

*По страницам иностранных журналов*

## «МОНАСТЫРИ» И БУНТАРСТВО

**США**

«Нью-Йорк таймс бук ревью» («Книжное обозрение «Нью-Йорк таймс»), 10.VII.1966.

★

В октябре прошлого года Чикагский университет созвал литераторов, художников, искусствоведов со всей страны: там проводилась конференция «Искусство и публика». Печать не без удивления сообщила, что на Среднем Западе зазвучали громкие проклятия коммерческой культуре. А известный романист Сол Беллоу, преподаватель Чикагского университета, с некоторым вызовом говорил о переменах в духовной жизни США. «Нью-Йорк — это вовсе не литературная столица Америки. Это только центр литературного бизнеса. Литературная жизнь страны сосредоточилась по большей части в университетских городках. В шестидесятые годы университет стал тем, чем для Фицджеральда и Хемингуэя был Париж в двадцатые» («Сатэрдей ревью», 19. XI. 1966).

Все дело тут в этой запальчивой последней фразе. Сама по себе антитеза «университеты — коммерческая культура» не нова, хотя в Нью-Йорке и могут до сих пор воспринимать конференцию в Чикаго как чистую неожиданность. Давно замечено и то, что большая часть послевоенной литературы США несет на себе «университетский» отпечаток.

Это верно в самых разных смыслах. Появились труды по социологии и истории, экономике и философии, которые нашли дорогу к широкой публике; духовный кругозор романа, ориентирующегося на более подготовленных читателей, заметно расширился. На первый план вышла литературная критика: влияние ее и на читателей и на писателей куда больше, чем было до войны. В беспокойные послевоенные годы университеты стали центром притяжения для творческих сил: с гуманитарными факультетами связаны многие романисты и поэты, среди них был и Фолкнер (он два семестра вел беседы со студентами университета Виргинии) и У. Оден (он вел творческий семинар для молодых поэтов Мичиганского университета). Наконец, жизнь преподавателей и студентов не раз изображалась в литературе, появился даже термин «университетский роман».

Тем не менее, когда сравнивали в пятидесятые годы новые и старые времена, отдавая предпочтение университетским городкам перед парижским чердаком Хемингуэя, это было натянуто, а то и фальшиво. Маккартизм оказал цепящее действие на университеты: бунтарские настроения были тогда редкостью, а приспособление к проспекти стало для множества либералов жизненной нормой, так же как и уход в свою специальность. Не удивительно, что некоторые критически настроенные писатели держались подальше от университетской среды. Одни предпочли уединенную жизнь в глуши, другие, словно повторяя биографии двадцатых годов, не один год провели в Париже. И после второй мировой войны там дышалось куда вольнее, чем в американских университетах.

Но Беллоу неспроста сказал: «в шестидесятые годы». В эту пору развернулось движение «новых левых» — одно из самых широких и радикальных движений, какие видели США в нашем веке. Оно всколыхнуло студенческую среду и получило поддержку многих преподавателей. Отстаивая свободу слова в университетах, его участники бросили вызов официальным догмам и мешанскому преклонению перед статус-кво. Их голоса, требующие мира во Вьетнаме и гражданских прав в Америке, слышны по всей стране.

О размахе этого движения можно судить по доводам и уловкам, к которым прибег Ричард Никсон в своем не столь давнем выступлении перед студентами. Бывший вице-президент достаточно неожидан в роли поклонника университетских свобод. Но мало того. Он-де насколько не сомневается в патриотизме тех, кто протестует против войны во Вьетнаме. И если осуждает этих «протестантов» публично, то при этом сам пользуется академическим правом на защиту любого, пусть даже и «непопулярного дела». Послушать этого адвоката официальной линии, так он отчаянный одиночка, плывущий против течения. Но поведение зловредного «меньшинства» в университетах беспокоит его не на шутку. Один преподаватель заявил, что «приветствовал бы победу Вьетконга»; во многих университетах (первыми Никсон назвал Калифорнийский и Чикагский) были «беспорядки»: студенты не хотят идти в армию. Какая анархия! И мягко стелющий политик заканчивает призывом: поддерживайте правительство — оно ведь только и хочет «предотвратить третью мировую войну» (как будто в наше время перелицовка старого призыва Вудро Вильсона: «Воевать, чтобы покончить с войнами» — может увлечь студентов, читавших «Прощай, оружие!»).

Конечно, нынешние университетские городки, разбуженные и растревоженные «новыми левыми», ничуть не меньше благоприятствуют независимости художника, чем Париж во времена Хемингуэя. Все пришло в брожение, и устанавливается новый климат — поисков, сомнений, критики. Свежими и весьма критическими очами смотрят в Америке на культуру, сложившуюся после войны. Стали видны разительные противоречия между ее герметизмом, замкнутостью — и широким распространением, между духовными ценностями, получившими небывалое значение в национальной жизни, и торжествующим буржуазным духом процветания и политическим варварством, нередко принимающим демократическую форму.

Выступая на последнем конгрессе Пен-клуба, Сол Беллоу привлек к этим противоречиям всеобщий интерес. На основе этой речи он написал статью для «Нью-Йорк таймс бук ревью», дав ей очень острое название: «Монастырская культура».

Беллоу начал с того, что нынешние времена не сравнишь с довоенными: гуманитарное образование в Америке получают многие, высокая культура стала доступна ныне не горстке знатоков, читавших некогда «экспериментальные» тонкие журналы, а достаточно широкому кругу. «Накануне второй мировой войны высокообразованная публика была действительно очень малочисленна. Теперь это уже не так. У нас есть растущий класс интеллигентов или полунинтеллигентов. Миллионы людей кончают колледж. Возможно, диплом колледжа стоит немногого. Однако он указывает на то, что его обладателю доступна высокая культура. И литературная культура, которая раскрылась этим студентам, была созданием утонченных гениев — недовольных, подрывных, радикальных». «Миллионы студентов, которые проходят литературные курсы, знакомятся со стихами и романами тех, кто отвергал обычные вкусы своих современников».

Это не преувеличение. В романе талантливого негритянского писателя Ральфа Эллисона «Человек-невидимка», появившемся еще в 1952 году, герой вспоминает провинциальный колледж: худой, нервный преподаватель с увлечением говорит о Джойсе и внушает своим студентам, что они должны стать настоящими личностями. Подобных картин немало в послевоенной литературе.

Беллоу пишет о крутом повороте в университетском преподавании: до тридцатых годов тон задавали «упрямые» старые педанты, которые отказывались обсуждать кого-нибудь поновее Браунинга. Потом пришли профессора с иными вкусами: в прозе их кумирами были Джойс, Генри Джеймс, Марсель Пруст, в поэзии — Т. С. Элиот и французские символисты. Множество исследователей обратилось к новейшему искусству Запада. Но упрямое педанство ничуть не исчезло из университетов.

Беллоу не спорит, что среди книг о мастерах европейского искусства есть и дельные и интересные. Однако в бесконечных толкованиях одних и тех же изблюбленных образцов его тревожат две почти неприменные черты — это ставка на посвященных и подмена поэзии комментарием. Без особого пиетета Беллоу пишет о влиятельных интерпретаторах: «Что они делают, так это пересказывают все иначе. Они все описывают заново, обычно делая это менее доступным. Чувство или непосредственный отклик они заменяют актами понимания». Писатель иронизирует, что это чисто американская мания

давать всему другое название, в какой-то мере объясняющая необычайный успех психоаналитиков с их научной терминологией.

Влиятельные интерпретаторы, по словам Беллоу, создают «гибридные работы», в которых сочетаются история культуры, критика нравов и журналистика. Они могут клясться именами Джойса и Пруста, и в то же время эти авторы для них — лишь повод и трамплин. «Они хотят использовать литературу в современной традиции, чтобы создать нечто несравненно лучшее; они проецируют более высокое, более ценное умственное царство, царство ослепительной интеллектуальности».

Какие же последствия это имеет для литературы?

Самые печальные, настаивает Беллоу. Для таких интерпретаторов современная литература заведомо второсортна. А живой писатель задыхается в разреженной атмосфере сухих комментариев. Тут Беллоу прибегает к едкому сарказму. «Наши самые почтенные литераторы отождествляют себя с Джойсом, Прустом и другими и появляются перед публикой как выдающиеся представители и даже единственные представители этих мастеров. Агенты, менеджеры или импрессарио (иначе говоря, популяризаторы) Джеймса или французских символистов считают себя единственными последователями этих писателей. Так они пользуются неким утонченным престижем. Они — немногие счастливицы. И они не так уж далеки от старых преторианцев, верных останкам бедного Браунинга. Но операции проводятся в куда большем масштабе».

Выступая против изощренных толкователей, которые готовы «отнять» литературу у живых авторов, Беллоу пекся меньше всего о себе. Сам он пишет о традиционных для американской прозы чудаках и неудачниках, традиционен и фон его книг — большой город с судом и биржей, трущобами и подземкой. Но необычна восприимчивость романиста к жизни идей, создавшая ему высокий престиж в университетах (хотя поклонников Беллоу из специальных журналов порой и шокировало, что его интеллектуальные романы читает очень широкая публика). А такой талантливый писатель-бунтарь, как Джеймс Джонс, автор замечательного солдатского эпоса «Отныне и во веки веков», разошедшегося в Америке в миллионах экземпляров, упорно третируется университетами. Хотя, что бы ни толковали важные ценители изящного, его описание военной каторжной тюрьмы принадлежит к лучшим страницам современной американской прозы. Кстати говоря, Джонс, по примеру своего учителя Хемингуэя, живет в Париже.

Но если сбрасывается со счетов живая и острая проза наших современников, то совсем нередко появляются книги, ведущие мнимую жизнь. И у этих книг-призраков находятся защитники и энтузиасты. «Пишутся романы, в которых есть позиции, взгляды или фантазии, приятные для литературной интеллигенции. Разумеется, их принимают всерьез, хотя они могут быть не более чем примечаниями к модным доктринам».

Переходя от видных интерпретаторов ко всем, кто в колледже познакомился с европейскими мастерами, разочаровавшимися в буржуазной цивилизации, Беллоу — и не он один — замечает, что в этой пестрой публике немало настоящих буржуа. Они впитали неприязнь новейших авторов к современной цивилизации; вслед за Т. С. Элиотом они представляют себе западный культурный мир «пустырем». В то же время сами они живут припеваючи: посылают детей в частные школы, летают на отдых в Европу. «У них есть акции, боны, дома, даже яхты, и вместе с тем благодаря своему воспитанию они питают особенно нежные симпатии к героической жизни художников. Рембо и Д. Г. Лоуренс сформировали их вкусы и суждения. Может ли быть что-либо милее?»

Невеселая шутка. Беллоу остро схватил эту двойную жизнь многих воспитанников колледжей, — в их числе он называет «бюрократов от культуры», служащих в издательствах. Современные плоды просвещения кажутся ему весьма сомнительными. Исправный карьерист, сочувствующий ниспровергателям, — это ли не живой парадокс? «Вице-президенты в рабочее время, — замечает Беллоу, — они могут быть анархистами или утопистами за коктейлем».

Писатель видит в этом прежде всего приметку неподлинности и неполноценности современной жизни. Мне кажется, это явление сложнее. Конечно, нечего ликовать по поводу распространения культуры, когда художественные вкусы так резко не соответствуют вполне «деловой» активности. И едва ли эти «бюрокрафы от культуры» могут глубоко воспринять едкую сатиру Джойса и мятежную лирику Рембо. Но само неви-

данное распространение писателей, высмеивающих вкусы и образ жизни филистеров, — лишнее свидетельство того, что вековые буржуазные порядки не дают больше ощущения устойчивости. О том же свидетельствуют американские бизнесмены, которые зачитываются Кафкой, легко подставляя себя на место его отверженного героя.

В конце статьи Беллоу настаивает на том, что «монастырская культура» и герметическое воспитание несостоятельны прежде всего с гражданской точки зрения. Литературная интеллигенция в большой мере определяет «моральное качество нашего общества» — из этого исходит Беллоу. Он согласен с публицистом, видевшим важнейшую ее задачу в том, «чтобы критиковать или исправлять первоначальные предположения, на которых основывается политическая жизнь». Этот публицист — Ирвинг Кристал — писал дальше: «Насколько подготовлены наши литераторы-интеллектуалы к этой работе? Нужно признать, что подготовлены они не так, как должны бы».

Это важнейший критерий для критики университетской культуры. Беллоу не случайно вспомнил о нем: сам он не раз писал о наболевших и запущенных проблемах американской жизни, которых предпочитали не замечать иные его коллеги. Та же отправная точка и у других видных литераторов, критикующих университетскую культуру с чувством гражданской озабоченности и тревоги.

Стоит сопоставить статью Беллоу с двумя другими выступлениями. В них затронуты иные стороны «монастырской культуры», и мы сможем более широко увидеть сложную картину университетской жизни. Конечно, не было бы столь густых теней, если бы не существовал свет — высокий уровень и широкое распространение многих гуманитарных исследований. Увидим мы и то, что недовольство послевоенной инертностью и отгороженностью перестало быть редкостью среди литературоведов.

Одним из первых университетскую культуру критиковал Ван Вик Брукс, патриарх американского литературоведения. Во время первой мировой войны он сетовал, что в Америке нет живой художественной традиции и писатель, страдающий от бездуховности деляческого общества, выступает в одиночку. В последних книгах Брукса звучал иной мотив: критическое направление, с которым связана вся его жизнь, утвердилось, в XX веке появилось это ощущение преемственности, эта непрерывность литературного развития. Но торжество направления, которое исследователь неизменно поддерживал, не заслонило от него серьезных недостатков литературной жизни.

В 1958 году он остро критиковал ту же замкнутость и герметизм университетов в своих заметках «Из записной книжки писателя»<sup>1</sup>.

Брукс нападал не столько на обожествление новейших мэтров, сколько на то, что из мировой литературы всех эпох было отобрано несколько писателей и причислено университетами к лику литературных святых. Само сближение совершенно разных имен и предпочтение их всем остальным выдавало изысканность и манерность такого подхода. «Услышав, как произносят имя «Джон Донн», ты знаешь, что должно последовать, — Джеймс, Данте, Элиот, Мелвилл, Джойс и так далее. Все прочие писатели исключаются, так же как и большинство читателей». Среди «пострадавших» критик называет замечательных писателей нашего века: Анатоля Франса с его вольным галльским духом и Синклера Льюиса (того долго третировали университеты и заново «открыли» уже в начале шестидесятых годов). Огорчает Брукса и то, что многие преподаватели свели классическое наследие к чему-то невероятно тощому: бесконечные выпускники средних школ с двумя учителями, едва слышавшие о литературе и искусстве, сразу берутся за изучение Генри Джеймса, как дикари, которые из каменного века шагают прямо в атомный.

Стрелы Брукса разят слепых приверженцев «новой критики», получивших огромное влияние в университетской среде. Это направление основали между войнами талантливые поэты и исследователи; они искренне презирали буржуазную цивилизацию и дали очень тонкие разборы поэтических произведений. После войны, когда имя «новым критикам» стало легион, они превратились, по словам Брукса, в нечто вроде деспотичной секты.

<sup>1</sup> Van Wyck Brooks. "From a writer's notebook" (New York. 1958).

Это направление привлекло многих профессоров своим чисто специальным подходом, знаменитым «вчитыванием», то есть пристальным анализом небольшого текста, взятого вне контекста. Брукс видит тут реальную угрозу схоластики. Проанализировав каким-нибудь новым образом несколько строк Данте, можно наутро завоевать авторитет. Литературоведение, ушедшее в себя, начинает напоминать александрийскую культуру, становится делом мандаринов.

Другой его упрек не менее важен. Прозелиты «новой критики», нетерпимые к инакомыслящим, легко подчиняются авторитетам и отказываются от независимости суждений. Тут уже литературоведы походят на исповедующих догматическую религию. И демократ Брукс, унаследовавший прямоту и независимость пионеров, бросает им суровые слова Джефферсона: «Робкие люди предпочитают спокойствие деспотизма бурному морю свободы».

Впрочем, сам Брукс прекрасно понимает и объясняет эту робость. Нынешние гуманитарии затеряны на американских просторах: у них нет того выбора, какой был во времена молодости критика, товарища Джона Рида, когда поиски в искусстве совпали с подъемом американского социализма. «Поэтому приходится присоединиться к клике, если ты не хочешь остаться один в далеко не благоприятных обстоятельствах, в городах, где больше не найдешь социалистических «ячеек» старых времен, которые некогда были космополитическими центрами нового учения и света. Не удивительно, что молодые люди с тонкой чувствительностью льнут к университетам, этим островкам сравнительного благополучия среди моря бед, где благодаря критикам-формалистам и их союзникам-поэтам преподавание завоевало такой престиж в литературных кругах». Брукс не забывает, что за стенами университетов находится мир, где презирают «яйцеголовых», — на этом широко распространенном презрении играл сенатор Маккарти.

Это не помешало Бруксу развернуть острую критику замкнутости, которая оборачивается окостеневшим восприятием реальности. Он вовсе не считает благом пренебрежение к публике, обычное для университетских журналов. Как бы ни была отвратительна коммерческая литература, смешно презирать всех, кто расходится больше чем в пяти тысячах экземпляров; появилась масса серьезных читателей. «Не раз романы Уильяма Фолкнера выходили в серии, названной «Хорошее чтение для миллионов».

Точка зрения этого благородного и преданного литературе человека недвусмысленно гражданская. В 1958 году, когда еще очень свежа была память о сенаторе, сеявшем презрение к «яйцеголовым», Брукс написал: «Когда реакционные силы стоят у власти, как в наши дни, настоящие интеллигенты должны выступать вместе...» И привел слова из записной книжки открытого в молодости и любимого всю жизнь Чехова: «Сила и спасение народа в его интеллигенции, в той, которая честно мыслит, чувствует и умеет работать». С этой точки зрения и критикует Брукс университетскую науку.

Разумеется, страстная и острая критика редко бывает всесторонней. Впрочем, Брукс не отрицал, что пристальное изучение формы оставит свой след в американской литературе. Но он представил своих оппонентов безраздельными гегемонами, как будто после войны не было влиятельных критиков социального направления. А это была пора, когда и Брукс и те, кто продолжал линию его первых, самых острых работ, пользовались немалой популярностью. В частности, широко читались в эти годы тома Максвелла Гайсмара из цикла «Роман в Америке» (эта серия выходила и в итальянском переводе).

Недавно Гайсмар выступил со статьями, резко критикующими университетскую культуру. И угол зрения, и объект критики у него другой, чем у Брукса. Тот удивлялся университетской молодежи, привыкшей твердить, что никакого Дела сейчас нет: как трудно ей объяснить, что значила для многих интеллигентов борьба за спасение Сакко и Ванцетти. А Гайсмар имеет в виду наставников этой молодежи — тех, кто отлично помнит тридцатые годы и тем не менее безучастно встречал несправедливости времен «холодной войны». Один талантливый критик говорил, что Розенберги заслужили если не электрический стул, то тюрьму, а другой известный критик ничего не имел и против электрического стула. Гайсмар пишет о тех, кого он убийственно назвал «либералами холодной войны»: для них типично сочетание привычного уныния с привычным самодовольством.

Среди обозревателей, постоянно выступающих в «Нью-Йорк таймс бук ревью», Гайсмар выделяется своим радикальным темпераментом. И полемику с теми, кто сохранил социальные интересы — но боже, какие умеренные и безобидные! — он публикует в недавно основанном левом журнале «Америкэн дайлог». В реакции своих бывших друзей на дело Розенбергов критик видит зловещее влияние маккартизма на американскую интеллигенцию. Его статьи помещены в начале журнала как программные: они саркастически высмеивают антикоммунизм. Гайсмар пишет: «Эта истерия пятидесятих годов, отделившая либералов от левых, была сама, подобно делу Розенбергов, недо-стоверной, фальшивой, хладнокровно сфабрикованной...» Критик стремится восстановить союз либералов и левых, который до войны принес такие плоды в американской литературе.

Одна из последних статей Гайсмара в «Америкэн дайлог» (март — апрель, 1966), из которой взята эта цитата, основана на его речи в Колумбийском университете на собрании ученых-социалистов. То, что такая речь под названием «Американская литература и холодная война» могла быть произнесена в Нью-Йорке перед социалистами, лучше всего показывает перемены в американских университетах и, кстати, напоминает, что этот город — символ не только литературного бизнеса, но и университетского брожения.

Гайсмар темпераментно выступил против модных и в критике и в преподавании взглядов на американскую литературу. Его прямо-таки взорвал вопрос, заданный ему молодым способным литератором во время телевизионной передачи: «Вы на самом деле думаете, что сегодня наша проза и наша литературная критика ниже того, что было в двадцатые и тридцатые годы?»

Гайсмар не жалеет яду, нападая на распространенное самодовольство. Он язвит остепенившихся либералов, которые чернили таких самобытных деятелей культуры, как Паррингтон или Андерсон. Он иронизирует над теми, кто создает скороспелые и иной раз дутые репутации, кто превозносит тишь да гладь, сменившую бури тридцатых годов.

Но вся критика Гайсмара смотрит назад. Идеализируя довоенное десятилетие, он мало считает с тем, что мир изменился, и предлагать простые ответы — иной раз значит не замечать более сложных вопросов. Он думает, что молодежи, борющейся за гражданские права, только и остается повернуться спиной к университетской премудрости; а читай белые и черные студенты университетские журналы, они бы не шли в пикеты, а усердно штудировали бы Т. С. Элиота и Эзру Паунда. В университетах, твердит он, торжествуют искаженные понятия и академизм; слава богу, и за стенами университетов есть духовная жизнь. А что до нынешнего состояния литературы и критики, оно несчастное, жалкое.

Тут дело не просто в полемическом увлечении и преувеличении — лишь бы поколебать университетское самодовольство. Гайсмар в одной статье иронизирует и над нами: он в толк не возьмет, что же достойного могли найти советские читатели у Сэлинджера или Апдайка. Можно сказать в двух словах, что именно. Они дали нам почувствовать послевоенную Америку, столь мало похожую на страну «великого кризиса». Мы нашли у них то, что до нас оценили многие американские студенты: нравственное беспокойство и — среди апатии процветания — тоску по духовно яркой жизни. Если подумать о других именах, с которыми еще мало знакомы или вовсе не знакомы наши читатели — например, о Стайроне и Беллоу, Джонсе и Маламуде, — то нужно признать, что послевоенная литература США дала не меньше, а может быть, и больше новых талантов, чем литературы Западной Европы.

Что до критики, и тут странно говорить о жалком состоянии. Никогда не выходило — и не читалось так охотно — столько критических книг: от сборников эссе до теории разных жанров. Не так давно Стайрон сказал корреспонденту парижского еженедельника «Экспресс», что журнальная критика в США — среди ведущих ее представителей он назвал ветерана Эдмунда Уилсона, основательного и вдумчивого Филипа Рава, в этом ряду оказался и Гайсмар — отнюдь не уступает европейской.

Шестидесятые годы не похожи на тридцатые, и слишком многое изменилось на наших глазах по сравнению с пятидесятыми. Растерянность времен маккартизма осталась позади; интеллигенция находит себя, активно вмешиваясь в общественные дела.

Тысячи профессоров подписывают сейчас петиции против войны во Вьетнаме, которые публикует «Нью-Йорк таймс». И среди них, кстати говоря, есть и некоторые «бывшие друзья» Гайсмара, которые вовсе не оказались безнадежными гражданами.

Едва ли убедительна и апелляция к студентам, участвующим в борьбе. Известно, что среди «новых левых» очень популярен покойный американский социолог, не застрявший на схемах довоенной давности, а глубоко изучивший послевоенный мир,— Райт Миллс, автор «Властвующей элиты» и «Белого воротничка». Из всех книг профессора Колумбийского университета молодые бунтари особенно любят книгу о Кубе «Слушайте, янки», в которой находят глубокую национальную самокритику.

У студенчества, участвующего в борьбе, высокие духовные интересы. Поэтому и обещает столь много эта встреча гуманитарной науки, дошедшей до миллионов, и широкого и живого движения. Поэтому и плодотворна эта переоценка с гражданской, бунтарской точки зрения того, что в университетской культуре было полнокровным и истинным, а что — анемичным и ложным

**М. ЛАНДОР.**





---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

## ПОЛВЕКА СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

*Пятидесятилетие советской власти, которое широко отмечается в этом году,— знаменательная дата и для нашей многонациональной литературы. Рожденная великим Октябрем, она прошла за эти пятьдесят лет большой, трудный и славный путь, стремясь делить с народом его судьбу, его горе и радость, помогая ему в годы военных испытаний, участвуя в его свершениях, вместе с ним добывая победы на неразведанных дорогах строительства нового мира. Она служила ему словом правды, своей страстной партийностью, верой в справедливость и конечное торжество коммунистических идеалов — самой своей кровной неотделимостью от всего, что составляло его жизнь за эти полвека. Она стала могучей духовной силой нашего общества и оказала глубокое воздействие на судьбы современной мировой культуры.*

Обращаясь к полувековой истории советской литературы, «Новый мир» только за последние годы напечатал серию статей, очерков, литературных портретов, воспоминаний, посвященных нашим виднейшим мастерам художественного слова — М. Горькому, В. Маяковскому, А. Блоку, А. Неверову, С. Есенину, В. Иванову, Б. Пастернаку, А. Серафимовичу, А. Фадееву, М. Цветаевой, А. Новикову-Прибою, Э. Багрицкому, А. Веселому, В. Кину, Ю. Тынянову, А. Малышкину, М. Шолохову, К. Федину, К. Паустовскому, С. Маршаку, К. Чуковскому, М. Исаковскому, А. Акопяну, В. Каверину, Э. Казакевичу, Е. Дорошу, В. Овечкину, В. Тендрякову, В. Пановой, Ч. Айтматову, П. Нилину, С. С. Смирнову, В. Розову и другим советским писателям. Уже этот далеко, конечно, не полный и еще не заверченный список наглядно показывает, как много дала миру наша литература. Нам есть чем гордиться, что вспомнить в эти дни славного юбилея, когда каждый советский литератор, каждый советский человек, которому близок и дорог художественный опыт, накопленный нашей литературой, испытывает потребность еще раз оглянуться на пройденный ею путь, задуматься о его итогах.

Редакция журнала обратилась в преддверии юбилея к ряду известных советских писателей, попросив поделиться на страницах журнала своими мыслями о советской литературе, о том, что им дорого в ее опыте, в ее свершениях, как складывались их собственные писательские судьбы, какие писатели и произведения сыграли особенную роль в их творческой биографии, какие уроки для себя и для общества видят они в пятидесятилетнем пути нашей литературы, как понимают задачи ее дальнейшего развития.

Ниже мы публикуем ответы, полученные редакцией. Здесь представлены имена писателей разных поколений, разных традиций, и в каждом из этих откликов нашли свое выражение личные склонности, пристрастия их авторов. Но тем очевиднее становится то, каким поистине неоценимым духовным богатством, способным удовлетворить самые разные запросы и вкусы, располагает наша литература, отмечающая сегодня свое пятидесятилетие.

## Э. МЕЖЕЛАЙТИС

## НОВАЯ ЭРА ЧЕЛОВЕКА

**К**огда говорят о новой эре, начатой штурмом Зимнего, это отнюдь не риторическая фраза. Летосчисление французской революции истаяло в туманах бонапартовского брюмера, в крошечной тьме Реставрации. А нищая и голодная страна блоковских скифов с миллионами своих разноплеменных обитателей, не меняя календарной нумерации, совершала свое восхождение шаг за шагом, орошая его кровью сердца, вращая в легенду и воздвигая новый мир вместо старого, разрушаемого до основания. Десять дней перевернули историю, пятьдесят лет стали колыбелью, школой и мастерской нового человечества.

Один французский публицист писал, что дети легче всего постигают философию, а труднее всего — историю. Наши друзья в странах нового мира вместе с нами ощущают, что сегодня для нас история — это прежде всего наука о будущем. В пережитых бурях и битвах мы видим осязаемое, осязаемое Грядущее.

Полвека — законный рубеж, чтобы оглядеться с него назад и вперед. Особенно когда у истока — искра, превратившаяся в солнце. Разговор о новых веках — новых головокружительных взлетах человека, рожденного Октябрем, тем более естествен, что мы уже вступаем в последнюю треть последнего века второго тысячелетия. Лет сто назад говорили о *fin de siècle* — конце века, придавая этому весьма кладбищенский оттенок. Первое тысячелетие эры завершилось под знаком кликушеских воплей, катаклизмов и родовых мук возникавших из варварства наций Европы. Второй «миллениум» идет к пределу, озаренному мудростью того, чье столетие со дня рождения будут отмечать на всей планете.

Я думаю, что проблема места поэта и поэзии в обществе — это проблема человека. Не физиологической единицы, не гомункула из реторты или робота с электронно-счетного завода, а ЧЕЛОВЕКА — не только с большой буквы, но даже начертанного одними лишь прописными буквами.

Я придерживаюсь мнения тех, кто считает первым апостолом нового человека великого Горького. Существуют некакатные солнца и немеркнущие звезды. Горький — одна из таких звезд. Как феникс, восставший из праха старого мира для новой жизни, он был пророком нового бытия, глубоким мыслителем и литературным мастером. Он широко охватил и использовал гуманистическое наследие великой русской литературы, но этот старый гуманизм превращается у него в новый, революционный гуманизм, наполняется новым смыслом. И если и до Горького русская литература своей борьбой за человека завоевала огромный авторитет в мире, то теперь ей принадлежит ведущее место в мировом литературном процессе. Максим Горький выдвинул своего рода формулу сути, существа нового человека. И хотя человек этот был только что открыт, только что родился, а процесс его формирования продолжается и поныне, так что и сейчас в формулировании его существа невозможно поставить точку, Горький уже тогда вскрыл ферментацию, зародышевую завязь нового человека.

Русская литература — литература мятежной души — оказала огромное революционизирующее влияние на развитие всей современной мировой литературы. Не только русские авторы, но и прогрессивные литераторы всего мира несут знамя борьбы за человека. Ибо коммунистическая революция — не дело какого-либо отдельного народа, а дело интернациональное, общечеловеческое.

В этом — высшее призвание, прекраснейшая гуманистическая миссия (незачем бояться этого слова — «миссия») литературы в процессе реконструкции действительности, который происходит спокон веков и поныне на земле — чудесной планете людей. Бессодержательны и бессмысленны споры, должна ли литература быть эмоционально или интеллектуально завербованной в этой стройке и перестройке. Что останется от литературы, если она хотя бы на шаг отой-

дет от своего основного идеала — самосжигающего и вновь рождающегося Человека-феникса?

Революционный гуманизм — это обширнейшая лаборатория, в которой есть место для всего прекрасного, что создает человек, для всего эстетического опыта человечества. Здесь возникает синтез, соответствующий рождающемуся человеку нового мира.

В гимназические годы я увлекался историей. Во всех классах преподаватели этого предмета у нас были как на подбор — отличные, влюбленные в свою науку. С особенной жадностью я слушал их рассказы о далеком прошлом человечества, и в третьем классе мне запомнилось слово «триумвират». Постепенно мне разонравились римские и неримские триумвиры — жестокие и кровожадные полководцы-завоеватели. Но уже в старших классах и в университете я влюбился в трех поэтов: Александра Блока, Владимира Маяковского, Сергея Есенина. Правильсь мне, разумеется, и другие замечательные представители мировой поэзии. Но эта триада, этот триумвират был и остается для меня особенно близким, родственным, заветным. И когда я читаю или декламирую их стихи, и по сей день ощущаю особенную нежность и взволнованный трепет. Должно быть, потому, что в революционном подполье они сияли передо мной как ярчайшие представители новой эры. То были три линии, исходившие из одной точки, пролежавшие параллельно и снова сходящиеся в одной точке. Исходной точкой была русская революция. Точкой устремления — новый человек. Помню, меня захватила парабла этих трех линий революционной поэзии. Они отражали три пласта поэтической почвы. Блок — голос замечательной старой русской интеллигенции, интеллектуальная глубина общества. Голосом Маяковского впервые с такой мощью заговорил город, революционная стихия улиц и площадей. А устами Есенина обращался к сердцу противоречивый — нежный, лирически певучий и вместе с тем стихийно бунтарский — дух деревенского океана.

Разумеется, это упрощенная схема, которую нужно еще заполнить множеством красок и оттенков, тонов и полутонов. Никакого поэта нельзя втискивать в некие рамки.

Я для собственного удобства назвал тех троих триумвиратом, отдавая дань увлечениям юности. Но мне и теперь кажется, что от них произошли и продолжают развиваться в русской и других наших литературах три основных направления поэзии: свести поэзию в одну линию было бы страшно неинтересно — все ее очарование во множественности индивидуальностей, манер, стилей, почерков и, наконец, поисков. Чем шире их шкала, тем увлекательнее поэзия. Революционную эру в ней открыл широким диапазоном мой любимый триумвират. И наша нынешняя поэзия в своем многокрасочном многоголосии продолжает революционную традицию новаторства замечательных триумвиров.

Наша эпоха, наша эра — эра эпоса и симфонии. Это не дурная бесконечность первозданного хаоса, не вавилонское смешение языков. Это изумительный контрапункт тысячеголосого хора, умноженный на новые неслыханные гармонии. Мне часто кажется, что Песне радости наших дней с удовлетворенной улыбкой внимают Бетховен. А если это так, то в нашем бытии искусству поэзии отведено почетное место.

Но сегодня еще нельзя спокойно и олимпийски уравновешенно говорить и писать о человеке. Еще стучится в сердце пепел миллионов, преданных мученической смерти во имя патологического антигуманизма, каннибализма, возведенного в систему, в философию.

Злые духи, направлявшие оргию всемирной бойни, многолики. Сегодня они преимущественно орудуют под масками скепсиса, отравляют атмосферу планеты страшными наркотиками безнадежности и непоправимого одиночества. Тот духовный напалм, который потоками извергается на молодое поколение Запада, порожден смертью и глубоко враждебен подлинному Человеку.

И здесь, на передовых позициях развернувшегося сражения за душу человечества, поэзия является и пехотой, и ракетными войсками. Как тут не вспом-

нить «Левый марш» Маяковского? И снова с сегодняшним днем перекликаются Октябрьские зори...

На моем родном языке слово «человек» звучит не только гордо, но и необычайно ласково. В нем выражены, сказал бы я, какие-то родственные чувства. И потому мне так дорог призыв:

«Человек человеку — брат!»

Коммунисты — гуманисты XX века — воспитывают Человека третьего тысячелетия. Кто же лучше пробудит, воспитает братское чувство, как не искусство, музыка, поэзия?

Мы никогда не должны забывать основной цели — воспитывать человека для служения. Служение — это не служба, не батрачество. Это свободная и радостная отдача сил своих рук, сердца и духа высоким, высшим идеалам. Такой «человек для людей» сумеет должным образом раскрывать и все свои индивидуальные способности, свою собственную частицу человеческого гения.

Грядущие историки, несомненно, назовут эру Октября великим коммунистическим ренессансом — возрождением Человечества и Человека.

Г. БАКЛАНОВ

## ПО САМОМУ СТРОГОМУ СЧЕТУ

**М**инет время, и на отдалении эти полвека, возможно, будут восприниматься людьми как что-то мгновенное, неразрывное, стремительно вознесшее Россию от сохи в космос. И поколения, сменявшие друг друга, каждое в свой срок и час вступившие в труд и в бой, предстанут, как одно поколение, которое жило, не переводя дыхания, — на мчащемся колесе истории спицы сольются в сплошной блистающий диск. Но так же, как неповторим один человек, какое бы малое место ни занимал он в роде человеческом, так же, только еще в большей степени, неповторимы поколения.

Братья мои были ненамного старше меня, но их поколение было тогда другим. В них сильнее была развита потребность самостоятельно оценивать жизнь, постигать явления не верой, а разумом. Для них философия, история, политэкономия были науками, которые только что перевернули мир. И многие выпускники школ в те годы шли в гуманитарные вузы. Юноши и девушки моего поколения сдавали в вузах философию порой уже по краткому философскому словарю, и не каждый из нас проявлял любопытство в больших размерах. Сейчас молодые люди после школы идут главным образом в технические вузы. Это происходит во всем мире, этому есть причины, это общеизвестно и потому кажется понятным. Но вполне ли мы понимаем, какая особая ответственность легла на плечи нынешней молодежи? XX век убедительней, чем какой-либо иной, доказал, что силы, которые раскабаляют человека от власти природы, способны и закабалить его. Вызывая эти силы к жизни, наука теряет над ними контроль — в сущности, она создает лишь средства, а одними и теми же средствами можно добиваться совершенно различных целей.

Наше поколение ступило на землю, когда революции было только шесть лет. Но свет ее был так силен, так ярк, что даже спустя многие годы, даже став взрослыми, мы порой не способны были видеть в этом свете ничего, отбрасывающего тень. Детство поколения было овеяно романтикой и мужеством героев революции, героев гражданской войны, и мы жалели, что поздно родились, что не мы были пулеметчиками той легендарной тачанки...

Мы еще росли, когда страна потребовала от нас солдатского мужества. Волнами атакующей пехоты поколение за поколением, отныне равняясь во всем, уходили в бой. Там, на великой войне, отдалившейся от нас на четверть века, все

еще идет своим бессмертным путем большая часть нашего поколения — те, кто уже навечно остался молодым, чьи девушки — сегодня немолодые женщины. В этом подвиге, означенном отдельными именами тех, кто успел стать героем, кого узнала страна, каждая жизнь была отдана за то, чтоб жив был народ, чтоб жил род человеческий. И, может быть, среди тех, кто остался на войне, были и Толстой нашего времени, и Эйнштейн.

Мысль эта высказывалась не раз, я повторяю ее потому только, что, на мой взгляд, нет сегодня на земле народа с более удивительной судьбой, который, стольких потеряв, сохранил неиссякаемыми и энергию, и творческий гений. По официальной статистике, где в счет берутся не отдельные человеческие жизни, не тысячи даже, а счет идет на миллионы, мы потеряли двадцать миллионов человек. И это все самые молодые, самые деятельные возрасты, в ком было настоящее страны, в ком зрело ее будущее. Да еще надо помнить, что раньше других на фронте погибают те, кто впереди. Они даже смертью своей еще на шаг движут вперед человечество, множа потребность подвига в сердцах новых поколений.

И вот, понеся такие невозместимые потери — а этим потерям предшествовали еще и другие, — наш народ оказался способным тем не менее во всех сферах творческой, духовной деятельности стать не только вровень, но быть впереди других народов. И литература наша занимает тут далеко не последнее место.

Проходят времена, и на то, что было, что прожито народом и свершено, люди смотрят глазами великих художников. Но создают литературу, как известно, не одни великие художники — они только пики гор, основания которых обширны. И не одна та задача у литературы, чтобы оставить будущим поколениям правдивую летопись минувшего. Советская литература, в которой слит и труд, и опыт многих поколений, каждое из которых имеет свои черты, творила и творит будущее в настоящем. Выражая душу народа, его совесть, его готовность к самопожертвованию и подвигу, литература тем самым подымала народ на труд и на подвиг, духовно закаляла его.

Еще в древности говорено мудрецами, что человеколюбие необходимей людям, чем огонь и вода. В реальной жизни, разумеется, все необходимо: и огонь, и вода, и еще многое, многое. Но литература без человеколюбия действительно невозможна. Этим качеством всегда отличалась русская литература.

В нашей советской литературе мне ближе всего те писатели, которые продолжают гражданскую гуманистическую традицию русской литературы. А уж если говорить о школах или стилях, то, мне думается, самое плодотворное влияние на нашу литературу оказал могучий талант Льва Толстого. Однако для того, чтобы нести людям слово правды, выражать боль, совесть, гнев своего времени, годятся, я думаю, все жанры, все стили, и тут каждый голос хорош, был бы он честен и свой.

Как бы много сейчас ни создавалось книг и у нас в стране, и в других странах, как бы ни были они интересны, каждая по-своему, — на той полке, куда отбирают не временные оценки, а время, где уже стоят и Лев Толстой, и Бальзак, и Шекспир, и многие поменьше ростом, — на той полке книги прибавляются единицами. Но даже если судить по этому самому строгому счету, мне думается, уже и сегодня видно, что из пятидесятилетней истории советской литературы время сумеет отобрать такие книги, которым стоять там.

## А. БЕК

### КНИГИ ЖИЗНИ

**В**

искусстве прекрасно характерное, говорил Роден.  
«Площадка Кузнецкстроя»... Это выражение для меня поныне привлекательно исторической характерностью, привкусом, колоритом времени — того времени, с которым связаны мои первые шаги писателя-прозаика.

1932 год. Бригада литераторов. Обязательство написать книгу «История Кузнецкстроя». Командировка. И вот мы на площадке.

Обойдусь в этом кратком слове без индустриального пейзажа. Илья Григорьевич Эренбург, который тоже оказался тогда в этой кузнецкой котловине, — он, кстати сказать, литературных бригад не признавал, — угостив нас коньяком, сдобривая разговор иронией, обронил:

— Не ради домен сюда стоило махнуть. Доменные печи можно разглядывать и в Италии.

Не однажды впоследствии я раздумывал над этими его словами. Он был, по-моему, и прав и не прав.

Здесь, в центре Сибири, у берегов Томи и впадающей в нее речушки Абушки, мы могли видеть сгусток, средоточие нового мира. Это был прежде всего новый мир в большом, широком смысле слова — мир нашей революции, которая взрастила, сформировала и меня, успешного поработать в дивизионной газете в гражданскую войну, — «новая земля», как озаглавил Эммануил Казакевич свой последний, незавершенный роман, ее привычный, напоенный порывом в будущее воздух, ее противоречия, ее страсти, родная мне среда.

Но постепенно, изо дня в день, из недели в неделю, мне открывался на площадке Кузнецкстроя и еще один ранее неведомый, некий, так сказать, более узкий новый мир.

Это круг металлургов или, еще суживая, доменщиков. Горновые, механики, мастера, инженеры. Люди, одержимые особенным влечением, о котором, должен сознаться, я не имел понятия, наделенные удивительной привязанностью к своему доменному делу, к башням-печаам, выплавляющим черный металл.

Профессия — вот страсть этих людей, источник захватывающего творчества, трагедий или острого счастья, раздоров и единения в некоей, никакими актами не узаконенной «республике доменщиков». Да, такие фигуры, одушевленные профессией, творчеством в технике, и схожие между собой, и одновременно разнообразными, еще оставались тогда неизвестной или почти неизвестной страницей для нашей, а пожалуй, и мировой литературы.

Знакомясь с подобными людьми, жадно расспрашивая, трепетно слушая — о, как важно, чтобы этот скрытый трепет ощущался собеседником, — выпытывая множество подробностей, я как бы строка за строкой прочитывал книгу, таившуюся в самой жизни, содержащую целый мир характеров, еще не тронутых ничьим пером.

Неудержимо потянуло пересказать эту книгу. Меня в особенности поразила, увлекла личность Ивана Павловича Бардина, неумного или, по заводскому словцу, отчаянного доменщика, главного инженера Кузнецкстроя, в ту пору уже академика. Вижу и сейчас его нависшие над маленькими глазами сивые брови, слышу его буркающий голос. Преодолевая природную застенчивость, он исполняет долг перед историей — не только историей Кузнецкстроя, — повествует о пути, что он прошел. От него мы впервые узнали про Михаила Константиновича Курако, о котором тогда существовали лишь изустные предания, а в печати еще ни строки.

В облике Курако, этого легендарного горнового и затем начальника доменных цехов, конструктора печей и вместе с тем участника революционных выступлений, организатора боевых дружин и забастовок, побывавшего в политической ссылке, сторонника советской власти, умершего в 1920 году в том самом Кузнецке, где он с молодыми помощниками проектировал будущий Кузнецкий завод, — в облике Курако для меня как бы соединились обширный, давно свой мир революции и другой, лишь тут, на площадке, мне отверзшийся, новый в потоке литературы мир профессии.

О Курако я написал свою первую повесть. Потом еще и еще трудился над образами металлургов, врубался в этот пласт, приносил читателю отколотые и как-то мною выделанные небольшие куски.

Жилка, которую посчастливилось тронуть и мне, — жилка профессии — все богаче, все рельефней проступает в литературе. И не только в нашей. По-видимому, это явление мировое. Тут хочется назвать Сент-Экзюпери, прекрасно запечатлевшего поэзию работы летчика. Невольно на ум приходит и имя его собрата по штурвалу, по приборной доске — нашего Марка Галлая.

Не буду умножать примеров. Скажу под конец, что ныне я снова возвратился в ту не обозначенную на карте республику, которой обязан своим писательским крещением, — в республику советских металлургов. Новый роман о них уже закончен. Читатель вскоре сможет произнести свой суд. Пишу следующий. Тоже исполняю свой долг перед теми, кто для меня дважды и трижды — новый мир.

## В. СЕМИН

### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПАМЯТИ

**Э**ти полвека советской литературы многое оставили в памяти, многим дороги. Но я хочу вспомнить сегодня о писателе, который мне лично особенно дорог и близок.

С Василием Гроссманом я познакомился впервые так: раскрыл свежий номер журнала, в котором печаталось продолжение романа «За правое дело», удивился какой-то строчке на середине страницы и, уже не имея сил остановиться, вернуться назад, начать с начала, читал все до конца. Я и сейчас еще почти наизусть помню сцену гибели батальона Филяшкина, помню ее совсем не так, как помнят литературные строки, пусть даже очень хорошие, а как факт собственной жизни, где все — ненависть и любовь, страдание и жалость, где ничего уже не изменить, где, сколько ни вспоминай, мертвых не воскресишь, бой не выиграешь, где сила памяти только явственнее заставляет услышать, как рассекает воздух мина, как фырчат и пришепетывают на излете осколки. Впрочем, нет, совсем не так. Прежде чем назвать эти осколки привычным и потому как бы санкционирующим военным термином — «осколки мин и снарядов», Гроссман словно берет их в изначальном состоянии и говорит о них, как о кусочках железа или стали. И вот от этой-то художественной малости и начинается страдание памяти, отсюда-то и начинается сомнение, без которого работа памяти ни к чему: мертвые могли быть живы, сражение выиграно, а металл мог вовсе и не превратиться в осколки снарядов и мин.

И это одна из самых замечательных особенностей Гроссмана — за что бы он ни взялся, он называет не только результат, к которому человек привел вещь, но и показывает ее изначальную структуру, заключенные в ней многочисленные возможности, весь ее путь до того момента, когда из всех возможностей была выбрана одна.

Выбор этот может поразить безнравственностью или жестокостью, потрясти кажущейся нелепостью: исторические силы, которые привели к нему, часто бывают скрыты. Но человек не имеет права забывать, что на всех поворотах истории свобода выбора, а следовательно, и ответственность — за ним.

В. Гроссман органически не выносил хаоса или того, что иначе, часто самооправдательно, называют слепой игрой исторических сил. Интеллектуальная и нравственная слепота, противная в частных проявлениях, в историческом масштабе может стать ужасной.

Я вспоминаю очерк Василия Гроссмана «Треблинский ад». Поразительная сила этого очерка, резко выделяющая его среди материалов подобного рода, не только в ненависти к фашизму, не только в сочувствии к его жертвам, которое у Василия Гроссмана страданием памяти, силой сочувствия перерастает в ощущение

ние вины,— но и в беспощадном анализе. Все фантастическое, ужасное, хаотическое, хуже, чем животное (ибо Майданек, Сабибур, Бельжице, Треблинка — продукт человеческой, а не биологически-животной деятельности), постепенно снимается, и остаются страшные своей примитивной простотой логические связи.

Треблинка была комбинатом, комбинатом смерти,— в каждой вещи, в каждом общественном явлении заключены десятки возможностей!— и в качестве комбината она и рассматривается. Тщательно исследуются ее производственные мощности, пропускная способность газовых камер, технология ограбления и уничтожения трупов (отмечено, например, что женские трупы горят лучше, чем мужские). А затем читателя ведут страшным смертным путем, которым прошли тысячи и тысячи...

Честное слово, на этой дороге десятки мест, где хочется просто закрыть глаза. Но глаза вам закрыть не дают, не упущена ни одна подробность, ни одна ступень, которая вела к страданию и смерти. Вплоть до страшного места, где сжигаются трупы, где у задуманных матерей лопаются от жара животы и в них горят неродившиеся младенцы...

Писатель предвидит, что могут найтись люди, которым будет непонятно, зачем им, живым, идти этой страшной дорогой мертвых, зачем эта тщательность душераздирающих подробностей. И отвечает: «Долг писателя рассказать страшную правду, гражданский долг читателя узнать ее. Всякий, кто отвернется, кто закроет глаза и пройдет мимо, оскорбит память погибших. Всякий, кто не узнает всей правды, так никогда и не поймет, с каким врагом, с каким чудовищем вступила в смертную борьбу наша великая, наша святая Красная Армия».

Очерк написан в сентябре сорок четвертого года. Участь Германии была решена, но самая сильная нота, которая звучит в нем,— не торжество победителя, а тревога, волнение совести: «Нам следует ужасаться не тому, что природа рождает таких дегенератов: мало ли какие уродства бывают в органическом мире — и циклопы, и существа о двух головах, и соответствующие им страшные духовные уродства и извращения. Ужасно другое: существа эти, подлежащие изоляции, изучению как феномены психиатрической науки, в некоем государстве существуют как граждане, активные и действующие. Их бредовая идеология, их патологическая психика, их феноменальные преступления являются необходимым элементом фашистского государства».

В каждой вещи заключены десятки возможностей. Человек, изобретший двигатель внутреннего сгорания, не подозревал, что его мотор может двигать и танк. А тот, кто поместил мотор в танк, не додумался до того, чтобы соединить выхлопную трубу танка с душегубкой. Но всякий, кто совершает поступок, кладет начало цепи новых поступков. Возникает логическая цепь, кладется начало реакции, которая в конце концов может стать неуправляемой. Вот почему писатель обязан рассказать всю правду, а читатель — узнать ее.

Но дело, конечно, не только в долге писателя. Главное, сила, с которой он любит людей — не логические конструкции, не производственные мощности, которые должны служить людям, а именно людей. Ведь и в любом обобщении заключены многочисленные возможности, среди которых немало и чрезвычайно опасных для самих людей. Гроссман по складу своего ума, несомненно, был писателем-историком (не историческим писателем), писателем-философом. Он любил широкие обобщения. Но его обобщения никогда не рождались в тех горних высях, «где во льдах абстракции замерзает мозг». Он был историком шахтеров, философом металлургов. Он на ощупь, на вкус, на цвет знал их профессии — на вкус хлеба, заработанного в шахте. И когда он приводит нас в разрушенный, разоренный Сталинград, то показывает его нам не привычными к городскому пейзажу глазами горожанина, а глазами крестьянина Вавилова, который считает урон, нанесенный городу, не на дома, а на дефицитные гвозди и стекло, на количество разбитых кирпичей, которые так трудно было доставать копыто.



Любовь к писателю, как, наверно, и всякая любовь, требует указания (помимо других причин) на условия времени и места. Меня лучше всего поймет тот, чье душевное напряжение было частицей гигантского поля, созданного душевным напряжением миллионов людей во время войны. Все, что происходило в войну, было ужаснее, страшнее, будничнее, героичнее всего, что можно было до этой войны прочесть.

Среди страшных военных потрясений были потрясения и помельче: сместился критерий занимательности и правдоподобия литературы. Фантазия была скомпрометирована. Никакой фантазии невозможно было угнаться за жизнью. Слишком фантастичны, трагичны и неправдоподобны оказались судьбы каждого третьего из живших в нашей стране. Мерилом литературы, как никогда, стала жизнь. Она требовала изображения и объяснения. Она требовала писателей, способных ее понять и изобразить. Таким писателем был и Василий Гроссман.

Я не пишу статью о его творчестве. Меня спросили, какие традиции советской литературы мне особенно дороги. И в эти торжественные дни я не могу не вспомнить Гроссмана — писателя с совестью настоящего русского интеллигента, считавшего себя ответственным за все, что происходит в мире.

В великолепном, будто итоговом очерке «Добро вам!» Гроссман с некоторой грустью отмечал: «В поэзии двадцатого века, как бы блистательна ни была она, меньше стало жаркого сердечного могущества и всепоглощающей человечности, которыми отмечены поэтические гении прошлого века. Словно поэзия из булочной перебралась в ювелирный магазин и на смену великим пекарям пришли великие ювелиры».

Мысль эту, может быть, нужно оспорить. Не знаю. Я только хотел сказать, что сам Гроссман, пользуясь его же словами, свою работу делал дивными руками пекаря.

М. КАРИМ

## ЧУДО-ПРАЗДНИК

**Ч**еловека сделал человеком труд. Это бесспорно. Но кем бы стал он потом, если бы только трудился, создавая материальные блага? Мне думается, унылый и угрюмый, он вернулся бы туда, откуда начинал. К счастью, сразу же к нему пришло другое великое умение — умение создавать себе праздники, что утвердило его духовное бытие.

Одним из чудесных праздников, созданных и создаваемых людьми, я считаю поэзию. Она прежде всего — источник радости, утешения и душевного обновления.

Поэзия — под этим я подразумеваю художественное творчество вообще — является духовной конституцией и эстетической программой человечества в одно и то же время. Она закрепляет эстетические завоевания и провозглашает эстетические идеалы. У народов много богов. Но у них единая многокрасочная, многоязычная, многозвучная поэзия, потому что едины идеалы высшей гармонии. Боги воздвигали стены отчуждения между племенами, поэзия рушит их. Умирают даже боги. Остается бессмертная поэзия. Она знает только рождение.

Советская литература, являясь частью всемирной культуры, стала художественным выражением всей революционной эпохи, она знаменовала собой новый этап в художественном освоении действительности, в ней отчетливее ощущается пульс времени, в ней озарение нового века, в ней кровь и слезы суровой действительности.

Мне кажется, в нашей критике все еще наблюдаются две противоположные тенденции. Одни в своих теоретических суждениях, да и в творческой практике

берега социалистического реализма одевают в гранит и возводят по ним высокие дамбы, чтобы преграждать пути и притокам и разливам. А другие ратуют за безбрежное половодье, когда не разобрать, где главное русло реки, где паводок.

Я тоже за половодье нашего искусства, но за такое половодье, когда фарватер лежит по главному руслу. Для меня самое дорогое и ценное в пятидесятилетней истории советской литературы именно то, что она никогда не сбивалась с главного русла народной жизни, отмеченной большими победами и радостями, большими печалью и утратами.

Хороший учитель не только ласкает и хвалит своих прилежных питомцев, он отдает немало душевных сил и для того, чтобы вышли в люди и его нерадивые, трудные ученики. «Литература — учитель жизни» — так было сказано. Это определение особенно подходит к советской литературе. Поэтому, как тот учитель, обращается она не только к явлениям радостным и светлым, но и к трудным и печальным. Ее правда — в охвате жизни во всей ее сложности, во всех ее проявлениях, в отражении в себе всей гаммы человеческих чувств и страстей. Тем она и завоевала доверие и любовь читателя к себе, хотя порою находятся люди, которые, считая только себя надежными защитниками идейных принципов нашей жизнеутверждающей литературы, любое прикосновение к нашим ранам и житейским недугам рассматривают как дань пессимизму. Но в полувекковой битве за подлинное человеческое счастье наш народ завоевал великие исторические победы и получил немало ран. Их получают не только побежденные, и, к сожалению, не все раны заживают.

Приведу такой довольно частный и, может быть, несколько прямолинейный пример. Недавно я случайно оказался свидетелем того, как молодого поэта журили за пессимизм в стихотворении о безном инвалиде войны. Стихотворение, конечно, было не очень веселое. Но странен был мотив обвинения: зачем касаться старых ран, кому это нужно? Так много времени прошло...

Да, времени прошло немало, но и за это долгое время не выросли ноги у тех, кто их потерял однажды.

А другие раны, другие утраты?..

Обыкновенные, здоровые духом люди не боятся касаться своих болей и печалей. Однажды после войны, мне помнится, на вечеринке вдовы просили свою подругу, у которой самый грустный голос в аule: «Спой! Хоть поплачем вдоволь, душу облегчим...»

Я далек от мысли отстаивать слезоточивую литературу. Она находится вне искусства. Речь, разумеется, идет тут о том, чтобы литератор не отворачивался стыдливо от того, что нарушает его покой и радужное настроение. Советская литература прямо, честно смотрит на жизнь, и смотрит она на нее добрыми, пристальными к справедливости и правде глазами.

Что же касается профессиональной, цеховой стороны дела, то мне по душе в нашей многонациональной литературе ее стремление и умение глубоко обобщать предыдущий словотворческий, эстетический опыт наций, уважение к традициям и, не замыкаясь в них, постоянное обновление.

Вспомним первые годы революции. Сколько творческих направлений нашло тогда широкую возможность проявить себя! Одни направления оказались ложными и изжили себя, другие обрели новые качества. Но литературные школы и направления — дело естественное, в известной мере необходимое. И они остаются естественными и нужными до тех пор, пока критики и теоретики не начинают силой загонять литераторов в тот или иной класс той или иной школы.

Мне лично, например, трудно сказать, какие писатели, школы и произведения имели на меня особое влияние. Откровенно скажу: в литературу я пришел, почти не зная, куда иду. Очень скудные были мои сведения. У меня был единственный тогда пример — известный поэт С. Кудаш, мой односельчанин. Его пример вселял в меня силу и уверенность в том, что родившийся в аule Кляш тоже

может писать стихи. Наша национальная литература тогда только формировалась. Видимо, все учились друг у друга. Поэты — особенно в молодости — как подростки: на них больше влияют сверстники и улица, нежели умудренные опытом родители и всезнающие соседи. К Пушкину, Тукаю, Блоку, Маяковскому, Есенину, Пастернаку обратился я гораздо позже.

Я упомянул поэтов разных времен, не только советских. Ибо правда в том, что поэты влияют на последующий творческий процесс силою своего таланта, независимо от времени, когда они жили. Постоянно чувствую творческое дыхание моих сверстников Расула Гамзатова, Кайсына Кулиева, Назара Наджми, старшего моего собрата Хасана Туфана и радостно ощущаю, как поддерживает меня их вдохновение.

Для меня священна национальная почва, национальная первооснова родной поэзии, ее гнездовье, — без них нет рождения поэзии. Мне также думается, что она обретает новую мощь тогда, когда выходит в сферу межнациональных обществ. вынося с собой духовный потенциал народа, вбирая в себя силу других.

Не было литературы на башкирском языке — она есть, она станет лучше, богаче, она выходит на широкие просторы. Это чудо. Чудо-праздник, сотворенный великой революцией.

## В. БЫКОВ

### БЫТЬ ДОСТОЙНЫМИ НАШЕГО ЧИТАТЕЛЯ

**П**равда человеческих отношений все с большей настойчивостью утверждается в жизни нашего общества и в его литературе. Совершенно очевидно, например, что важнейшие реформы в экономике, предпринятые в последние годы нашим государством, вряд ли были бы возможны без всестороннего публичного исследования наметившихся в ней тенденций, конфликтов и неувязок. Степень и глубина отражения правды народной жизни все решительнее становятся главным, определяющим фактором любого произведения искусства. В самом деле, когда мы читаем, например, «Брестскую крепость» С. С. Смирнова, «сельские» книги В. Овечкина, Е. Дороша, С. Крутилина, Л. Иванова, П. Ребрина, «Из жизни Федора Кузькина» Б. Можая, последнюю повесть Ч. Айтматова, «Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына, то поражаемся прежде всего заключенной в этих произведениях концентрированной силе правды жизни, психологической точности характеров, жизненной емкости ситуаций. И в этом, разумеется, высшая степень литературного мастерства.

Что до той темы, которая особенно близка мне как литератору, то для меня она открылась с «Окопов Сталинграда» В. Некрасова. Позже, помнится, поразили «Двое в степи» Э. Казакевича. Впрочем, нельзя не сказать, что и до этих книг были хорошие вещи о войне — очерки, рассказы, «Волоколамское шоссе» А. Бека, «Красная ракета» Г. Березко и другие книги.

В ту пору, стремясь испробовать свои силы в литературе, я долго не решался этого сделать. Правда, было несколько попыток, неудачи которых я объясняю теперь отсутствием посылного примера, литературного прецедента, вовсе не обязательного для зрелого писателя, но зачастую совершенно необходимого для начинающего литератора. Казалось, многое из написанного о войне в первое послевоенное десятилетие лежало вне моего личного военного опыта.

Много прояснило для меня появление первых военных повестей Г. Бакланова и Ю. Бондарева и некоторых других вещей. Оказалось, что не случайно та война, которую пережил любой фронтовик, эта памятная настоящая война во всей ее доподлинности явилась со страниц книг. Да и каких книг! «Батальоны

просят огня», «Пядь земли» встали рядом с повестью В. Некрасова и «Волоколамским шоссе» А. Бека и вместе с ними дали начало одной из наиболее плодотворных традиций нашей военной прозы. Это была высокая литература еще и потому, что правда войны в ней нашла подлинно художественное воплощение, что весьма нелегко и требует от художника, кроме мужества, еще и таланта.

Думается, что эти книги имели для нашей военной литературы принципиальное значение, которое по прошествии некоторого времени видится еще ясней. Это они своей истинной драматичностью, достоверностью изображения войны и, самое главное, всесторонним рассмотрением человеческого поведения на войне обусловили появление несколько позже других отличных книг о войне. Сделано начало, разведан путь. Теперь мы знаем, в каком направлении лежит новая «Война и мир», дело только за автором.

Образный строй искусства, концентрируя жизненный опыт человечества, необычайно расширяет обозримые горизонты мира, приобщает людей к сфере высоких чувств, мудрости, к истине жизни. Но тут следует иметь в виду, что истина, как и искусство вообще, способна проникнуть в души лишь тех, кто духовно созрел для нее, кто в ней нуждается, для кого она — высший жизненный принцип, без которого нет духовности и, уж конечно, немислимо творчество. В противном случае она, мягко выражаясь, бесполезна.

Общепринятым стало утверждение, что за годы советской власти культурно вырос читатель. Это действительно так, и в этом удивительном росте — одно из главнейших достижений нашего строя. Он, этот читатель, наш общественный барометр, наш судья и наша негласная совесть. И он всегда чрезвычайно чуток к малейшей фальши, недомолвкам и особенно к приукрашиванию жизни.

Читателю нужна правда, но она же не менее важна для самой литературы. Ведь всякое данное состояние литературы несет в себе предпосылки литературы будущего, которая неизбежно проявится не только как продолжение лучших прежних традиций, но в известной мере и как реакция на предыдущее искусство и его заблуждения.

Мне кажется, что в этом смысле нам ни нынче, ни в недалеком будущем нет оснований опасаться различных видов пустопорожнего формализма, буйно расцветающего там, где содержание жизни основательно отработано искусством предыдущих времен. Кажется, нашей литературе на много лет хватит еще насущных человеческих конфликтов, долго еще будет для нее сладок черный хлеб правды. Если действительно, как писал Стендаль, искусством движут страсти, то нам их не занимать. Конечно, и здесь могут быть издержки и непредвиденности, но, в общем, критерии у нас надежные. Можно ошибаться относительно того, как надо, но как не надо — понятно сейчас всякому мыслящему человеку. Опыт относительно этого у нас есть.

Все-таки это хорошо, что настоящей литературой руководит не какая-то мода или конъюнктура, а лишь правда жизни. Хочется верить, что мы многое можем. Литература наша завоевала то, чем она может гордиться. Надо только не упустить это завоеванное и сберечь его для искусства будущего.

## К. ПАУСТОВСКИЙ

### БУДУЩЕЕ НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Груднее всего, пожалуй, привыкнуть к стремительному движению времени. Подумать только: советской литературе, той литературе, которая начиналась на наших глазах и не без нашего участия, исполняется пятьдесят лет, целых полвека! Это с трудом укладывается в голове. Давно ли мы, шумные юнцы, дела-

ли первые неуверенные шаги — выражаясь несколько старомодно — на литературном поприще? Давно ли мы бурно спорили о новом и небывало сложном жизненном материале, расстилавшемся перед нами, как снежная целина? Кажется, это было вчера.

И вот настал день, когда те из моих сверстников по литературному ремеслу, кому посчастливилось дожить до наших дней, достигли такого почтенного возраста, что их сажают за литературный стол в качестве свадебных генералов. Некоторым из них эта роль до того пришлась по душе, что они охотнее занимают место в различных президиумах, чем за письменным столом.

За эти пятьдесят лет мы накопили немалый опыт, и лучшее, что мы можем сегодня сделать, — это извлечь из него разумные уроки.

Я радуюсь, что за пятьдесят лет существования нашей литературы мы создали много прекрасных книг. Я горд, что лучшие из них приближаются к великой русской классической литературе — той литературе, которая не только помогла нам, советским писателям, встать на ноги, но и надолго останется для нас неувядаемым образцом. Но меня не покидает тревога. Вызвана она тем, что прекрасных книг у нас куда меньше, чем могло бы быть. Я задаю себе вопрос: как могло случиться, что книги-однодневки, художественная ценность которых равна нулю, свидетельствующие разве что о юркости и ловкости их авторов, объявлялись порой в былые времена крупнейшими явлениями нашей литературы, а прекрасные произведения, в которых отразились и время и люди, многие годы пролежали под спудом и только четверть века спустя после своего появления увидели, наконец, свет и стали достойным литературой и читателями? Это нанесло нам непоправимый ущерб. Появись, скажем, вещи Андрея Платонова и Михаила Булгакова тогда, когда они были написаны, наши современники стали бы намного духовно богаче.

Я говорю об этом не потому, что мне хочется сейчас ворошить прошлое (хотя я считаю, что прошлое должно быть и понято и объяснено). Но совести говоря, меня куда больше занимает настоящее и будущее. И если я обратился к фактам прошлого, то потому, что они подтверждают старую, но очень важную для нас истину: внушительные литературные победы одерживают те писатели, которые следуют своему призванию, которые бесстрашно делают то, что подсказывает им совесть. Они видят правду, и правду они пишут. И поэтому их книги остаются. Они живут и будут жить, за судьбу их книг беспокоиться не приходится. В том-то и сила настоящих произведений искусства, что, служа своему времени, они сохраняют свою неотразимость и убедительность и тогда, когда это время уходит в прошлое. И не только как документ, а как страстный человеческий отклик на то, что происходит на свете.

Опыт прошлого обязывает нас делать все, чтобы избавить писателей, чьи таланты с таким блеском раскрылись в последние годы и чьи дарования только начинают раскрываться, от тех помех, которые не миновали нас, литераторов старшего поколения.

Пусть всего мы, «почтенные» писатели, должны остерегаться старческого брюзжания. Об этом очень хорошо сказал Тютчев:

Когда дряхлеющие силы  
 Нам начинают изменять,  
 И мы должны, как старожилы,  
 Пришельцам новым место дать, —  
 Спаси тогда нас, добрый гений,  
 От малодушных и коризн,  
 От клеветы, от озлоблений  
 На изменяющую жизнь;  
 От чувства затаенной злости  
 На обновляющийся мир,  
 Где новые садятся гости

За уготованный им пир;  
 От желчи горького сознания,  
 Что нас поток уж не несет  
 И что другие есть призванья,  
 Другие вызваны вперед.

Молодости часто не хватает опыта. Но есть в молодости то, что делает ее такой привлекательной. Это — свежесть и непосредственность, отсутствие предвзятости, правдивость, прямота, нежелание кривить душой и идти на компромиссы с совестью.

Они, молодые писатели, должны доделать то, чего мы не успели: рассказать о великом времени и великих делах. Иначе нашим преемникам придется узнавать об этом из третьих рук.

За ними, за молодыми писателями, сегодня слово.

## Н. РЫЛЕНКОВ

### СОКРОВИЩНИЦА ДУХОВНОГО ОПЫТА НАРОДА

**Л**итература — с тех пор, как она существует, — решает те же задачи, что стоят и перед породившей ее эпохой. Через нее эпоха не только познает самое себя, но и утверждает свои идеалы, воспитывает для их осуществления человеческие характеры.

Но среди многих и разнообразных задач есть одна главная, которую любая литература решает в любую эпоху. Эта задача — освещение и закрепление духовного опыта народа. Величие всякой литературы определяется именно тем, насколько глубоко и всесторонне она осваивает этот опыт, делая его всечеловеческим достоянием.

Надо ли говорить, какое значение имеет опыт советского народа, накопленный им за полстолетия революционной борьбы и социального творчества! Без учета и осмысления его уроков немислимо движение человечества вперед.

Все факты и события нашей истории даже отдаленные потомки легко смогут установить, сопоставить и взвесить по газетной хронике и архивным документам, а о духовной жизни народа, о широте его интересов они будут судить только по тем произведениям литературы и искусства, которые дойдут до них, выдержав испытание временем.

Эпохи великих социальных сдвигов и потрясений не отменяют вечных законов искусства, но неизмеримо убыстряют проверку творимых по этим законам ценностей. Полувековая история советской литературы показывает, что самые суровые испытания временем выдерживают как раз те произведения, в которых шум бурно кипящих событий не отвлекает от раздумий над их глубинным смыслом, над судьбами захваченных ими людей.

Таковы лучшие книги Алексея Толстого, Шолохова, Леонова, Фадеева, Федина, Всеволода Иванова, Лидии Сейфуллиной. Более того, как это ни парадоксально на первый взгляд, но именно наша эпоха — эпоха форсированной индустриализации — породила целую плеяду высокогалантливых писателей-природолюбив, таких, как Михаил Пришвин, Паустовский, Соколов-Микитов, а из более молодых — Солоухин. Год за годом неуклонно повышающийся интерес к их твор-

честву со стороны самых широких кругов читателей объясняется не только естественной жаждой тишины, позволяющей побыть наедине с собой, приобщиться к тайнам нерукотворной красоты, но и возрастающим чувством ответственности человека перед всем сущим на земле, перед самой зеленой планетой.

Без произведений этих писателей духовный опыт нашей эпохи был бы неполон, наш современник выглядел бы намного беднее. А как много значило для нас, например, второе рождение Андрея Платонова!

Я убежден, что его напряженные раздумья о «сокровенном человеке» в этом «прекрасном и яростном мире» выражают одну из главнейших черт русского народного характера — его совестливость. Неколебимая вера в чистоту народной совести, которая не горит в огне и не тонет в воде, позволяет Платонову мужественно касаться самых суровых сторон действительности, не боясь погрешить ни против правды-истины, ни против правды-справедливости. Вот почему его повести и рассказы, написанные много лет назад, не устаревают с годами, и сейчас, как мне кажется, можно говорить даже об утверждающихся в нашей литературе «платоновских» традициях. С ними так или иначе соприкасаются самые разные писатели — от Владимира Тендрякова до Юрия Казакова. Я лично считаю эти традиции весьма и весьма плодотворными.

Сказав об Андрее Платонове, нельзя не вспомнить и другого замечательно-го писателя, обретшего новую жизнь в канун пятидесятилетия Октября. Я имею в виду Михаила Булгакова, блистательного драматурга и романиста, художника высокого благородства и подвижнической стойкости. Выход в свет через много лет после смерти автора одноименника его избранной прозы и публикация романа «Мастер и Маргарита» показали, насколько наша литература богаче ходячих представлений о ней. Автор «Белой гвардии» и «Мастера и Маргариты», обладавший редкостным даром органического сочетания тонкой лирики и острого гротеска, современности и истории, яркого вымысла и сурового реализма деталей, отразил в своем творчестве одновременно и фантастическую сложность путей интеллигенции в революции, и ее кровную заинтересованность в решении выдвинутых этой революцией проблем.

Переосмысление творчества писателей, вчера еще казавшихся далекими от насущных задач современности, отнюдь не случайно. Оно — показатель потребности эпохи в углубленном самопознании.

Этой же потребностью порожден и расцвет мемуарного жанра. Оглядываясь на пройденный страной путь, читатель хочет из первых уст узнать, что и как происходило. Но писатель не может, да и не имеет внутреннего права просто рассказывать о событиях, свидетелем или участником которых ему пришлось быть. Его рассказ неминуемо сопровождается раздумьями — все равно, высказаны они открыто или спрятаны в тексте. И подобного рода раздумья не менее интересны для читателей, чем сами события. Ведь они выражают не только личный опыт автора, но в известной мере и опыт времени. Именно этим привлекают к себе внимание такие разные произведения, как «Люди. Годы. Жизнь» Эренбурга, «Повесть о жизни» Паустовского, «Трава забвенья» Катаева, воспоминания Тихонова.

Художественная летопись эпохи создается усилиями многих мастеров слова. Летопись нашей революционной эпохи поражает прежде всего обилием самых разнообразных талантов.

История поставила перед советской литературой небывалой трудности задачу. Духовный опыт своего народа она должна была осваивать и воплощать в ходе ожесточенной борьбы за построение первого в мире социалистического общества, за утверждение новых норм в человеческих отношениях. И эту задачу она реша-

ла с полным сознанием своей ответственности как перед современниками, так и перед будущими поколениями. Об этом свидетельствуют все более раскрывающиеся перед нами ее богатства. Поблекло и обесценилось в ней только то, что порождено суетным стремлением выдать желаемое за сущее. И мы нисколько не жалеем о таких утратах. Подлинные ценности от этого становятся еще дороже, еще очевиднее для нас. И какова бы ни была их первоначальная судьба, они так или иначе, рано или поздно займут свое место в сокровищнице духовного опыта народа. Наша революционная эпоха не может не дорожить каждой драгоценной крупичей этого опыта.





И. КРАМОВ

★

## АЛЕКСАНДР МАЛЫШКИН

(От «Падения Даира» к «Людям из захолустья»)

1

**М**алышкин работал неторопливо, грудно, порой мучительно. Наследие писателя умещается почти целиком, включая и ранние рассказы, в два тома. Но каждая из его вещей вызвала при своем появлении бурный отклик и надолго завладела вниманием читателей и критики. При жизни писателя «Севастополь» за несколько лет вышел восемью изданиями. Не было, пожалуй, ни одного серьезного журнала, который не откликнулся бы на «Севастополь» и «Людей из захолустья» более или менее обширной проблемной статьей.

Ругали Малышкина, как и хвалили, гоже дружно, хором. Повесть «Вокзалы» «разнесли», да так грозно, что она ни разу с тех пор не переиздавалась. И теперь, чтобы прочесть ее, надо найти старый, сорокапятилетней давности экземпляр «Красной нови».

Причину такого повышенного внимания к творчеству писателя нетрудно объяснить. Мы тоже нетерпеливо набрасываемся на всякое правдивое слово о нас, о современности.

В ту пору, когда появилось «Падение Даира», только отгремели годы, все переверотившие в русской жизни. Нелегко было понять этот новый мир. От литературы ждали истолкований — помощи самой насущной. Редко в какое время литературное слово было так весомо, так нужно людям, и именно для того, чтобы пролить свет.

Некогда один критик посеговал, что русская литература никак не может освобо-

диться от «гнусной обязанности запрягать Пегаса в соху». Если продолжить рассуждения в духе этой метафоры, то надо сказать, что Пегас в России пахал. И именно в то время, когда он шел в сохе, он и завоевывал сердца и умы людей.

Влияние этой традиции ощутимо и в начале малышкинского творчества. Со временем оно крепнет — по мере того как созревает талант писателя.

Александр Георгиевич Малышкину был тридцать один год, когда появилось «Падение Даира», и он сразу стал известным писателем.

В то время многие начинали с внезапной и громкой славы. Примерно тогда, когда альманах «Круг» опубликовал «Падение Даира», А. Воронский писал: «Новый писатель лезет изо всех щелей. Вылезает он из трущоб, с окраин, из глуши, из медвежьих уголков, из провинции, из дебрей». Критик называл еще недавно неизвестные имена: Вс. Иванов, Л. Сейфуллина, М. Зощенко, А. Неверов, Ю. Либединский, Ф. Гладков. Он возлагал надежды на этих «новых, советских разночинцев», представителей «подлинного демоса городов и деревень».

Представителем «подлинного демоса» был и Малышкин. А уж что до глуши, из которой он «вылез», так это была кондовая российская глушь. Малышкин родился в селе Изгородском, Мокшанского уезда, Пензенской губернии. «Корни рода, — писал он о себе, — из безземельных крестьян, бывших дворовых помещика Нарышкина, отпущенных на волю без надсла. Ростки этого рода разно-

образны: одни шли в уезд — в мальчики, приказчики, пекаря, другие брали на откуп кабаки, гетьи уходили на заработок в большие города — на «каменну» (строить церкви, дома), четвертые батрачили у богатых мужиков, пятые — орудовали на базарах и ярмарках с крапленой колодой и рулеткой. В такой обстановке прошло детство»

Александр Малышкин был старшим из детей. Отец, работавший приказчиком в лавке писателя-народника К. Быстренина в городке Мокшан, куда переехала семья Малышкиных, решил во что бы то ни стало вывести сына в людн. В 1910 году Александр Малышкин окончил гимназию в Пензе, поступил на филологический факультет Петербургского университета и надолго оставил родной уезд.

Печататься Малышкин начал еще в пору студенческой юности. Он опубликовал несколько рассказов в петербургских тонких журналах, действовавших на периферии большой литературы. Это были картины уездного мокшанского быта, пронизанные горечью, иронией и тоской.

Но после появления первых рассказов Малышкин замолчал на семь лет. О причинах молчания он писал в автобиографии: «По окончании университета настала кочевая жизнь: революция, война, Черноморский флот, где я служил младшим офицером на тральщике, гражданская война, во время которой пришлось увидеть много новых мест и новых людей. Все это было, конечно, сильнее литературы».

Детство и юность в уездном городке, студенческие годы в Петербурге, революция и война — из этого наблюденного и пережитого Малышкин черпал и в двадцатые и в тридцатые годы. Но на первых порах его писательское имя связано почти исключительно с гражданской войной.

В 1922 году Малышкин приехал из Херсона в Москву. В том же чемодане молодого командира лежала рукопись повести. Через несколько месяцев повесть была опубликована, и критика с редким единодушным признала ее достоинство. Литературная Москва радушно приняла Малышкина в свою среду.

«Падение Дaira», с которым Малышкин выходил на литературное поприще, рассказывало о гремевших событиях недавнего прошлого — о легендарном штурме Перекопа. Это привлекало внимание к вещи и к

писателю, принесшему неопенимое — знание новой русской жизни.

За пятнадцать лет, прошедших со времени появления первой повести, — срок, отпущенный Малышкину на работу, — были написаны еще две повести — «Вокзалы» и «Севастополь», несколько рассказов и роман «Люди из захолустья», закрепивший за Малышкиным репутацию замечательного мастера русской прозы.

Центральный образ всего малышкинского творчества — образ движения, перемен. Реальность, пугающая писателя достоверными бытовыми подробностями, — струнувшаяся с месга Россия.

На разных этапах своего пути Малышкин по-разному воплощает и гракует этот образ. В «Падении Дaira» это «великое кочевье», «орда». В «Вокзалах» — эшелон с солдатами, которые возвращаются с фронта домой.

Новое воплощение этого образа мы найдем в «Севастополе». Тут в центре наблюдений писателя судьба личности, ее право на поиск, на обновляющее движение.

Широкому читателю Малышкин известен в основном как автор «Севастополя» и «Людей из захолустья». Это справедливо: обе книги — лучшее у Малышкина. Они и создали ему славу тонкого психолога, художника с редкой чуткостью к языку. Они же создали ему славу писателя остросоциального, говорившего о насущных проблемах жизни своего современника. Постоянная и тревожная забота Малышкина о достойной судьбе человека из российского захолустья неотделима в его творчестве от выдвинутых временем проблем: человек и революция, общество и личность. Известность его лучших книг, их прочная репутация у читателя объясняется в значительной мере тем, что эти проблемы — коренные в творчестве Малышкина — не потеряли ни остроты, ни значения и сейчас.

Не сразу они возникли в книгах писателя. Вызревали они постепенно, в трудных поисках. Проследить, как шел к ним Малышкин, — поучительно и для наших дней. Особенно интересен путь от «Падения Дaira» к «Севастополю», путь, на котором так ясно предстает вся сложность проделанной Малышкиным эволюции. Писатель отказался от некоторых существенных идейных и художественных концепций своей первой повести. Пытаясь сейчас, спустя почти сорок пять лет после появления «Падения

Даира», осмыслить, как автор этой книги пришел к «Севастополю» и «Людям из захолустья», мы можем по-новому взглянуть на главные вещи писателя.

## 2

С первых своих шагов в литературе Малышкин тяготеет к эпически обобщающему, широкому полотну. Его ранние рассказы можно рассматривать как этюды, схватывающие колорит, настроение, людские силуэты для какой-то незавершенной композиции, как подступы к развернутому изображению уездной Руси.

В «Падении Даира» тяготение к эпосу выражено гораздо более определенно. Малышкин обращается к старинному наследию — к былинному эпосу, в поисках ритмов, образов, чтобы рассказать о русской новни.

«В сумерках истории, в полуснах лежали пустые поля, бескрайные, вогнутые, как чаша, подставленная из бездн заре...

Как это? Русь, уже за шеломяньм еси?.. В бескрайном курганы уплывали, как черные — на заре — шеломяны: назад, в сумерки, в исторню... Где-то сзади раскинулось в рассвете поле битв, еще бредящее кровью, криками, гарью... И тишина плывет над полем битв — дневная тишина запустенья; плывут, осыпаясь неуловимыми пластами забвенья, времена».

Ритмы и краски повести декларативно напоминали об архаической древности. Богатырский эпос был призван на помощь, чтобы передать дух современных событий, героизм и размах борьбы.

Сюжетом для «Падения Даира» послужил Малышкину один из заключительных эпизодов гражданской войны. Конкретная военная операция — штурм Перекопа — изображена писателем со многими подробностями, известными ему как участнику этих боев и историографу их в штабе М. В. Фрунзе.

Правда, в повести Крым не назван. Вместо него — символ мира «по ту сторону фронта», обреченный Даир. Не назван и командующий войсками, штурмующими Крым, Фрунзе. В повести действует вместо него командарм, вместо конкретных красноармейцев — «множества», «орда».

Драматизм жестокого боя осмыслен Малышкиным в символических образах, передающих противоборство двух миров. «И как

призраки — в серых ветрах дня Красный и Черный всадники сшиблись в вышине грудями огненноглазых, бешено вздыбленных коней. Кто кого раздавит в сумерках полей, в смертельной схватке...»

Этот же образ получает в повести и другое воплощение. Изысканно-изнеженный, догаасающий Даир «сшибается» с лавиной неотвратно надвинувшихся «множества».

«Ночью, в ста верстах восточнее, у Антарского мыса, двинулись еще множества и в полночь форсировали пролив. Шли по пояс в воде, на берегах толпами пылали костры, в пролетах вздыбленного моста пылали факелами керосиновые бочки, пронзая дугую зарев ночь. Противник ушел. В заревах армия форсировала пролив, и множества пили пресную воду на том берегу и, упав камнем, спали на теплой еще от вражеских ног земле».

Дополнительные штрихи и детали рассказывают о том, как армия форсировала Сиваш. Точно обозначено и место операции — у Антарского мыса. Но о самой армии сказано кратко — «множества». В других местах эта нерасчлененная масса названа столь же кратко — «орда».

Сразу же после появления «Падения Даира» критика отметила, что сущность повести — «принятие революции как огромной стихийной силы». Это была одна из первых попыток передать народный характер революции, осмыслить происходящее в новых для литературы масштабах — масштабах глубоких социальных преобразований.

Отсюда «орда», «кочевье», «множества», «тьмы тем» — все эти образы-символы, в которые вложена мысль писателя об особенностях революции и гражданской войны в крестьянской, полуфеодальной стране.

«С пересохшими ртами бежали кочевья потных, иструженных, ведомых снами...»

«...Все шло своим чередом, как хотелось молоту множества, падающему в неукоснительном и чудовишном ударе на юг».

Романтическая патетика «множества» — главенствующая нота повести.

Малышкин рисовал картину вздыбленной, потрясенной войной России. Рисовал талантливо, ярко, сильно, с чувством личной причастности ко всему, о чем рассказывал.

Но посмотрим еще раз в эти образы, в сумрачный, иногда угрюмый колорит эпизодов, где действуют «множества» и «орда».

«Пели рожки над чадными становьями пеших. В морозных ульнях, грудясь у костров, наелались на дорогу; котлы и ргы дышали паром; костры стлали мглу в поля. А небо над тучами гасло, день стал дикий, бездонный, незаконченный...»

Этот сумрачно-мглистый тон, темные краски — господствующие в повести. «Выл ветер», «черным хаосом скакала ночь», «горько грустили трубы, уходя в бесконечный», «хмурые батальоны молчали».

Картинки и эпизоды повести скреплены единой мыслью, выраженной четко, как формула.

«В огненной слепоте рождается мир из смрадных кочевий, из построенных на крови эпох...»

Мысль, заключенная в этой формуле, проливает все повествование. Сегодняшнее — ради будущего, говорит Малышкин. «Огненная слепота» — во имя «млечно-синих долов» рождающегося мира. Мрак кочевий — ради будущих «прекрасных веков». В этом сопоставлении реальности и мечты Малышкин находит ответ на многие жгучие вопросы, встававшие тогда перед ним.

Порою что-то похожее на невольный трепет и страх мелькает в описаниях диких всадников, напролом идущей «орды». Но тут же мгновенно возникает и ответ этому чувству — вера, мечта, надежда...

«...В пенье фанфар шли упоенные — на крыльях сказок о прекрасных веках — парень в дырявом шарфе, закинув голову и орлом глядя вперед; другой, опустив веки (крупные и впалые), утонув в далекие брызжущие сны... Как ветры, бесконечные, безликие провлакались ряды, в безвестие, в забвенные волны. И вдруг прекрасным стал вечер; или чудесным переход фанфар: будто уже нет тех, кому надо завтра умереть, будто прошли века, прошумели все бури, и стерлись все письмена, и в успокоительных прекрасных временах поют чудесные песни о них, полузабытых тенях...»

Что представляет собою будущее, куда уносит «упоенных» на «крыльях сказок о прекрасных веках»? Писатель ничего не знает об этом и не берется рассказать. «Кочевья» показаны в повести со всеми подробностями тяжкого быта войны — показаны натуралистически резко. А «прекрасные века» — это сон, видение, чужая легенда, у которой никаких определенных очертаний пока нет. «Рыжие, пустые, холодные» поля. «бесконечная тусклая свинцовость вод, ух-

дящих в муть». А за ними — «солнечные рубежи».

Есть какая-то шемяще-грустная нота в самозабвенной гибели «упоенных». Но она звучит сдержанно, едва-едва. Ее заглушает более громкий мотив исторической правоты совершающегося. «...В улицах топало, гудело железом, людьми, телегами, скотом, как в далеком столетии. И так было надо: гул становий, двинутых по дикой земле, брезжащий в потемках рай — в этом было мировое, правда».

«Так было надо». Это и истина и заклинание. Надо пройти через мрак «кочевий», за которыми «счастье, хлеб и вечера, как золотеющая рожь». Этому «надо» обоснований или объяснений в повести нет. Надо! Таков повелительный голос Времени, Истории, Народной Судьбы.

Стихия «множеств» и предстает как свершитель этого предначертания. Она действует в мире суровой необходимости. В ее безоглядном стремлении к «солнечным рубежам» — высшая правда и правота.

Со всеми этими мыслями и представлениями тесно связана и другая резкая и выразительная черта повести — пафос «закона масс», как бы исключаяющего «закон человека».

«На шествии бесконечных, на сиянии пространств — недвижим был в остром шизаке профиль каменного, думающего о суровом».

Так дан в повести командарм — олицетворение воли, ума и исторической правоты революции. Символ сурового героизма, железной необходимости победить.

«Командарм был спокоен, может быть поэтому, что знал закон масс».

Писатель настойчиво отнимает все житейское, человеческое у этого образа.

«Он встал каменный, чужой мирным сумеркам избы».

«...прошел командарм: близоруко щурясь, выпрямленный, как скелет, стриженный ежиком, каменный, торжественный командарм N...»

Этот каменный командарм, очевидно, и должен быть таким, чтобы вести свое войско. «На много верст кругом — в ноябрьской ночи — армия, занесенная для удара ста тысячами тел».

Человек в «Падении Дайра» поглощен «ордой», растворился в ней. У него нет облика, нет индивидуальности, нет своего мира и своей судьбы. Есть общий мир и

единая, общая судьба. Схематичные, едва очерченные фигуры, которые возникают время от времени на фоне «орды», только подчеркивают ее монолит.

«На плаху среди поля вбежал без шапки косматый, чернобородый, яростный. Шинель, сбита ветром, сползла с плеч. Волосатые голые руки выкинулись из гимнастерки, кричали в поле, в толпы, в бескрайний ветреный день:

— То-ва-ри-шши!..»

У митингового оратора нет лица. Он кричит о «солнечных рубежах», о самых жгучих надеждах «хмурых батальонов», слушающих его Только такой, «безликий», и может быть выразителем сокровенных мыслей массы. Он: плоть от плоти ее — мельчайшая песчинка яростного урагана, бушующего над страной.

«Безликие» и образуют в сумме былинно-величественную, неповторимую красочную орду.

Конечно, эта апология стихии масс предполагает и ответ на вопрос: ради чего? Повесть утверждает высший закон — «закон масс» — во имя чего? Малышкин отвечает на эти вопросы: человек сам по себе бессилен. Воля отдельного человека ничего не значит, ничего не может. Сила в «множестве». Только «множеству» дано выполнить историческую миссию. «У красных были множества; множествами надлежало раздавить и мстительное упорство последних и хитрость культур».

В основе этой апологии монолита, «молота множеств», мысль о том, что революция требует жертвенного отказа личности от самой себя во имя высшего блага масс.

У «безликих» есть возвышенный идеал: «МЫ — МИРУ — ПУТЬ — УКАЖЕМ — НОВЫЙ!» Лозунг вывешивают в канун больших событий — назавтра штурм Даира.

«Безликим» дано великое преимущество силы и одоления. В подчинении стихийному началу человек обретает новое неопределимое качество. «Молот множеств» раздавит «хитрость культур».

Малышкин улавливал важные черты народной революционной войны — массовый героизм и веру в будущее. Масса в повести — единственный носитель правды и правоты. Но правота ее не раскрыта и не показана — она предопределена и задана. Поэтому так абстрактна в «падении Даира» романтика этой массы.

Эти особенности повести не были в свое время проанализированы критикой. Тем

труднее было писателю преодолеть незрелость мысли, еще неспособной охватить истинный смысл победы в борьбе.

Повесть не была исследованием реального, а поэтизацией должного — тех представлений, в которые была воплощена вера писателя в революцию. За пределами его внимания оставались многие существенные вопросы, связанные с нравственным содержанием тех понятий, которыми он оперировал в повести. Интересы к тому, как чувствует себя человек внутри «молота множеств», у Малышкина пока не возникало. Все это было еще впереди.

### 3

«...В поздний час гудят гудки, воют мне в смиренное ночное окно — об психоженных пространствах, о бездонной воле-земле.

Звуют...

...вокзалы, вокзалы!»

Этот образ, читающийся на разных страницах по-разному, — в центре новой повести Малышкина.

Мы видим вокзалы мирного времени, войны, революции. Спокойный, налаженный быт перевернут, вздыблен. Россия мчится с ревом, с гулом, как пролетающие неведомо куда поезда.

Отдельные эпизоды «Вокзалов» переносят читателя из петербургской квартиры «человека в пиджачке» — интеллигента, мыслителя, в штаб, где решаются важные государственные дела, потом в городок Рассейск, затерянный в ногайской степи, потом в окопы, на фронт, в ресторан, в кунг поездам, бороздящих страну. Малышкин стремится дать социальный разрез общества. Действуют в повести крестьяне, интеллигенты, баре, чиновники, солдаты, офицеры. Это опять не лица, не характеры, а образы-символы — героев в обычном понимании тут, как и в «падении Даира», нет. Сюжета, движущего действие, тоже нет. Отдельные эпизоды — связаны друг с другом единой мыслью. Мысль развивается в сопоставлениях, проходящих через все повествование: Петербург — Рассейск.

Подобно тому, как в «падении Даира» сопоставлены Даир и «орда», в новой повести в центре столь же резкое сопоставление: столица и захолустье. Тонкий слой европейской культуры — и азиатская Русь. Город величественных архитектурных ансамблей, императорского балета — и гряз-

ная, нищая деревня. Город бар, чиновников, интеллигентов — и невежественный, бесправный мужик.

«И за какими-то пустотами — бурьян, звезды, ночь; голоса кликуши; темные древние дедовские погосты спят». Это Рассейск.

По всей Рассее-матушке один лишь  
разговор —  
Бяда, бяда, ребятушки, никак опять набор ..

И это тоже Рассейск — символ необозримого захолустья.

«Между темн и эгими — пустота, пустыня; только снящиеся просверкают, как бреды, поезда в пустынях, в ночи».

В «Падении Даира» конкретный военный эпизод истолкован как столкновение двух миров, двух исторических эпох. В «Вокзалах» нет конкретности случая, эпизода. Столкновение двух полюсов показано здесь в постепенной панораме национальной жизни в годы, предшествующие революции, в масштабе страны.

К какому же итогу устремлены картины, эпизоды, сопоставления, рассеянные по повести? Итог вызревает по мере того, как мы продвигаемся от картины к картине, и обрушивается взрывом: революция! Революция показана в повести как возмездие за дурную, несправедливую жизнь.

Но этот итог не является конечной целью всего повествования. В нем заключено некое обобщение, выходящее за пределы повести и составляющее ее главную мысль. О чем она?

Ответ на этот вопрос содержит резкую, решительную полемику с «Падением Даира». Это было неожиданно, поразительно, но именно таков был смысл «Вокзалов». Две повести давали разную интерпретацию одних и тех же событий. настолько разную, что их можно сопоставить как выражение взаимоисключающих взглядов и идей.

В «Вокзалах» мы находим знакомый по «Падению Даира» образ «безликих». Но на этот раз перед нами новое осмысление этого образа. «Безликие» — жертвы равнодушной и жестокой Истории, нелепо гибнущие под ее колесом.

Империалистическая война. Атака. «С фляга скакал поручик, выставив вперед немой, без крика раздвинутый рот, поручик в зеленой бекеше, с белым барашковым воротником, без лица».

Цвет бекеш и воротника отмечен. О других приметах сказано кратко: «без лица».

«...За орудиями, приказывая, шел поручик, тот самый, с белым барашковым воротником, без лица; указывал позицию, цифру панорамного прицела. Поручик своей батареей начинал бой: рядом — полями — уже стремились в западную стену ночей темные тысячи, миллионы: чтобы закричать, упасть, задохнуться навсегда... лечь рваным телом на бок, раскорячиться, закатывая глаза...»

...над ними пойдут поезда, двое будут глядеть в поля, покачиваясь под музыку вагон-салонного рояля, щекой к щеке. Из окна будут глядеть в лунную песню ночи, немые от счастья, он скажет: здесь была мировая война...

Нет!»

Это «нет!» — и реплика спутницы, и приговор, в котором явственно слышится авторский голос: все напрасно — напрасно гибнут «безликие». Над жертвами, кровью, живой болью все равно прозвучит что-то равнодушное: «Нет!»

Как далеко уходит Малышкин от веры и надежд «Падения Даира»!..

В обеих повестях много общего — художественный метод, образы, краски, ритмы прозы. И в «Вокзалах» «теньевые тысячи, миллионы», безликие массы свершают пред-указанный им путь. Но различие повестей в коренном и главном — во взглядах на перспективу этого движения масс.

У Малышкина, художника с повышенной социальной чувствительностью, такой резкий зигзаг не мог быть случаен. Он по-своему отражает перемены в социальном быте страны, совершившей скачок от военного коммунизма к нэпу.

Написанные в разгар нэпа и опубликованные в 1923 году, «Вокзалы» передавали состояние растерянности, которое овладело тогда писателем. Хронологические рамки повести: мировая война — 1917 год. Здесь нет ни людей, ни проблем, прямо связанных с новой порою русской жизни. И все же «Вокзалы» — характернейшее явление той поры, сказавшейся в грактовке событий, в мироощущении автора.

Насколько можно судить и по «Вокзалам», и по рассказу «Комнаги», уже прямо написанному о нэпе, Малышкин на первых порах в существо новой политики не вдавался, а видел лишь недвусмысленное горькое темных сил — мешанина, собственника, нэпаца.

Рассказ «Комнаты» начинается так:  
«Все-таки еще оставалось что-то...

А ведь как будто канули навсегда все одиннадцать фронтов, протопавших через город сапогами красных, белых, марушкинцев, махновцев; уже иные налаживались годы — усмиренные, стихающие, как откатная волна».

«Откатная волна», как представляется в то время Малышкину, уносит далеко-далеко от завоеванных рубежей. Нэп предстал перед ним как победа грубо-материального мира, подавившего полет, размах, романтическую всеобщность, духовную высоту. Это болезненное и тревожное восприятие и было запечатлено в «Вокзалах».

Многие в то время переживали то же, что и Малышкин. Зловещий гомункулус, вынырнувший вдруг на поверхность жизни, казался символом необоримого, вечного — бездуховной власти вещей.

В недавно опубликованных воспоминаниях о Блоке С. Алянский рассказывает, как сумрачно и встревоженно принял нэп поэт. В «музыке времени» Блок услышал режущую новую ноту. «Отовсюду выползали звуки омерзительной пошлости, какие-то отвратительные фокстроты и доморошенная цыганщина». Блок страдальчески вслушивался в эту новизну. «Я думал, что эти звуки давно и навсегда ушли из жизни, — они еще живы... — сказал однажды поэт. — Неужели все это возвращается?»

Этот же вопрос — возвращается ли старое после победы и понесенных ради нее жертв — поставлен и в «Вокзалах». Звучит он здесь грозно, устрашающе — так же, как в произведениях некоторых других писателей-современников: в «Трансваале» К. Федина. «Голом годе» Б. Пильняка. Звучит так: крестьянская стихия или революция? Это был жгучий вопрос, может быть, главный в русской жизни того времени.

«Голый год», опубликованный несколько раньше «Вокзалов», заканчивается патетическим утверждением необоримости мужицкой Руси. Вот концовка его, где на языке обычных для Пильняка образов выражена эта мысль.

«Лес стоит строго, как надолбы, и стервами бросается на него метель. Ночь. Не про лес ли и не про метели ли сложена был-былина о том, как умерли богатыри? — Новые и новые метельные стервы

бросаются на лесные надолбы, воят, визжат, кричат, режут по-бабьи в злости, падают дохлые, а за ними еще мчатся стервы, не убывают, — прибывают, как головы змея — две за одну сеченную, а лес стоит, как Илья-Муромец».

Финал «Вокзалов» очень близок к этой мысли Пильняка.

...1917. год. Произошла Октябрьская революция. Солдаты едут с фронта домой, в городок Рассейск. Вместо машиниста в кабине паровоза матрос. Возле самого Рассейска поезд набирает бешеную скорость. Внезапно отказывают тормоза. Остановить поезд нельзя. Но никто в эшелоне не знает об этом. «Поезд летел в тупик со скоростью шестидесяти верст в час, в теплушках, в открытых дверях махали шапками, плясали...» Эшелон разбивается в станционном тупике.

Концовка:

«За пургой, в полнебном зареве, гудело гревовой, рельсы стонали в земле, стороной мчались миллионы вставших, бесновались, ликовали в муть...»

Ночь шла дикая, половецкая...»

В этой концовке — острое спора «Вокзалов» с «Падением Даира»: вместо солнечных рубежей, к которым шли «упоенные», — катастрофа, гибель, тупик. Тут высшая точка духовного кризиса, пережитого писателем. Малышкин с исповедальной чистотой поделился всем, что мучило его в то время.

Теперь, когда не стало мечты о «солнечных рубежах», не было и противовеса мглисто-сумрачным тонам и краскам, преобладающим в «Вокзалах». Что противопоставлено в повести картине социального катаклизма? Какая мысль, надежда, вера? Ничего.

«Вокзалы» не были случайным эпизодом в творчестве писателя. Космический пессимизм «Вокзалов» в значительной мере был расплатой за экспрессивный романтизм предыдущей повести с ее апологией безликих «множеств». Отказ от исследования реальности в пользу поэтизации своих романтических представлений об этой реальности обернулся безысходно мрачным тупиком. Оставаясь в кругу прежних понятий и образов, Малышкин герял живые связи с действительностью. Дальнейшее движение невозможно было без прорыва из этого круга. Этот прорыв и произошел в «Севастополе».

## 4

В Севастополь Малышкин приехал после окончания Ораниенбаумской школы прапорщиков весной 1917 года и служил здесь младшим офицером на кораблях. Бурные месяцы между февралем и октябром, митинги, ожесточенные дебаты в Советах — все это он видел, слышал, сам выступал на митингах и был избран командиром матросского добровольческого отряда, созданного для защиты революции в Крыму.

Этот биографический материал и послужил основой для «Севастополя».

Мичман Шелехов, герой повести, в прошлом петербургский студент-филолог, наскоро обученный в Ораниенбаумской школе прапорщиков и отправленный служить на флот, повторяет во многом судьбу самого Малышкина. Шелехов увлекался русской древностью, горячо любил «Слово о полку Игореве», изучал его в университетском семинаре — все эти и некоторые другие штрихи и подробности собственной биографии автор передал своему герою. В «Севастополе» есть черты автобиографической повести. Но Малышкин далеко выходит за рамки автобиографии. Свой жизненный опыт автор заметно трансформирует, создавая художественный образ, а не собственный портрет. Малышкин называл «Севастополь» повестью о «некоторых путях и распустьях русской интеллигенции». Добавим: интеллигенции в революции. «Пути и распустья» пролегают через 1917 год.

Место действия повести — Черноморский флот в месяцы между февралем и октябром.

Все привычное нарушено, взорвано. Меняется все — быт, полигика, лозунги, взгляды, отношения между людьми. Перед нами галерея характеров, типов времени — от монархиста Елховского до большевика Зинченко. Люди, растерянные, ищущие, мягкие, злобные, отчаявшиеся; люди, потерявшие волю или же готовые ради своих целей и во имя своих идеалов на все.

Где-то в этой толпе затерялся мичман Шелехов. Ничем особенным — ни яркостью личности, ни силой характера — он не отличается. Правда, среди других «бурлаковых офицеров» его выделяет «деликатная интеллигентность». Но это на первый взгляд не слишком заметно, да и не очень важно.

О себе Шелехов думает: «Быть бы тебе

недагогом по словесности где-нибудь в Пензенской губернии, если бы не война, водозной клячей, проверять диктанты, ставить двойки... вог она, по закону огведенная гебе жизнь!» Мичман охотно признает — он обычный, ничем не замечательный человек.

Но именно его история и судьба привлекли внимание к «Севастополю».

«Севастополь» был связан с «Падением Даира» и «Вокзалами», но связан полемически — желанием сказать по-иному о том же. В центре размышлений Малышкина теперь судьба личности, что и продиктовало новый подход к проблемам, выдвинутым временем. В «Севастополе» определилась главная тема всего малышкинского творчества и впервые прозвучал главный вопрос его зрелых книг: что несет революция человеку? Стремление ответить на этот вопрос было выражением стремлений писателя к исследованию и познанию мира. Всего несколько лет отделяет «Севастополь» от «Падения Даира», но это целая эпоха в жизни Малышкина, время возмужания ищущей, беспокойной мысли.

Сама идея поставить в центр «Севастополя» такого человека, как Шелехов, и показать весь окружающий мир его глазами была вызовом некоторым общепринятым представлениям того времени. Малышкин утверждал «Севастополем», что нет и не должно быть канонов, устанавливающих, кто может, а кто не может быть героем произведения. Это вызвало возражения.

Например, после появления первой части «Севастополя», опубликованной в 1927 году, откликнулся журнал «На литературном посту». «Герой-интеллигент, думающий о путях слияния с классом, есть только частный случай в творческом процессе пролетарского писателя, а не его определяющая психондеологическая доминанта, — писал критик журнала. — Фадеев не был бы пролетарским писателем, если бы такой доминантой был для него образ Мечника, хотя бы и беспощадно разоблачаемого. Шелехов же, гочнее, проблема Шелеховых стоит в центре всего творческого внимания А. Малышкина, и это и есть решающая черта, позволяющая определить место Малышкина на левом фланге литературы попутчиков» И критик добавлял, как бы дорисовывая портрет: «Об этом же говорит и тяготение Малышкина к человечности, к естественным,



здоровым, биологическим инстинктам человека»<sup>1</sup>.

Здесь верно сказано и о «тяготении Малышкина к человечности», и о том, что «проблема Шелеховых» глубоко волновала его. Но едва ли это заслуживало укора. В некоторых критических статьях Шелехову противопоставляли фадеевского Левинсона как пример более правильного, более целесообразного — с позиций советской литературы — выбора главного героя. И этот упрек тоже нельзя было принять.

Фадеев же и ответил критикам «Севастополя». Защищая повесть и называя ее «подлинно-революционным произведением», он писал: «Шелехов является представителем того промежуточного, очень низового и очень угнетенного в прошлом слоя — демократической интеллигенции, мелких служащих, полунинтеллигенции, — который исчисляется в нашей стране миллионами...» Почему же такие люди, писал Фадеев, не могут быть героями повестей и романов? О них не только можно, но и нужно говорить.

Несколько слов, сказанных писателем в поддержку Шелехова и «проблемы Шелеховых», тогда не были услышаны.

Правда, впоследствии автора перестали порицать за выбор героя. Но истолкование, которое получил после этого Шелехов, очень далеко отстояло от истинного замысла автора. На долгие годы — вплоть до наших дней — в критике утвердилось мнение, что повесть, рассказывающая о пути молодого интеллигента в революции, написана с разоблачительной целью.

«Вся беспомощность, беспомощность той социальной прослойки, представителем коей является Шелехов, с большой художественной силой раскрыта в «Севастополе»<sup>2</sup>, — говорилось в одной из статей. В такой трактовке «Севастополь» и был одобрен. Это была господствующая мысль критических статей о повести. В торжественно-удовлетворенном тоне говорилось о грехах и заблуждениях Шелехова. Спор шел лишь о степени его разоблачения и о необходимости дополнительных усилий автора в этом направлении. Если возникало неудовлетворение характером и степенью обличений, то и автор тоже брался на подозрение: «Чувствуется, что интеллигентская пуповина Малышкина еще не совсем отсечена».

Мы еще вернемся к критике повести. А пока поговорим с Шелехове. Попытаемся всмотреться в его портрет.

Ничего военного, кастового, типично офицерского в Шелехове нет. Женщина, за которой он ухаживает в Севастополе, говорит о нем с беззлобной усмешкой: «умный студент». Таким «умным студентом» и является Шелехов перед нами. Позади — Кант, пушкинский кружок профессора Венгерова, скудная юность, беганье по урокам, комнатуха с продавленным диваном и сваленным в углу студенческим барахлом.

«Он знал все это в жизни — голодные улицы с серым хлебом, талый снег, леденящий, сыростью пробирающийся к голой ноге в башмак...»

Малышкин с первых же страниц четко намечает контуры образа. Бедный студент, разночинец, обученный на медные гроши, не чуждый духу протеста и сопротивления, свойственного его среде. И он «таскал в свое время прокламации под студенческой тужуркой... выходил на Невский вместе с жуткой, обрекаемой на поби и смерть голпой».

Понятно, откуда у этого студента, ставшего офицером «революционного выпуска», такая ненависть к казачьему есаулу, с которым он сталкивается случайно в поезде. Слушая, как есаул нагло отчитывает соседа по купе, скромного прапорщика-артиллериста. Шелехов «распахнул шинель и, опустив пальцы в карман, нащупал рукоятку браунинга. «Ну, скажи мне, скажи мне, — молил он, — скажи, хам, животное, сволочь! Если.. то я отворю дверь, и мы разорвем тебя в клочья...»

За дверью — солдаты, набившиеся в вагон. В эту минуту мичман ощущает почти родственную близость с ними.

Революция сливается в сознании Шелехова с молодой, неуемной жаждой счастья, жизни. Он принимает ее как праздник, на котором, конечно, уготовано место и ему.

«Шелехов взглянул вверх — там, на деревянном шпиге, полоскалось и величавилось в небе алое полотнище. «Это и есть революция...» — подумал он, и неожиданно сладкое содрогание гордости пронзило всего...»

В эти дни самые простые факты полны для Шелехова особого смысла и значения. В столовке, куда он попадает в первый вечер после февральской революции, петро-

<sup>1</sup> «На литературном посту», № 17, 1929.

<sup>2</sup> «Молодая гвардия», № 3, 1932.

градские барышни потчуют солдат и офицеров — героев дня.

«— Консервы в ящике, вот тут; отжупорьте сами, товарищ, вы сильнее!

Для Шелехова это звучало так:

«Какой вечер, какая молодость, как в смутной радости хорошо встречаются глаза!»

Эта юность еще слышит только себя — ей пока хорошо и просто в этом мире.

Вот один из отправных пунктов повествования — того «воспитательного путешествия», которое предстоит совершить герою:

«...Сброшено матросское барахло — шинель, форменка, брюки, пудовые обмоклые сапоги, пропитанные днями бедности и строевой муштры.

Вместо казенных ботанцев — модные женственные ботинки на пуговицах, любезно предложенные в кредит квартирохозяином Петром Прохорычем. Вместо грязной полосатой фуфайки — синий китель, охзативший стан тепло, и ласково, и ловко. Одеревенелый, щемящий шею воротник заставил вздернуть повелительно подбородок.

Шелехов одевался и, сладостно медля, застегивал под кителем португую золоченого, с царским вензелем, палаша.

Теперь можно было подойти к зеркалу, и в груди упало тягуче, блаженно...

Оно стояло в темном простенке, огромное, сначала мутно-неразборчивое, как вода.

Оттуда, обернувшись на ходу, осматривал Шелехова какой-то смугловатый морской офицер, невысокий, стройный, обтянутый в талии по-женски, мерцающая через плечо гемными юными недоуменными глазами».

Какой простодушной готовностью к радости, к счастью веет от этого офицерика. Юность, еще не понявшая ни себя, ни своих целей в жизни, примеряет шинель, готовится в путь...

Но вот один из завершающих эпизодов повести — явная переключка с ее началом. Шелехов прощается с обжитым углом, уходит в матросский отряд.

«...Вещи — поручить Опанасенко. Да и много ли их, вещей? Вот они кучей темнели, навешанные в углу. Офицерская шинель, китель с университетским значком; еще одна шинель — студенческая, тужурка с синими петлицами, махрявые брюки, на которых засохла еще петербургская грязь. Разноцветные прощальные куски жизни

пролетали, как за окном вагона. Что-то подсказывало, что к этим вещам не вернуться больше никогда. Он погрузился на минуту в них лицом — в грустный, отступающий от его прикосновения прах... Так далеко ушло все — за ровень длинных-длинных, как океаны, дней... Ему вспомнилась фраза из прочитанного, неведомо какого романа: «Уходя, он взял с собой любимый томик Боеция...» У него не было любимого томика Боеция. У него не было ничего, что он мог бы взять с собой в дальнюю дорогу... Грустная, но и облегчительная нищета!

Он позвал Опанасенко. Сложил на койку винтовку, патроны, папиросы. Вынул из гайного хранилища школьный браунинг. Горбушку хлеба на всякий случай. Кажется, это было все?»

Здесь снова, может быть, для того, чтобы воскресить в нашей памяти начало, — офицерская шинель, вещь, мичман... Шелехов бросает свой китель — тот самый, который некогда примерял у зеркала, — среди ненужных вещей в углу.

Между этими двумя эпизодами пролегли «пути и распутья» Шелехова. В начале их — зеленый юноша-юнker, в конце — умудренный нелегким опытом человек.

Шелехова формируют и складывают особые условия, особая жизнь, необычная, незнакомая и не познанная еще никем. Это обстоятельство — основное в замысле «Севастополя». История, рассказанная нам, — в значительной мере история поисков своего места в сложном мире. Вместе с тем это история формирования личности под воздействием событий сурового и грозного времени.

Необходимость выбора! В этом и заключается гвоздь всех трудных проблем, возникших вдруг перед Шелеховым. Но сознательный и добровольный выбор — это и есть проявление личности, то есть определенной и конечной величины, способной к взаимодействию с такими же определенными величинами. Шелехов на первых порах взаимодействует плохо, а должен взаимодействовать хорошо. Матрос-большевик Зинченко преподносит эту истину мичману без долгих мудрствований: «Теперь болтыхаться туда-сюда не придется». Это не совет, а скорее предостережение, в котором слышится Шелехову предложенная дилемма: жизнь или смерть!

Но почему же вдруг возникает перед

Шелеховым этот вопрос о выборе? Разве для студента-разночинца, всем своим небольшим, но весьма определенным опытом подготовленного к выбору, он представляет какую-то особую трудность? Ведь недаром в памяти Шелехова всплывает время от времени морда вагонного есаула как символ всего ненавистного и навсегда чужого. Так почему же мичман «мечется мыслями», как он сам говорит о себе?

Понять это важно — именно поиски и метания навлекли на мичмана гнев рапповской критики, наградившей его бранными кличками «Бурданов осел» и «Гамлет Черноморского флота».

Приведем то место из повести, где проблема выбора встает перед Шелеховым в своем самом конкретном воплощении.

«Прежде всего надо было ответить самому себе на один вопрос, который задавали Шелехову все чаще и чаще и которого он начинал даже стыдиться: «Какой вы партии, господин мичман?» Если на корабле в ответ можно было отшучиваться, то вель в Совете существовали разные фракции, и к одной из них он должен был обязательно примкнуть.

К какой?»

На корабле мичмана иногда называли большевиком, хотя он и не был им. Ему это нравилось. Но «когда задумался про себя по-настоящему (а редко приходилось это делать, очень кипели события, не могла отстояться тихая вода мыслей...), — когда задумывался ненадолго над сутью этого учения, с трепетом ощущалась на дне его некая непреложность, грозная, ледяная, неприукрашенная... Может быть, потому, что жив был еще в нем прежний Шелехов, тот самый, который некогда, в петербургской ночи, бежал по слякотным огненным мостовым в позорной, выкляченной по прошению шинели и таких же калошах и вдруг, подняв проклинающие глаза, видел над своей головой, в мутном небе, зарева чужих чудовищных пиров... Но почему, ощущая эту непреложность, хотелось все-таки бежать от нее в пестрый тарарам сегоднешнего дня, под обыкновенное солнце, — почему с такой надеждой он искал какого-то равновесного ей противоборства, внимательно прислушивался к разноязычным спорам на бульваре, на катере, на митингах?»

В общем-то, мичман не прочь отмахнуться от вопроса о партиях, от партийных про-

грамм с их четкими схемами, параграфами и пунктами. Политика кажется ему скучной бухгалтерией, без пожара, без музыки. Вспомним офицерика, примеряющего китель у зеркала. А теперь этот шум в голове, это ожидание музыки и пожара, эти поиски «равновесного противоборства» в тарараме летнего городского дня. Таким появляется Шелехов на корабле. Он уже задумывается, но слегка... Но слишком все серьезно вокруг, чтобы можно было наотлог оставаться в этой легкости и невинной простоте.

И верно — эти праздничные и легкие чувства глохнут по мере того, как мичман глубже вникает в действительный смысл происходящего.

В сумятице мыслей, раздирающих сознание Шелехова, явственно различимы два доминирующих голоса.

«Нужно ли было для России то, что делалось сейчас в Петрограде? Во имя простой и последней справедливости поднимались скопившиеся на загаженных проспектах самые обойденные, голодные, вшивые, накаленные ненавистью. Их вели — на мировое дело — новые фантастические христы, проповедующие разлад и ярость. Он понимал... Но почему это не зажигало, не доставало еще до сердца сочувственным содроганьем? Оттого ли, что кругом, на глазах, корчилась и так изъязвленная войной, полурехнувшаяся страна, настоящее которой состояло только из развалин, ран и темноты?»

Но вот и второй голос — разрешающая сомнения мысль об исторической правоте возмездия.

«Ослепила мысль — давняя, зарытая глубоко: вот так бы почувствовать, так пере-ненавидеть, как чувствуют и ненавидят они из глубины своей матросской кожи, — тогда ведь было бы оправдано все: и почему нужно было взять винтовку и зверем рвануться на Каледина, и почему малаховские ночи и Графская...»

Этот голос все громче звучит в сознании мучительно размышляющего мичмана. «Не лишнее ли, что я все мечусь мыслями, — думает Шелехов, — решаю что-то, когда уже есть для меня решение — одно на всю жизнь...» Это решение — новая Россия, готовая «рвануться на Каледина» во имя исторической справедливости и своей правоты.

Да, не сразу и не просто дается мичману выбор. Его отношение к событиям, потрясшим Россию, на протяжении повести меняется. Объяснение этому надо искать не в какой-то абстрактной природе «мелкобуржуазного интеллигента», якобы предписывающей ему известное поведение и непреходящую суть. Критика «Севастополя», истолковавшая Шелехова как «проводника интересов» и «представителя прослойки», не обратила внимания на весьма конкретные особенности его биографии, которые и объясняют многое в его судьбе.

Студенческая юность Шелехова пришлась на тяжелое время упадка общественного сознания, последовавшее за разгромом революции 1905 года. Не отметив этого, нельзя понять Шелехова, разобраться в его духовном складе. К тому времени, когда появились Шелеховы, русский разночинец представлял собою нечто иное, чем его недалекий предок времен Чернышевского и Писарева. У него не было уже той ясности целей, политического темперамента, непреклонной убежденности, той готовности к жертвам и ненависти к самодержавию, которые создали один из великих типов русской жизни. Шелехов не борец, не революционер, и его сознанию в пору нашего знакомства с ним свойственна какая-то ущербная смутность, в нем есть что-то от «маленького человека» большого города. Нищий студент мечтает о научных изысканиях. Но еще сильнее он мечтает о теплом угле. Все это зыбко в нем и именно мечтательно. Да, прав Шелехов, когда говорит о себе: «Неустроенного пустили в жизнь».

«Наполеоновская» мечта мичмана тоже неосновательна и пуста. Депутат революционного Конвента, вознесенный высоко любовью масс,— этот образ, возникший поначалу в мечтах и волнующий мичмана, очень скоро начинает тускнеть. Об этих своих притязаниях Шелехов сам же вскоре и скажет: «бредни». «От мальчишеских бредней, до стыда глупых, радужных, как мыльные пузыри», ничего не остается.

Малышкин с язвительной резкостью обличает в Шелехове все, что идет от ущербности «маленького человека». Ведь и «бредни» его — порождение комплекса социальной неполноценности, с которым мичман вступает в жизнь. Но нет никакого противоречия в том, что, раскрывая несостоятельность многих представлений Шелехова,

писатель с глубоким сочувствием следит за его поисками и размышлениями. Именно они и привлекают наши симпатии на сторону мичмана.

В конце концов о чем хлопочет Шелехов? О ясности, о добровольном выборе, об ответственном решении — об ответственности, которую стремится сам возложить на себя. Необходимость выбора, вначале предвавшая перед ним просто как одно из непреходящих условий существования в новой действительности, постепенно становится его нравственной потребностью. В этом и проявляется рост личности Шелехова, и тут явственно проступает внутренняя тема повести. Вот этого не отметила критика, настойчиво приглашавшая Шелехова в свой «социальный этаж», не давая ему ни времени, ни возможности оглядеться и понять, что же произошло.

Шелехов впервые попадает на собрание матросов-подпольщиков. Выйдя из трюма, где ему было жутковато и не по себе, он вспоминает о героическом прошлом Севастополя, «о хмуром скуластом офицерикедобровольце Льве Толстом, о накидке казенного лейтенанта. Прапорщик силился всмотреться в самого себя, уяснить — что это такое, родное всем этим образам и вместе с тем невозвратно дорогое, как юность, утеряно им сейчас в прокуренной, недружелюбной тесноте трюма».

Шелехов не в состоянии проанализировать свои ощущения, додумать, «уяснить» до конца. «Мысли обрывались, боялись идти дальше, предпочитали утонуть в тесноте блаженно-несвязных упований...»

От этого эпизода тянется ниточка к завершающим сценам повести. Мичман на митинге, где выносятся решение о формировании отряда для защиты революции в Крыму. «Внизу зыбилось марево матросских лиц и фуражек. Знакомая палуба, знакомые люки на ней, две-три полосатых фуфайки, вывешенных для просушки на полубаке,— все знакомое. Из зябко ежащейся толпы двое матросов, чем-то напоминающих о лете, приветливо щерились Шелехову».

Что-то должно было измениться в Шелехове, чтобы он почувствовал себя на матросском митинге «со своими привычными ребятами». Все вокруг него — и моряки, и корабль, и море — высвечено дневным, ясным светом. И мысли его тоже дневные,

ясные, не та неопределенная томящая вечерняя смута, как тогда в трюме.

«Какое-то внутреннее мгновение приспело,— думает Шелехов.— Если не сейчас, значит — никогда... Выйти и сказать... Самое последнее, самое жгучее про себя, все, все... Даже не угаить, сознаться открыто, почему труднее ему, Шелехову, решиться, чем им: потому что за есаулом брезжило нечто, может быть, более странное, что-то вроде нестрелбленной, хватающей за сердце Атлантиды».

Нет, видимо, не бесплодна эта непрестанная работа мысли, если Шелехов уже может сказать про себя «все, все» — все то, что самому неясно было прежде. И об «Атлантиде» — призрачной юношеской мечте о жизни вне «ледяной непреложности» борьбы, и об есауле, чья «бешеная, налитая кровью морда» снова всплывает в памяти в этот час.

Постоянные усилия «всмотреться в самого себя» и «уяснить» — драгоценная черта в характере Шелехова. Это не рефлексия, а гораздо реже встречающаяся способность к самопознанию, уяснению своего места в мире.

Если верна мысль Гёте, говорившего, что истинное познание человечества — в познании человека, то верно и то, что познание человеком самого себя — одно из условий самой возможности его пути к человечеству.

Выбор, который предстоит сделать Шелехову, мог быть механическим, чисто внешним действием — это означало бы духовную смерть. Но чтобы быть чем-то иным, этот выбор должен был исходить из нравственного чувства, диктующего, как надлежит поступить. Работа самосознания Шелехова и ведет к вызреванию этого нравственного чувства, к уяснению своей внутренней потребности. В этом цель его усилий «всмотреться в самого себя».

Эти усилия, в сущности, выражение и общественной потребности, возникшей на крутом перевале русской жизни. Самосознание общества — проявление его духовной активности — складывается из духовной работы великого множества людей.

Для Шелехова — одного из них — духовное действие, прокладывающее путь к человечеству, неотрывно от поступка, от решения — от участия в борьбе. Таковы условия, предложенные временем. Он принимает их как данность. При других усло-

виях Шелехов скорее всего избежал бы «ледяной непреложности» выбора и решения — ведь по натуре своей он не боец. Тем труднее дается ему слияние с веком — а он ищет именно этого слияния.

В какую-то трудную минуту Шелехову думается, что век — как море... «Море полнилось. неоглядное, головокружительное, освобождающее... Казалось, оно без слов, но в тысячу раз могучее, чем словами, выражает то, что делало и хотели делать Зинченко и другие, то единственно большое в жизни, с чем Шелехов все время стремился и не мог пока слить себя».

Это море все время перед глазами Шелехова. Оно то угрожает — нелюдимая мировая дорога, то наполняет тоскою — каким гибельным кажется одиночество у его просторов, то влечет. «А как там ревели за бортами, какой ужасающий и увеселительный разыгрывался шквал! Сгинуть бы в нем вольной птицей!..»

Настанет час, и это стремление осуществится. Шелехов уходит в добровольческий матросский отряд: «...Его поднимали гребни моря, того самого, что все время недостижимо шло где-то вне его,— теперь оно приняло его в самую свою сердцевицу...»

Финал повести подводит итоги «воспитательного путешествия». Шелехов уже не тот, каким мы узнали его на первых страницах книги. В нем нет и следа прежней весенней упоенности, этой веры в «цветной счастливый ливень, которым должна скоро хлынуть жизнь».

Жизнь, «вся перечеркнутая», теперь «могла начаться сначала».

«Но ведь чтобы получить право, полное право на другое существование, надо было раньше перевалиться бездомно и шиво на мерзлом перроне, потерять имя или, может быть, самую жизнь, перетомиться с чахоточным лицом на смрадном вокзале. Жизнь прозревалась — безжалостная, ледяная, трезвая, как небо рассвета, пробивавшегося тогда над морем».

В этой готовности платить за миражи своего прошлого есть и честность и достоинство. Тут и конец «воспитательного путешествия», и предвестие каких-то новых потрясений на предстоящем пути.

Перед тем как уйти в отряд, Шелехов смотрит на исчезающую в незнакомой дали железнодорожную насыпь. «Он мерил себя, мысленно уходящего куда-то по этой насыпи, и знал, что силы хватит и теперь

на тысячи длинных бездомных дней». Этот образ человека, одолевающего «длинную дорогу», и заключает основную тему «Сева-стополя».

У Малышкина был другой план окончания повести. Вот конспект предполагавшейся концовки, сохранившийся в архиве писателя.

Шелехов избран командиром матросского отряда, уходящего в горы. «Не Шелехов велел, а в сущности его велел отряд. На Крымской дороге перехватывают автомобиль с белыми летчиками из морской авиации. Их приводят к Шелехову. Он должен решить. Он должен дать приказание — убить. Он знает, что этого хочет масса и что она без него все равно сделает по-своему. Но приказание все же должен отдать он. Обреченные стоят перед ним — из того, старого мира. Он приказывает... Отряд — и с ним Шелехов — идет дальше — в калединские степи».

Видно, Малышкин считал, что слияние с Массой потребует от Шелехова своего рода искупительной жертвы — исполнения ее велений, чтобы породниться с ней до конца. Шелехов действует без внутреннего убеждения, отдавая приказ о расстреле. В таком замысле финала пропала дорога автору мысль о сознательном выборе. С этой новой химерой — необходимости слепого подчинения — Шелехов и отправлялся в путь.

К счастью, Малышкин отказался от этой концовки. Но от замысла ее все же кое-что осталось в повести.

Попадая в отряд, Шелехов обдумывает свое новое положение. «Он хорошо понимал, что теперь не он, его велик». Он как будто именно в этом готов найти удовлетворение, готов успокоиться на этой последней истине на пути своих духовных прозрений. Но эта истина нам не кажется успокоительной. Она пробуждает новые вопросы — уже не о прошлом, а о будущем Шелехова.

И первый из них: отвечает ли эта шелеховская удовлетворенная мысль его жизненной задаче, его духовной потребности и интересам самой массы, с которой отныне он будет делить судьбу? Сам Шелехов пока не задумывается над этим, но когданибудь этот же вопрос неизбежно встанет и перед ним.

Слияние с помыслами, надеждами и борьбой революционной массы не означает,

как думает Шелехов, растворения в этой массе. Такое «растворение» — говоря в общем смысле — приносит ущерб и личности, и той самой массе, для которой демократическая интеллигенция всегда была источником просвещения, культуры, передового сознания.

На этом поприще Шелехов и смог бы найти свое подлинное призвание. К нему он подготовлен всем опытом своих поисков и обретений. Другое дело, позвали бы его туда? Суждения рапповской критики, единодушно предавшей анафеме Шелехова, ясно показывают, что не все тут было просто. Но это уже другая тема.

Как бы ни блуждал Шелехов, но демократическая основа его характера проявляется в жажде «настоящего, прочного». Стремление к подлинным жизненным ценностям — выражение стремления Шелехова к революции. А «настоящее, прочное» для Шелехова, как и для миллионов других демократов-интеллигентов, несомненно, связано было в будущем с ленинской программой культурного строительства.

Правда, эта программа работы на передовых общественных рубежах взывала к совсем другим мыслям, нежели те, которые кажутся откровением Шелехову в этот последний час нашей встречи с ним.

Критика, поносившая Шелехова, ничего не сказала о Маркуше. А жаль. Ведь не зря фигура зауряд-прапорщика поставлена автором рядом с Шелеховым. Сопоставление само собой напрашивается. В нем заложен нечеловеческий смысл.

«Маркуша — из тех немногих офицеров, что запанибрата с матросской палубой; при старом режиме даже пострадал не однажды от начальства за совместную выпивку с матросами, и это припомнили ему: из вахтенных выбрали в ротные командиры».

Так начинается Маркушин взлет. В своей неизменной и корыстолюбивой жажде успеха и власти Маркуша весьма практичен, изворотлив и смел, потому что уверен, что пришел его час. Матросы считают его «своим» — ведь он вышел из матросской среды. Он и карабкается по матросским спинам вверх, лебезит, угождает. Шелехов, наблюдая за его маневрами, думает снисходительно и с иронией: «Куда же он тянется, чудак?»

А тянется Маркуша далеко.

«— Я, Сергей Федорыч, опять к вам,— пристаёт зауряд-прапорщик к Шелехову.— Насчет алгебры. За классный чин у меня удостоверение есть, эх, мне бы теперь только языки да алгебру! Хочу одну уду закинуть. Давно у меня маленькая просьбица к вам, Сергей Федорыч, только как-то не смею: поясните мне, пожалуйста, как это в Учредительное собрание проходят».

Эти Маркушины притязания совсем не так смешны и неосновательны, как кажется на первых порах мичману. И вскоре Шелехов начинает это понимать. Матросы избирают в Севастопольский Совет не его, а Маркушу. Теперь новоиспеченный депутат является на корабль «нездешний, озаренный чрезвычайными событиями и сам весь чрезвычайный и недосыгаемый». На Шелехова он поглядывает снисходительно. Да и как же еще смотреть Маркуше на мичмана, если тот — мечта. Третировал серого, бесталанного Маркушу как неопасного соперника, учил его алгебре, а сейчас прозябает на корабле.

«Кем я удостоен? — подвыпив, куражится Маркуша.— Я нарродом удостоен! Братцы, вами, нарродом удостоен! На шо мне об-ра-зо-ва-ние? На шо мне ета алгебра, когда кругом, братцы, ваш-ша нарродная власть!»

Удачливый зауряд-прапорщик, если не остановить его, пожалуй, действительно высоко взберется. В Маркушино внезапное вознесение Малышкин всматривается с тревогой. Не почувствовать ее, читая «Севастополь», нельзя.

Пренебрежительно-высокомерное или же язвительно-обличающее отношение к Шелехову преобладало во многих статьях о «Севастополе». Как ни странно, но эти обличения в чем-то были схожи с «разоблачениями» человека и «снятием масок», практикующимися в декадентских повестях и романах о нищете человеческого духа и бренности бытия. Тут не просто параллель. Мы вправе говорить о влияниях, доказавшихся через рубеж революции и сказавшихся в деятельности некоторых критиков и публицистов, уверенных, что они-то и представляют «истинный марксизм».

Один из критиков укорял Малышкина за то, что тот «художественно обосновал мысль о мизерности человеческой личности и о трагической ее близости с обществом». Он же писал, что цель писателя была в

«разоблачении внутренней нищеты и порочности» Шелехова, что и можно признать как «показатель осознанного стремления приблизиться к позициям пролетарского мировоззрения».

Вот это суждение преобладало. В начале тридцатых годов оно стало общим местом в критических статьях, посвященных повести. «Идейная значимость повести А Малышкина в срывании масок, в разоблачении шелеховщины»<sup>1</sup>. Это был главный итог.

Попутно высказывались и другие соображения. «Каковы же черты того нового, что должен приобрести Шелехов в результате жестокого опыта?» — спрашивал критик. И давал ответ, исчерпывающий, как он полагал, все содержание «проблемы Шелеховых»: «Основное, конечно, в осознании своей политической роли: «не он, а его ведут»<sup>2</sup>.

Все это очень далеко отстояло от истинного смысла поставленных повестью проблем.

Но вульгаризаторская критика шла и дальше. В конце двадцатых — начале тридцатых годов «проблема Шелеховых» обсуждалась сплошь и рядом в свете злободневных событий, которыми жила тогда страна.

Критик журнала «Красная новь», отдавая дань злободневности, писал в 1932 году: «Разоблачая колебания мелкобуржуазной интеллигенции, Малышкин бил по тем иллюзиям самостоятельной роли интеллигенции, которые сеяли вредители».

Сказано было остро. И вносило в обсуждение весьма опасную ноту. Предложенная критиком параллель сразу же придала всему обсуждению характер суда, на котором Шелехову предъявлено было политическое обвинение. «Проблема Шелеховых», близко касавшаяся судеб миллионов людей, ставилась, таким образом, с ног на голову. Шелеховых предложено было рассматривать как общественно опасную категорию, и «Севастополь» самым неожиданным образом становился аргументом в пользу этого обвинительного вердикта.

Трубя о «геросратовских масштабах» Шелехова и об опасности, которую он якобы представлял для общества, вульгаризаторская критика предлагала свою трактовку

<sup>1</sup> «Молодая гвардия». № 3. 1932.

<sup>2</sup> «Красная новь». № 11. 1932.

ку повести, ничего общего не имеющую с замыслом Малышкина.

Понятно, сколько тесно эта интерпретация связана с временами, когда насаждалась атмосфера недоверия, подозрительности.

Тем удивительнее, что в книге современного исследователя мы находим те же мотивы, повторение тех же обвинений и той же трактовки «проблемы Шелеховых». Видно, инерция отжитого действительно велика.

Мне уже приходилось писать о книге А. Хватова<sup>1</sup>. Критика этой книги вызвала возражения А. Эльяшевича<sup>2</sup>, по мнению которого А. Хватов несправедливо обвинен мной в вульгарном социологизме и представлен без всяких на то оснований как активный проповедник «неких нравственных представлений, связанных с культом личности».

Посмотрим, что пишет А. Хватов.

«В реконструктивный период проблематика повести «Севастополь» приобрела особую актуальность. Крушение властолюбивых замыслов Шелехова, отсутствие у него твердой и последовательной политической линии, а в связи с этим — необходимость выступать в роли проводника интересов то революции, то контрреволюции, — все это дает реальное представление о месте интеллигенции в обществе, наносит удар по идее надклассовости интеллигенции, ее руководящей роли в исторической жизни. Если иметь в виду, что эта идея была в 1920-е годы взята на вооружение политически враждебной советской власти Промпартией, то станет совершенно ясной злободневность повести «Севастополь».

Добавим к этому тоже знакомое и тоже повторенное А. Хватовым утверждение, что Малышкин «тонко обнажает малодушие и беспринципность Шелехова», что и поставлено в заслугу писателю. И теперь перед нами весь букет обычных обвинений, вывиннутых против Шелехова вульгаризаторской критикой. Даже терминология та же. Шелехов — «проводник интересов». Редко встретишься теперь со столь открытым признанием зависимости от старых образцов.

Не выступает Шелехов «проводником интересов» контрреволюции. Мимо подобных утверждений тем более нельзя пройти, что

А. Хватов тут же связывает «проблему Шелеховых» с делом Промпартии. Совсем как в статье тридцатипятилетней давности. Доказать правомерность такого истолкования невозможно, да критик и не пытается.

Исторический подход к слабостям и недостаткам нашей критики и литературоведения не мешает нам откровенно говорить об ошибках и заблуждениях, что очень не нравится А. Эльяшевичу. По его мнению, критика книги А. Хватова грешит недостатком историзма. Поскольку А. Хватов отражает в своем труде «точку зрения времени», говорит А. Эльяшевич, то и спрашивать с него нечего.

Исторический опыт учит. К прошлому мы обращаемся в поисках правды и урока. История служит современности, и мы всматриваемся в прошлое ради сегодняшнего дня. Истина не новая, как и не ново справедливое стремление современников, оглядываясь назад, воздать по заслугам правому и неправому.

Да и почему мы должны считать, что именно А. Хватов выражает «точку зрения времени»? Разные были точки зрения — и в то время, когда писал Малышкин, и когда обсуждалось его творчество.

Была и такая точка зрения. «Да, Сергей написан по шаблону — «интеллигент, значит — слаб и жалок», — писал Горький Гладкову о герое «Цементы». — Вы всё забываете, что большевизм и творец его Вл. Ленин — это пришло из интеллигенции».

На съезде работников просвещения в 1919 году Ленин говорил о том, какие поистине сложные проблемы поставило время перед городским и сельским учительством, перед массами низовой демократической интеллигенции. «Мы наблюдали, как с постепенностью приходилось преодолевать старые буржуазные предрассудки и как этому учительству, которое было тесно связано с рабочими и трудящимся крестьянством, как ему пришлось в борьбе против предыдущего буржуазного строя отвоевывать себе права и пробивать себе дорогу к действительному сближению с трудящимися массами, к действительному пониманию характера происходящей социалистической революции»<sup>1</sup>.

В ленинских словах — вера в разум, уважительное внимание к тяготам, выпавшим

<sup>1</sup> А. Хватов. Александр Малышкин. Очерк жизни и творчества. 1959.

<sup>2</sup> «Звезда», № 6, 1966.

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 29, стр. 494.



на долю этих людей. А ведь сказанное имеет самое прямое отношение к «проблеме Шелеховых».

Разве эта точка зрения, близкая к проблематике «Севастополя», не могла служить путеводной звездой для критика, пишущего о повести, тем более в сравнительно недавние годы? Но он выбрал для себя совсем другой ориентир.

Этот ориентир для нас непригоден.

От апологии безликих «множеств» Малышкин переходит в «Севастополе» к человеку как последней и решающей истине в том суде, которым судит писатель жизнь.

## 5

Закончив «Севастополь», Малышкин уезжает на строительство знаменитой Магнитки. На обратном пути он останавливается в Саранске. Эта встреча с родиной была не только данью прошлому. Прежде чем приступить к новой работе, частью уже обдуманной, Малышкин должен был побывать в родной глухомани, вдохнуть атмосферу ее новой жизни, увидеть, что же произошло тут за без малого полтора десятилетия. отсюда в 1919 году он ушел на фронт.

Объясняя цель своей поездки на Магнитку и в Саранск, Малышкин говорил: «Меня интересовала главным образом психология бывших «уездных людей».

Новый роман Малышкина и знакомил с бывшими «уездными людьми», выброшенными из обжитого гнезда в сложный мир

Время действия «Людей из захолустья» — 1929 год. «Вся Россия с корнями пошла... а спрашивается — куда?» Эпоха строительных площадок и ломки старинного уклада была изображена Малышкиным правдиво, сильно. Роман остался одним из самых талантливых свидетельств того напряженного «фронтною серьезностью» времени.

Малышкин рассказывал о прощании с прошлым, о встрече с будущим.

«По царевщинским измам, среди исконных сугробов, хлевов и огородов происходило прощанье. Соустин приехал не к середине действия, а к прощанью. Оно было и беспокойно, и порой тоскливо, и чаще — помолодому порывисто. Почившие деды и родители присутствовали при нем незримо. И Соустин яснее, чем когда-либо, ощутил, что в сущности и он в своей жизни тоже прощается, отплывает».

Но вот и рождающаяся новизна:

«Некая гень поднялась над его головой. Это были высоты грозового чугунного цвета и чугунной твердости. Бегонные бычки плотины ступали вперед, на Петра, как ноги, согнутые для шага. Такого зрелища еще никогда не знавали и не ждали его глаза; и ведь столь же неожиданно могли надстроить над этими ногами и чудовищного неодушевленно-чугунного человека, в высоту надстроить так, что взглянуть на него и затрястись... Все-таки Петр в душе был мшанский, уездный».

Неумолимо шагающая плотина заносит свою бетонную пятую над уездной, мшанской Русью... Этот драматический момент столкновения двух эпох и запечатлен писателем.

Роман переносит нас из редакции столичной газеты на строительную площадку в Красногорск, где возводят металлургический гигант, и отсюда — в затерянный в неведомой глуши Мшанск. Перед нами выписанные психологически достоверно и пластически точно типические фигуры тех лет: мужик-лапотник, наскоро обученный ремеслу бетонщика, мастер-краснодеревщик, «навсегда бедняк бесталанней», покидающий в поисках верной копейки родные места. «бывший человек», мшанский хозяйчик, еще не потерявший надежды укорениться в човой действительности и ожить; тут и журналисты, и подпольные гешефтмахеры, и бездельные, но не лишённые гражданских чувств дамочки, и аскетически отрешенные от мирских благ энтузиасты, и патетические провозвестники социальной новны...

На первых страницах возникает один из центральных образов книги — тряский, набитый людьми вагон, малая частица устремившейся в пугающее, желанное будущее захолустной Руси.

«Всякий ехал народ: и старый, и молодой, и семейный, и бездомный, — что-то сотрясло его, двинуло из исконных, отцами еще обогретых мест, — куда? Ехали не палающие духом искатели, ехали во множестве безыменные, помалкивающие. Вагоны обволакивало туманными видениями строек, обильных заработками городов, надеждами, безвестьем».

«Люди из захолустья» — роман многоплановый, сложный. Это — вершина малышкинского гворчества. На протяжении

вот уже тридцати лет — роман начал печататься в октябрьской книжке «Нового мира» за 1937 год — он вызывает пристальное внимание критики. Бурный поток статей со временем поутих, но и теперь суждения о книге задевают нерв сегодняшней нашей жизни. Подробный анализ романа — отдельная тема и в задачу данной статьи не входит. Но все же о некоторых существенных его чертах нельзя не сказать в связи с завязавшимся выше разговором об одной из главных проблем творчества писателя: человек и революция.

Вначале Малышкин собирался назвать роман «Тридцатые годы». Полифоничность этого замысла, о котором можно судить отчасти и по предполагаемому названию, напоминает о «Вокзалах», где писатель впервые сделал попытку нарисовать широкую панораму русской жизни.

Но к тому времени, когда Малышкин задумывал и начинал свою новую работу, «Вокзалы», со всеми представлениями и художественными установками того периода, остались далеко позади. Перейдя рубеж «Севастополя», Малышкин утвердился в своем стремлении смотреть на время сквозь призму человеческого характера, личности и ее судьбы.

Время-человек — в этом нерасторжимом единстве предстает перед Малышкиным конечная цель его усилий. В понимании писателя время для человека — это судьба.

Малышкин начал роман с мыслью, что он будет в какой-то, а может, и в значительной мере продолжением «Севастополя». В центре книги виделся ему герой, духовно близкий Шелехову. «Один из героев романа, репортер большой газеты, продолжает линию Шелехова из «Севастополя», — говорил Малышкин. В списке действующих лиц первым он слагит имя Николая Соустина, московского журналиста, командира гражданской войны. Из сохранившихся заметок к роману можно понять, что на первых порах проблематика его складывалась в непосредственной близости к конфликтам и проблемам предыдущей повести. Николай Соустин не находил для себя места в новой жизни. Взаимоотношения интеллигента с эпохой были сложными, противоречивыми.

Но, приступив к роману и ощутив непреодолимое сопротивление материала, Малышкин должен был признать, что в замысле его есть, по-видимому, какой-то серьезный изъян.

К началу тридцатых годов для людей шелеховского типа уже не было вопроса, принимать или не принимать революцию. В определяющем и главном спора не было.

В Шелехове, каким мы видим его в «Севастополе», понятна ожесточенность поисков. Ведь решать ему приходится не второстепенное, не частное — решать приходится саму жизнь.

Николай Соустин мучится тоже совсем не пустячными вопросами. Но это — уже не дискуссия со временем, не соревнование, а — сомнения. Изменилось содержание интересующей автора проблемы. В новой действительности проблема «революция и интеллигенция» приобретала новое наполнение. Шелехов, «Гамлет Черноморского флота», был бы всего лишь грустным анахронизмом пятнадцать лет спустя.

Малышкин верно почувствовал, что Николай Соустин не сможет стать центральным лицом эпического романа, в котором автор собирается представить читателю народную жизнь. На первый план выходят обитатели обширного российского захолустья, и роман сразу же получает нужное ему широкое течение. Красногорский барак строителей как Ноев ковчег, вносит замшелую дедовскую Русь к неведомым берегам...

Потеснив Соустина, который по первоначальному замыслу открывал роман, Малышкин начинает его Мшанском, сползающей голной с мешками и сундуками, шурмующей на остановке поезд, чтобы покинуть свое постылое вдруг гнездо.

Тут мы впервые знакомимся с неторопливым, добротным внимательным к людям и к жизни краснодеревщиком Журкиным, и с базарным волком Петром, таким понятным в своей цепкой жажде жизни и неугасших помыслах «раздуть кадило», и с Тишкой, нугливо мечтательным деревенским пареньком.

«Прости, прощай, Мшанск!» Первая фраза давала камертон повествованию. И дальше нарастала основная музыкальная тема книги — тема надежд и труда народа.

Все, что происходило дальше с Журкиным, или Петром, или Тишкой, все эти истории о хлебе и любви, простые и сложные вместе, как проста и сложна народная жизнь, подводили к главной мысли романа. Эта мысль — об освобождении от духовного захолустья, от смиренной готовно-

сти довольствоваться малым — не жить, а существовать.

Но вернемся к Николаю Соустину. Образ этот не вполне удался писателю. Чувствуется какая-то неуверенность художника, словно он не до конца додумал характер. Очевидно, сказались последствия превращений, которые претерпел герой Малышкина в процессе работы над романом. И все же именно с ним связано одно из интересных наблюдений писателя. В «Людях из захолустья» Малышкин, пожалуй, одним из первых в советской литературе заговорил о некоторых серьезных проблемах и конфликтах, возникавших на его глазах в ту пору, когда писался роман.

Приехав после окончания гражданской войны в Москву, бывший комбат, сохранивший именные золотые часы в память о боях на колчаковском фронте — награда реввоенсовета армии, — замечает, что новая жизнь «отлично управлялась и без него». Соустин мечтает об университете. А пока приходится просто добывать хлеб, кормить жену. У него не хватает ни умения, ни цепкости, чтобы освоиться быстро в этом неожиданном и незнакомом мире. Когда же приходит, наконец, относительное довольство, — и оно не приносит Соустину успокоения. В самый разгар вечеринки по поводу получения в «Производственной газете», где работает теперь начинающий журналист, «какая-то содрогающая тоска схватила его... Вот сейчас же бросить все, не жалея, бежать, растеряться в каком-то большом, мужественном огненном деле, похожем на войну...»

Как и в «Севастополе», Малышкин рисует определенный социальный тип, накрепко связанный со временем и средой. Соустин — характернейшая фигура переходных послевоенных лет, сложившаяся в недрах нэпа.

Быть может, тем самым «огненным делом», по которому томится и которого не находит душа, и могло бы стать для Соустина журналистское поприще? В самом деле, вель он человек одаренный, искренний, с общественным темпераментом. Но вот что получается, когда он берется за перо: в статьях его «описывалась жидкими словами какая-то долженствующая, а вовсе не настоящая, не наболевшая жизнь».

Соустин хочет жить всерьез и честно. Но связать свои помыслы и надежды с

журналистским делом пока не может, не надеется, что найдет тут удозлетворение.

Отправляясь в командировку — и в какую: его посылают к отчим истокам, в родные места, в Мишанск, — Соустин заходит к Зыбину, ответственному секретарю редакции, чтобы получить указания. И Зыбин охотно дает их. «Указания? Пишите правду, вот и все».

Но нет — еще не все. Зыбин разъясняет свою мысль «Правду не только надо видеть, товарищ Соустин, надо уметь выявлять ее... Вот! — Зыбин, сам того не заметив, указал на папку. — Допустим, что где-нибудь в Тамбове и, скажем, в Рузаевке головотяпы погноили на элеваторе несколько сот тонн зерна. (И Соустин подумал, что в папке наверняка это есть — и о Тамбове и о Рузаевке.) Значит ли это, что аппарат наш ни к черту вообще, что он никогда не справится с тем, что мы поднимаем, и вообще что надо поставить под сомнение нашу систему хлебозаготовок? Нет, так могут рассуждать только те, кому выгодно видеть не всю правду, а только первую, внешнюю половину факта! Правда — умнее».

И Зыбин ставит точку.

«Правда, товарищ Соустин, только одна: это есть то, что является железной необходимостью для класса».

Несколько сот тонн зерна, погибших на элеваторе, да еще в трудном 1929 году, — потеря немалая. Но вслушайтесь в резонерский тон поучений Зыбина. Ни следа волнения или боли. Или просто делового азарта журналиста, чья профессиональная совесть должна же откликнуться на этот сигнал. Конечно, случай в Рузаевке или в Тамбове не ставит под сомнение «систему хлебозаготовок». Но он-то и взывает к вмешательству печати, к гласности, к преодолению наших язв. «Не надо обольщать себя неправдой, — писал Ленин. — Это вредно. Это — главный источник нашего бюрократизма»<sup>1</sup>. «Железной необходимостью для класса» и является та ясная и простая суть дела, та несомненная правда, которая как раз и тонет в словесной эквилибристике Зыбина.

Тот неопровержимый факт, что зерно погибло, как бы меркнет и теряет свою колючую прямоту в тени могущественного догмата. Как будто случай с потерей зерна

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 33, стр. 213.

опасен больше всего тем, что может быть истолкован как «непреодолимая трудность». Именно к этому и клонит Зыбин, отправляя журналиста в «глубинку». И Соустин хорошо понимает смысл преподанных ему уроков. От разговора с Зыбиным «осталось в памяти что-то хозяйское, предостерегающее (разрядка моя.— И. К.), оно неотступно летело по снегам косыми тенями вагонов, столбам оконного московского света... оно досягало и до самого Мшанска».

Противится ли Соустин этому хозяйскому напутствию, этим строгим предостережениям? Нет,нисколько. Принимает их как должное. «Один из ведущих, незадумывающихся»,— с почтением думает он о Зыбине. И эта готовность соглашаться, как бы молчаливо исходящая из того, что у Зыбина есть право на подобные поучения, напоминает шелеховское удовлетворенное признание: «не он, его вели».

Впрочем, неотчетливо, подсознанием Соустин чувствует все же какое-то неблагополучие в себе самом— особенно при встрече с полувымершим мшанским мирком.

«Соустин вошел в станционный залик. На диване, на подоконниках, на пустом буфете, в тоскливой полутемени спали впривалку друг к другу. Баба стояла, мотала в руках ребенка, баюкая. У билетного окошечка подавленно толпилось несколько опоздавших зипунов с котомками. Под самой лампой висел плакат— крымский лазоревый берег, около автомобиля красивая дама в вуалетке, развевающейся над пальмами, над дворцами, над морем павлиньего цвета.— не Ольга ли? Соустин посмотрел на плакат, а в тени кто-то удушливо, по-избяному храпел, ребенок все плакал, все плакал, и вспомнилось летучее счастье, Партенит, и что-то вроде страшно за себя стало ему»

Может быть, этот страх встряхнет? Может, уйдет растерянность, поселившаяся в комбате 1919 года? В самом деле, почему Соустин так пасует перед Зыбиным? Не пробудит ли в нем встреча с родной землей желание говорить «наболевшими», а не «долженствующими» словами?

Ведь не зря сразу же после разговора с Зыбиным автор приводит Соустина в выморочный, опустелый Мшанск, где все так сложно в 1929 году.

«По улице тесно валили мужики в зипу-

нах. По сторонам и сзади шли красноармейцы со штыками, бабы.

— Кто это такие?— забеспокоившись, спросил Соустин у пожилого бородатого зеваки.

Тот осмотрел его с глумливой пристальностью.

— Наши своих повели,— буркнул он и тут же отвернулся.

Сестра боязливо припала к уху:

— Кулаки это, Коленька. В суд их ведут, в головинском доме суд теперь...

Соустин невольно шатнулся вслед: жадность, любопытство, трепет полыхнули в нем».

Да, отчий Мшанск ожег. «Что-то беспокойное, еще неузнанное проносилось ветром вдоль заборов, по крышам, по проломанным палисадникам». Соустин видит, как «с моторным ревом», «с бедой» рухат старое, как поднимаются на слабых еще ногах первые колхозы. Он понимает— «трудно было оставаться сейчас лишь свидетелем». Острота пережитого толкает к самоопределению

Придет ли оно? Обретет ли Соустин свое «дело», свое истинное место в жизни? Видно, и самому писателю это пока не ясно. И, пожалуй, Малышкин прав, что не торопится к выводам и заключениям, не подводит черту соустинской судьбе.

Правда, за него не раз пыталась сделать это критика. По мысли В. Ермилова, например, именно свидание Соустина с родной глухоманью излечивает его от душевных недугов и вносит желанную ясность и гармонию в его жизнь.

«Настоящую правду Соустин осознал во время своей поездки в деревню,— писал В. Ермилов.— Он ощутил не разумом только, а всем существом.. что живущие в нем, Соустине, «захолустные» пережитки мешают ему войти в колонны наступающего социализма, влиться в них так же, как он влился когда-то в ряды Красной Армии... Соустин приходит к неизмеримо более глубокому, чем прежде, пониманию того, что настоящая, достойная человека жизнь требует мужества и борьбы, что счастье только в полном единстве целей со страной, с народом, что это и есть возвышенная, вечная мелодия, единственное в жизни, из-за чего стоит жить».

Этот анализ оставляет в стороне подлинную деревенскую жизнь на переломе времен. Критик «опускает» ее, так же как и

те страницы романа, где автор стремится передать всю сложность ощущений и мыслей Соустина. Торжественно патетическое утверждение, что Соустин, стоило ему побывать в деревне, «до конца понял», «увидел со всей ясностью», ничем не подкреплено. В такой трактовке утеряно самое драгоценное — реальное представление о времени и человеке. А в этом и была конечная цель всех усилий писателя.

Едва ли мы поверили бы поспешной «перестройке» Соустина. Нет, истина заключается в том, что Соустин возвращается к своей прежней жизни. Пишет, приехав из Мшанска, статью, обличающую лихоимство сезонников. И на этом обрываются — на время, во всяком случае, — его отношения со Мшанском. Такое завершение — в характере Соустина.

Малышкина интересует социальная суть таких характеров, как Соустин. Зыбин, и его наблюдения оказались необыкновенно важны.

Теперь мы можем в полной мере понять и оценить, что означало появление таких людей, как Зыбин, на поприще общественной жизни. Малышкин этой возможности не имел. В ту пору, когда писался роман, Зыбины еще выступали в ореоле авторитета и влияния, и распознать, какие перемены несет этот новый тип, было не просто и не легко. Тем больше заслуга писателя.

Ведь и много позднее, в неслышанно сравнительно дни, Зыбин, оказывается, еще мог претендовать на роль чуть ли не идеального героя. Писал же В. Ермилов в 1956 году, что Зыбин, как и другой персонаж романа — рыцарственный, пылкий Подопри-

гора, — «несомненно удавшиеся Малышкину образы коммунистов».

Нет, автору удалось как раз показать, насколько далеко отстоит Зыбин от Подопригоры, от коммунистических идеалов.

Итак, мы остановились на некоторых эпизодах романа, где так явственно ощущим дух исследования, свойственный зрелой прозе Малышкина.

В «Людах из захолустья» получил дальнейшее развитие плодотворный опыт «Севастополя». Обе книги предстают в единстве не только гворческого метода, но и мысли, стремящейся охватить весь мир народной жизни.

Малышкин показывает, что судьбы Шелеховых и Журкиных неотделимы друг от друга, пусть они и не всегда понимают это. Хорошо или плохо Шелеховым — это неизбежно отзовется и на судьбе Журкиных. Где плохо Журкиным — и Шелеховы должны страдать. Эту взаимозависимость Малышкин отстаивает как достоинство общества, рожденного революцией.

Паустовский писал о Малышкине: «Если говорить о традициях большой литературы или, вернее, о традициях больших и простых, как сама земля, мыслей и чувств, то Малышкин был одним из немногих носителей этих традиций — носителем верным и непреклонным».

«Севастополь» и «Люди из захолустья» написаны о самом простом, о том, что должно быть конечной целью всех философских построений, всех политических программ — о свободе, достоинстве, чести человека.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**А. Турнов.** Сегодня и вчера.— **С. Б.бенышева.** Растет душа человека...— **Ст. Рассадин.** «Идти и этот путь не выдавать за чудо» — **Н. Мельников.** Красное небо.— **К. Рудницкий.** Стремление к ясности.— **Н. Снеткова.** Роман о «поддельной» Испании.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**Людмила Зак.** База культуры.— **А. Володин.** Диалектика истории и логика исследования.— **Г. Водолазов.** Выбор есть всегда.— **Б. Манлярский.** За фасадом «великого общества».— **И. Дьяконов.** Какой должна быть орфографическая реформа?

## Литература и искусство

### СЕГОДНЯ И ВЧЕРА

**Ярослав Смеляков.** День России. Новые стихи. «Советский писатель». М. 1967. 180 стр.

Как всегда бывает, когда новая книга поэта органично связана с предшествующим творчеством,— мы различаем в сборнике «День России» темы и мотивы, знакомые по прежним стихам Я. Смелякова.

«Командармы», «Солдат и батрачка», «Рязанские Мараты», «Давних дней героини» вновь возвращают нас к годам рождения и становления советской власти. Автор превосходного стихотворения об интернациональной солидарности («В Миссолунгской низине...»), о сердце Байрона, вступившего за свободу Греции, и — характерный для Смелякова переход! — о сердце безмянного московского паренька, готового век спустя огдать жизнь за «чужой» народ,— поэт и в новой своей книге посвящает стихи памяти Патриса Лумумбы и Рихарда Зорге, пробуждению народов Африки и Латинской Америки.

Ярослав Смеляков — поэт колючий, его часто подмывает вступить в спор, и у некоторых его стихов есть прямой полемический адрес («Камерная полемика», «Сосед», «В защиту домино»).

Тем примечательнее, что он, по собственному признанию, тянется к юному поколению поэтов (хотя и, в соответствии со своим складом, «с доброотою раздраженной»). В одном из своих предыдущих сборников («Разговор о главном») он писал о радости узнавания «в теперешних подростках» черт друзей своей юности. В стихах новой книги он говорит о тех, в ком эти черты не явственны с первого взгляда. Но их молодая категоричность, юная бравада, порой скоропалительные приговоры тому, что дорого самому Смелякову, не мешают поэту видеть талант, искренность, обезоруживающую наивность: этих мальчишек «в спортивных курточках»:

Поглядите,  
оставив предвзятые топки,  
как по-детски подрезаны  
наглые челки.

(«Приезжают в столицу...»)

И если «молодые Есенины в красных коблках» порой ударяются в крайности, то ведь и сверстники поэта, комсомольцы два-

дцатых годов, так любовно изображенные им десять лет назад в поэме «Строгая любовь», в свою очередь не избежали поспешных выводов и опрометчивых поступков.

Теперь, обладая этим опытом, Я. Смеляков стремится показать своим «сменщикам» цепь преемственности, связывающую сегодняшний и вчерашний день.

Сегодняшний день неминуемо вырастает из вчерашнего, в чем-то перенимая его эстафету, что-то в нем отрицая, что-то решительно прерывая.

Поэтому в смеляковский «День Россни» естественно входят и стихи о нынешних событиях и людях и о том, что по педантично выдерживаемым календарным меркам вроде бы давно отошло в историю. Однако это история живая, похожая на подземные ключи, питающие реки.

И с каждым днем нерасторжимей  
вся та преемственная связь.

(«История»)

В стихотворении «Хамза», говоря о гибели знаменитого узбекского поэта-революционера, Я. Смеляков своеобразно использует старинный оборот речи:

...к знаменам красным отлетела  
его поэзии душа.

Высокую причастность «души» отшумевших событий к идеям, которыми мы сегодня живем, и стремится раскрыть поэт в своей новой книге.

Путеводными звездами светят «победные очи» павших солдат («У насыпи братской могилы...»), и в сиянье нынешних успехов не должны быть забыты «давних дней героини, слава старых газет», чьи имена некогда гремели на всю страну.

Вы не исчезли, словно тени,  
и не истаяли, как дым,  
все рядовые поколенья,  
что называю я своим.  
...В скрижали Родины Советов  
врубило, как зубилом, ты  
свой идеал, свои приметы,  
свои духовные черты.

(«Вы не исчезли»)

Ярослав Смеляков умеет и любит поэтизировать скромный труд, скромных людей, которые кое-кому лю старинке кажутся незначительными, ежедневно, будничное течение жизни, в котором рождаются огромные ценности, складывается человеческая культура.

Вот герой стихотворения «Сосед» — «неприметный обыватель», чьи «четыре грядки» служат частой мишенью для дешевых громов обличителей «частнособственнических инстинктов» и чью роль в жизни, роль честного труженика, так называемого простого человека, сам поэт оценивает диаметрально противоположно:

Персонаж для щелкоперов,  
Мосэстрады анекдот,  
жизни главная опора,  
человечества оплот.

Вот поэты-любители, которые снискали лишь «полускрытые усмешки их сослуживцев и родни», но чьими трудами тоже посвоему выражалась народная тяга к великому и прекрасному, достигшая совершенного воплощения под пером гениальных писателей:

...музы Пушкина и Блока,  
найдя подвал или чердак,  
их посещали ненароком,  
к ним забегали просто так.  
Их лбов таинственно касались,  
дарили две минуты им  
и, улыбнувшись, возвращались  
назад, к властителям своим.

(«Поэты»)

Вот молчаливое, простое, устоявшееся за годы, непоказное горе старух, приходящих на родные могилы:

Они здесь мраморов не ставят,  
а — как живые среди живых —  
рукой травиночки поправят,  
как прядки доченок своих.

(«Бывать на кладбище столичном...»)

Однако сегодняшнее и вчерашнее существует в народной жизни не только в отношениях прямой преемственности, но и в конфликтных, диссоциирующих сочетаниях. И если в таких стихотворениях, как «Мальчишки», Ярослав Смеляков умеет это выразить, то некоторые другие стихи книги, по моему, противоречат общему авторскому взгляду на вещи.

В стихотворении «Воробышек» для рассказа о постигшем поэта, как и многих других, тяжелом испытании избрана весьма неожиданная интонация:

До Двадцатого до съезда  
жили мы по простоте (!?)  
без всякого отъезда  
в дальнем городе Инте.

...Позабылось быстро горе,  
я его не берегу,  
а сижу на Черном море,  
на апрельском берегу...

Буквально на следующей странице читаете «Надпись на «Истории России» Соловьева»:

История не терпит суесловья,  
трудна ее народная стезя.

Но, право же, опыт недавних десятилетий не менее значителен и также не терпит суесловья...

Есть известное противоречие и между стихотворениями «Сосед» и «Под фонарем на перекрестке». В последнем описана очередь за газетами:

Здесь нет азарта, нету давки  
и игадных зайчиков в глазах,  
как вдоль мосторговских прилавков  
и в рыночных очередях.

Тут автор вопреки своему обыкновению или, может быть, точнее, в духе прежнего комсомольского «авангардизма» отнесся к народной жизни несколько со стороны, вроде той поэтессы, которую он не без основания корит в стихотворении «Камерная полемика». Если она наивно или, как предполагает Ярослав Смеляков, притворно позабывала женщинам, занятым тяжелым и вредным для них трудом, то сам он здесь чересчур язвительно высказался о множестве своих добрых соседей: ведь очереди в магазинах и на рынках состоят по большей части совсем не из спекулянтов или охотников за тряпками, и «азарт» и «давка», случающиеся при этом, очень огорчительны, но вполне объяснимы.

Для Ярослава Смелякова характерно — часто даже в пределах одного стихотворения — умелое сочетание прозаично-разговорной интонации, намеренно грубоватого словаря («Боюсь красот!» — признается он однажды) с высокими лирико-романтическими взлетами. К сожалению, в некоторых стихах «разговорность» становится нарочитой, граничащей с многословием и небрежностью.

Такие стихи, конечно, огорчают. Но рядом с ними — «Лумумба» и «Сосед», «Давних дней героини» и «Мальчишки», «Поэты», «Элегическое стихотворение», «Попытка завешания» и другие по-настоящему хорошие, точные, искренние стихотворения. Они и задают тон всей книге, делая ее заметным явлением поэзии последних лет.

Муза Смелякова осталась той же, которая когда-то повстречалась ему «в заводской стороне»:

Рукою властной  
паренька  
она манила за собою,  
и красный цвет ее платка  
стал с той поры моей судьбою.

(«Воспоминанье»)

Прямой путь открыто гражданской поэзии, которым часто идет Ярослав Смеляков, очень труден. Успех на этом пути особенно важен и заслуживает быть отмеченным. Поэтому не случайно, что книга «День России» не только встретила сочувственный прием у читателей и критики, но и получила недавно Государственную премию.

**А. ТУРКОВ.**

★

## РАСТЕТ ДУША ЧЕЛОВЕКА...

**Л. Пантелеев.** Живые памятники. Рассказы. Путевые заметки. Дневники. Воспоминания. «Советский писатель». М.—Л. 1966. 494 стр.

**Л. Пантелеев.** Наша Маша. Книга для родителей. «Детская литература». Л. 1966. 351 стр.

Портреты писателей, дневниковые записи... «Мэ-му-ары», или сокращенно «ме», — не без иронии скажет об этом жанре Евгений Шварц; Л. Пантелеев приведет эти слова и чуть ли не смущенно станет оправдываться перед читателем: вот же какая неслепица — «стариковским» делом занялся. Но занятые это почитались стариковским в давние времена. Нынче кто не

ищет воспоминаний? Разве что те, кому вспомнить совсем уж нечего. Так велика потребность в жанре, суть которого в достоверности, что воспоминания обрушились на читателя словно из сказочного бездонного мешка.

У Л. Пантелеева абсолютный слух на правду, дневниковые записи его точны, достоверны, если к нему и придет желание



о чем-либо умолчать, он из чувства достоинства признается в этом читателю: «В этот день я вышел из тюрьмы. Упомянуть об этом мне, сказать по правде, не хотелось бы, но, поскольку я взялся писать не роман и не повесть, а воспоминания, то должен быть предельно правдивым: ведь «начнешь сочинять, придумывать, додумывать — и все рассыпается, разваливается...». Ведь и сказочник Шварц, воображению которого не было предела, когда обратился к воспоминаниям, обуздал фантазию. «Между прочим, врать и не очень интересно», — сказал он тогда Л. Пантелееву.

Написать воспоминания «без вранья» — не странная ли для мемуаров похвала? Скорее это условие задачи. Но каждый из художников решает ее по-своему. Л. Пантелееву, чтобы ощутить человека, «вслушаться» в него, надо его полюбить, вступить с ним в отношения спора, дружбы, размолвок, примирений — всего того, что обычно составляет атмосферу романа. Воспоминания Л. Пантелеева и есть «романы». Дневниковая книга «Наша Маша» — «роман» отца с дочерью, а портреты Горького, Шварца, Маршака — «романы» с друзьями-писателями. Но и самая острая влюбленность никогда не усыпляет в авторе художника.

Как и в обычном романе, все начинается со встречи. Л. Пантелееву в этой встрече должна открыться суть человека, дар его отзывчивости, доброты. Пусть речь пойдет о великом писателе — он поразится не мастерству его, а человечности.

Скажем, Ленька Пантелеев — автор и герой «Республики Шкид» — в детстве читал книги Горького, затем услышал рассказы и легенды о нем, потом узнал его лично, а в душе все стронулось лишь тогда, когда он столкнулся с талантом горьковской отзывчивости. Блистателен один эпизод очерка Л. Пантелеева о Горьком. Болезненно застенчивый девятнадцатилетний Пантелеев в гостях у Горького. Его безотрывно преследует мысль: как бы не опрокинуть на скатерть чашку кофе, любезно предложенную ему хозяином. И, как обычно бывает в таких случаях, ее-то он и опрокинул. Казалось бы, что за событие! Но тут-то и проявляется деликатность Горького. Кто-то из его гостей лицемерно пытается увести разговор в сторону, а Леньке Пантелееву никуда не уйти от рыжего пятна на белой (для него — белейшей) крах-

мальной скатерти, уставленной дымно-сербристым мельхпором. Горький, уловив оттенки чувств своего юного гостя, начинает весело, самозабвенно рассказывать о том, как однажды опрокинул самовар у купчихи Барбосовой. И хотя Л. Пантелееву ясно: купчихи не было, как не было и самовара, но — «я взглянул на Горького и вдруг будто заново, будто в первый раз увидел его и понял то, чего не понимал раньше: понял, что он не только великий писатель, классик, основоположник новой русской литературы, что он еще и чудесный, добрый, тончайшей души человек и что я люблю его, люблю уже не как писателя, не как Максима Горького, а просто, по-человечески, нежной и преданной, сыновней любовью...».

Счет знакомства Л. Пантелеева с Маршаком откроется тоже задолго до того часа, когда он станет его другом. Но в тот миг, как Пантелеев увидит, что Маршак «постоянно и всегда был в поисках, всегда выискивал, выматривал, где бы и за кого ухватиться, кому бы подать руку помощи», — тогда он запишет: «В этот день я стал любить Самуила Яковлевича Маршака».

Дар отзывчивости, пленяющий Л. Пантелеева в других, — это и его личное свойство. «Главное, надо стремиться к тому, чтобы сердце всегда оставалось мягким и нежным...» — пишет Маршак Л. Пантелееву. Книги самого Л. Пантелеева покоряют неугасимым чувством удивления перед человеком, каждый человек для него — личность сложная, со своим миром: «простых несложных людей вообще не так много». Даже о дочке Маше, не вышедшей еще из грудного возраста, он скажет: «Может быть, с трех, если не с двух месяцев Машка для меня человек, индивидуальность». И двенадцатилетний перевозчик Мотя, и маленькая девочка Маринка, дети блокадного Ленинграда, для писателя — личности, заслуживающие величайшего уважения.

Поэтому так лично и горестно пишет он о гибели ленинградской девушки-связистки, с которой не был знаком, только и видел ее что из окна квартиры. Он ей и имя придумал — Долорес. И вдруг девушка погибла. «За год я посмотрелся всякого: я шагал по трупам и через трупы, я видел искромсанное, растерзанное и поруганное человеческое тело. Но представить себе

убитой, мертвой или даже просто неподвижной эту девочку я не мог и не могу. Пробую представить, и не выходит. Зажмурю глаза и вижу ее перед собой — легкую, светловолосую, стройную, маленькую и мужественную, всегда устремленную вперед и только вперед», — пишет Л. Пантелеев.

В уважении к каждой человеческой личности — магнетическая сила книги Л. Пантелеева. И поэтому, читая его блокальные дневники, ощущаешь: сколько бы миллионов людей ни погибло в войне — с каждой потерей и каждый раз на земле одним человеком становится меньше.

Но если мысль писателя движется в одном направлении — человеческая личность сложна, — то во всем своем богатстве она развернется в портретах действительно сложных и неповторимых по характеру дарования людей — Маршака и Шварца.

Л. Пантелеев расскажет об их причудах, слабостях, расскажет с юмором и, главное, сумеет найти движущий нерв личности. Тогда на страницах книги развернется во всей своей мощи (не человек — завод!) «органно-громокипящий» Маршак, великий подданный своего призвания — искусства. Даже отдохнуть для Маршака значит «окунуть» в поэзию, спеть песню: «Окунемся? А?»

Весь Маршак в этом слове-фразе, сцене, а Л. Пантелеев тут же улыбнется и расскажет, что в настоящей реке Маршак купается, словно в бане моется. Больно ему плыть лишь в стихии поэзии Пантелеевский Маршак сложен — и мужествен и порой слабодушен: при всей преданности искусству и нетерпимости ко лжи, он может иной раз похвалить того, кого на самом деле не считал достойным похвалы.

Всякий человек может стать рабом обстоятельств, но благородный человек никогда не станет лакеем обстоятельств, — эти прекрасные слова принадлежат Людвигу Берне. И с какой радостью рассказывает Л. Пантелеев о Маршаке, идущем наперекор обстоятельствам, о Маршаке, с упорством отстаивающем свои убеждения. Что там с упорством — с данной ему гипнотической волей: «Когда Самуил Яковлевич говорил «добьюсь» — он чаще всего действительно добивался. Когда он говорил «добьемся» — он и тебя вел, и приводил к победе».

Маршак у Л. Пантелеева — живой, в

движении, он разбивает инерцию, как разбивают твердую скорлупу ореха. «Я уже говорил, — замечает Л. Пантелеев, — что на протяжении тех лет, что я был знаком с Самуилом Яковлевичем, он не стоял на месте, а менялся... При всей цельности его натуры, при всей фундаментальности его взглядов и убеждений, а может быть именно благодаря этой цельности и фундаментальности, он не боялся переменить мнение о человеке, о художнике, о его таланте и не боялся в этой перемене сознаться». Оказывается, когда-то Маршак не любил Чехова, прошло несколько лет — любил. Ну что ж здесь за грех? Но как славно, что Л. Пантелеев в своих портретах безбоязненно дает это движение человеческой личности.

«До самой смерти росла его душа», — припомнит он бунинские слова о Чехове и применит их к Шварцу. И вслед за этим скажет о том же Шварце — «всю жизнь он воспитывал себя». Красноречивый, благородный Шварц с необозримым кругом интересов и рыцарским отношением к женщине, Шварц-весельчак, Шварц прекраснодушный — это один из самых живых и вместе с тем самых трагических портретов книги, один из самых трагических «романов» Л. Пантелеева.

Подумать только, на театральных сценах шли «Обыкновенное чудо» и «Тень», шутки и афоризмы Шварца («я еще не волшебник, я только учусь»), как и светловские шутки, шли по кругу, теряя авторство, у него, у «волшебника» Шварца, в ящиках стола уже лежали «Дракон» и «Голый король» — теперь они с неизменным успехом идут на сцене наших и зарубежных театров, — а о Шварце все еще говорили как о писателе, который если и состоится, то когда-то в будущем. Любя Шварца, Маршак, как рассказывает Л. Пантелеев, не очень верил в него. Сложилась какая-то инерция отношений, преодолеть которую было не так просто.

Л. Пантелеев высоко ценит Шварца, говорит о нем как о мастере «в самом смысле слова», и все же, мне кажется, и он не до конца преодолел эту инерцию, видимо, привычную для людей его поколения: пантелеевский Шварц обаятелен, человечен, но как писатель он еще весь впереди. Вот если бы он закончил свои «ме», как бы говорит Л. Пантелеев, тогда бы вы узнали, что за писа-

тель Шварц. Но то-то и оно, что для читателя это открытие произошло несколько лет назад, когда вышла книга пьес Шварца, когда их начали ставить на сцене театров

Впрочем, если вдуматься, пантелеевское ожидание того, что читатель увидит еще нового Шварца, даже более интересного, чем тот, которого он знал, может быть, объясняется паразитическим умением Л. Пантелеева видеть человека в движении.

Поэтому как нечто естественное я, например, восприняла появление его книги «Наша Маша». Здесь автору представилась возможность написать о человеке, что меняется действительно не по дням, а по часам.

«Наша Маша» — один из самых пристрастных «романов» Л. Пантелеева. Он вслушивается, всматривается в каждое движение души девочки — то обрадуется, то обидится на нее ненароком, то всерьез встревожится тем, что постороннему человеку покажется пустяком, — для Л. Пантелеева здесь нет ничего пустого.

Как воспитать из маленькой девочки хорошего человека — к этой мысли постоянно возвращается писатель; ведь «воспитание начинается буквально с той минуты, когда ребенок появляется на свет».

Л. Пантелееву удалось то, что, пожалуй, мало кому удавалось, кроме Корнея Чуковского: показать стихию детского таланта. В книге встречаются наблюдения, знакомые нам и по собственным детям, и по книге «От двух до пяти»: «Звонильник не будил еще?» Или диалог, краткий, выразительный, разговор с собой, где ребенок уди-

вительно точно копирует речь взрослого: «Мама, ты уже ела? — И быстро, не дождавись ответа: — Скажи: «Как видишь»».

Л. Пантелеев так одержим мыслью воспитать человека правдивого, совестливого, что порой кажется: забыв о возрасте, он предъявляет ребенку чересчур строгие требования, «перезавоспитывает» девочку.

Но я уже говорила, Л. Пантелеев — писатель пристрастный. «Чудовище», — воскликнет он, вспомнив рассказ о том, как маленькая белокурая красивая девочка топала ногами и капризно выпячивала губки, требуя купить куклу. «Чудовище» в белокурых локонах и пяти лет от роду! Улыбнуться бы, но улыбаться почему-то не хочется. Л. Пантелеев магнетически заставляет тебя верить, что совестливость, духовность — все это надо «заложить» в человека смалу. А потом? И потом, конечно, можно, но труднее будет — недаром в книге так много говорится о самовоспитании.

Я хочу закончить разговор о книгах Л. Пантелеева диалогом, который дан в его блокадных зарисовках. Лесгафтовец, обращаясь к голодному, почти обреченному на гибель парнишке, говорит: надо бороться.

«— С кем бороться?»

— Вот именно — с кем?!»

Герои Л. Пантелеева борются с собой, это в себе они воспитывают мужество, деликатность, отзывчивость, упорство: автор свято верит, что до самой смерти растет душа человека.

**С. БАБЕНЫШЕВА.**

★

## «ИДИ И ЭТОТ ПУТЬ НЕ ВЫДАВАТЬ ЗА ЧУДО»

Кайсын Кулиев. Мир дому твоему. Перевод с балкарского. «Советский писатель». М. 1966. 180 стр.

В новой книге Кайсын Кулиев выступил с целой программой оптимизма:

Судьба, склоняюсь низко пред тобой,  
Благодарю, что в пору лихолетий  
В огне, под снегом или под водой  
Мой смертный час нигде меня  
не встретил.

Я мог и за решетчатым окном,  
Где моего никто б не слышал зова,  
Окончить жизнь и в мерзлый глиносок  
Лечь, не увидев края дорогого.

Ты предо мной не застилала свет,  
И все, на что потратил я чернила,  
Что для себя писал я столько лет,  
В конце концов ты в книги превратила.

Спасибо, что за все мои грехи  
Меня ты не лишила дара слова,  
Что ветром разнесенные стихи  
Ты помогла собрать и вспомнить снова.

Что ты вернула мне, пока я жив,  
Снега Эльбруса и рассвет Чегема  
За то, что был я только молчалив  
В те дни, когда другие были немые...

Может показаться странным, что стихи, в которых не забыта ни одна из тягот, выпавших на долю поэта, которые по содержанию своему скорее должны были стать горькими lamentациями, звучат непритворным «благодарю». Неужели надо благодарить тяжкую судьбу лишь потому, что могло быть и хуже? И нет ли тут некоего смирения? Или благодущия?

Нет, дело совсем в другом. Кулиев ничего не простил и ничего не забыл. Просто ему совестно жаловаться на то, что разделил беды страны и народа. Иной судьбы он бы и не принял. А все, что сверх того, что лучше,— вот за это можно благодарить судьбу.

Так было в жизни, когда поэт и офицер Кайсын Кулиев разделил участь всех балкар, не по своей воле переселенных в Киргизию, хотя ему лично было позволено остаться. Так и в стихах.

В книге есть стихотворение о счастливом сне. О том, как поэту приснилось, будто все на земле прекрасно и мирно, будто ничего иного и не было никогда, будто все страшное — дурной сон:

А наяву мир не будили трубы,  
Не строились во фронт ефрейтора.  
И венский обыватель Шикльгубер  
По-прежнему подручный маляра.

...Мне снилось, что прошли все беды  
мимо,  
Я тихо спал в траве, и снилось мне:  
Прах Хиросимы, печи Освенцима —  
Все это с миром было лишь во сне.

Стихи о возможности сладко забыться обернулись стихами о невозможности забвенья. Мир во сне безмятежен только потому, что противостоит жестокой реальности. В этом паразитическом стихотворении Кулиев передал горькую невозможность уйти от всего, что было с людьми в двадцатом веке. Двойное отражение (сон во сне) настойчиво возвращает нас к действительности.

Но поэт не только не может, он и не хочет забыться.

Как у Лермонтова: «Забить? — забвенья не дал бог: да он и не взял бы забвенья!»

Еще в стихах военных лет Кайсын Кулиев приказывал себе не прятать глаз от несчастий. Жестоко отказывал себе в праве хоть на миг душевного сна:

«Закрой глаза!» — твердил себе порой,  
Чтоб отдохнуть, чтоб позабыть об этом.

Но так нельзя. Прости, читатель мой!  
Не видящий не может быть поэтом.

(Перевод Н. Коржавина)

И причиняя боль самому себе, он жалел все-таки не себя, а читателя, перед которым открывал картины народных бедствий. У читателя просил прощения. Щадить себя ему и в голову не приходило. «Но так нельзя» — и все. И это для него не подвиг, не героическое напряжение — это норма.

Почти всякий поэт хоть раз да пытался найти свое определение поэзии. И всякий раз его попытка оказывалась скорее самооценкой.

Кайсын Кулиев тоже написал стихи с рефреном: «Вот что такое поэзия!» И сказал в них об очень важном для себя:

Идти в снегах по грудь  
Хватает сил покуда.  
Идти и этот путь  
Не выдавать за чудо...

Быть «сплошным сердцем», жить под высоким напряжением сочувствия к людям для него естественно, как естественно для дерева расти, для реки течь:

Но жизнью все живут такой,  
Какою могут жить.  
Ольхе — ольхой, реке — рекой,  
Горé — горою быты!

Мы можем восторгаться поэтом, его обостренной отзывчивостью. Это наше право. Но сам поэт не может сознавать свою миссию как сверхъестественную.

Так считает Кайсын Кулиев.

В его книге немало стихов, которые могут показаться самоуничижительными. То он выскажет надежду (лишь надежду!), что и его смертная строка имеет право на бытие; начнет даже полуоправдываться: «Но разве оттого, что он растает, не должен падать на долину снег?» То, говоря о горском костре — собственно, о костре жизни,— в который каждый по мере сил подбрасывает кто полено, кто сучок, скажет о себе: «Я не худший, не лучший, но я тоже беру и посильные сучья подвигаю к костру».

Это не только скромность. Это нравственная позиция.

Связь с народом... Нет, кажется, понятия, которое бы так эксплуатировали, изображая свое крестьянское происхождение чем-то вроде потомственного дворянства, а несколько лет, проведенных в деревне или



преходящем, го восславляюще гремит в пантеистическом духе Иоанна Дамаскина:

О солнце и камень, земля и трава...  
О счастье мое, о бессмертье земли!

Значительную часть книги составляет то, что принято называть философской лирикой, хотя название это мало что объясняет, во всяком случае на сей раз. Философия — учительница жизни — помогает людям главным образом тем, что дает ответы на терзающие их вопросы. Поэзия — совесть жизни — эти вопросы ставит. И не дает им иссякнуть.

Кайсын Кулиев меньше всего претендует на роль учителя жизни. Он ее ученик, задающий вопросы, и не примерный ученик, повторяющий наставнические прописи, а сомневающийся и спорящий.

Горькие раздумья о трагических судьбах разума в двадцатом веке родили стихотворение о необратимости открытий:

Молчал Эйнштейн, узнав про Хиросиму,  
Он был, как я, беспомощен и слаб.

Беспомощность великого сердца Эйнштейна перед плодами его великого ума терзает поэта; «как я» — это выражение мучительной причастности к Эйнштейновой трагедии. Кулиев не делает Прометея ответственным за огонь лагерей смерти, но парадокс истории, поворачивающий величайшие человеческие открытия против самого человека, не дает ему покоя.

Он не ищет утешительных решений, и в этом — ясность и реальность его взгляда. Так, Пушкин не мог решить спора между Петром и Евгением, и это как раз было гениальной прозорливостью, пониманием неразрешимости их конфликта.

Но сердце поэта не примиряется с печальной логикой разума. И вот Кайсын Кулиев, понимая тщетность своих надежд, все же взывает к справедливости: «Пусть никогда не умирают дети!»; вот он жаждет чуда — вопреки доводам рассудка:

Как мысль в стихе, непрочен вишен цвет,  
Как сон ребенка, зыбко их цветенье.  
И если от грозы защиты нет,  
Пусть совершится чудо их спасенья!

Призыв к чуду тем более искренен, что в Кайсыне Кулиеве очень жива доверчивость детства, что в нем не порвалась цельность отношения к жизни. Отсюда и безоглядность его веры в чудо, и детская

крупность восприятия — так что, скажем, прекрасное стихотворение о гибели коня врезается в память отчаянной яркостью красок: «черный конь умирает на белом снегу». Эта обостренность цветового впечатления — от обостренности переживания.

Философская лирика Кайсына Кулиева не рассудочна. Его проповедь обращена больше к сердцу, чем к рассудку.

Правда, есть в книге стихи слишком отвлеченного характера. Бывает, что проповедническое стремление внушить благие мысли опережает тот момент, когда для этих мыслей уже готово душевное накопление.

Или, напротив, слово переживает породившее его душевное движение и живет по инерции.

В недавней книге Кайсына Кулиева «Раченый камень» было стихотворение о дровах, сгорающих, чтобы согреть человека, о тепле самоотдачи, — стихотворение, написанное с удивительно полным сопереживанием. В новой книге замелькали повторы: «Пусть без следа его дрова сгорели, но зимней ночью он детей согрел», «Хоть прогорят дрова, от них тепло останется», «И зола не зря золою стала: зимним днем нас обогрел костер». Эти строчки бегут налегке, без сопровождающего чувства.

Я, может быть, не стал бы поминать их, будь это просто недоработки, возможные во всякой книге. Но для поэзии, выступающей с нравственной проповедью, самая реальная опасность — стать поэзией добрых слов, а не добрых чувств.

А это было бы вопреки сопричастному всему на свете, живому, деятельному таланту Кайсына Кулиева.

Он написал стихотворение о старости:

Твоя дорога, старость, коротка —  
Не далее, чем от плетня до грядки.  
И сладкая еда тебе горька,  
И горькие воспоминанья сладки.

...Ты, старость, — остров; он скалист и крут,  
Там высохли все русла и колодцы,  
Там нет дорог, но люди там живут,  
Живут... А что еще им остается?

Легче всего сказать: это преувеличенно страшный образ старости. Многие старики говорят, что их возрасту доступно особое самоуглубление и самопознание. А Сомерсет Моэм даже написал апофеоз старости —

книгу «Подводя итоги», где восславил мудрую способность соразмерять желания и возможности.

Да, все так, но Кайсын Кулиев — поэт, и он написал о себе. Это стихи человека, которому далеко до старости, чьи возможности еще очень велики, но желание делать людям добро, делиться с ними хлебом и словом, помогать им и искать помощи у них — еще больше.

Потому-то ничего нет страшнее для Кайсына Кулиева, как одиночество, пусть мудрое, пусть самоуглубленное.

Горней проповеди со снежных высот почтенного возраста ему мало. Как мало и отвлеченной любви к человечеству. Ему нужна трудная и взаимная любви к реальному, обыкновенному человеку:

Легко любить все человечество,  
Соседа полюбить трудней.

Таков Кайсын Кулиев. Только таким он и может быть: «Но жизнью все живут такой, какую могут жить...»

Его книгу перевел Наум Гребнев.

Есть обычай делить между автором оригинала и переводчиком достоинства книги

таким образом: автору — достоинства, переводчику — недостатки. Если отыщется в книге неловкое выражение или литературная слаженность, то обязательно списывается на перевод.

Я не знаю подстрочников Кайсына Кулиева и не решусь говорить о частностях. Я не знаю, какая удачная строка родилась на балкарском языке, какая — результат соавторства переводчика. Мне довольно того, что я знаю благодаря Гребневу поэта Кулиева, чей голос уже ни с кем не спутаю. Знаю, мне кажется, до такой степени, что если вдруг встречу в книге:

Состарятся юнец  
И стройная жеманница,  
Останется рубец,  
Хоть рана и затянется,—

то догадаюсь: это не Кулиев. Это скорее уж отзвук маршаковского Бернса.

И то, что случайная маршаковская нота диссонирует в общем тоне книги, как раз и значит: по-русски прозвучал подлинный голос замечательного поэта Балкарнии.

Ст. РАССАДИН.



## КРАСНОЕ НЕБО

Алла Белякова. Красное небо. Рассказы. «Советский писатель». М. 1967. 250 стр.

Обычно новое имя писателя узнаешь из периодики раньше, чем выходит его первая книга. Пока эта книга составляется, критика успевает взять молодого писателя на заметку. В одном случае обнаружит и похвалит за учебу у Бунина или Чехова. В другом случае отругает за тяготение к Хемингуэю или Дос Пассосу. Одним пожелает от всего сердца продолжать учебу и не беспокоиться о собственном голосе — все, мол, придет в свое время; других предостережет и посоветует идти своей дорогой.

А. Белякову до выхода в свет ее первого сборника рассказов никто не наставлял: ее рассказы почти не печатались. В сборнике все открыто для похвалы и нападков.

Книга поделена на две части. Первая часть — наши дни. Вторая — наше прошлое, война.

В книге есть рассказ под названием «Майские жуки». В нем девочка Наташа жалуется: «Я — толстая, неуклюжая

девочка... Я — настоящий неуклюжий гусенок». Деревенский мальчишка Сенька дразнит ее: «Наталка Жиртрест».

Так было и в тот будничный вечер с сердитым гудением майских жуков над головой. И вдруг этот будничный вечер превращается в воскресный, в праздник, в чудо. Жуки в небе, а девочка Наташа на земле ошалело носятся по вечернему саду. А за ней — ватага ребят и мальчишка Сенька с тревогой и смятением в глазах. Наташа не может ни себе, ни другим объяснить, что с ней произошло. А произошло действительно чудо: ее, Наталку Жиртрест с вечно спущенным чулком, пронзило «предчувствие девичьей будущей жизни...». А пока она носится и кричит: «Ур-ра!.. Все за мной! Да здравствует мировая революция!..»

Мировой революции не случилось. Мир был ввергнут во вторую мировую войну. Девочке Наташе пришлось эвакуироваться.

Судьбам людей в эвакуации посвящены рассказы из второй части книги, а в первой мы прочтём о тех, кому сегодня уже под сорок или за сорок. Среди них нет женщин с именем Наташа. Есть Катя, Нина, есть много других, но всякий раз нам будет выдаться Наталка Жиртрест. Ведь разговор пойдет о ее сверстниках, испытавших войну с ее голодом и холодом. Судьба поколения Наташи нелегкая, порой трагическая.

Женщины «Красного неба» проливают слезы бессонными ночами, идут на жертвы, так что иной критик, может, даже упрекнет автора в излишне обнаженном изображении страстей, бабьих мук, желаний. Ранса из рассказа «Рансино счастье» предстает перед читателем во всем своем бесстыдстве. Она не скрывает, что больше всего на свете ей нужны мужики. Вы готовы осудить ее. Но вот вы услышали историю жизни и смерти разбитой медсестры Тони из рассказа «Бабья ночь», прониклись к ней сочувствием, а заодно прощаете и Рансу. Не виновата она в своем глухом одиночестве.

Кстати, история Тони лишь вклинилась в рассказ «Бабья ночь», Тоня в рассказе не главная. Главная Дарья. Это у нее на войне убили мужа. Потом сын пошел служить в армию и погиб при исполнении служебных обязанностей. Дарья, уже немолодая, с виду неприметная женщина, «закрутила любовь» с молодым Ленечкой, но тот ее бросает и женится на молодой. При этом он просит извинения у Дарьи и произносит слова, от которых мурашки пробегают по спине: «Я тебя уважаю, тетя Даша... Но ты на меня не рассчитывай... Не пара ведь мы...»

Врде бы рассказу конец, но автору этого показалось мало. Начинается история с Тоней. Зачем понадобилось соединять жизнь Дарьи с жизнью Тони, которая, вообще-то говоря, сама по себе важна и интересна, но едва ли уместна в этом рассказе? Неужто только для назидания: смотри, мол, Дарья, не гуляй, а то кончишь, как Тонька. А тут еще и ночные явления покойников: сначала Тони, потом и сына Миги. Потом Дарье снится, что горит ее дом, — словом, отдается дань, так сказать, беллетристике. Или это просто неумение вовремя поставить точку? А ведь могло бы получиться два интересных рассказа. Искусственное соединение испортило дело.

Я подробно остановился на этом рассказе, потому что уж слишком очевидны его

просчеты и тенденция «попугать» читателя.

Один из лучших рассказов сборника — «Дом». Один в нем живет тихо, неприметно, их и не увидишь. Другие словно нарочно выставляют свою жизнь напоказ: смотрите, мол, нам ничего не стыдно. Так живет семья Звонцовых. Изо дня в день Звонцовы скандалят и дерутся. А в это время в другой квартире шофер-пенсонер изводит тихого, безответного интеллигентного старика. Но и сюда вечерами, когда заходит большое красное солнце, будто залетают майские жуки, и слышится их тревожное гудение. Неожиданно и вместе с тем естественно звучат слова жены Звонцова, обращенные к свекрови: «Я счастья хочу, мама».

Прийти к таким словам, найти их было нелегко, а между тем читателю кажется, что именно их он ждал.

В другом, новом доме, быть может, тем же вечером тоскует об утраченной любви Нина из рассказа «Вечер дома». Все здесь чисто и ладно. Даже будильник «ласково» тикает. Но он отсчитывает секунды, минуты, часы, все больше и больше разъединяющие Нину с мужем. А ведь была же любовь, было счастье. Всего этого не удержала долгожданная отдельная квартира. Оно нелегкое — это самое счастье. А в другом рассказе, «Однажды ночью», шоферу Женьке чертовски везло во всем: в удачных клиентах, в легких любовных победах. Женька был на редкость доволен собой и жизнью. Однажды Женьку в электричке ограбили и выкинули на ходу. Все-го-то грабители и могли взять у Женьки дешевенький пиджачок, часы да три рубля. Женька потрясен, что его жизнь, оказывается, стоила три рубля. Но, в сущности, пиджачок, часы и три рубля — это цена не ему, человеку, а его легким победам, его бесшабашности. Но Женька молод, у него есть еще время пораскинуть мозгами, начать жить по-другому.

Во второй части книги, как уже говорилось, рассказы об эвакуации. В них много от дневника, но, как и в первой части, здесь острый, цепкий глаз, наблюдательность. Военный быт тыла воскресает со всеми своими утратами, мужеством и, конечно же, надеждами и ожиданиями. Именно здесь девочка Наташа впервые увидит в глазах людей красное солнце. Две красные точки увидит она в голубых глазах молоденького солдата из эшелона, уходящего



на фронт. И впервые Наталка Жиртрест задумывается о жизни и смерти.

О жизни и смерти написан рассказ «Бабушкина жизнь». На мой взгляд, рассказ — лучший в сборнике. К «Бабушкиной жизни» невольно возвращаешься, прочитав книгу до конца. Бабушка умерла от старости. Утрата естественная. Ее откровенно ждали, и никто не плакал на похоронах. Большой семье трудно было разместиться в небольшой квартире, а бабушке, прикованной к постели, пришлось выделить отдельную комнату. Прошло немного времени, старую, полуразвалившуюся бабушкину мебель заменили новой. Появился в комнате магнитофон «Днепр». Скоро исчез со стены и бабушкин портрет. Невестка, измученная ночными хлопотами у постели умирающей, теперь спокойно спит. Обитатели квартиры свободно вздохнули.

Естественность бабушкиной смерти подчеркивается даже ее похоронами. На них не только никто не плакал, более того, один дальний родственник приехал в морг раньше времени и долго стоял у гроба совсем другой бабушки, спутал ненароком. От этого еще неотразимей и беспощадней звучит конец рассказа. Сын бабушки случайно «нашел гребенку со сломанными зубцами, в которых запуталось облачко голубовато-седых волос...». Казалось бы, мелочь, но «он взглянул на гребенку и неожиданно

судорожно всхлипнул. Впалые щеки его задрожали, и он тяжело зарыдал, крепко прижавшись лицом к ящику комода и оцарапав лоб.

Но это плакал не старый, усталый, всем недовольный человек. Это в последний раз плакал тот справедливый и добрый мальчик».

Сын бабушки плакал не по ней, а по себе. Он понял, что, умерев, бабушка «унесла с собой в могилу часть прошлого каждого из членов семьи».

В рассказе нет лишних слов, он лаконичен и строг. Между тем в нем нет и строго очерченного сюжета, конструкция его убрана. Но чем же все-таки тогда объяснить, что и «Бабушкина жизнь», и другие рассказы «Красного неба» читаются с постоянным ожиданием развязки? Впрочем, и развязки как таковой в рассказах нет. Есть предчувствие, ожидание, наконец надежда на счастье людей, к которым автор заставил читателя отнестись с состраданием.

Любовь к людям как бы дает заряд рассказам «Красного неба», делает их чело- вечными.

Я не знаю, у каких писателей училась Алла Белякова. Ясно одно: она училась у хороших писателей, у тех, кто вел и ведет открытый разговор с людьми о них самих.

**Н. МЕЛЬНИКОВ.**



## СТРЕМЛЕНИЕ К ЯСНОСТИ

**М. Туровская. Да и нет. О кино и театре последнего десятилетия. «Искусство». М. 1966. 294 стр.**

Под вызывающе броской обложкой этой книги (цветной портрет Моника Витти рядом с эффектно перевернутым черно-белым негативом того же портрета) собраны вместе критические очерки и статьи, которые, казалось бы, ничем не могут быть между собой связаны. Их темы разоб- щены во времени и в пространстве. Статья о фильме «Летят журавли» — и статья о том, как Михаил Романов играл Федора Протасова в «Живом труп», большой аналитический очерк творчества итальянского кинорежиссера Микеланджело Антониони — и сравнительно лаконичная статья об основных мотивах чеховской драмы, Шекспир и Тенгиз Абуладзе, Олег

Табаков и Шоу, проза Василия Аксенова и новые английские фильмы — все это и многое другое собрано вроде бы случайно. Но видная тематическая пестрота книги обманчива.

Вместе с продолжающимся в нашей критике процессом специализации и дифференциации интересов (когда критик А. пишет только о поэзии, критик Б. — только о театре, критик В. — только о детской литературе и т. п.) идет и встречный, вероятно, более важный и своевременный процесс расширения кругозора. Деятельность М. Туровской с этой точки зрения очень выразительна. Наиболее уверенно она чувствует себя в мире кино, и, например, замечатель-

ная повесть П. Нилина «Жестокость» оказывается в поле ее зрения только тогда, когда на экране появляется одноименный фильм. Но и литература и театр для нее — также не чуждые стихии. Такая широта интересов не может быть объяснена одной только эрудицией, она — прямое следствие чуткости восприятия критика, его отзывчивости на веяния времени.

Когда следуешь за автором в его прихотливом движении от современной драмы к кинорежиссуре, от шекспировского «Гамлета» к пьесе А. Арбузова «Годы странствий» и обратно к «Гамлету», от нилинского Веньки Малышева к чеховскому Иванову, постепенно начинаешь понимать внутреннюю закономерность авторских исканий. О чем бы ни писала М. Туровская, она пишет о достоинстве и духовной красоте современника, о трудном призвании человека, чья жизнь совпала с XX столетием, ломалась на его изломах, закалялась в его огне. Может быть, именно поэтому главным критерием размышлений критика оказывается писатель, в котором видит она начало всей литературы (да и не только литературы) XX века, — Чехов. В статье «Гамлет и мы» замечено будто между прочим, что «Гамлет» — самая «чеховская» из пьес Шекспира». В статью же о Чехове естественно вступают рассуждения о Чаплине и Хемингуэе, об Артуре Миллере и Теннесси Уильямсе, о Франсуа Мориаке и Пабло Пикассо, о Джоне Осборне и Эдуардо де Филиппо. Причем характерно одно из итоговых замечаний этой статьи: «И снова «старый» Чехов оказывается прозорливее своих последователей».

В чем же она, эта столь важная для автора чеховская прозорливость? При всей гениальности своей, Чехов почти ничего не дает для понимания трагических, требующих героического разрешения коллизий, в которых оказываются остро заинтересовавшие Туровскую персонажи фильма М. Калладова «Летят журавли», фильма Г. Чухрая «Баллада о солдате», фильма А. Тарковского «Иваново детство». Чеховский сокровенный и тихий лиризм должен бы, кажется, отступить перед лицом больших и даже катастрофических событий: революции, гражданской войны, битвы с фашистским нашествием — событий, побуждавших истинного героя времени жертвовать во имя своего идеала всем, даже самой жизнью. И, вероятно, ни формы чеховской драмы, ни фор-

мы чеховской прозы не вместили бы в себя великую экспрессию эпохи, когда время сдвигалось революцией, был ломался войнами, жизнь человеческая ежесекундно ставилась на карту истории. Все это так. Но всякая жизнь управляема своим идеалом. Его необходимость, более того — невозможность существования безыдеального, обязательность духовной красоты и цельности человека — один из главнейших мотивов искусства Чехова, оказавшийся центральным и важнейшим в послечеховском искусстве. какие бы формы оно ни избирало, каких бы тем ни касалось. Мотиву этому в чеховской драме сопутствует и другой, не менее важный. «...Обыденность, — пишет М. Туровская, — со всех сторон обступает героя, и герой этот, вооруженный в своей неравной борьбе с гнетом мещанского существования лишь наследием духовной культуры и мечтой о будущем, терпит поражение в своем личном, частном существовании и все же в чем-то самом важном оказывается победителем перед лицом будущего».

Способность сопротивляться пошлости, засасывающей житейщине, мещанству — в любых, даже ультрасовременных, транзисторных или телевизионных его разновидностях, — умение твердо вести свою жизнь по компасу совести и красоты рассматривается в книге М. Туровской как одна из главнейших гарантий соответствия человека суровым требованиям, которые сегодня к нему предъявляет время. В сущности, это чеховский критерий. Он оказывается вполне применим и очень даже уместен при анализе пьес Розова или Арбузова, прозы Нилина и Аксенова, фильмов «Баллада о солдате», «А если это любовь?», «Летят журавли», «Иваново детство». Тут М. Туровская убедительна в каждом слове.

Статьи, собранные в книге, написаны на протяжении миновавшего десятилетия. В коротеньком предисловии автор предупреждает читателей, что умышленно сохраняет и такие рассуждения, которые теперь кажутся наивными или спорными. В принципе это верно. Но, правду сказать, в наивности Туровскую не упрекнешь. Даже те ее статьи, которые помечены 1956 или 1957 годом и явно отмечены печатью тогдашнего непосредственного впечатления, отзвуком уже миновавших волнений, запальчивостью энергичной защиты произведений, которые теперь уже в защи-

те не нуждаются — отчасти именно потому, что в свое время прозвучал темпераментный голос Туровской, — даже они вместе с их неугасшей горячностью радуют трезвостью и последовательностью аргументации. Письму Туровской свойственны ясность, определенность, четкость. Ей не по нутру расплывчатая приблизительность суждений, гадательная вопросительность интонаций. Поэтому-то, быть может, в название книги вынесены категорические слова «да и нет». Справедливости ради следует сказать, что самое интересное все же находится между этими двумя полюсами. Когда Туровская говорит «да» — это еще не значит, что она все приемлет, напротив, она жестко и бескомпромиссно указывает, например, на сентиментальную банальность ряда ситуаций фильма «Летят журавли», едит, что «инфернальность Вероники в кино знаменует собой капитуляцию создателей фильма перед реальной сложностью ими же выдвинутой темы», а когда речь заходит о драме А. Арбузова «Годы странствий», пронизательно замечает, что «Арбузов, всегда такой внимательный, даже лотошный в хронологии, неточно поместил звяго героя во времени. Фигура странная и сбивчивая в условиях фронта, где про-являлись совсем иные черты характера, Ведерников сразу становится понятен и типичен, будучи рассмотрен через призму 1954, а не 1941 года»...

Статьи о классиках (Шекспир, Толстой, Чехов, Шоу) и статьи о современниках в равной мере проникнуты настоящим пафосом борьбы за благородство искусства и благородство человека. В восприятии Туровской это явления не только одного порядка, но и органически родственные, неразрывно связанные между собой. Как правило, искусство, безразличное к нравственности, нейтральное по отношению к духовному облику человека наших дней, Туровскую вообще не занимает. Чеховский принцип гуманности и интеллигентности просвечивает везде. Там, где это правило нарушается, уже не испытываешь такого полного чувства солидарности с автором.

К примеру, небольшая статья о фильме «Неотправленное письмо» самим построением своим выдает «смятение чувств», охзагившее критика. Рассказаны впечатления «после первого просмотра». И — выводы, этими впечатлениями продиктованные. Затем отдельно сообщены впечатления

«после второго просмотра». И — отдельно — новые выводы, более оптимистические по сравнению с первыми. В первый раз М. Туровская замыкала свой анализ в пределах данной картины, данного творения. Ее суждения были решительны: «Герои фильма преодолевают лишь пространство и время — им нечего преодолевать в самих себе, друг в друге. Между ними, как и в душе каждого из них, нет никакого морального, этического, человеческого конфликта. Картина, идущая почти два часа, оказывается, по существу, бестемной». После второго просмотра все это выглядит уже иначе. «Все прошлые — этические и моральные — конфликты уступают место одному, всеобъемлющему: Человек и Природа. Жизнь и Смерть. Фильм воспринимается теперь как экспериментальный. В нем усматриваются «какие-то интуитивные прорывы в новый масштаб конфликтов, в новую трагедийность»... «Кто знает, — спрашивает М. Туровская, — чем будет обязан кинематограф фильму «Неотправленное письмо» в последующие годы?» Все знают. С тех пор, как написана статья (1960), перед нами прошли сотни фильмов. Ни одной значительной картины, которая опиралась бы на опыт «Неотправленного письма», нет среди них. «Фильм Довженко «Звенигора» тоже казался странным, — пишет М. Туровская. — Но без «Звенигоры» не было бы ни «Арсенала», ни «Земли», ни «Щорса». Конечно... Только одно обстоятельство тут упущено из виду: «Неотправленное письмо» было попыткой возведения в ранг эстетической программы приемов, уже с успехом использованных в фильме «Летят журавли». «Неотправленное письмо» ничего не открывало, оно только настаивало. Если тут и ставился эксперимент, то с одной лишь целью: передать авторство фильма из рук режиссера М. Калатозова в руки оператора С. Урусевского. Такого рода эксперименты в современном кинематографе отвергают зрители в самодовлеющую власть объектива. Камера Урусевского ведет себя экспрессивно, ищет символики, претендует на непосредственность эмоционального воздействия. Важная и торжественная многозначительность кадра воспринимается как обещание важной и существенной мысли. А когда это обещание остается невыполненным, тогда миссию осмысления виденного может — если хочет — взять на себя

критик. М. Туровская эту миссию приняла и выполнила. Но ее размышления не подтверждаются ни самим фильмом, ни его последующей судьбой.

Свойственная М. Туровской жажда ясности не находит утоления и в творчестве Антониони. Статья об этом режиссере озаглавлена устрашительно: «Красная пустыня эротизма». Но мысль, вынесенная в заглавие, лишь изредка проскальзывает в статье. По поводу героев фильма «Ночь» сказано, в частности, вот что: «Разъединенность в близости, фатальная невозможность духовной общности и выморочный эротизм их отношений — все это составляет странную, лишенную внешних драматургических поворотов (хотя не лишенную внутреннего чисто антониониевского драматизма) любовную историю». Я видел «Ночь» — фильм, по-моему, скучный, но гораздо более простой, нежели эта формула Туровской. Рискну сказать, что в «Ночи» поиски духовной общности людей режиссера не занимают. Автора и героев его интересует близость не духовная, а физическая. В поисках ее герои фильма, муж и жена, проводят все свое экранное время. Они ждут желанья. Но желание возникает у них не синхронно. Когда он нужен ей, она ему не нужна. И наоборот. Неудовлетворенные, истомленные капризами вялой чувственности, оба в принципе вполне готовы к случайным связям. Но и для случайных связей нет чувственных сил... Это не пустыня эротизма — это пустыня едва живой, умирающей чувственности.

Терпеливо и настойчиво идет критик за режиссером, чье мастерство действительно признано, кажется, уже всеми», стремясь уловить его главную тему, понять, где же — и как? — мастерство становится искусством. Анализ фильма «Приключение» — в противоположность самому фильму — стремителен, порывист, словно Туровская пытается вырвать у Антониони его тайну, разгадать его «символ веры». Но даже смелые и рискованные сопоставления с театральнo-эффектным Лукино Висконти и — одновременно! — с бурным гением Федерико Феллини не приносят желанного результата. Если Феллини с полным правом мог сказать о своей «Сладкой жизни», что хотел «сделать фильм, который дает мужество», то М. Туровская, замечаящая, что

фильмы Антониони — «своего рода экранные теоремы», в решении которых режиссер верен требованиям «до прямолинейности последовательной логики», напрасно думает, будто фильмы эти тоже «дают мужество». Мне кажется, они несут с собой растерянность. Анемичное, болезненное дитя трудного столетия, Антониони смотрит на мир испуганным взглядом, констатирующим красоту мира вещественного — зданий, улиц, городов — и не видящего красоту человека. «Тот, кому искусство Антониони кажется претенциозным, анемичным или попросту скучным, — волен так думать», — пишет М. Туровская. С благодарностью принимая это разрешение, я еще более признателен М. Туровской за ее собственные слова о «Красной пустыне» — «сложная и даже утомительная для восприятия, но и очень простая вещь». Именно в связи с «Красной пустыней» — фильмом, в котором Антониони, по мнению Туровской, сказал «то, что он хотел сказать», — у критика возникло убеждение, что мастер достиг «точки кризиса», что стала очевидна «угроза формализма — формализм ведь не та или иная форма сама по себе, формализм — нарушение баланса формы и содержания».

Боюсь, дело совсем не в «балансе» здесь дело. Дело в том, что мастерство не адекватно искусству. Формализм есть неодушевленность формы. Вялость и аморфность формы у Антониони — это, на мой взгляд, результат анемии духовной и интеллектуальной. Напротив, мощь и агрессивность формотворчества у Феллини, современника, соотечественника и прямого антагониста Антониони, — выражение активной, взволнованной жизни бурного духа и глубокого интеллекта. Кстати сказать, последняя лента Антониони — «Блу-ап» — позволяет более оптимистично смотреть и на его будущее.

Стремление к цельности гуманистической концепции современного мира, изначально свойственное критическому дарованию М. Туровской, в фильмах Антониони все же не находит себе опоры. Поэтому статья, завершающая книгу, воспринимается как талантливое, но неубедительное возражение почти всем предшествующим сильным и убедительным ее страницам.

**К. РУДНИЦКИЙ.**

## РОМАН О «ПОДДЕЛЬНОЙ» ИСПАНИИ

Хуан Антонио де Сунсунеги. Мир следует своим путем. Роман. Перевод с испанского М. Абезгауз и Р. Линцер. «Прогресс». М. 1967. 451 стр.

Читая роман Хуана Антонио де Сунсунеги о мире, идущем своим путем, вспоминаешь недавнюю историю, которой мировая пресса уделила известное внимание.

На последнем конкурсе красоты в Лондоне первый приз достался девушке из Индии. Она тут же получила ряд лестных и выгодных предложений, в том числе предложение поехать во Вьетнам и выступить там перед американскими солдатами. Она решительно отвергла это предложение. А потом, спустя недолгое время, все-таки оказалась во Вьетнаме.

Многих такой поворот событий удивил. Но скорее странным и удивительным было бы, если бы дело кончилось по-иному. Ведь участие в конкурсе красоты (учитывая к тому же и те формы, в которых подобные конкурсы проводятся на современном Западе) уже само по себе означает, что человек поддался каким-то «соблазнам» определенного образа жизни. А поддавшись им, можно ли остановиться на полдороге, одновременно и приобретая капитал, и сохраняя невинность?

В романе Сунсунеги самую, пожалуй, интересную сюжетную линию составляет история одной из тех его главных героинь, что, победив на конкурсе красоты, пытается устоять перед искушениями, приманками, обольщениями и выгодами, которые ей сулит одержанная победа.

Дочь бедных родителей, по-нищенски едва сводящих концы с концами, Элоиса Рендуэлес выходит победительницей на конкурсе красоты — правда, всего лишь в одном мадридском квартале. Но этого уже достаточно для того, чтобы ее портреты были напечатаны в газетах. Потом весь город со своими ярмарками, вещевыми лотереями и конкурсами признает ее звездой первой величины. Перед ней открывается блестящее будущее. Некий «пожизненный сенатор от консервативной партии» проявляет готовность взять ее под свое покровительство, определить ее в оперетту, не скупясь при этом на расходы...

Но Элоиса не хочет в оперетту, хотя у нее прекрасный голос и прочих предлестей для оперетты хоть отбавляй. Она не желает торговать ими. Она вообще не хочет извле-

кать выгоды из победы на конкурсе, ибо это противно ее натуре, от природы глубоко порядочной и чуждой авантюризма.

Можно ли в современной Испании, которая еще кичится своей богобоязненностью и добродетелями, уберечься от соблазнов буржуазной цивилизации, отстраниться от них и сохранить при этом порядочность и человеческое достоинство? Вот, собственно, один из главных вопросов, занимающих нас при чтении книги. Историей Элоисы Хуан Сунсунеги отвечает на этот вопрос отрицательно. Героиня Сунсунеги взяла на себя непосильную, невыполнимую в современных условиях задачу, ибо так или иначе буржуазный образ жизни и все связанные с ним навыки и обычаи подчиняют себе человека, подминают его под себя. Простой парень, парикмахер Фаустино, за которого по любви, вопреки воле родителей, наперекор ожиданиям и вожделениям всего квартала выходит замуж Элоиса, оказывается субъектом, насквозь зараженным авантюризмом, и живет жадной случайного успеха. Футбольный болельщик, он всю страсть и все свои заработки отдает футбольному тотализатору.

Фаустино в западне, как были когда-то в западне герои прославленного романа Золя. Теперь ею может быть и не алкоголь, а более современные увлечения, сулящие возможность легко преуспеть и сорвать куш, пробиться из нищеты к богатству, чудом заполучив миллион. Вместе с Фаустино в западне оказываются его жена Элоиса и целый выводок их детей.

Рисуя нарастание страсти Фаустино к тотализатору, становящейся болезнью и превращающей простецкого парня в преступника, Сунсунеги заставляет нас вспомнить аналогичные истории, впервые столь впечатляющие рассказанные еще литературой прошлого века.

Конечно, теперь эти истории протекают на новый лад, вполне в духе нашего времени. И Сунсунеги дает нам почувствовать и понять, что этот дух времени с его абсолютным пренебрежением к моральным нормам, с его алчностью, неспособностью прогивиться искушениям подчиняет себе все больше людей из разных кругов испанского общества.

Отец Элоисы — полицейский регулировщик — никак не может забыть о том, что его дочь — «премированная красавица». Он и жена не видят ничего предосудительного в том, чтобы воспользоваться всеми благами, вытекающими из этого счастливого обстоятельства. Так, Сунсунеги привлекает наше внимание к парадоксальной ситуации: дочь вынуждена втолковывать родителям, что «все эти конкурсы — одно распутство», что они, родители, вольно или невольно голяют ее именно к распутству.

Впрочем, когда отец узнает о подлинном распутстве младшей дочери, он на некоторое время впадает в гнев, но потом примиряется с ней, а кончает тем, что гордится ею, ее хлестким видом и блеском ее нарядов.

История этой второй сестры Рендуэлес — Луисы — тоже, собственно, старая история на новый лад. Карьера продащицы в галантерейном магазине ее не устраивает. Она пускается во все тяжкие. Все, что с такой брезгливостью отвергала Элоиса, стаивается в руках умной, расчетливой, дальновидной Луисы средством преуспеть, уйти от нищенского прозябания. Луиса добивается своего, она владелица капитала, квартиры, машины и может себе позволить делать подачки старшей сестре, вызывая тем самым ее ненависть.

Но и судьбу Луисы Сунсунеги рисует как судьбу печальную, ибо в глубине души Луиса хочет иного, она жаждет заполнить жизнь чем-то достойным. Силы, энергия, предприимчивость бьют в ней через край, но приложить все это не к чему. И Луиса скорее играет в счастье, чем испытывает его на деле.

История похождения Луисы открывает перед Сунсунеги возможность показать разнообразную галерею лиц — коммерсантов, дельцов, финансистов, антрепренеров и т. д. Иногда даже кажется, что писатель злоупотребляет этой возможностью и делает это в ущерб логике развития характера свей героини. Так, например, когда Луиса задумывает стать опереточной актрисой, создается впечатление, что этого хочет не столько Луиса, сколько сам Сунсунеги, дабы получить таким образом право нарисовать сцены закулисной жизни, где все тоже строится на купле и продаже. Как только Сунсунеги заканчивает изображение тех эпизодов околотеатральной жизни, которые он считал нужным изобразить, у

Луисы тут же пропадает желание идти на сцену.

Ощущение заданности вызывают не только эти эпизоды, но и некоторые другие. Не всегда кажется органическим и обязательным присутствие некоторых из многочисленных эпизодических фигур, выведенных в романе. Поэтому иногда книга выглядит калейдоскопичной и перенаселенной иллюстративными персонажами.

Но все же она цементируется рядом эпизодов, сцен, диалогов, написанных остро и выразительно. Среди них на первом месте все, что относится к истории вражды двух сестер, каждая из которых не может простить другой ее образ жизни. Завершает эту вражду сцена по-своему весьма символическая. В безысходном отчаянии Элоиса бросается с балкона вниз, и ее тело падает на стоящую у дома роскошную машину младшей сестры.

Сунсунеги считает своими учителями Золя, Бальзака. В свое время, во второй половине XIX и в начале нынешнего века, когда, условно говоря, «золяистские» темы и мотивы впервые входили в литературу, испанская жизнь была всему этому во многом чужда. Теперь буржуазные отношения развились и созрели в Испании в полной мере. И Сунсунеги, прибегая к золяистским приемам, дает своему читателю понять, куда же реально идет его страна. Обращение к уже испытанным в литературе темам и ситуациям, «прилагаемым» к материалу испанской жизни, и впрямь помогает Сунсунеги развеять многие иллюзии и показать реальные черты современной Испании.

Автор предисловия к роману В. Ясный замечает, что, изображая всеильную роль денег, рисуя образы капиталистических хищников и их жертв, рисуя многое другое в этом роде, Сунсунеги именно здесь «наиболее близок к корифеям минувшего столетия». Это, конечно, верно.

Но, говоря о близости Сунсунеги к корифеям, надо при этом сказать и о несходствах, о различиях. Повествование Сунсунеги отличается от классического золяистского, а тем более флоровского (Сунсунеги ориентируется и на Флобера) повествования своей особой, патетической интонацией. Этот роман проникнут гневом, негодованием, сарказмом. Манера рассказчика становится временами пророчески обличительной. Но тот, старый, роман, будучи спокойнее,

сдержаннее, объективнее, был вместе с тем более пытливым и исследовательским, он открывал больше нового как в условиях человеческого существования, так и в самом человеке.

Через весь роман Сунсунеги проходит один сквозной мотив — иногда он четко формулируется автором, в других случаях это предоставляется делать читателю. Это мотив маски, благопристойной вывески, некоего прикрытия, которым надо пользоваться в этой жизни. «Люди все ходят в масках, как на карнавале, а у кого душа нараспашку, тот просто дурак» — так говорит один из персонажей книги на самых первых ее страницах. Потом эта идея многократно варьируется. Пожилая цветочница, простаивающая долгие часы у подъездов фешенебельных ресторанов и мучительно страдающая от расширения вен, в своем квартале слышит богачкой, стригущей купоны с какой-то ренты. Цветочница усердно поддерживает эту легенду, маска помогает ей жить.

Когда Луисита признается одному из своих добрых знакомых, Пепе Руэда, что ей вовсе не хочется быть куртизанкой, что ее истинное призвание — выйти замуж за любимого человека и нарожать ему кучу детей, Пепе, уча ее изворотливости и приспособленчеству, советует скрывать это призвание. Он же наставляет ее: «Беспорядочная жизнь — даже порок — не так предосудительны, на них смотрят сквозь пальцы, если женщина занимает какое-то положение, хотя бы торгует каштанами на улице. Обязательно надо прикрыться почтенной вывеской...»

Когда Луисита влюбляется в молодого и изысканного отпрыска аристократической семьи, который восстанавливает фамильное достояние сутенерством, между ними происходит любопытный диалог. «Ты способен на нежность?» — спрашивает она. Он отвечает с беспощадным цинизмом: «Я подделываю ее лучше любого испанца». Она

говорит: «Мне нужна любовь». Он отвечает: «Я дам тебе илюзию любви...»

Поддельное благочестие, поддельное благообразие, поддельное благополучие, поддельная нежность — вот что волнует Сунсунеги, и вот что он обличает.

И надо воздать ему должное. Ему удалось показать, что скрывается за «почтенными вывесками», сколько здесь грязи и гнили, цинизма, хитрости и страданий. Порой писатель достигает большой саркастической силы. Сошлемся еще на проходящий через весь роман образ некоего Рокиты, мелкого приживалы и бездарного писателя, который делает себе карьеру, становясь автором жизнеописаний разбогатевших бакалейщиков и галантерейщиков, каждый из которых мечтает увидеть напечатанной свою биографию. Рокита к концу книги уже ходит в маске писателя. А бакалейщики мнят себя и впрямь значительными фигурами...

Нам все более становится ясным, что книга Сунсунеги — о той Испании, у которой нет почвы под ногами, нищей или жульнически богатеей, об Испании поддельной, о разных ипостасях этой поддельности.

Конечно, не вся теперешняя Испания такова. В книге никак не отразилась жизнь тех кругов испанского общества, что не чуждаются в благопристойных вывесках и разного рода маскировке. Нет в романе людей труда — умственного и физического. Образ неудачливого драматурга дона Андреса Гильена-Сории не в счет, ибо жалкий автор тяжеловесных и ходульных пьес, каким его представляет Сунсунеги, явно не выдерживает той роли интеллектуального комментатора событий, которую на него временами почему-то романист возлагает. Но мы закрываем книгу, многое узнав из нее про «благочестивую» Испанию, и остаемся за это благодарны автору.

**Н. СЕТКОВА.**

Ленинград.



Политика и наука

## БАЗА КУЛЬТУРЫ

**В. А. Куманев.** Социализм и всенародная грамотность. Ликвидация массовой неграмотности в СССР. «Наука». М. 1967. 328 стр.

Много лет назад М. И. Калинин, говоря о борьбе с неграмотностью, заметил: «С внешней стороны, может быть, это и незаметное дело; может быть, об этом не напишет ни один историк, но у меня нет никакого сомнения в том, что эта работа окажется весомой единицей в общем коммунистическом строительстве, что эта работа будет вознаграждена своими огромными результатами». Всероссийский староста и одновременно председатель общества «Долой неграмотность», Калинин точно определил значение такого на первый взгляд нехитрого дела, как ликбез. Сейчас, когда это слово уже незнакомо молодому поколению, история овладения первой ступенью к высотам культуры поучительна и интересна.

В. А. Куманев изучил широкий круг источников — архивы, печать, воспоминания современников — и правдиво показал, как Советское государство проводило на практике борьбу за всенародную грамотность.

Перепись 1897 года рисует картину культурной отсталости старой, царской России. Среди ста двадцати шести миллионов зарегистрированных жителей грамотным был лишь двадцать один процент. Иначе говоря, из каждых пяти жителей четверо были неграмотны. Наибольшее число неграмотных составляли крестьяне и особенно женщины. Почти поголовной была неграмотность народов Средней Азии и Крайнего Севера. С таких «исходных рубежей» началось у нас культурное строительство.

Сегодня трудно даже представить себе те повседневные препятствия, с которыми встречались советские люди в первые годы революции при проведении этой работы. Шла гражданская война — и красноармейцы учились грамоте в перерывах между боями. Не было бумаги — и разрабатывались специальные инструкции о том, как писать на оберточных листах, железе, белевых стенах. Не хватало чернил, перьев, карандашей — и в ход пускали разведенную сажу, клюквенный или свекольный сок, отвар из шишек ольхи.

В. А. Куманев показывает, как само движение масс за грамоту «снизу» подгото-

вило исторический ленинский декрет от 26 декабря 1919 года «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР». Много внимания уделяет автор освещению работы по ликбезу в Красной Армии. Ведь именно здесь родился первый советский букварь, крылатая фраза которого «Мы не рабы» получила мировую известность. В книге рассказывается об авторе этого букваря Д. Ю. Элькиной. Добрые слова нашлись у В. А. Куманева и для других соратников Н. К. Крупской — А. С. Курской, Н. Н. Колесниковой, М. С. Эпштейна, Л. Н. Сталь, — чей скромный и самоотверженный труд должен остаться в народной памяти. Мы узнаем историю чрезвычайного органа культурной революции — «ВЧК ликбеза» и местных «Граммчека», а также массового добровольного общества «Долой неграмотность».

Ликвидация неграмотности была всенародным делом. Широкое участие приняли в ней люди литературы и искусства. В книге говорится о присвоении почетного звания «Борец за грамоту» А. М. Горькому. В 1919 году В. Маяковский составил стихотворную азбуку, с успехом распространявшуюся на фронтах среди красноармейцев. В ней метко и остроумно высмеивались враги трудового народа.

Антисемит Антанте мил.  
Антанта — сборище громил.

Большевики буржуев ищут.  
Буржуи мчатся верст за тыщу... —

и т. д. Немалый вклад в дело борьбы с неграмотностью внесли Д. Бедный, Л. Сейфуллина, художники Д. Моор, М. Черемных, В. Дени и другие. А сколько подлинно героических страниц в летопись этой борьбы вписали народные учителя, особенно на селе, где развернулись главные битвы с невежеством и бескультурьем!

А. В. Луначарский, выступая на Всероссийском съезде Советов в январе 1924 года, назвал дело борьбы за грамотность «одним из памятников Владимиру Ильичу, исполнением одного из его последних и энергичнейших заветов». Реконструкция на-



родного хозяйства, стройки пятилеток, колхозы — все это настоятельно и властно требовало грамотности, культуры.

В борьбе с темной особенную активность проявил комсомол. Автор рисует картину культпохода, объявленного молодежью в годы первой пятилетки, показывает его достижения и успехи, не забывая и теневых его сторон, «издержек левого прожектерства» (по выражению А. С. Бубнова).

«Что особенно было ценно в первые годы культпохода? — писала Н. К. Крупская. — Это то, что масса сама взялась за это дело и уделила огромное внимание работе с безграмотными». Но при этом Надежда Константиновна решительно осуждала погоню за внешним эффектом, всякое «вспышкопускательство», когда внимание к неграмотным «стало подменяться администрированием. Эти все культавралы, культштурмы, которые вошли в моду, стали подрезывать умение подойти к каждому слою по-особому. Стали заботиться больше о количестве...». Н. К. Крупская неустанно повторяла, что необходимо обратить внимание на «неподметенные углы» культурной работы. Она подвергала сомнению завышенные данные об успехах и достижениях ликбеза. И действительно, в середине тридцатых годов детальное изучение положения дел партийными и советскими организациями вскрыло в некоторых областях и республиках заметное несоответствие между отчетными цифрами и жизнью. Н. К. Крупская всегда напоминала о необходимости закрепления работы ликбеза книгой, газетой, о неразрывной ее связи со всей системой культурно-массовой работы среди населения, ибо только это могло уничтожить опасность рецидива неграмотности, поднять общий уровень культуры масс.

Правильно подчеркивает В. А. Куманев органическую связь ликбеза и всеобщего. Только проведение в жизнь всеобщего обучения детей могло подорвать корни неграмотности взрослых, обеспечить ее ликвидацию к концу тридцатых годов. Однако после окончания Отечественной войны проблема ликбеза в ряде мест встала вновь. Ведь в районах, оккупированных фашистами, не могло быть и речи о развитии народного образования, да и вообще трудности военного времени зачастую мешали детям

учиться. Опыт ликвидации массовой неграмотности двадцатых — тридцатых годов учит вниманию. заботе о каждом неграмотном в отдельности, а они подчас еще могут встретиться в нашей жизни.

Досадно, что в интересной и содержательной книге не вскрыты особенности работы по ликвидации неграмотности среди многочисленных народов нашей страны. Создание письменности для «бесписьменных» народов Севера, горного Дагестана и других, латинизация алфавитов тюркоязычных народов, а затем переход на русскую графику письма — все это темы, требующие от историка, разрабатывающего в едином комплексе все аспекты борьбы за народную грамотность, глубокого и обстоятельного исследования. Автор монографии в этом плане, к сожалению, не сделал существенных шагов вперед.

Книга В. А. Куманева радует хорошо подобранными фотодокументами, тщательно выполненным научно-справочным аппаратом. Тем досаднее некоторые неточности. Так, на странице 177 говорится о туркменских женщинах, сбросивших паранджу, в то время как они ее никогда не носили. Не всегда точны ссылки на архивы. Нельзя не заметить разнобоя в цифрах, приводимых автором. На странице 265 В. А. Куманев говорит, что за годы первой пятилетки было обучено сорок — сорок пять миллионов неграмотных, между тем как эти данные относятся к итогам первой и второй пятилеток. Недостаточно обстоятельно и конкретно разработан автором исследуемый процесс на последнем этапе тридцатых годов. В работе, написанной, в общем, живо, попадаются штампованные фразы, канцеляризм.

Обобщение советского опыта борьбы за народную грамотность глубоко актуально. По данным ЮНЕСКО, в наши дни еще две пятых взрослого населения земного шара не умеет читать и писать. Эту чудовищную потерю интеллектуальных ресурсов ощущают сегодня народы Азии, Африки, Латинской Америки, где почти половина детей не посещает начальных школ. Книга о том, как наша страна победила неграмотность, вносит свой вклад в борьбу против невежества во всем мире.

**Людмила ЗАК,**  
кандидат исторических наук.

## ДИАЛЕКТИКА ИСТОРИИ И ЛОГИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Ю. Ф. Карякин и Е. Г. Плимак. *Запретная мысль обретает свободу. 175 лет борьбы вокруг идейного наследия Радищева.* «Наука». М. 1966. 304 стр.

Историки русской общественной мысли, в течение долгого времени занимавшиеся преимущественно размежеванием главнейших ее тенденций — либеральной, соглашательской, реформистской и революционной, демократической, радикальной, — значительно меньше обращали внимание на то важное обстоятельство, что внутри последней (как, впрочем, и внутри первой) существовали многие разновидности, порой довольно далекие друг от друга и находившиеся в сложных взаимоотношениях между собою. Революционерами были Герцен и Нечаев, Писарев и Бакунин, Лавров и Ткачев, но какими разными революционерами!

Заслугой авторов рецензируемой книги и является как раз убедительное раскрытие того факта, что революционная мысль Радищева представляла собою явление сложное, несла в себе начала весьма различных типов революционности, четко обнаружившихся в русской общественной мысли лишь впоследствии.

Если попытаться коротко охарактеризовать концепцию Ю. Карякина и Е. Плимака, то она сводится к следующему.

В 1780-х годах автор «Путешествия из Петербурга в Москву» выступает как крайний политический радикал, ярый враг самодержавия, категорический противник каких бы то ни было реформистских или либеральных иллюзий. Но вот свершилась Великая французская революция — и перед нами другой Радищев: раньше он звал к революции — теперь он предупреждает против гражданской войны; раньше он обрушивался с проклятиями на тех, кто хотел открыть глаза царям, — теперь он сам во власти идеи, будто новый русский монарх, Александр I, сможет положить начало освобождению народа от деспотизма...

Возражая некоторым буржуазным авторам, Ю. Карякин и Е. Плимак доказывают, что Радищев не изменил делу свободы, не превратился в либерала. «Польза миллионов» по-прежнему остается для него главным мерилем исторического прогресса и основным критерием собственной деятельности. Переоценке подверглись лишь представление о средствах и путях достижения народной свободы.

Что же произошло? А случилось то, что

революционные идеи XVIII века, сторонником которых был и Радищев, подвергшись проверке в огне великой революции, оказались слишком приблизительными, упрощенными, реальная же революция — гигантски сложным делом. Якобинская диктатура — детище народа, его орудие, которым он сокрушил многих своих врагов, — обернулась против него самого.

Вот почему Радищев, вовсе не отрекаясь от идеи революции, отказывается принять и оправдать те политические формы, которые приняло осуществление этой идеи во Франции 1793 года. Для него робеспьеровский «деспотизм свободы» выступает как тождественный деспотизму королей или даже деспотизму римских цезарей.

Не понимая значения «деспотического» начала в действиях революционной власти, окруженной контрреволюцией, Радищев, конечно, ошибался. Но это была, говорят авторы, не просто и не только ошибка. В этой форме русским мыслителем была схвачена, почувствована такая тенденция: в определенных условиях революционная власть может обернуться антидемократизмом; а в этом случае террор может оказаться повернутым против самой революции.

Ю. Карякин и Е. Плимак пишут о том, что в борьбе «террористов», «диктаторов» (Сен-Жюст, Робеспьер), с одной стороны, и «антитеррористов», врагов «диктатуры» (Ру, Пейн, Демулен, Кондорсе), с другой, в республиканской Франции 1793—1794 годов было выдвинуто два диаметрально противоположных взгляда на революционное насилие. В столкновении этих взглядов резко выступила проблема «цены свободы».

Нащупывание этой проблемы было для Радищева, как и для других мыслителей конца XVIII—XIX веков, делом очень трудным и болезненным. Жизнь еще не содержала в себе предпосылок для ее решения — она лишь поставила ее. И, как часто бывает, это первое осознание новой всемирно-исторической проблемы приводит наиболее глубоких мыслителей к мучительнейшей духовной драме, связанной с пересмотром своих прежних взглядов. Если раньше Радищев восклицал: «Скажи же, в чьей голове может быть больше несообразностей, если

не в царской?», то теперь он упорно ищет в истории примеров добрых и разумных царей, мечтает о «премудрости», восседающей на престоле.

Но, как показано в рецензируемой книге, этот «монархизм» Радищева был весьма шатким и непрочным. И отсюда пессимистические ноты, ощущение «безысходного тупика». «Свободолюбивый идеал Радищева не изменился,— пишут авторы,— другим стало лишь представление о путях и средствах его осуществления». Последнее, пожалуй, не совсем точно: остался только идеал, новое же, «другое» представление о путях и средствах его осуществления так и не было найдено. Ведь и сами авторы утверждают: «Подняться до уровня иных теоретических представлений, указывающих выход из тупика, Радищев не смог».

И не мудрено: выход из подобного тупика полстолетия спустя не мог найти даже вооруженный гораздо более тонким методологическим оружием Герцен, в результате — новая духовная драма. А «Письма без адреса» и «Пролог» Чернышевского — разве они не есть выражение и продолжение той же самой драмы, драмы мыслителей, видевших социальную неразвитость и политическую незрелость того класса, освобождению которого они отдают свою жизнь?

Иллюзии Радищева, связанные с либеральными начинаниями Александра I,— этот отход от революции, отступление от нее, внешне представляющееся как идейный срыв,— авторы рассматриваемой книги делают предметом внимательного анализа. Они верно полагают, что задача историка состоит не в горестном сожалении по поводу такого «срыва» (и уж, конечно, не в стыдливом его замалчивании), а в уяснении смысла тех проблем, которые нередко стоят за известными ошибками и колебаниями передовых мыслителей прежних эпох, проблем, переданных ими грядущим поколениям. «И если для либерала разного рода «духовные драмы» и «коллизии» — довод за то, чтобы не делать революцию вообще,— пишут Ю. Карякин и Е. Плимак,— то для марксиста — это довод за то, чтобы делать ее лучше. Марксист не отмахивается от анализа ошибок и блужданий революционеров прошлого; он умеет за ошибками видеть проблемы, за блужданиями — поиск, за откатыванием назад — предпосылку для нового движения вперед».

Рассматриваемый под углом зрения этой

методологии, последний период жизни Радищева предстает не только как время идейного отступления, но и как период подъема к новой ступени познания революции. Радищев выступает, таким образом, не просто как первый русский революционер, а как революционер, впервые задумавшийся «над трудностью и сложностью пути революции, ответственностью революционной мысли и, особенно, революционного действия». Основоположник русской революционной традиции, он вместе с тем стал и родоначальником «традиции борьбы против бездумной революционности».

И вот если теперь, когда прочитана вся книга, вновь взглянуть на «последовательно-революционные» (по терминологии авторов) идеи Радищева периода «Путешествия», то многое в них в свете его глубоких размышлений девятидесятых годов не может не показаться прямолинейным.

Мечта о революции-мщении («О! если бы рабы, тяжкими узами отягченные, ярясь в отчаянии своем, разбили железом, вольности их препятствующим, главы наши, главы бесчеловечных своих господ и кровию нашею обагрили нивы свои!..»), отсутствие сомнений в способности крестьянства к социальному творчеству — это, конечно, крайний политический радикализм, тот самый, который на рубеже XVII и XVIII столетий выражал Мелье и который в более позднее время рождал идеи Сен-Жюста и Марата. Но с этим крайним радикализмом Радищева связана и определенная узость взгляда, вполне соответствовавшая неразвитому политическому сознанию крестьянских масс. Ждать свободу «от самой тяжести порабощения» мог только мыслитель, конечно же, искренне и самоотверженно стремившийся помочь своему народу, но не представлявший всей сложности такого исторического явления, как народная революция.

Тут, по-видимому, самое время затронуть вопрос о значительном различии между крестьянской и буржуазно-демократической революционной идеологией эпохи восходящего капитализма. Еще и в наше время не редко представление: чем беднее, чем угнетеннее класс, тем глубже социально-философские идеи его духовных представителей. Да, крестьянство в целом, как бы схематично это ни звучало, «больше народ», чем буржуазия. Оно готово на более радикальные и решительные действия. Но отсюда, думается, еще не следует тот вы-

вод, будто идеология крестьянской демократии (выразителем которой в России конца XVIII века объективно был Радищев) во всех случаях была тогда дальновиднее идеологии буржуазной демократии.

Как это видно из книги Ю. Карякина и Е. Плимака, наиболее серьезные теоретики буржуазной демократии XVIII века отдают себе отчет в различии таких понятий, как «мечь» народа и его «освобождение». Рейналь и Дидро, раздумывая над судьбами крепостной России, дают весьма глубокую постановку вопроса о ее будущем: «В империи, разделенной на два класса людей — господ и рабов, — как сблизить столь противоположные интересы? Никогда тираны не согласятся добровольно упразднить рабство, для этого потребуются их разорить или уничтожить. Но, допустим, это препятствие преодолено (то есть тирания уничтожена. — А. В.), как поднять из рабского отупения к чувству и достоинству свободу народы, столь ей чуждые, что они становятся бесильными или жестокими, как только разбивают их цепи?» А для Радищева восьмидесятых годов «отчаяние и иступление» народа — это уже и есть революция; казнь царя-тирана и избиение помещиков — это уже и есть установление народной свободы. Радищев в изображении Ю. Карякина и Е. Плимака предстает перед нами как революционный романтик, не видевший многих сложностей революции, не понимавший условий ее победы. Отмечаемая авторами революционность «Путешествия» — самое начало русской революционной традиции, и потому эта революционность чрезвычайно абстрактна и категорична; это именно зародышевая форма революционного демократизма.

Но тут возникает одно сомнение: не упрощают ли несколько авторы процесс идейного развития Радищева? Так ли уж однолинеен был Радищев в самом «Путешествии»?

В самом деле: говоря об отсутствии у Радищева «пессимизма и уклончивости» в отношении будущего России, Ю. Карякин и Е. Плимак делают такую знаменательную оговорку: «Правда, и Радищев осознает всю трудность и длительность преобразования России: «О! горестная участь многих миллионов! конец твой скрыт еще от взора и внучат моих...» Не означает ли это некоторого — пусть еще и самому ему не до конца ясного — сомнения мыслителя в

том, что народное мщение и будет означать торжество дела свободы?»

И тут приходится вспомнить о том, что до «Путешествия» Радищев — современник пугачевского восстания отнесся к нему явно отрицательно. Вот ведь какой парадокс: связывая будущее родины с народной, крестьянской революцией, Радищев, как показывают авторы, отнюдь не принимал современных ему крестьянских «возмущений» и «бунтов». Вспоминается также и то, что и в самом «Путешествии», осмысливая опыт английской революции (узурпация власти Кромвелем), Радищев писал о возможности вырастания деспотизма из революционной войны: «Таков есть закон природы; из мучительства рождается вольность, из вольности рабство...» Формулировка эта была, конечно, далека от научности, но она свидетельствовала о сложности отношения Радищева к опыту прежних революционных движений.

Версия Ю. Карякина и Е. Плимака о безоглядном, лишенном противоречий радикализме Радищева восьмидесятых годов обедняет его идейные искания, делает его мысль более плоской, чем она была на самом деле. Правда, в этом виде она может быть тем более резко противопоставлена духовной драме мыслителя в девяностые годы. Однако не правильнее ли будет думать, что эта духовная драма не есть лишь отдельный, заключительный этап идейной эволюции Радищева, что ее элементы уже имелись налицо до «Путешествия» и во время его создания?

Сознание может забегать вперед, опережать бытие. Такое «опережение», по-видимому, еще в восьмидесятых годах порождало у Радищева определенные сомнения в успешности дела народной революции, к которой он призывал; оно ввергало его в тягостную, длящуюся духовную драму, всего резче выявившуюся, правда, уже после якобинского террора. Но это «опережение», эти сомнения и делают Радищева еще более глубоким мыслителем, чем показали нам авторы книги.

В этих заметках мы по необходимости ограничились лишь одним аспектом книги Ю. Карякина и Е. Плимака, хотя, может быть, и самым важным. Но она интересна и иными своими сторонами. Так, например, здесь выдвигаются заслуживающие внимания и обсуждения мысли о приемах эзопова письма у Радищева. На протяжении

нии всей книги авторы пытаются — и, в общем, с нашей точки зрения, успешно — на деле осуществить научный подход к историографии, рассматривая ее как коллективное, хотя и полное противоречий познание разными учеными одного и того же предмета. В книге можно найти довольно веские доводы в пользу более широкого использования гипотезы как приема исторического исследования. Поучительна рассматриваемая работа и с точки зрения проблемы единства теоретического и нравственного начал в деятельности ученого.

При внимательном чтении в книге Ю. Карякина и Е. Плимака можно обнаружить и неточности. Да и читать ее временами не очень легко: подавляет обилие специального материала. Откровенно дискуссионный

характер работы, являющийся ее безусловным достоинством (где и когда истина достигалась без острых столкновений?), подчас оборачивается своей негативной стороной: полемика вдруг выступает на авансцену как главный герой, спор становится излишне резким, этикет академической дискуссии нарушается.

Но в целом книга Ю. Карякина и Е. Плимака — это безусловно новое прочтение Радищева — яркое доказательство того, что даже самая что ни на есть «историографическая» и «литературоведческая» тема может (при правильном, глубоком подходе к ней) стать интересной для самого широкого читателя.

А. ВОЛОДИН.

★

## ВЫБОР ЕСТЬ ВСЕГДА

Суд истории. Репортажи с Нюрнбергского процесса. Политиздат. М. 1966. 303 стр.

Одним из самых сложных вопросов был вопрос об индивидуальной ответственности за преступления против человечества — таково было общее мнение юристов, участвовавших в работе Нюрнбергского процесса. Часть подсудимых в Нюрнберге ссылалась на то, что они всего лишь «солдаты», всего лишь исполнители приказов — и потому-де судите отдававших эти приказы. А «отдававшие приказы» заявляли, что их выбрал народ, что они были, следовательно, лишь слугами народа и коли уж хотя их судить, то пусть судят и их «господина» — пусть судят весь народ.

Понять фальшивость этих аргументов — значит понять не только «законность» Нюрнберга, понять это — значит дать могучее оружие и против нынешних преступников, благополучно окопавшихся сегодня в стенах государственных учреждений ФРГ — в роли «исполнителей приказов» или «слуг народных». Понять все это и помогает книга «Суд истории».

«Суд истории» — это сборник репортажей с Нюрнбергского процесса советских писателей и журналистов, среди которых В. Вишневский, В. Иванов, Р. Кармен, С. Кирсанов, Л. Леонов, Б. Полевой, К. Федин, И. Эренбург и другие.

Авторы репортажей — не юристы, не знатоки права. И, казалось бы, трудно ожидать от них помощи в решении вопроса, кото-

рый и для юристов-то не прост. Однако та подлинно демократическая позиция, с которой авторы следят за работой Нюрнбергского процесса, позволяет им решать эти проблемы подчас более убедительно, чем это делают собственные юристы. Несомненная заслуга и авторов сборника, и его составителя юриста Г. Н. Александрова заключается в том, что народный взгляд отнюдь не противопоставляется здесь юридическому, народное мнение не противопоставляется законности. «Мы верим, — пишет один из авторов, — что не разойдется возмущенная совесть с точным соблюдением всех законов».

Другая важная особенность сборника в том, что вполне понятная ненависть авторов к преступникам не переходит в мало что проясняющую брань по их адресу. «Возмущенная совесть» не мешает, а помогает исследованию проблемы. «Отправляясь в Нюрнберг, — пишет Леонов, — я дал себе зарок не браниться, как прежде, по адресу преступников войны. Правду не украшает и самая меткая ругань», «мне нужно заново перечитать историю страшного заговора и, независимо от моих личных привязанностей или антипатии, вынести суждение о злодействе».

Итак, не расправа, не месть, не брань, а постижение истины — вот пафос книги, вот что направляло перо советских корреспондентов в Нюрнберге.

Быть может, в статьях сборника это «постижение истины» не столь полно и раздумий в них не так много, как хотелось бы, но не забудем, что это — «горячие» репортажи. И все же, что может быть точнее «не юридического» решения проблемы ответственности, чем то, которое дается, например, в статье И. Эренбурга: «Каждый из нас и все мы, народы Советского Союза, и народы других государств, узнавших низость, жестокость захватчиков,— все мы компетентны судить этих злодеев». Народ вправе судить врагов своих (по параграфам права или без оных, вне зависимости от того, были прецеденты или нет); народ имеет право судить своих угнетателей. Говоря так, мы имеем в виду действительный, реальный, а не «бумажный» народ, демократически организованный и реально действующий (только его решения поистине законны), а не тот «народ», который служит непрременным атрибутом демагогических речей и от имени которого творятся беззакония и произвол.

Пусть так, скажет какой-нибудь адвокат какого-нибудь Гесса, но почему этот народ (или народы) судит в Нюрнберге руководителей государства, почему не всю нацию, не весь немецкий народ, «лишь выразителями» воли которого были подсудимые? (Так, кстати, и ставит вопрос адвокат Рольф в известном фильме Стэнли Крамера «Нюрнбергский процесс».)

Потому, дают ответ авторы сборника, что «руководители» эти не были слугами своего народа, не были проводниками его воли. «Они (немцы) попали в шестерню неумолимого механизма,— приводит В. Вишневский слова Гитлера.— Они не знают, что мы их преобразовываем и мнем из них то, что нам нужно». О какой же «воле народной» может тут идти речь!

Что же касается «солдат» (в генеральских мундирах), исполнителей преступных приказов, то вот позиция авторов сборника, выраженная С. Кирсановым: «Фюрер сказал — Геринг повторяет, фюрер приказал — Кейтель исполняет. Слово в слово говорят они языком своего фюрера. Мысль в мысль думают они, как он... Все они — гитлеры, только с другими кличками. Они все до одного отвечают за каждый замысел и за каждое преступление Гитлера, ибо они повторяли и дополняли его. Ими создан был Гитлер как воплощение их заговора, их преступной фантазии, их страш-

ных дел. Ведь без них Адольф Гитлер так и остался бы Шикльгрубером — трактирным истериком и неудачливым маньяком. Именно они и должны ответить за Гитлера перед судом народов...»

Этому взгляду целиком соответствует правовая, юридическая практика человечества. Существует целый ряд важнейших правовых документов, где прямо признается ответственность лиц за исполнение преступных приказов. «Подтверждаем,— говорится, например, в докладе Международной комиссии по ответственности и наказанию виновников войны (1919),— что ни гражданские, ни военные власти не могут быть освобождены от ответственности только в силу того, что вышестоящая власть может быть осуждена за то же самое преступление». Та же мысль — в Вашингтонском договоре об охране на море жизни нейтральных и невоюющих граждан, в «Декларации о наказании за преступления, совершенные во время войны» (1942), подписанной рядом государств.

А вот что по этому поводу записано в Уставе Международного Военного Трибунала, судившего гитлеровцев: «Тот факт, что подсудимый действовал по распоряжению правительства или приказу начальника, не освобождает его от ответственности, но может рассматриваться как довод для смягчения наказания». И дополнение к этому в Приговоре Трибунала: «Подлинным критерием в этом отношении, который содержится в той или иной степени в формулировках в уголовном праве большинства государств, является не факт наличия приказа, а вопрос о том, был ли практически возможен моральный выбор».

Это «дополнение» справедливо критикуется рядом юристов (см., например, книгу А. И. Полторака «Нюрнбергский процесс»). Люди (и юристы в первую очередь) и без этого дополнения прекрасно знают, что нельзя упускать из виду смягчающих обстоятельств,— это разумеется само собой. Но в данном случае нужно было ясное, принципиальное решение об ответственности за исполнение преступных приказов. И потому мы согласны с А. И. Полтораком, который противопоставляет этой формулировке другую, из приговора другого Военного трибунала: «Человек, который встретится с опасностью наказания, даже смертной казни, все равно имеет моральный выбор, если он ре-

шает не исполнить преступный приказ. Он может предпочесть собственное наказание причинению незаконного вреда другому невиновному человеку...»

«Моральный выбор есть всегда» — вот верное и принципиальное решение этой проблемы.

Требую решительного наказания преступников, авторы сборника отнюдь не рассматривают это наказание в качестве самоцели. «Если люди из всех стран мира съехались в разрушенный Нюрнберг, то не только для того, чтобы присутствовать при примерном наказании двадцати преступников, но и затем, чтобы, развернув перед народами кровавый свиток — сверх-историю невиданного злодеяния, спасти детей от возврата чумы... Мы видим маски детоубийц — и мы думаем о колыбелях».

Это очень важно — точно определить место и значение проблемы индивидуальной ответственности в ряду других вопросов, связанных с искоренением реакционных режимов. Мы материалисты. Вместе с

Чернышевским мы говорим: нужно не наказание отдельного лица, а изменение условий быта целого сословия. Но, говоря так, мы не забываем, что наказание отдельных лиц, совершивших преступления перед народом, как раз и входит в число мер, направленных к изменению «условий быта».

Изменение «условий быта» (внутри ли одной страны, в масштабе ли всей планеты) происходит, как известно, путем организации, сплочения и борьбы демократических сил. Но для того, чтобы эти силы сплотились и организовались, нужен рост их сознательности, нужно понимание ими происходящего. А сознательность и понимание рождаются и зреют в борьбе, и в частности в борьбе за наказание лиц, ответственных за преступления против человечества.

К этой борьбе призывают авторы сборника «Суд истории», и само появление такого сборника — факт этой борьбы, особенно необходимой сейчас, когда так неспокойно в мире.

Г. ВОДОЛАЗОВ.

★

## ЗА ФАСАДОМ «ВЕЛИКОГО ОБЩЕСТВА»

Политическая жизнь в США (Проблемы внутренней политики). «Наука». М. 1966. 295 стр.

Покойный президент Д. Кеннеди, по свидетельству своего биографа историка А. Шлезингера, искренне завидовал американским президентам и сенаторам, управлявшим государством сто лет назад. Тогда течение политической жизни в США отличалось спокойствием и однообразием. Содержание проблем, стоявших перед конгрессменами в момент их избрания, к концу срока их пребывания в конгрессе оставалось прежним... В наши дни, жаловался Д. Кеннеди, США буквально каждую неделю сталкиваются с новыми политическими задачами. По сравнению с ними проблемы прошлого века кажутся пигмеем.

Авторы рецензируемой книги — коллектив ученых Института мировой экономики и международных отношений — в основу своего труда положили правильную методологическую посылку. Внутриполитическая обстановка в США анализируется в едином комплексе с процессами, происходящими в экономике страны, и внешнеполитическими устремлениями американского империализма.

Монография объемом в девять печатных листов, посвященная вопросам внутренней политики огромной и исключительно пестрой по своему социальному составу страны, не может претендовать на полное исчерпание данной темы или на то, чтобы быть истинной в последней инстанции. Но она достаточно точно воссоздает общий фон, общую картину американской внутриполитической жизни и тем самым облегчает задачу будущему исследователю негритянской проблемы, или двухпартийного механизма, или роли американских профсоюзов и т. п. Хорошо систематизированный фактический материал дает пищу для основательных размышлений, заставляет пересматривать некоторые привычные представления.

В последние годы в американской политической литературе много пишут об «организационной революции», подразумевая под этим возникновение организаций, контролирующих каждую клетку общественно-политической жизни в Соединенных Штатах. Гигантские промышленные и фи-

нансовые корпорации, профсоюзы, негритянские ассоциации, университеты и всевозможные благотворительные фонды — таковы действующие лица на авансцене американской политики и экономики. Среди них в первую очередь следует иметь в виду особую роль государства, претерпевшую значительные изменения. Шестидесятые годы нашего века — период, когда процесс перерастания монополистического капитализма в государственно-монополистический в основном завершился. В этом главная отличительная черта экономической и политической структуры США.

«Большой бизнес» сегодня, как никогда, интересуется политикой. В этом отношении весьма любопытны факты, приводимые в книге. Вот один из них: 450 корпораций в США учредили специальные школы для своих служащих, где последние изучают «политграмоту» американского капитализма, принципы руководства избирательными кампаниями и т. п.

При оценке отдельных государственных экономических и политических мероприятий велик соблазн объяснять действия правительства исключительно выгодой тех кругов финансовой олигархии, партийные агенты которых одержали верх на очередных выборах. Между тем в последние годы известны, например, случаи конфликтов между правительством и бизнесом по такому важному для монополий вопросу, как вопрос о ценах. Защищая интересы монополистического капитала в целом, государство защищает их, между прочим, и от самих монополий...

Правительство Л. Джонсона проводит свою внутреннюю политику под флагом «Великого общества». Претенциозность последнего лозунга затмила и «новый курс» Ф. Рузвельта, и «новый республиканизм» Д. Эйзенхауэра, и «стратегию передовых рубежей» Д. Кеннеди. Программа «Великого общества» — это по существу вся социальная политика Л. Джонсона. И жаль, что в рецензируемой книге ее анализу отводится непропорционально мало места.

В этой связи хочется высказать два замечания. Справедливая критика несостоятельности программы «Великого общества» на страницах нашей печати, к сожалению, нередко сводится целиком и полностью к вьетнамской войне и вызванным ею мизерным размерам ассигнований на социальные нужды. Невольно возникает впечатление,

что, не будь этой войны, здание «Великого общества» было бы построено. С другой стороны, едва ли следует объявлять программу «Великого общества» попросту набором благих пожеланий, не содержащих ничего нового и неоднократно звучавших в прошлом. Начиная со времени президента Линкольна вплоть до 1963 года в США было принято всего шесть законов по вопросам образования, после 1963 года только конгресс восемьдесят девятого созыва принял пятнадцать таких законов.

Другое дело, что кардинальных перемен в жизни американского народа эта программа, конечно, не принесет. Если даже допустить возможность достижения определенного прогресса в области образования или медицинского обслуживания, то капитализм от этого не перестанет быть капитализмом. Реформы, предложенные американским правительством, не затрагивают эксплуататорской сущности капиталистического строя.

Программа «Великого общества» терпит провал на наших глазах. Как известно, конгресс провалил законопроект о гражданских правах негров. Следует признать, что депутаты конгресса, выступавшие против него, выражали желание и волю довольно обширных слоев населения. Расизмом заражены не только представители богатых слоев, но и многие, многие рабочие, служащие, фермеры...

До второй мировой войны негритянский вопрос рассматривался как локальная проблема, связанная с судьбой национального меньшинства на юге страны. В наше время чегритянская революция стала постоянным фактором политической жизни в США. Сегодня негры живут в американском обществе своим обособленным миром. Приведенные в книге сведения говорят о большей имущественной, профессиональной и образовательной однородности негритянского населения по сравнению с белым. У негров свой быт, своя литература, своя музыка, религия, свои организации и, наконец, мировоззрение. Обособленность эта вынужденная, она — итог векового попрания человеческого достоинства. Но вследствие этой обособленности среди «черного» населения страны возникло и критическое отношение к жизненному укладу белых американцев. Если когда-нибудь негры и добьются равноправия (что в условиях нынешней политической системы весьма



сомнительно), то это отнюдь не означает, что негритянский народ растворится в общей структуре американского общества. Сохранив автономию в области культуры, не захотят ли потомки дяди Тома иметь и свою собственную политическую платформу?

Кризис американского общества проявляется и в процессе омертвления буржуазной демократии. Экономический рост, увеличение размеров национального богатства не сопровождаются расширением демократии, расцветом духовной жизни общества. Буржуазная демократия в США существует в более урезанных формах, чем в некоторых других капиталистических странах, менее развитых в экономическом отношении. Начало шестидесятых годов ознаменовалось, с одной стороны, вступлением американской экономики в полосу длительного подъема, а с другой стороны — новыми гонениями на компартию и активизацией ультраправых сил. Новейшие средства информации вносят политику в каждый американский дом и семью. В то же время, по выражению одного журналиста, для большинства американцев политическая жизнь напоминает спортивные состязания: можно наблюдать по телевизору, но

самому не принимать в них никакого участия.

Система политических институтов буржуазной демократии среди многих других целей преследует цель формирования руководящих кадров для буржуазного общества. Буржуазия всегда стремилась к тому, чтобы ее интересы защищали яркие личности. Но хотя механизм естественного отбора как будто бы действует по-прежнему, фигуры крупного плана все реже появляются на политическом небосклоне Нового Света. А если и находятся среди правящей верхушки смелые и дальновидные капитаны, то они сталкиваются с враждебным отношением к себе со стороны собственного же класса...

Заключительные главы книги рассказывают о борьбе прогрессивных организаций и объединений страны за мир и демократию. Перед левыми силами США стоит задача создания антимонополистической коалиции. Чем скорее будет осознана необходимость создания такой коалиции, тем быстрее будет организован отпор силам реакции. В этом заинтересован и американский народ, и все миролюбивое человечество.

**Б. МАКЛЯРСКИЙ,**

*кандидат экономических наук.*

★

## КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ОРФОГРАФИЧЕСКАЯ РЕФОРМА?

**Орфография и русский язык. Ответственный редактор И. С. Ильинская. «Наука». М. 1966. 136 стр.**

Проект новой русской орфографии, опубликованный в сентябре 1964 года, вызвал бурю протестов — правда, в значительной мере наивных и показывающих непонимание существа дела — и, по-видимому, значительно меньше сочувственных откликов; дискуссия оборвалась и не вылилась в какие-либо законодательные решения, по крайней мере пока. Однако большая группа ученых, работавших над проектом, продолжает и сейчас считать предложенный проект реформы удачным и своевременным. Постепенному внедрению в широкие массы мысли о необходимости и полезности этой реформы и посвящена книга «Орфография и русский язык», составленная И. С. Ильинской, Н. А. Еськовой, Л. Н. Булатовой, Т. С. Ходорович и В. П. Григорьевым и выпущенная в свет Институтом русского языка АН СССР.

Книга очень дельная и интересная; ее

можно порекомендовать вниманию каждого, интересующегося родным языком и волнующегося вопросами его орфографии с ее трудностями, непоследовательностями и нерешенными вопросами. Читатель найдет здесь объективную научную постановку вопроса о соотношении правописания и произношения, правописания и грамматики, историю орфографических реформ русского письма, начиная от Петра I через Карамзина и других деятелей XVIII века, через Я. К. Грота и реформу 1917—1918 годов вплоть до споров и борьбы вокруг предложенной реформы в наши дни. Авторы останавливаются и на таких животрепещущих вопросах, как усвоение правописания в школе и роль его в творчестве писателей. И надо сказать, ставя вопросы спокойно и объективно, авторы не только достаточно убедительно отводят несерьезные, хотя и очень распространенные возра-

жения против реформы, сводящиеся к опасениям, что реформа орфографии изменит самый русский язык, но и наглядно показывают, как усложняет усвоение русской грамоты наша сегодняшняя сложная, противоречивая и не во всем научно обоснованная орфографическая система.

Конечно, не всегда с авторами можно согласиться. Например, едва ли верно, что «орфографический свод 1956 г. не имел никакого отношения к реформированию орфографии» и что поэтому неправильно мнение, будто у нас слишком часто реформируют правописание. Так называемый «свод» 1956 года был несомненной реформой орфографии; число новых орфографических правил в этом своде было больше, чем в правилах 1917—1918 годов, при этом некоторые правила были непоследовательны и нелогичны — например, написание «ци», хотя, как известно, в произношении после «ц» может быть только «ы» («панцирь» — однако «цыган» почему-то осталось). Но, при всей непоследовательности, это была частичная реформа орфографии.

Едва ли правильно авторы отрицают право на существование «грамматических сигналов» в орфографии (например, таким сигналом является мягкий знак в неопределенном наклонении: «беречь», «хотеть»); авторы книги, как и проект реформы 1964 года, предлагают писать «береч», «хотеть». Таким же сигналом является мягкий знак в глаголах «плачь», «кличь» — в отличие от существительных «плач», «клич»; авторы и проект реформы 1964 года предлагают в обоих случаях писать «плач», «клич», ссылаясь на то, что в самом языке, то есть в произношении, различий нет. Мне знакомы не менее чем два десятка письменных языков, но не известны такие орфографии, где бы не существовало «грамматических сигналов».

Однако суть дела не в этом. Вряд ли даже самый ожесточенный противник предложенной орфографической реформы может спорить с тем, что существующее правописание трудно для восприятия, непоследовательно, а иной раз и нелогично.

Вопрос заключается в том, какого рода изменения можно вводить, не внося хаос во всю текущую русскую письменность.

Сторонники реформы представляют себе дело таким образом: хотя, конечно, взрослому населению СССР в течение какого-то времени придется трудно, но зато будет гораздо легче школьникам, и следующее поколение русских будет более грамотным. На самом деле, как показывает опыт радикальных орфографических реформ в некоторых других странах, все происходит гораздо сложнее. Могу судить об этом, так как жил в Норвегии, одной из стран, проводивших в течение полувека три радикальные орфографические реформы.

Прежде всего в споре о проекте реформы орфографии 1964 года нужно совершенно оставить в стороне аналогии с реформой 1917—1918 годов. Та состояла всего из тринадцати пунктов, помещавшихся на одной-двух страницах печатного текста; большинство орфографических изменений носило совершенно механический характер и не требовало никаких усилий для запоминания: вместо «яти» — «е», вместо «и» с точкой и «ижицы» — «и», вместо «фиты» — «ф», вместо твердого знака на конце слова — ничего. Помимо этого, имелось еще три простейших правила насчет *-аго, -яго*, заменявшихся на *-ого, -его*, насчет «они» вместо «онѣ» и насчет *-ые* вместо *-ыя*. Для заучивания всего этого требовалось не более нескольких минут, и все это совершенно не мешало чтению книг по старой орфографии, которые продолжали практически быть в ходу еще в течение целого поколения наряду с книгами, напечатанными по новой орфографии. Они продолжали быть в ходу, но ввиду ничтожного различия в правописании не могли оказывать вредного влияния на освоение грамотности новым поколением.

Проект новой орфографической реформы содержит десятки и десятки параграфов, че всегда последовательно сформулированных, иногда вводящих новые исключения взамен старых и т. п., общим объемом в два-три десятка страниц. Конечно, те, кто будет изучать новую орфографию с первого класса, смогут ее заучить — при условии, что ее хорошо усвоят их учителя и вообще взрослые. Взрослые же ее не усвоят — хотя бы потому, что во многих параграфах требуется подробный грамматический и специально синтаксический ана-

лиз предложения, прежде чем можно будет применить новое правило. Но умение грамматически анализировать текст на практике забывается почти сразу после окончания школы подавляющим большинством пишущих и читающих; и если они все же правильно применяют существующую орфографию (тоже основанную во многом на таком анализе предложения и отдельных грамматических форм), то не потому, что правильно грамматически анализируют текст, а потому, что у них в школе выработался автоматизм в применении данных орфографических правил. Вот этого-то автоматизма и лишатся десятки миллионов взрослых, пишущих по-русски, а также дети, которых реформа застигнет в старших и средних классах школы. Сторонники и авторы проекта реформы отвечают на это: ну и что же? Это неизбежная плата за несомненное благо реформы; нынешнее поколение взрослых сойдет со сцены, и тогда... Они ошибаются. Еще до того, как это поколение сойдет со сцены, оно через семью в не меньшей мере, чем школа, будет влиять на подрастающее поколение. «Папа, а как пишется?..» — будет спрашивать «подрастающее» поколение у «отживающего». Нельзя думать, что молодое поколение учится грамоте только — или хоть главным образом — в школе; тот, кто учил орфографию только в школе и ничего не читал, кроме «Родной речи», грамотным не бывает. Молодое поколение учится грамоте из книг, которые оно читает, с вывесок, из писем, из документов, которые пишут взрослые, наконец из газет. В особенности от чтения книг, которые написаны по «старой орфографии» и которые еще очень долго нельзя будет заменить книгами, перепечатанными по новой орфографии, пуганица в головах будет усугубляться. А число книг сейчас во много раз больше, и читает их сейчас во много раз больше народу, чем это было при реформе 1917—1918 годов. В то же время читать книги, напечатанные по столь отличающейся «старой» орфографии, будет трудно, будет требовать усилия, которого не требовало чтение после реформы 1917—1918 годов с ее чисто механическими заменами — и в результате будут рваться нити, связываю-

щие новые поколения со старой русской литературной традицией. Чем богаче унаследованная литература и чем радикальнее изменения, необходимые для приведения орфографии в соответствие с явлениями языка, тем труднее осуществить реформу, не обрывая традиций и не вводя беспорядка в орфографические навыки населения. Именно поэтому, а вовсе не из-за якобы прирожденной косности англичан до сих пор нет реформы английской орфографии, точно так же как не реформируется и не менее неадекватная живому языку французская орфография.

Напрасно авторы книги и другие сторонники новой реформы думают, что подобные возражения — это невежественные страхи людей, которые сами не знают, о чем говорят. Все это я сам видел и испытывал. Появятся «индивидуальные орфографии», то есть фактически молчаливо узаконенный орфографический произвол; во время диктанта в классе на каждую парту придется положить орфографический справочник; а книги, написанные в XIX и начале XX века, по своему графическому облику будут восприниматься так, как мы сейчас воспринимаем Кантемира и Симеона Полоцкого. Для норвежца второй половины XX века Гамсун — старинный писатель, а Ибсен — едва ли что не древний. Этого ли мы хотим для своей литературы?

Авторы книги «Орфография и русский язык» убедили меня — и, вероятно, убедили и многих других читателей, — что реформа русской орфографии нужна. Да, но какая реформа? Десяток новых, очень ясных, очень логичных правил, сразу запоминающихся, могущих сейчас же и автоматически быть примененными каждым читающим и пишущим. Но не многие десятки параграфов, в которых концы не сходятся с концами и которые надо зазубривать на специальных курсах всеобщего неликбеза. Нужна реформа, подобная той, которую подготовили такие языковеды, как Ф. Ф. Фортунатов и А. А. Шахматов. Нужна реформа, но не реформа по проекту 1964 года.

**И. ДЬЯКОНОВ,**

*доктор исторических наук.*

Ленинград.



## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**Г. Е. ГЛЕЗЕРМАН.** Исторический материализм и развитие социалистического общества. Политгиздат. М. 1967. 304 стр.

За последние двенадцать—пятнадцать лет под благотворным воздействием общих изменений в нашей жизни существенным образом возрастает активность теоретической мысли, утверждается по-настоящему творческий подход, обеспечивающий действительно научный анализ общественных процессов. Очевиден поворот от комментирования и «подтверждения» уже принятых решений и осуществленных мер к научному поиску, к активному участию в объяснении новых явлений, в раскрытии реальных противоречий и трудностей нашего развития. Монография, написанная профессором Г. Е. Глезерманом, представляет собою серьезную попытку исследовать основные методологические принципы, применение которых делает возможным объективный анализ развития социалистического общества.

Автор вдумчиво анализирует соотношения и взаимосвязи объективного и субъективного в истории. В общем методологическом плане рассматриваются автором также вопросы взаимосвязи экономических отношений и интересов людей. Так случилось, что сами понятия «интерес», «личная заинтересованность» очень часто понимались у нас как корыстность и нечто чуждое передовому сознанию. Профессор Глезерман предлагает серьезный анализ этих далеко не только теоретических вопросов.

В философской литературе имели место попытки истолкования закономерностей нашего общества как некоей «диалектики гармонии» взамен диалектики единства и борьбы противоположностей. Решительно отвергая поиски такой «новой» диалектики, автор вполне правомерно говорит о своеобразном характере общественного прогресса в современном мире. Интересно поставлены в этой книге вопросы научного руководства.

Возможно, книга могла быть более стройной. Кое-что из ранее написанного автором слишком заблудливо сохраняется, хоть и не всегда «укладывается» в новую структуру. Явно не хватает остроты в освещении спорных вопросов. При всем том монографию Г. Е. Глезермана можно без сомнений зачислить в актив современной философской литературы.

**М. Слуцкий,**  
*кандидат философских наук.*

**ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ.** Библиографический справочник. 1917—1967. Составители М. М. Дижур и Т. Н. Криворучко. Государственный комитет Совета Министров СССР по науке и технике. Государственная публичная научно-техническая библиотека СССР. М. 1967. 604 стр.

Этот библиографический справочник охватывает литературу по организации управления промышленностью за 1917—1967 годы. Выход такой книги нельзя не приветствовать. Она поможет удовлетворить интерес широкого круга читателей к вопросам управления народным хозяйством, столь характерный для последних лет.

Круг литературы, включенной в справочник, широк. Это не только монографии и исследования по вопросам управления промышленностью, но также многочисленные статьи в периодических изданиях. Многие ставшие библиографической редкостью работы незаслуженно забытых авторов справедливо нашли свое место в справочнике. Составителями выявлены не потерявшие своей актуальности и представляющие существенный научно-исторический интерес работы, помещенные в свое время в малоизвестных сборниках, в различных «ученых записках» и «трудах». Заслуживает одобрения включение в справочник работ, посвященных организации делопроизводства.

Вместе с тем в книге есть ряд серьезных недостатков. Ее составители никак не оговорили, насколько полно охватывает справочник литературу по данной теме. Даже самый беглый просмотр заставляет недоумевать, почему за пределами справочника остался ряд серьезных и актуальных работ, непосредственно относящихся к вопросам управления промышленностью. Так, в справочнике не отражена ни одна из работ В. З. Дробижева, посвященных истории органов по управлению промышленностью, в частности изданная в 1966 году монография «Главный штаб социалистической промышленности (Очерки истории ВСНХ 1917—1932 гг.)». Нет работ Н. Ю. Петрова «Советы народного хозяйства» (1958) и Н. Силантьева «Рабочий контроль и совнархозы» (1957). Из более ранних изданий в справочник следовало бы включить такие исследования, как книга Н. Пердovichа «Советские тресты и синдикаты», вышедшая в Харькове в 1925 году; работа В. Торжевского «Основы структуры и хозрасчета

в промышленности» (М.—Л. 1930); некоторые статьи Н. Святыцкого о трестах и организационных вопросах промышленности за 1923—1926 годы. Вызывает сожаление отсутствие упоминания о сборнике документов «Законодательство о промышленности, торговле, труде и транспорте», три части которого вышли в 1923—1925 годах и содержат много материалов, впоследствии нигде не публиковавшихся, но представляющих большой исторический интерес.

Далеко не бесспорной представляется и структура справочника, никак, кстати, не объясненная составителями. Все это вместе с некоторыми погрешностями частного характера ощутимо снижает ценность этой полезной книги.

**А. Елпатьевский.**

★

**А. КИТАЙГОРОДСКИЙ.** Реникса. «Молодая гвардия». М. 1967. 238 стр.

Слова «реникса», выбранного в качестве заглавия новой книжки профессора А. И. Китайгородского, нет в словарях, но, взглянув на эпиграф, взятый из «Трех сестер» Чехова, мы вспомним, что это просто «чепуха», прочитанная так, как если бы слово, написанное латинскими буквами, читалось по-русски.

Речь в этой книге идет о легковерии, основанном на пренебрежении неизбежными законами природы, и об умении разглядеть и отбросить всяческую «рениксу», в какие бы одежды она ни рядилась и где бы она ни пыталась свить гнездо: в химии, астрономии, биологии, философии или психологии. Вся книга профессора Китайгородского — темпераментно и легко написанная «антиреникса», и можно с уверенностью сказать, что автору удастся обратиться в свою веру (точнее, в научно обоснованное неверие) многих колеблющихся. Это объясняется легкостью, с которой читается книга, и интересными разборами различной «чепуховой» литературы. Читатель получит возможность познакомиться не только с образцами рассуждений древних софистов, но и с выдержками из современных «Курсов ангелологии», с теоретическими изысканиями в области предсказания будущего и т. д. Сильное впечатление при этом производит преемственность между древними и современными жрецами «рениксы», сходство приемов и методов доказательств.

В упрек автору можно поставить разве что слишком резкие нападки на Аристотеля и греческих софистов. На протяжении почти двух десятков страниц А. И. Китайгородский довольно едко комментирует всевозможные рассуждения древних философов и лишь в двух-трех строчках, которые легко могут потеряться при чтении, отмечает, что «ряд заслуг Аристотеля неоспорим».

Серия «Эврика» пополнилась еще одной интересной и полезной книжкой.

**В. Френкель.**

**Л. Н. ГУМИЛЕВ.** Древние тюрки. «Наука». М. 1967. 504 стр.

Степи Средней Азии от хазарских владений до границ корейского царства Когурьо, от каменистых пустынь Тибета до отвесных круч Алтая и Саян на рубеже древности и средневековья жили напряженной и многообразной жизнью. Здесь непрерывно велись войны, скакали неподкованные степные кони ратников, создавались и распадались государства, возникали и исчезали народы, вытесняли друг друга религиозные системы — манихейство, буддизм, христианство, ислам, шаманизм. Степные войска проникали в Китай, Персию, на Кавказ. Славянские племена и рыцари Карла Великого обрушивали на них свои тяжелые мечи.

«Народовержущий вулкан» (по выражению Н. В. Гоголя) — евразийская степь ужасала Европу набегами многолюдных и загадочных орд, появлявшихся неизвестно откуда и исчезающих неизвестно куда. Сведения об этих народах сохранились, в частности, в китайских династических хрониках, составители которых — искусные в интригах конфуцианцы — рассказывали историю кочевников языком врага, незаметно подкрашивая события, искажая имена тюркских ханов, о многом умалчивая. Не следует изучать историю народа исключительно с точки зрения его противника, — справедливо замечает Л. Н. Гумилев.

Древние тюрки — предки многих советских азиатских народов. Они основали собственную тюркскую культуру, широко распространенную и в наше время. Лингвистическое понятие о «тюркских» языках также связано с древними тюрками.

Книга Л. Н. Гумилева рассказывает о возникновении и гибели державы древних тюрков, об их быте и культуре, о народах и странах, окружающих тюркский каганат. События, происходившие в VI—VIII веках н. э., автор наносит на канву всемирной истории, споря с европоцентристской теорией о «застойности» Азии.

Кропотливая работа историка особенно трудна тогда, когда от изучаемого им народа почти не осталось памятников письменности и предметов материальной культуры. Л. Н. Гумилев широко привлекает и с большим искусством использует всякого рода косвенные свидетельства — и литературные произведения («Шах-наме» Фирдоуси, корейскую и китайскую поэзию), и фольклор (алтайские сказки об Алпамыше, монгольский эпос о Гэсэре), и языковедческий анализ, и географические сочинения арабов... Результат этой многолетней работы (первые главы книги Л. Н. Гумилева были написаны в декабре 1935 года) — фундаментальная книга по истории древних тюрков, столь же важная для нас, как и любой сводный труд по истории России, стран Ближнего Востока, Европы.

Книга Л. Н. Гумилева — заметное явление в русской исторической науке. Написа-

на она живо, с настоящим литературным блеском, интерес читателя, не обязательно специалиста, не ослабевает до последней строки.

**Виктор Афанасьев.**

★

**И. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ. Поэзия Эдуарда Багрицкого. «Художественная литература». Л. 1967. 311 стр.**

Книга И. Рождественской, посвященная поэзии Эдуарда Багрицкого, небольшая по объему, привлекает прежде всего обилием материала из литературных архивов, старых одесских газет и альманахов. В интересных сопоставлениях — Багрицкий и Державин, Багрицкий и Вагнер, Багрицкий и Верхарн, Багрицкий и Спиноза — привычные слова о «фламандском» и «средневековом» в творчестве Багрицкого получают углубленный смысл. Содержательный раздел, посвященный Багрицкому-переводчику, выразительно оттеняет философское кредо поэта. При этом, сравнивая опыт Багрицкого и Маршака, автор книги с тактом избегает апологетических крайностей.

Добротность изложения, отличительное качество книги, особенно свойственна анализу поэмы «Дума про Опанаса». Поэтику «Думы» автор связывает с украинской фольклорной традицией, показывает и историю позднейшей переработки текста.

Несколько неожиданна, впрочем, характеристика либретто по «Думе» как лучшего варианта поэмы. Путь к поздней оперной редакции оказывается ценен осознанным изживанием из текста романтического, условного начала. Думается, что более скептическая оценка такой «работы над собой», проделанной Багрицким по наставлениям РАППа, была бы более справедливой.

Сложный творческий финал поэта часто вызывал резкие суждения критики или уходил в стыдливое молчание. В заключительной главе книги И. Рождественская не спешит досказать «все о Багрицком», но и не уклоняется от трезвого разговора о поэме «Февраль», где когда-то искали «стихию национализма», «стихию биологизма». И на протяжении всего исследования автор обстоятельно опровергает целый ряд когда-то адресованных поэту надуманных упреков.

Впрочем, иногда обстоятельность слегка перегружает книгу: так, художественная ценность «Происхождения» подтверждается ссылкой на «острую необходимость научно убедительного развенчания всевозможных ухищрений философского идеализма», на статью об «Иудаизме в СССР на последнем этапе нэпа» на труды Лафарга, Уриэля де Акосты и другие произведения — а в демократизме «трактирной» темы у Багрицкого нас призвана убедить «История кабаков...» издания 1868 года, откуда видно, что «в Южной Руси... помимо аристократических кабаков, были гораздо более скромные места увеселений...».

В книге немало сопоставлений Багрицкого с другими советскими поэтами. Здесь в основном ищется сходство и несходство разных концепций гражданской истории. Чисто поэтические параллели меньше интересуют автора, а между тем можно было бы сблизить «Сказание о море...» не только со средневековой романтикой и поэзией Востока, но и с блоковской «Ночной фиалкой», а в «Феврале» увидеть поистине выстраданное Багрицким решение темы Незнакомки. Отдельные современники поэта оценены несколько пессимистично: у Светлова времен нэпа «исчезало живое ощущение близости к народу и ответственности за его судьбу», Заболоцкий позволял себе «пошлые намеки на неизбежность умственного вырождения крестьян», Брюсов «до Октябрьской революции почти не знал жизни трудового народа»; на фоне таких приговоров заверения в философском здоровье самого Багрицкого теряют в убедительности. При этом немало «колючих» и «мрачных» стихов списывается на счет пагубных влияний конструктивизма.

Многое в этой интересной книге рождает споры, но и взлечет к размышлениям. Знакомство с нею будет полезно читателю.

**С. Небольсин.**

★

**СЕРГЕЙ БОБРОВ. Мальчик. Лирическая повесть. «Советский писатель». М. 1966. 293 стр.**

Сергей Бобров — один из старейших советских писателей. Его повесть «Мальчик», написанная от первого лица, показывает духовную эволюцию ребенка, подростка и наконец юноши.

В подзаголовке повесть названа «лирической». События в повести не связаны между собой определенным сюжетом. Не сюжет, а лирическое начало создает композиционное единство повествования. Повесть построена как мозаика фрагментов, построена как сама память: многое забывается, выпадает, но остается цельность воспоминаний о себе, цельность человека во времени.

Для автора ее важна прежде всего самая атмосфера, духовная реальность той далекой поры, когда не в дворовку был сбиваешь с самоваром у Сухаревки, а в интеллигентной старомосковской семье, где рос мальчик, старшие были уверены, что «поэзия — это Майков, А. К. Толстой», а Тютчев всего-навсего «нисколько не хуже Фета».

Сергей Бобров тщательно и бережно передает сперва несколько «обрывочный и смутный, потом все яснее и расширяющийся мир детства. В этот нервный и трепетный мир вторгаются события жизни взрослых, неуяснимые семейные неурядицы, запреты родителей, драка на рынке, страшная и много позже понятая Ходышка...

Для юноши, как и для мальчика, веками жизни оказываются события чисто «внутренние», духовные: встреча с Блоком (заочная,

в тоненькой лиловой книжке журнала), встреча с Брюсовым — в те времена, когда «Вхутемас — еще школа ваянья» (потом в своем автобиографическом очерке Б. Пастернак вспомнит о «совоарище ранних своих дебютов» Сергее Боброве). Встреча с Брюсовым произошла в редакции «Весов»: «О стихах он говорил медленно, осторожно, сам внимательно прислушиваясь к каждому своему слову. Сперва он открывал как бы перед собой всю панораму этого стиха, затем осторожно показывал, с какой стороны надо подойти к ней, потом показывал — вот на этих-то холмах и покоится сияние этого стиха...»

Начало века входит в жизнь юноши революцией: «Странное слово «товарищи», неожиданно-теплое, было неотвратно повелительно...»

Автора книги и здесь интересует прежде всего линия духовного постижения жизни его героем. Юноша принадлежит к тем, для кого не важен внешний успех и деньги; у лучших представителей его поколения — абсолютный слух на тончайшие движения души, на малейшие оттенки восприятия.

«Мальчик» — это повесть о начале пути русского интеллигента того поколения, которое, в молодости пройдя горнило Октября, впоследствии, в двадцатые—тридцатые годы, дало блестящую плеяду деятелей искусства и науки.

Стиль повести Сергея Боброва скромнен, четок и прост, я бы сказал, «по-бунински»: писатель не хочет жертвовать сложностью переживания, восприятия и в то же время не боится ясности и простоты (страх, не редкий у писателей его поколения в пору двадцатых—тридцатых годов).

Ю. Айхенвальд.

★

**С. БОРЩЕВСКИЙ.** «Отечественные записки». 1868—1884. Хронологический указатель анонимных и псевдонимных текстов. «Книга». М. 1966. 96 стр.

Издательство «Книга» подарило читателям в начале нынешнего года три ценных указателя по периодике XIX века. Один из них — труд литературоведа Соломона Самойловича Борщевского (1895—1962).

Открывается книга вступительной статьей С. А. Макашина — обзором и оценкой всех трудов покойного автора.

Вдумчивый исследователь и комментатор творчества Герцена, Достоевского, Чернышевского и в особенности Салтыкова-Щедрина, С. Борщевский не был специалистом-библиографом. Указатель анонимных и псевдонимных текстов «Отечественных записок» вырос на почве многолетнего изучения им «неизвестного» Щедрина.

В поисках неподписанных статей и рецензий великого сатирика С. Борщевский не только ввел в научный оборот более сорока статей Щедрина, но и создал ключ к не изученному до тех пор крупнейшему органу передовой демократической мысли прошлого века.

История «Отечественных записок» делится на два периода. Первый (1868—1877) — редакторство Н. А. Некрасова; второй (1877—1884) — Салтыкова-Щедрина, ставшего после смерти поэта душой этого издания. В книге С. Борщевского представлены оба периода (указатель к первому напечатан впервые в 1949 году в некрасовском томе «Литературного наследства», т. 53-54).

В кратком предисловии составитель так характеризует свою работу: «В указателе описан в хронологическом порядке весь анонимный и псевдонимный текстовый материал журнала, за исключением стихотворений и рецензий (отдела «Новые книги»).

Все записки тщательно сопровождаются ссылками на источники. Недоверчивый или любознательный читатель может проверить собственными глазами утверждения исследователя. В книге нет ничего голословного, недоказанного, и те случаи сомнения, когда чье-либо авторство установлено не документально, а иным путем, — оговорены.

При каждом номере журнала приведена точная дата его выхода в свет, терпеливо разысканная С. Борщевским.

Среди сотни раскрытых авторов, помимо Щедрина, мы видим имена известных русских писателей и критиков: П. Боборыкина, П. Засодимского, Н. Златовратского, В. и Н. Курочкиных, П. Лаврова, Д. Мамина-Сибиряка, Н. Михайловского, Д. Мордовцева, А. Островского, Д. Писарева, Г. Плеханова, А. Плещеева, В. Слепцова, Г. Успенского, украинскую писательницу М. Маркович и других.

С. Борщевский не смог, к сожалению, до конца разрешить поставленную перед собой задачу. Иногда против отдельных статей стоит знак вопроса. Это означает, что у исследователя не было никаких предположений об именах их авторов. Таких не определенных им произведений оказалось сто тридцать — ровно десятая часть всех включенных в указатель. Не установлено даже авторство некролога Некрасова.

С. Борщевским проделана огромная трудоемкая работа. Его указатель — солидный фундамент для изучения «Отечественных записок». К этому справочнику будут обращаться не только литературоведы, но и историки общественного движения, критики и журналисты.

Однако не завершена составителем часть работы еще ждет нового исследователя.

К. Богаевская.

# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



## ПОЛИТИЗДАТ

**Великий Октябрь и мировой революционный процесс** (Пятьдесят лет борьбы рабочего класса во главе революционных сил современной эпохи). 464 стр. Цена 1 р. 11 к.

**С. Марневич.** Тайные недуги католицизма (О противоречиях в современном католицизме). Перевод с польского. 167 стр. Цена 30 к.

**В. Пушкин.** Эвристика — наука о творческом мышлении. 272 стр. Цена 27 к.

**Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам.** В пяти томах. Том I. 1917—1928 годы. 783 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Эстафета великих побед.** Политико-экономический справочник. 312 стр. Цена 67 к.

## «МЫСЛЬ»

**В. Заплаткин.** Борьба В. И. Ленина против «империалистического экномизма» (1914 — февраль 1917). 168 стр. Цена 53 к.

**М. Илюсизов.** Ленинская наука руководства народным хозяйством. 166 стр. Цена 51 к.

**Индивидуальная работа с верующими.** Сборник статей. 224 стр. Цена 70 к.

**И. Минц.** Великая Октябрьская социалистическая революция и прогресс человечества. 80 стр. Цена 13 к.

**Мировая социалистическая система хозяйства.** В четырех томах. Том 4. Современное состояние и перспективы развития экономики социалистических стран. 432 стр. Цена 2 р. 20 к.

**И. Ольбрахт.** Путешествие за познанием. Страна Советов 1920 года. Перевод с чешского. 190 стр. Цена 31 к.

**В. Онушкин.** Научно-технический прогресс и современный капитализм (На материалах США). 264 стр. Цена 96 к.

**Современные теории социализма «национального типа».** Сборник статей. 288 стр. Цена 1 р. 7 к.

**С. Трапезников.** Ленинизм и аграрно-крестьянский вопрос. В двух томах. Том I. Аграрный вопрос и ленинские аграрные программы в трех русских революциях. 566 стр. Цена 2 р. 64 к.

## «ЭКОНОМИКА»

**В. Дмитриев.** Мелиорация земель — важный фактор интенсификации сельского хозяйства. 120 стр. Цена 28 к.

**М. Завельский.** Оптимизация отраслевого планирования. 360 стр. Цена 1 р. 27 к.

**Л. Костин.** Планирование труда в промышленности. 240 стр. Цена 77 к.

**С. Рогачев.** Индустриализация сельскохозяйственного производства. 120 стр. Цена 27 к.

**А. Трубочеев.** Как управляются предприятия в социалистических странах. 160 стр. Цена 50 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Айбек.** Детство. Перевод с узбекского. 280 стр. Цена 54 к.

**М. Грубиян.** Лодка и течение. Стихи. Перевод с еврейского. 136 стр. Цена 39 к.

**В. Добровольский.** Август, падают звезды. 239 стр. Цена 51 к.

**В. Лидин.** Три повести. 559 стр. Цена 1 р. 14 к.

**И. Мележ.** Дыхание грозы. Из полесской хроники. Роман. Перевод с белорусского. 520 стр. Цена 92 к.

**Б. Ручьев.** Поэмы. 139 стр. Цена 65 к.

**А. Тимонен.** Здесь мой дом. Роман. Перевод с финского. 366 стр. Цена 70 к.

**Б. Шинкуба.** Песня о скале. Поэма. Перевод с абхазского. 255 стр. Цена 94 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Н. Бараташвили.** Лирика. Перевод с грузинского Б. Пастернака и М. Лозинского. 94 стр. Цена 17 к.

**Библиотека русской советской поэзии.** В 50-ти книгах. Вышли сборники М. Алигер, Н. Асеева, Э. Багрицкого, В. Брюсова, Н. Заболоцкого, Б. Корнилова, В. Луговского, Л. Мартынова, С. Маршак, В. Маяковского, С. Михалкова, Б. Пастернака, А. Прокофьева, Н. Рыленкова, М. Светлова, И. Сельвинского, А. Твардовского, Н. Тихонова, В. Федорова, С. Шипачева.

**Д. Борроу.** Лавенгро. Мастер слов, цыган, священник. Перевод с английского. 663 стр. Цена 1 р. 18 к.

**Жизнь Ласарильо с Тормеса, его невзгоды и злоключения.** Перевод с испанского. 79 стр. Цена 11 к.

**Г. Мелвилл.** Моби Дик, или Белый Кит. Роман. Перевод с английского. «Библиотека всемирной литературы». 607 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Т. Мотылева.** Глазами друзей и врагов. Советская литература за рубежом. 136 стр. Цена 21 к.

**М. Налбандян.** Стихотворения. Перевод с армянского. 111 стр. Цена 27 к.

**Поэты революционного народничества.** 264 стр. Цена 36 к.

**Ханани.** Лирика. Перевод с фарси. 175 стр. Цена 32 к.

**К. Чапек.** Как это делается. Год садовода. Перевод с чешского. 223 стр. Цена 33 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**А. Гидаш.** Мартон и его друзья. Роман. Перевод с венгерского А. Кун. Стихи в переводах Л. Мартынова. 397 стр. Цена 1 р. 55 к.

**В. Демидов.** Мы уходим последними... Записки пиротехника. 208 стр. Цена 47 к.

**Т. Джумагельдиев.** Следы в пустыне. Компромисса че будет. Повести. Перевод с туркменского. 253 стр. Цена 25 к.

**Ду Фу.** Лирика. Перевод с китайского А. Гитовича. 175 стр. Цена 34 к.

**Д. Зигмонте.** Должна быть Ховалинга! Роман. Перевод с латышского. 319 стр. Цена 67 к.

**П. Игнатов.** Голубые солдаты. 272 стр. Цена 54 к.

**Б. Костюковский.** Земные братья. Повесть. 207 стр. Цена 50 к.



**Э. Лотяну.** Избранная лирика. Перевод с молдавского. 32 стр. Цена 12 к.

**Ж. Перек.** Вещи. Одна из историй шестидесятих годов Перевод с французского. 127 стр. Цена 23 к.

**С. Пророкова.** Кэте Кольвиц. «Жизнь замечательных людей». 191 стр. Цена 71 к.

**Революционная баллада мира.** Сборник переводов. Составитель В. Слуцкий. 254 стр. Цена 1 р. 24 к.

**М. Стельмах.** Щедрый вечер. Повесть. Перевод с украинского. 207 стр. Цена 25 к.

#### «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**В. Азерников.** 200 лет спустя. 136 стр. Цена 35 к.

**Ж. Браун.** Хозяева старой пещеры. Повесть. 192 стр. Цена 44 к.

**Р. Гамзатов.** Мой дедушка. Стихи. 31 стр. Цена 17 к.

**Д. Гринвуд.** Маленький оборвыш. 192 стр. Цена 39 к.

**Е. Драбнина.** Баллада о большевистском подполье. 318 стр. Цена 1 р. 10 к.

**М. Жестев.** Лето без каникул. Роман. 207 стр. Цена 53 к.

**Р. Фраерман.** Повести. 335 стр. Цена 73 к.

#### «ИСКУССТВО»

**Алексей Дикий.** Статьи. Переписка. Воспоминания. 503 стр. Цена 2 р. 40 к.

**Е. Дорosh.** Живое дерево искусства. 270 стр. Цена 1 р.

**С. Дрейден.** В зрительном зале — Владимир Ильич. 367 стр. Цена 1 р. 97 к.

**И. Майский.** Б. Шоу и другие. Воспоминания. 200 стр. Цена 92 к.

**Л. Малюгин.** Театр начинается с литературы. Статьи. 246 стр. Цена 1 р. 10 к.

**Проблемы романтизма.** Сборник статей. Составитель У. Фохт. 360 стр. Цена 1 р. 7 к.

#### «ПРОГРЕСС»

**А. Гроссо.** Ослепительно голубое небо. Роман. Перевод с испанского. 192 стр. Цена 48 к.

**Инженерная психология за рубежом.** Сборник статей. Перевод с английского. 494 стр. Цена 1 р. 70 к.

#### «НАУКА»

**И. Брашинский.** Сокровища скифских царей. Поиски и находки. 128 стр. Цена 40 к.

**Н. Ланцош.** Альберт Эйнштейн и строение космоса. Перевод с английского. 159 стр. Цена 31 к.

**Ю. Лимонов.** Летописание Владимиро-Суздальской Руси. 199 стр. Цена 84 к.

**Развитие астрономии в СССР.** 475 стр. Цена 3 р. 63 к.

**А. Слоним.** Инстинкт. Загадки врожденного поведения организмов. 160 стр. Цена 50 к.

**И. Цамерян.** Коммунизм и религия. 200 стр. Цена 61 к.

#### «ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**В. Ачаркан.** Государственные пенсии. 168 стр. Цена 55 к.

**Л. Дадияни.** Государственный строй Объединенной Арабской Республики. 111 стр. Цена 16 к.

#### «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**А. Битов.** Дачная местность. Повести. 224 стр. Цена 48 к.

**К. Ваншенкин.** Соловьиный коридор. Стихи. 176 стр. Цена 42 к.

**Г. Горышин.** Близко море. Рассказы. 96 стр. Цена 17 к.

**Е. Носов.** За долами, за лесами. Рассказы и повесть. 192 стр. Цена 58 к.

**Б. Полевой.** В большом наступлении. Дневники военного корреспондента. 352 стр. Цена 90 к.

**В. Солухин.** Письма из Русского музея. 136 стр. Цена 32 к.

**С. Шуртанов.** Кузьминские сады. Рассказы и повести. 344 стр. Цена 68 к.

#### МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

**Р. Казакова.** Поверить снегу. Стихи. Ташкент. 75 стр. Цена 23 к.

**Б. Кербабаяв.** Чудом рожденный. Роман-хроника. Перевод с туркменского М. Дальцевой и Н. Атарова. Издательство художественной литературы. 308 стр. Цена 63 к.

**Е. Чаренц.** Избранное. Стихи и поэмы. Перевод с армянского. Под редакцией Я. Смелякова и Г. Эмина. Ереван. «Айастан». 302 стр. Цена 1 р. 21 к.

#### ПОПРАВКА

В десятой книге «Нового мира» за 1967 год в рецензии Я. Фрида на 282-й странице 6-ю и 7-ю строки сверху (левая колонка) следует читать: «...вскрывал ограниченность и опасность тех тенденций позитивизма...»



Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, Е. Я. Дорosh, А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **А. А. Кулешов, В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, И. А. Сац, К. А. Федин, М. Н. Хитров** (ответственный секретарь)

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. К 9-81-77.  
Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 27/IX 1967 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 11/XII 1967 г.  
Формат бумаги 70 × 108<sup>1/8</sup>. 27 уч.-изд. л. 9 бум. л. (24,66 усл. п. л.)  
А 13534. Зак. 3266 Тираж 141.700.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636